Григорий СВИРСКИЙ

НА ЛОБНОМ МЕСТЕ

Литература нравственного сопротивления

1946-1986

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Григорий Свирский восстанавливает истинную картину литературной жизни России послевоенных лет

Написанная в жанре эссе, книга представляет собой не только литературный, но и жизненный срез целой эпохи.

Читатель найдет здесь портреты писателей — птиц ловчих, убивавших, по наводке властей, писателей — птиц певчих. Портреты литераторов истерических юдофобов.

Первое лондонское издание 1979 г., переведенное на главные европейские языки, стало настольной книгой во всех университетах Европы и Америки, интересующихся судьбой России. И московские и нью-йоркские отзывы о «Лобном месте» Григория Свирского единодушны: «Поистине уникальная книга».

Made for library
LIBRUSEC

- Свирский Григорий
  - К московскому изданию «На Лобном месте» — от автора
  - Искусство сопротивления
  - ЧАСТЬ 1
    - 1. Государственный камнепад
    - 2. Герои расстрельных лет. Эммануил Казакевич
    - 3. Герои расстрельных лет. Виктор Некрасов
    - 4. «Затылком к ростомеру»
    - 5. Каратели
    - 6. Самиздат при Сталине (1945 — 53 гг.)
  - ЧАСТЬ 2
    - I. Реанимация общественной мысли. Всполохи 1953 года
    - 2. Подвиг Владимира Померанцева
    - 3. Виселица, убранная цветами…
    - 4. «Булыжник — оружие пролетариата»
    - 5. Книги антисталинского года
    - 6. Прозренья антисталинского года
    - 7. Осень антисталинского года
    - 8. Шумная осень антисталинского года

- 9. Классика антисталинского года
- 10. Пора напрасных надежд
- 11. Карателн
- 12. Воскрешенный Бабель

○ ЧАСТЬ 3
- 1. Два года полуоткрытых дверей — 1961–1962 гг
- 2. Солженицын бессмертный и смертный…
- 3. Фронт военный и фронт тюремный
- 4. Двухлетний ренессанс. Евгения Гинзбург. Варлам Шаламов
- 5. Паводок тюремного самиздата
- 6. Известные писатели, отброшенные в самиздат: Василий Гроссман, Александр Бек, Лидия Чуковская
- 7. Мир современной русской фантастики и — трагический натурализм
- 8. Жанр устных выступлений писателей. Последняя попытка вырваться из-под цензурного гнета
- 9. Карателн

○ ЧАСТЬ 4
- 1. «Великая криница» И. Бабеля
- 2. Сергей зАлыгин. «На Иртыше»
- 3. Борис Можаев и Чингиз Айтматов
- 4. Федор Абрамов
- 5. Василий Белов
- 6. Василий Шукшин
- 7. Карателн

○ ЧАСТЬ 5
- I. Гвардия умирает, но не сдается
- 2. Молодая проза: отход с боями, потери
- 3. Разгром киноискусства
- 4. Убийство Твардовского — устранение последней помехи на пути «лучезарной макулатуры»
- 5. Магнитофонная революция…
- 6. Василь Быков
- 7. Владимир Войнович. Владимир Корнилов
- 8. Владимир Максимов
- 9. Новое поколение литературы сопротивления
- 10. «Осторожно, капканы!»
- 11. Новое поколение литературы

○ Необходимое дополнение

- notes
  - 1
  - 2
  - 3

Свирский Григорий

Свирский Григорий
На лобном месте
Литература нравственного сопротивления. 1946–1986 г.г

Константину Богатыреву — другу, однокурснику, поэту, зверски убитому за то, что ни тюрьма, ни Московский университет (филологический изолятор) не смогли погасить в нем личности.

Григорий СВИРСКИЙ

НА ЛОБНОМ МЕСТЕ

ЛИТЕРАТУРА НРАВСТВЕННОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ
1946—1986

Издание второе, дополненное

Посвящено памяти Марины ГОЛЬДФАРБ

ЛИТЕРАТУРА ВОЙНЫ
1941—1945
Москва
КРУК
1998

К московскому изданию «На Лобном месте» — от автора

«… — Мы всю советскую литературу спустили в унитаз! — с гордостью сообщил мне преуспевающий столичный издатель, многолетний в прошлом борец с «антисоветизмом» писателей, на «патриотическом счету которого и Варлам Шаламов, и Александр Галич, и Лидия Корнеевна Чуковская.

«Патриотизм» его меня не удивил. Удивило другое: — Отчего вы туда же, заодно, спустили в унитаз и всю литературу, боровшуюся с советской властью не на жизнь, а на смерть?

Ответил с усмешкой:

— Кто боролся? С кем? За что… Рано вспоминать. Еще не все умерли…

Тогда-то я и решил положить эту книгу на ваш стол: всех палачей не переждешь….

Григорий Свирский, Москва, 1998 г.

Искусство сопротивления
Предисловие к изданию 1979 г

«… что такое высшее ораторское искусство? Это — искусство сказать все и не попасть в Бастилию в стране, где не разрешается говорить ничего».

Аббат Гальяни. Письмо от 24 сентября 1774 г.

«Мы так привыкли ко лжи, что порой не заботимся даже и о тени правдоподобия. Мы втягиваем в эту ложь самих писателей, которые вынуждены говорить неправду, лгать, что называется, в порядке высокой дисциплинированности… Писатель принижен, ограблен в самом главном — в праве выступать со своими сокровенными мыслями и чувствами перед народом, выступать ответственно, без участия некоей псевдотайной инстанции, которая присвоила себе права все на свете решать за него, вымарывая, что вздумается…»

Так говорил Григорий Свирский более десятилетия назад, в январе 1968 года, на собрании московских писателей. Он — старый солдат, он-то знает, что бесстрашием бахвалятся одни лгуны: боятся все. Храбрец — тот, кто умеет скрыть свой страх и подавить его. Особенно страшно бросающемуся в атаку первым; пойдут ли за ним другие? Январская речь Свирского в 1968 году — одно из первых выступлений в ту новую, уже послехрущевскую пору, когда слова опять (в который раз на нашем веку) изменили значение и степень взрывчатости. Сказать в 1922 году: «Писатель принижен, ограблен в самом главном…» значило получить отповедь Луначарского, на которую можно было ответить язвительным пассажем в очередной статье; в 1928 году на вас обрушились бы вожди РАППа, обвиняя в буржуазности и даже контрреволюционности, назвали бы прихвостнем и внутренним эмигрантом, вы же очередную книжку опубликовали бы в другом кооперативном издательстве, ухмыляясь в усы; в 1934 году вас бы причислили к подкулачникам и, пожалуй, не приняли бы во вновь образованный Союз писателей; в 1938 году вас пытали бы на Лубянке, требуя назвать сообщников, — потом и вас, и всех

расстреляли бы как членов какого-нибудь «Право-левацкого троцкистского центра», клеветавших на советский строй; в 1941–1945 годах вы бы и сами ничего подобного не сказали — и вам, и читателям вашим было не до того; зато в 1949 году вас бы долго прорабатывали на собраниях, отовсюду исключили бы и назвали в «Правде» или «Литературной газете» безродным космополитом, беспачлортным бродягой, холуем американского империализма, разжигателем холодной войны (все это, в случае вероятного ареста, обеспечило бы вам 25 лет лагерей); в 1956–1961 годах эту же фразу вполне доступно было опубликовать в той же «Литературной газете» или уж во всяком случае в «Новом мире», не говоря о безнаказанной возможности произнести ее на любом собрании в Союзе писателей и сойти с трибуны под шумное одобрение зала. Но в 1968 году это опять страшная крамола: не сажают, но душат. Не убивают, но истребляют.

Григорий Свирский знал, на что он идет, говоря своим собратьям правду без всяких обиняков. Заявляя открыто, что в наступившем 1968 году писатель «принижен, ограблен в самом главном — в праве выступать со своими сокровенными мыслями и чувствами…», он ставил своих противников в положение трудное: либо они не тронут его и, проявив терпимость, докажут, что он лжет; либо они его измордуют и тем подтвердят правоту его слов. Собратья, ясно, избрали последнее: стали травить, душить, изгонять. Кто же победил? Они? Но ведь они только иллюстрировали справедливость его утверждений (которые они же объявили клеветой!) и обеспечили его, Свирского, моральное торжество. В том январе Свирский наговорил себе на 25 лет (по

шкале 1949 г.) или на вышку (по шкале 1938 г.). Времена все же другие — несколько лет спустя пришлось уехать в эмиграцию. теперь он живет в Канаде, где природа, напоминает Россию, где север не менее суров, чем его Заполярье военных лет, но где он, писатель, вправе «выступать со своими сокровенными мыслями и чувствами»… Правда, в 1968 году Свирский продолжил эту фразу так: «… перед народом». Народа вокруг писателя нет. А ведь именно ему, миллионному читателю России, прочесть книгу Григория Свирского необходимо — для самопознания.

Подчеркну еще раз эти слова: «…в праве выступать…» Да, Свирский еще и потому вправе, что не дожидался безопасности, а начал свою речь — под огнем. Там, где хозяин в зале — генерал госбезопасности Ильин, где улюлюкает черная сотня, там не до риторики; эти обстоятельства «не читки требуют с актера, а полной гибели всерьез». В своей книге Свирский с восхищением говорит о подвиге Константина Паустовского, Владимира Померанцева, Александра Галича, Виктора Некрасова, Лидии Чуковской, Евгении Гинзбург. Я назову еще Григория Свирского: одним из первых кинулся он очертя голову на штурм. Машинописную копию его речи читали во всех концах Советского Союза и радовались не только мужеству оратора, но и победе справедливости. Назвав по именам литературных «наследников Сталина», Свирский воскликнул: «Мы требуем свободы от извращенной линии партии, безнаказанно осуществляемой воинственными групповщиками…»

Таких слов мы давно не слыхивали! Ведь «групповщики» — они-то и есть партийные руководители советской литературы. И теперь, десять лет спустя, остались. Свирский оказался прав: если у власти они, тогда литература преступна. Но если судит Слово, уголовные преступники — они. О, еще будут они подавать прошения будущему Верховному Суду — считать их политическими. Сделают ли им такую поблажку? Едва ли. Их целями было не осуществление каких-либо теоретических программ, манифестов или доктрин, а удовлетворение корысти, похоти, властолюбия. Ради этих целей они всегда готовы ограбить, оклеветать, убить. И ограбили — Василия Гроссмана, оклеветали — Солженицына, убили — Пастернака и Галича… Какие же они — политические? Впрочем, забегать вперед не будем. В свое время об этом поговорим: судить-то придется нам.

Да мы уже и начали: судоговорение можно считать открытым. Григорий Свирский восстанавливает истинную картину литературной жизни России послевоенных лет; без такой картины прения сторон невозможны. В сущности, его книга — широко развернутая речь 1968 года. Там были страсть, горечь,

трагическое осознание того, к чему мы пришли через почти четверть века после войны. Здесь — обстоятельное объяснение процесса, который привел охранительную литературу в тупик, а настоящую — к нравственному торжеству всемирно-исторического значения.

Исходная позиция автора — спор с утверждением, будто бы никакой литературы нет и не может быть: «… в тридцатые, сороковые и пятидесятые годы литературы у нас не было. Потому что без всей правды — не литература», — утверждает А. Солженицын в «Архипелаге ГУЛаг». Это мнение не ново, многие русские эмигранты первого поколения прежде так и считали; к Солженицыну и теперь присоединились иные. Григорий Свирский энергично опровергает такой максимализм; он эффектен, но несправедлив. Об этом свидетельствует каждая страница в книге Григория Свирского. Но о том же свидетельствует история всех литератур. «… без всей правды — не литература» — применим ли этот афоризм к золотому веку русской поэзии? В пушкинскую пору литература, кажется, существовала, а вот до всей правды далековато было: главное событие эпохи — восстание декабристов — не получило отражения в романах, поэмах и драматургии; после разгрома восстания — кто писал о героях России? Разве что эзоповым языком, туманными намеками, темным кодом. Это что же, вся правда? Пушкин написал о судьбе декабристов в стихотворении «Арион» («Нас было много на челне…»); это и есть — вся правда?

Или о крепостном крестьянстве — что читал о его жизни современник Пушкина? «Горе от ума», комедию, распространявшуюся] списках? Стихотворение Пушкина «Деревня», ходившее лишь в тогдашнем самиздате, о котором Пушкин в «Послании к цензору» (тоже неопубликованном) писал в 1822 году:

> Чего боишься ты? Поверь мне, чьи забавы —
> Осмеивать закон, правительство иль нравы,
> Тот не подвергнется закону твоему;
> Тот не знаком тебе, мы знаем почему —
> И рукопись его, не погибая в Лете,
> Без подписи твоей разгуливает в свете.

Другой пример — империя Наполеона III; в эту пору французская литература поднялась на уровень почти небывалый: романы Флобера, новеллистика Мериме, поэзия Бодлера, Теофиля Готье, Леконта де Лиля… Разве эти авторы сказали всю правду? Нет, они и помыслить не могли о той свободе слова,

которой пользовался изгнанник Гюго, клеймивший Вторую империю — в стихах своего «Возмездия» и в памфлете «Наполеон малый». Все же у французов эпохи Второй империи литература была, и даже — великая. Достаточно этих двух примеров, чтобы стало ясно: «… без всей правды не литература» — всего лишь риторическая фраза. Литературу душат, топчут, казнят, но она, меняя обличие, остается жива. «Гони природу в дверь…»

При тоталитарном режиме законы писания и чтения другие, чем в условиях свободы печати; Свирский учит иностранцев читать произведения своих современников-соотечественников; это нелегкое искусство — им не владеют не только люди Запада, но и многие земляки автора. Григорий Свирский вместе с читателем медленно, внимательно, проникновенно читает русские книги прошедших лет, и они поворачиваются к нам незамеченной стороной. Каждый из писателей, о которых он толкует, открыл, оказывается, какую-нибудь из проблем эпохи. Многие наши западные друзья привыкли отворачиваться от советских романов: дескать, чего ждать от сервильных авторов, которые лишь иллюстрируют партийно-правительственные решения? Литература иллюстративная недостойна называться литературой. Так вот, Свирский демонстрирует нам одного за другим писателей, проникающих в глубь действительности и открывающих ее законы. Виктор Некрасов в первой же своей книге (1946) продемонстрировал не военную, а именно советскую, сталинскую тенденцию превращать живых людей в «винтики» и против нее взбунтовался. Вера Панова (в «Кружилихе») обнародовала черты «нового класса», того, о котором позднее так убедительно напишет Джилас. Вслед за ней Даниил Гранин («Собственное мнение») «сорвал с нового класса последние покровы», показав «нравственное вырождение советской технократии». Василий Гроссман открыл социальное размежевание общества, Владимир Дудинцев — характерный для режима «культ некомпетентности». Владимир Тендряков («Ухабы») с небывалой беспощадностью обличает «враждебность руководящего слоя простому человеку»… Перечитайте вместе со Свирским этих авторов — вы убедитесь в его правоте. Настоящие писатели не только далеки от сервильности, — подвергаясь смертельной опасности, они честно выполняют свой долг перед обществом. Итог подбивают по той колонке, где стоят числа положительные, а не по той, где отрицательные или нули. Я мог бы сочинить другую, «Отрицательную историю советской литературы», и при этом рассматривал бы деятельность тех же авторов: написала же Анна Ахматова пошлые стихи о борьбе за мир. Осип Мандельштам — оду Сталину, Александр Твардовский

— лживые панегирики коллективизации, Александр Галич — сценарий «Государственный преступник», Андрей Синявский — ординарно-советскую диссертацию о «Климе Самгине». Но Григорий Свирский поступил справедливо: он восстановил честь нашей литературы. «Новый мир» для него важен не горькими уступками, на которые толкала необходимость выжить, а немеркнущей заслугой перед прозой, публицистикой, критикой нашей эпохи, открытием таких авторов, как Владимир Тендряков, Федор Абрамов, Георгий Владимов, Владимир Войнович, Борис Можаев, И. Грекова, Василь Быков, Степан Залыгин, Василий Белов, Валентин Овечкин, Александр Солженицын. (Ведь можно было бы и «Современник», журнал Пушкина и Некрасова, оценивать по пробелам или компромиссам — это было бы вопиющим искажением истории).

Григорий Свнрский пересматривает устоявшиеся репутации, и почти всегда это делается убедительно. Мало кто знает спокойно бесстрашного, исполненного солдатской гордости исторического романиста Степана Злобина, или ослепительно талантливого, оставившего глубокий след в своем поколении критика Марка Щеглова, или неподкупного и мудрого Константина Паустовского, или неукротимого Владимира Померанцева. В каждом Свирский умеет увидеть личность незаурядную, в каждом оценить свойственный ему и только ему талант. Свирский не идеализирует Илью Эренбурга, не закрывает глаза на его уступки, слабости и даже пороки; но он радуется его бесстрашию в ту решающую минуту, когда отказ повиноваться Сталину и подписать антиеврейскую декларацию мог стоить жизни, и радуется мемуарам «Люди, годы, жизнь», искупающим многие прежние компромиссы. С другой стороны, Свирский, восхищаясь художественным творчеством Солженицына, не прощает ему опасно-узколобого национализма; под его пером Солженицын двойствен, трагически противоречив и все же един как личность и писатель. В книге Свирского каждый талантливый человек талантлив по-своему, зато все подлецы подлы одинаково. Он благородно великодушен по отношению к писателям, сохранившим преданность литературе, но безжалостен к тем, кого презрительно именует карателями. Читатель — не только западный — впервые увидит и литературных злодеев последнего тридцатилетия; Суров, Первенцев, Орест Мальцев, Сурков, Ермилов, Фадеев, Корнейчук, Карпова, Лесючевский, Эльсберг, Дымшиц, Василий Смирнов — их не так мало, этих «тормозов» нашего литературного развития, преданно служивших своему цека, который обеспечивает их визами за границу и похоронами с оркестром.

Григорий Свирский мог все это написать, потому что в нем совмещаются взволнованный и чуткий читатель, превосходный исследователь, весело-общительный собеседник, памятливый мемуарист и добрый человек. Не всегда его оценки совпадают с моими, порой ему изменяет литературный вкус и проза его становится излишне «восклицающей», но все же в этой книге доминируют талант, память и благородство. Особо отмечу важность ее как мемуаров активного участника собраний, обсуждений, застолий — таких документов литературная история сохраняет мало. Воспоминания Солженицына «Бодался теленок с дубом» снабжены подзаголовком «Очерки литературной жизни»; слова эти больше подходят к книге Свирского, который пишет не о себе, меньше всего о себе, а именно о литературной жизни своего времени, о ее героях и злодеях. Достоинство книги, в частности, в том, что автор всех их знал лично. Он передает разговоры вокруг каждого литературного события, а порой и необходимые для «живого контекста» анекдоты, эпиграммы, даже слухи. Как часто все эти «атмосферные явления», окружающие писателей и их книги, пропадают! Благодаря Смирновой, Панаевой, Никитенко, Гречу мы знаем кое-что о литературной жизни прошлого века. Благодаря Свирско-му останется в памяти атмосфера послевоенных лет века нынешнего. А в то время, когда двенадцатиступенчатая цензура с великой неохотой пропускает рукопись в печать, устная литературная жизнь приобретает особое значение: в общественно-литературные события превратились у нас речи на собраниях, на похоронах, на банкетах, на защитах диссертаций, на обсуждениях рукописей или книг, на вечерах памяти писателей, на проработочных заседаниях в райкомах и обкомах. Все это — формы бесцензурной словесности, и то, что хоть часть ее удалось сохранить, — необыкновенно важно.

Но Григорий Свирский не простой мемуарист-записыватель. Он еще и исследователь, обладающий объективной концепцией литературной эволюции. Он еще и человек вполне определенных философско-политических воззрений. Страницы, которые он посвящает анализу новейших националистических течений, содержательны и тенденциозны. Позиция Свирского выражена и им самим, и двумя цитатами, которыми я завершу вступление к его книге:

> «Национализм так же разлагает нацию, как эгоизм — личность»
>
> *(Владимир Соловьев).*

«Национализм всегда приводит к тирании»

(Бердяев).

Ефим Эткинд[1]

ЧАСТЬ 1
Не спрашивай «За что?!

1. Государственный камнепад

Впервые я вошел в приоткрытые ворота Союза писателей СССР в 1946 году. Увидел посреди зеленого дворика «Мыслителя» Родена, застывшего на камне в своей нескончаемой сосредоточенности. И подумал: какое счастье, что солдатчина позади и я среди тех, для кого мышление — естественное состояние человека.

Я улыбнулся новой жизни и шагнул к двери, за которой меня ждало в комиссии, работающей с молодыми писателями («молодыми писателями» — подумать только!), обсуждение моего первого прозаического опуса.

В дверях я оглянулся на напряженно-согбенную спину «Мыслителя», вечно прекрасного в своей сосредоточенности. В муках сосредоточенности, сказал бы я сейчас, через тридцать лет.

Годы погромов позади, годы послаблений, казавшихся почти свободой годы тяжких удач и жестоких поражений.

Что же она такое, моя кровная, измученная, недостреленная литература нравственного сопротивления? Не останется ли в истории непостижимым российским молчальником, сфинксом XX века? Или будет услышана?

… Послевоенная литература СССР была, как известно, подобна айсбергу. Над водой — подцензурная, сияюще гладкая, часто эзоповская. Под водой — самиздат, нарастающий острыми, порой бесформенными глыбами. Она неразделима, эта сегодняшняя литература, как бы ни нарезала ее советская критика прозрачно-ортодоксальными кубиками. Ее историю, историю литературы, теперь уже не затоптать, не оболгать — это история целых поколений инакомыслящих, готовых ради своих убеждений пойти в тюрьмы и психушки.

«Искусство есть запись смещения действительности, производимого чувством», — сказал Борис Пастернак. Легко понять, сколь немыслимо-еретично звучало это в стенах Союза писателей СССР, где смещение действительности, каждый градус этого смещения предопределен не чувством творца, а указаниями директивных инстанций.

Немудрено, что даже писатели большого таланта, такие, как Александр Бек, написавший честный, любимый фронтовиками роман «Волоколамское шоссе», не могли вырваться за рамки

«дозволенной литературы».

Что же говорить о новых поколениях, с детских лет принимавших суррогаты за подлинное искусство?!

Оглядываясь на мелькнувшие сорок лет, воочию видишь, как не глубок, сер, неправдоподобно безлик книжный поток, заполонивший четыреста восемьдесят тысяч (почти полмиллиона!) советских библиотек. Как далек от литературы! Как принижает, опустошает человека! И какая в этом угроза миру!..

Однако были писатели, которые и в сталинское расстрельное время не расстались с внутренней свободой и, на глазах у всех нас, сделали шаг навстречу пуле.

Одних на Западе знают прекрасно: Бориса Пастернака, Анну Ахматову, Марину Цветаеву, Осипа Мандельштама, Михаила Булгакова, Андрея Платонова. И еще два-три имени. Современная русская литература представлялась на Западе в последние годы, да что там годы — более четверти века прежде всего этими славными именами. Они спасли честь русской литературы истребительного советского периода.

Однако встает жгучий вопрос: рядовой советский читатель этих имен не знал — микроскопические тиражи одних, полное замалчивание, шельмование, тюремная судьба других свое дело сделали. Даже в учебнике для студентов-филологов профессора Л. Тимофеева «Советская литература», в котором более 400 страниц, ни единым словом не упоминаются ни Ахматова, ни Пастернак, ни Бабель, ни Замятин, ни Зощенко, ни Пильняк (одна из ранних жертв, чью пророческую «Повесть непогашенной луны» — об умерщвлении на операционном столе командарма Гаврилова, читай: Фрунзе — Сталин не простил).

Но если это так, если большинства изучаемых на Западе русских писателей советских лет рядовой читатель СССР не знал, порой даже по имени не ведал, кто в таком случае был нравственной опорой нескольких поколений инакомыслящих?

Нобелевские лауреаты Александр Солженицын и Андрей Сахаров явились позднее. О них и слышать не могло студенчество, которое протестовало против кровавого вторжения в Венгрию, собиралось на площади Маяковского, поколение, загнанное в мордовские лагеря, в Сибирь, в психтюрьмы, бесстрашное поколение диссидентов.

Кто же в таком случае духовно поднял эти поколения?

Кто они, писатели России, героически работавшие в адских условиях расстрелов и погромов, спасшие от неверия, цинизма, соглашательства сотни тысяч, возможно, миллионы?

… Самыми любимыми нашими книгами после второй

мировой войны, помню, были книги Хемингуэя «Прощай, оружие» и Ремарка «На западном фронте без перемен». Нас привлекала правда деталей, окопной грязи, от которой мы еще не очистились. Но главное оставалось для нас чужим. В «Возвращении» Ремарка один из героев уходит на поле сражений, где остались его друзья, и — там стреляется. И живой, он чувствовал себя мертвым.

Мы не были потерянным поколением. Мы жили ощущением победы. Ощущением людей, растоптавших фашизм. Я вспоминаю своих друзей по войне, по университету. Нет, никто не чувствовал себя лишним, опустошенным…

И вдруг в середине шестидесятых годов, спустя двадцать лет после антифашистской войны, зазвучала в Москве песня, известная ныне во всех уголках России — песня о погибших солдатах, которые поднялись из могил. По звуку трубы поднялись:

> «…Если зовет своих мертвых Россия, значит — беда…»

Поднялись солдаты в крестах и нашивках, и…

> «… Смотрим и видим, что вышла ошибка, — зазвучали тысячи и тысячи магнитофонов в инженерных общежитиях и рабочих бараках, — вышла ошибка, и мы ни к чему…»

Я помню напряженные, порой ошеломленные молодые лица слушавших песню. И наше, и последующие поколения воспринимали мысли и чувства героев Александра Галича как свои собственные.

Мы стали потерянным поколением?! Мы с ужасом оглянулись. Что же в таком случае произошло с Россией? Почему целые поколения почувствовали себя отброшенными, потерянными?

…Раньше, когда приходилось ездить по Руси, за окнами вагона выше скирд и холмов, станций и городов сияли маковки церквей; кто не замечал их, не провожал взглядом!

Ныне, едешь ли на юг через Харьков или на север к Архангельску, — тянутся к небу выше всего земного смертоносные гиганты, царит над городами серо-сталистый цвет локаторных башен и систем ракетной наводки.

Бог нынешней российской государственности — ракета с ядерным зарядом. Он поверг XX век в страх, которого не ведала земля за все время своего существования. А в России обострил и обыденный, вековой страх — перед батогом.

Поэт Николай Глазков, один из затоптанных талантов, писал на излете сталинской эры:

Я за жизнью наблюдаю из-под столика.
Век двадцатый, век необычайный,
Чем он интересней для историка,
Тем для современника — печальней…

Как бы подтверждением этого загрохотали нескончаемые «локальные» войны: Корея, Вьетнам, лязг советских танков в Венгрии, в Чехословакии, на Голанах и в Синае.

Однако был год, когда Россия стала отходить от страха. Так отпускает на время застарелая болезнь… Это был первый послевоенный год, с событий которого и начата книга. Оглушенные грохотом праздничных салютов, мы, если и прозревали, то прозревали страшно, как прозрел Александр Солженицын на земляном полу дивизионной контрразведки. Или как ростовский писатель Владимир Фоменко — застенчивый, мягкий, добрый Фоменко, который свято верил в то, что «зря не сажают».

Трудно дышалось Владимиру Фоменко, многолетнему автору «Нового мира», в городе Ростове, где вышагивает в ногу, под шолоховской хоругвью, «ростовская рота» советской литературы… Он часто наезжал в Москву, где отдыхал душой.

Вспоминаю давний рассказ Фоменко, согретый его мягкой усмешечкой. Как схватили его, семнадцатилетнего школьника, на улице и швырнули в вонючую камеру с трехэтажными нарами, а затем в подвал со слепящим светом. Как поднялся навстречу следователь и, опираясь на свои пудовые кулаки, взревел: «А ну, говори, сопляк, кто дал тол?! Мост взрывать!.. Через Дон! Нам все известно!»

Володя прошелестел побелевшими губами, что все это чудовищное недоразумение. Он патриот, на финскую войну просился добровольно.

Следователь шагнул к нему и с размаху ударил его в висок. Володя отлетел к противоположному углу следственной камеры, ударился головой о кирпичную стену и на мгновение потерял сознание. И вот, поднимаясь на ноги, держась за окровавленную голову, он вдруг подумал: а может, и в самом деле камера, набитая врагами народа, в которую его пихнули, полна таких же «врагов», как он?! Может, и в самом деле берут невинных… А?

«Эффект Фоменко» — назовем так этот трагический способ прозрения.

Сколько горячих голов, сколько неистовых спорщиков не

могло убедить ничто — лишь палаческий удар в висок!

Америка не поверила в свое время вырвавшемуся из архипелага ГУЛаг Аркадию Белинкову, поскольку-де избитый до полусмерти, обозленный. К тому же то и дело называет советских — русскими. Не иначе, русофоб!..

Кто из русских не слышал на Западе: «Скажите, а сколько процентов правды в «Архипелаге ГУЛаг» Солженицына? В тюремной прозе Шаламова, Аксеновой-Гинзбург, Марченко?»

«Эффект Фоменко» — передашь словами?

Я говорю об этом отнюдь не свысока, не умудренно-иронически. Говорю с горечью: мы были не мудрее. Не прозорливее. Человеку трудно поверить в нечеловеческое.

Разве что спившийся с круга, с гениальными прозрениями Глазков догадывался о сущем, написав еще в июне 41-го года, в первые дни гитлеровского нашествия на Россию:

Господи, вступися за Советы,
Упаси страну от высших рас,
Потому, что все Твои заветы
Гитлер нарушает чаще нас…

Но и тем, кто не был мудр, как Глазков, у кого не было фоменковской судьбы или судьбы Солженицына, — всем стало не по себе 14 августа 1946 года. В тот день и пропало пьянящее чувство победы. С государственных высот покатился первый камень, вызвав обвал, который похоронил под собой почти целое литературное поколение. Назывался этот первый камень весьма прозаично: Постановление ЦК КПСС о журналах «Звезда» и «Ленинград». Стихи Ахматовой, рассказы Зощенко были объявлены государственной опасностью.

Сталин и Жданов защищались от Ахматовой и Зощенко?

Бог мой! Миллионы были увезены в лагеря «черными воронами». Увезли бы еще двоих, погубили б, как погубили Мандельштама или Бабеля. Расправились бы тихо… Но — нет. Устроили «танец с саблями», угрожающую лезгинку с кинжалом в зубах: «Хочу обниму, хочу зарежу…» На весь мир сабельный звон. Зачем?

Весь мир принялся торопливо объяснять это необъяснимое: «Ленинград был всегда окном на Запад, не случайно атаковали Ленинград, чтоб не глядели на Запад», — объяснил Вальтер Викери. Другие рассматривали постановление ЦК о Зощенко и Ахматовой «изолированно», как удар по Ахматовой и Зощенко.

О советских исследованиях и говорить стыдно.

«Литгазета», размахавшись руками, не могла остановиться. В

49-м, третьем году кликушества, в редакционной статье от 16 февраля без подписи (что усугубляло вину) редакция уличила кинокритика профессора И. Вайсфельда в том, что он преступно искажает Ленина. «Ленин учил, — безапелляционно заявляет он (т. е. преступный кинокритик. — Г. С.), — что сознание человека не только отражает объективную реальность, но и творит ее. Под формулировкой Вайсфельда охотно подписался бы любой идеалист, любой махист».

Каков же был ужас борцов за чистоту ленинской мысли, когда на другой день выяснилось, что кинокритик дословно воспроизвел фразу Ленина. Только кавычки не поставил…

Всю ночь и весь день редакция мысленно тряслась уже в «черном вороне», по дороге на Лубянку. Люди сидели в своих кабинетах серые и не отвечали на вопросы. В следующем номере (от 19 февраля), конечно, было помещено «Исправление ошибки». «В процитированной фразе, — рыдала газета, — Вайсфельд изложил запись В. И. Ленина в «Философских тетрадях». Редакция «Литературной газеты» допустила ошибку…» и пр. и др.

На другое утро автор сей редакционной статьи литературовед П. был задержан у Боровицких ворот Кремля. Больной, неврастеничный, задерганный человек, он от страха сошел с ума и прорывался в Кремль, к Сталину — объяснить, что он не со зла, он патриот…

В чем причина сталинской истерики 46-го года, подлинная причина, так и оставшаяся, увы, вне поля зрения исследователей?

… Я знал на войне, что самое страшное не атака, не бой, а минуты, секунды, скажем, перед входом самолета в зенитный огонь. Когда ты видишь черные или белые дымы разрывов, но еще не вошел в них, вот-вот войдешь. Ощутишь запах пороха, треск рвущейся самолетной обшивки… Тут-то сердце и сжимает…

Как же поразился я, когда, вернувшись с войны, прочел строки молодого, никому тогда не известного поэта:

Когда на смерть идут — поют,
А перед этим можно плакать.
Ведь самый страшный час в бою
Час ожидания атаки…
Мне кажется, что я магнит,
Что я притягиваю мины.
Разрыв —
и лейтенант хрипит,
И смерть опять проходит мимо.
Но мы уже
не в силах ждать,

И нас ведет через траншеи
Окоченевшая вражда,
Штыком дырявящая шеи.
Бой был коротким.
А потом
Глушили водку ледяную,
И выковыривал ножом
из-под ногтей
я кровь чужую.

Семен Гудзенко, автор этих стихов, написанных в 42-м году, прочитал их Илье Эренбургу, и Эренбург добился их публикации. «Этого нельзя придумать! — кричал Эренбург по телефону секретарю Союза писателей Алексею Суркову, — надо побывать в штыковой самому, чтобы «выковыривать из-под ногтей чужую кровь».

Едва правда о войне начала пробиваться на страницы газет и журналов, как послышался окрик партийного руководства: «Хватит! Военная тема отражена, теперь нужно отражать мирный созидательный труд».

Гудзенко ответил на окрик стихами, опубликованными только после его смерти. Спокойными стихами, которые он читал в студенческих аудиториях и которые, оказывается, прозвучали вызовом сталинским указаниям, о чем мы тогда и не подозревали:

У каждого поэта есть провинция,
Она ему ошибки и грехи,
Все мелкие обиды и провинности
Прощает за правдивые стихи.
И у меня есть тоже неизменная,
На карту не внесенная, одна,
Суровая моя и откровенная,
Далекая провинция —
Война…

Партийная пресса снова и снова требовала уйти от фронтовых тем: надо-де жалеть людей, вернувшихся с поля боя, не растравлять раны. Гудзенко ответил «гуманистам» в 45-м году стихами «Мое поколение».

Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого б не жалели.
Мы пред нашим комбатом, как пред Господом Богом,

чисты.
На живых порыжели от крови и глины шинели,
На могилах у мертвых расцвели голубые цветы…
Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого б не жалели,
Кто в атаку ходил, кто делился последним куском,
Тот поймет эту правду, — она к нам в окопы и щели
Приходила поспорить ворчливым, охрипшим баском.

Вот в чем, оказывается дело! В правде. В оголенной правде, которая была не эпизодом, не случайной деталью, а стала программой поколения пришедших с войны! Вот что испугало власти, панически испугало. Пришло в литературу поколение, которое клялось, как на Библии: «Правду и только правду. Всю правду»:

Я теперь,
как бинты,
отдираю злость
Со своей беззаботной души…
Продолжается битва
в дыму и пальбе.
Можешь мертвым в сражении лечь,
Но не смеешь
ни строчки оставить себе,
Ни удара сердца сберечь…

(В Сталинграде, в 43-м году, написал Гудзенко эти стихи.)

Но вот стали подходить таланты, мыслившие масштабнее. Вдруг зазвучали стихи Александра Межирова, бывшего пехотинца и фронтового шофера:

Мы под Колпино скопом стоим,
Артиллерия бьет по чужим,
А она по своим, по родимым…
Недолет, перелет, недолет —
По своим артиллерия бьет!
Нас комбаты утешить хотят,
Нас великая Родина любит…
По своим артиллерия лупит,
Недолет, перелет, недолет —
По своим артиллерия бьет!

Эти строки немедля стали символом происходящего в стране:

Недолет, перелет, недолет —
По своим артиллерия бьет!

В первый послевоенный год подтянулась на литературные позиции и проза — царица полей. В 46-м году засверкали одна за другой военные повести Казакевича и Виктора Некрасова. Правда, оголенная правда, обнажившая очерковую фальшь Полевого и полуправду К. Симонова. Ее пытались скомпрометировать, эту правду, — окрестили приниженной, окопной. Да только не давалась она.

Вот когда стало ясно каждому: писатель в современной России сродни пехотинцу в атаке; таланта мало, нужна сила в руках, чтобы оторваться от земли. Если нет в руках силы, а в сердце мужества, какой ни будь у тебя талант, ты останешься лежать в грязи, страшась поднять голову, не то что слово сказать!

Но не только произведения фронтовиков встревожили отделы ЦК. В Москве пехотный капитан выбросил из квартиры вещи начальника милиции, самовольно вселившегося в его квартиру. В Киеве полковник-еврей застрелил дворника, выдавшего гитлеровцам его семью. Другой офицер, Герой Советского Союза, назначенный руководителем главка, отказался от «сталинских пакетов». Пакетами, как известно, называлось дополнительное жалованье, тайно выдаваемое высоким руководителям. Сталин платил не за работу, за верность. Власть держалась пулей и пряником. Это было основой основ режима. И вдруг некий герой, почти мальчишка, посмел отказаться от пряника. Это стоило ему жизни. Правда, не сразу, но с ним, с этим героем, разделались.

Сталина пугали не только случаи неповиновения в литературе и жизни — его пугал более всего исторический опыт России. Вслед за разгромом Наполеона было восстание декабристов. Прозвучала в тесном кругу рылеевская «Дума» — и автор, и его читатели-друзья вскоре вышли на Сенатскую площадь. Бунт никогда не ограничивался литературой.

Декабристы были одиночками. Наполеона разбили крепостные, а теперь в разгроме фашизма осмысленно, сознательно участвовали миллионы.

Можно было увезти в лагеря и Зощенко, и Ахматову, и еще половину Союза писателей. И увезли бы, если бы речь шла о них. Однако невозможно было увезти, распознать заранее огромный поток молодых, которые поклялись жить по совести — поклялись

в этом именем погибших друзей. Порой — погубленных друзей.

Мы знали многое, слишком многое. И тем стали опасны. Знали не только о том, как живут «под гнетом капитализма». О, дело нс в этом! Берлинская стена возникла позднее.

Я был на войне всего-навсего младшим командиром. У меня не было «широких армейских горизонтов». Тем не менее я видел, как за пять обугленных печек, оставшихся от сожженной деревни, уложили под Ржевом, за два дня боев, 30 тысяч солдат — две сибирские дивизии — только потому, что командующий армией заранее доложил Сталину, что деревня взята. Это поле боя вскоре стало нашим аэродромом, и мы двое суток растаскивали к краям поля оледенелые трупы — «подснежники», как их тогда называли, — чтобы самолеты могли взлетать.

А кто из нас не знал, не видел, как истреблялись штрафные батальоны! В Заполярье, на скалистом хребте Муста-Тунтури, солдат-штрафников добивали, как при расстреле. Четыре года подряд гнали на гору: «Вперед, за Родину, за Сталина!», заведомо зная, что гора пристреляна немецкой тяжелой артиллерией. И брать ее в лоб — бессмысленно. Четыре года разрешали отступление лишь тогда, когда отступать было некому. Нескольким случайно уцелевшим ставили в бумагах красный штамп: «Кровью искупил».

А затем пригонялась новая партия штрафников, и все начиналось сначала.

Чем хребет Муста-Тунтури отличался, скажем, от кирпичного завода в Воркуте, где годами расстреливали зэков? Где трупы громоздились штабелями?

… Каждый из фронтовиков не раз был очевидцем гибели людей — из-за тупости командования, из-за бессердечия, полнейшего равнодушия к простому человеку. Только из-за упрямства Сталина, как известно, погибло в окружении под Харьковом 750 тысяч солдат.

Много, слишком много могла поведать литература, родившаяся на поле боя. Не только тихий, рвущий душу плач Александра Твардовского: «Я убит подо Ржевом…» Тысячи начинающих прозаиков и поэтов могли сказать, как Семен Гудзенко: «Я теперь, как бинты, отдираю злость со своей беззаботной души…»

И было решено запугать всех. Решено Сталиным. В 46-м году его хватил первый инсульт. Что мерещилось ему тогда, убийце миллионов?

И вот начался этот камнепад устрашающих решений: чтоб завалить всех, раз и навсегда. Чтоб и повадно не было. А главное — тех завалить, кто еще не учтен, кто молча вынашивает свои

замыслы, за кем невозможно прислать «черный ворон».

Не уследишь! Одной из самых любимых книг Сталина был роман «Петр Первый» Алексея Толстого. И теперь Сталин боялся «стрелецкого бунта» фронтовиков. Стоя по горло в крови, страшился подобия стрелецкого бунта.

Началом бунта мерещилась ему литература оголенной правды, с которой я и начну попытку исследования. И первое слово, конечно, о тех, кто в страшные расстрельные годы рванулся вперед, навстречу кинжальному огню.

2. Герои расстрельных лет. Эммануил Казакевич

Когда я впервые увидел Казакевича, меня поразило его лицо, неподвижное, как посмертная маска. Глаза пронзительно-внимательные, печальные, умные. За толстыми стеклами очков зрачки казались огромными, расширенными, словно от ужаса.

Эти глаза я вспоминаю часто, они представляются мне символом того, что стряслось с писателем Казакевичем.

…Первая повесть его, «Звезда», появилась в 1947 году. После казенно-оптимистических очерков Алексея Толстого в «Правде» и полуправдивых донецких очерков Бориса Горбатова; после пьес-громоотводов, написанных по прямому указанию Сталина, вроде «Фронта» Корнейчука (Сталин пытался переложить свою вину на расстрелянных им полководцев) — после всей этой полуправды или заведомой лжи маленькая повесть Казакевича казалась вестником новой литературы. Восторг одних, испуг других не утихали. Сочетание глубокой поэзии и правды дали основание критике воскликнуть: «Взошла звезда Казакевича».

Советская пресса старалась локализовать значение повести, завалить мусором стереотипно-казенных похвал.

Но — нет. «Звезду» не удалось выдать за военно-патриотическое чтиво, распространяемое «роман-газетой». Она резко выделялась своей горькой тональностью и поэзией. С первого аккорда она была реквиемом: «Дивизия, наступая, углубилась в бескрайние леса, и они поглотили ее».

Почти сказочная певучесть зачина заставила вспомнить и повести о погибели русской земли, и дружину Игореву, выступившую при плохой примете — черном солнце, и горький плач Ярославны с его поэтической метафоричностью.

Здесь все написано поэтом.

«Надев маскировочный халат, крепко завязав все шнурки — у щиколоток, на животе, под подбородком и на затылке, — разведчик отрешается от житейской суеты, от великого и от малого. Разведчик уже не принадлежит ни самому себе, ни своим

начальникам, ни своим воспоминаниям. Он подвязывает к поясу гранаты и нож, кладет за пазуху пистолет. Так он отказывается от всех человеческих установлений, ставит себя вне закона, полагаясь отныне только на себя.

… Он не имеет имени, как лесная птица. Он вполне мог бы отказаться и от человеческой речи, ограничившись птичьим свистом для подачи сигналов товарищам. Он срастается с полями, лесами, оврагами, становится духом этих пространств — духом опасным, подстерегающим, в глубине своего мозга вынашивающим одну мысль: свою задачу.

Так начинается древняя игра, в которой действующих лиц только двое: человек и смерть».

Ортодоксы судорожно выискивали здесь «идейные изъяны»: разведчик так быстро гибнет, — брюзжал один из них, — что «мы не успеваем понять, какие мысли роились за юношеским гладким лбом».

Литературные чиновники насторожились, как гончие. Им и кричали, словно гончим: «К ноге!», но они — рвали поводки…

И, надо признать, у них был изощренный нюх. Книга несла в глубине своей, как корабль в глубоких трюмах, страшную правду сталинской эпохи, замеченную и отчасти осознанную всем миром только сейчас, после появления «Архипелага Гулаг» Александра Солженицына.

Вот как бы вскользь сказано в самом начале книги, на восьмой странице:

«Травкин повел свой отряд к одинокому дому на пригорке, дверь открыла старая бабка… она в точности походила на украинских старух из-под Киева или Чернигова, в бесчисленных холщовых юбках, с сухонькими жилистыми ручками, и отличалась от них только недобрым светом колючих глаз…

— Вот бандитская мамка! — проворчал один из разведчиков.

Он угадал наполовину. Младший сын старухи действительно пошел по бандитской лесной тропе. Старший же подался в красные партизаны. И в то время как мать бандита враждебно молчала, мать партизана гостеприимно открыла бойцам дверь своей хаты. Подав разведчикам на закуску жареного сала и квасу в глиняном кувшине, мать партизана уступила место матери бандита, которая с мрачным видом засела за свой ткацкий станок, занимавший полкомнаты».

«Бандитская мамка»… Да кто же они, пошедшие, в отличие от своих родных братьев, по «бандитской тропе», рожденные теми же матерями? Украинские парубки — «западники», встретившие советские танки без восторга? Как позднее — венгры, хорваты, чехи…

Мы тогда ухе слышали краем уха и о странных отрядах, рубивших и немцев, и русских. Мы знали и самую страшную правду — страшнее не было: Советский Союз от пленных отказывается! Сталин сказал, что нет пленных советских солдат — есть изменники!

Но ведь в первые дни войны немцы окружили целые корпуса, армии — миллионы солдат! Из-под Мозыря вывозили только нас, авиаторов, — остальным было приказано стоять насмерть!

Под Волоколамском мы освободили лагерь, существовавший всего два месяца, — оттуда выходили тени в тряпье. Мы высыпали им из противогазных сумок все свои черные сухари — они набрасывались на них, как собаки на кость. Они — изменники?

«Не они, несчастные, изменили Родине, но расчетливая Родина изменила им, и притом трижды», — скажет об этом позднее Александр Солженицын. Первый раз бездарно она предала их на поле сражения… Военнопленные — это и были именно те, чьими телами был принят удар и остановлен вермахт. Второй раз бессердечно предала их Родина, покидая подохнуть в плену. И теперь третий раз бессовестно она их предала; заманив материнской любовью («Родина простила! Родина зовет!») и накинув удавку уже на границе.

Кажется, столько мерзостей совершалось и видено у нас за тысячу сто лет нашего государственного существования! — но была ли среди них такая многомиллионная подлость: предать своих воинов и объявить их же предателями?»

Вот почему затрепетали ноздри у конвойных литературных овчарок: почувствовали, что кроется за этой странной бандитской мамкой…

Как боялись они, что многомиллионный читатель (а «Звезда» Казакевича выходила миллионными тиражами) на минуту задержится тут, возле «бандитской мамки», и спросит у самого себя: да ведь это одна семья, одна крестьянская семья, которую, случалось, и топором не разрубишь; почему же братья стреляют друг в друга?

В большой литературе бывает так. Как в морских проливах. Наверху пласт теплой воды, а глубже совсем другой, ледяной, и течет он, этот придонный пласт, в противоположном направлении… Близок локоток, да не укусишь!

А еще откровеннее, еще очевиднее образ следователя прокуратуры Еськина, который оказался в своих подозрениях правым: разведчик Мамочкин действительно не вернул крестьянских коней в деревню.

Почему же читатель так возненавидел его, следователя?

Пожалуй, трудно найти более наглядное свидетельство тому, что сюжет — это позиция автора. Дело не в рябом самоуверенном Еськине и бузотере Мамочкине. А в том, в какую секунду сюжетного времени появляется Еськин.

Чем ближе смерть, нависшая над разведчиками, чем гуще свист пуль над Травкиным, Мамочкиным, Аникановым, ставшими героями из героев, тем ближе подходит к ним с другой стороны советский военный трибунал в облике неумолимого рябого педанта, готового, коль те выскочат из лап смерти, немедля затянуть свою петлю…

Как же надо было ненавидеть эти «трибунальские жернова», ежедневно перемалывающие сотни солдат и офицеров, как перемололи они и Солженицына, на какой решиться риск, чтобы так выстроить сюжет…

Гоголь сетовал: «Перо все время тычется в запрещенные места…»

У Казакевича перо сразу развернулось, как магнитная стрелка к северу, в недозволенную, смертельно опасную для автора сторону. К опасности, которая все более грозила советскому народу с тыла, напоминая ему, что он несвободен в этой освободительной войне…

С трудом сдерживаемая ненависть дала выход уже через полтора года — в 1948 году.

Именно в этом расстрельном году, году космополитических погромов и массовых арестов интеллигенции, появилась повесть «Двое в степи».

«Двое в степи» — точное свидетельство того, что тема еськинщины была для автора «Звезды» подспудно-главной, выстраданной: героями новой повести Казакевича оказались молоденький лейтенант Огарков и слепая жестокость сталинского времени — военный трибунал, приговоривший Огаркова к расстрелу.

Он был начальником химической службы. Огарков, но в общей неразберихе его погнали с пакетом в одну из дивизий, и Огарков, горожанин, потерял в лесах направление и пакета не доставил. Никаких бед от этого не произошло, но автор пока что об этом не сообщает. А сообщает о другом: сидит Огарков в землянке и ждет расстрела.

Далее повествование теряет свой предначертанный соцреализмом ход и становится совершенно необычным для дозволенной литературы.

Немцы наступают, фронт уходит, и в суматохе об Огаркове и солдате, охранявшем его, забыли. И они остаются как бы на ничьей земле. Немцы прогрохотали где-то в стороне, а советских

и след простыл… И вот приговоренный к смерти Огарков и солдат Джурабаев пробираются к своим. Вначале Джурабаев ведет приговоренного, подпирая его в спину штыком, а потом идет рядом и воюет рядом. Джурабаева ранят, и Огарков тащит его на своих плечах. Потом, когда Джурабаев умирает, Огарков забирает его оружие и документы и вместе с разбитыми частями, которые тоже пробиваются из окружения, вырывается к своим… Своим, по сути, уже расстрелявшим его…

Художественная сила повести, поэтичность речи приковывают читателя сразу же, как и в «Звезде».

«Армия отступала по необозримым степям, и вчерашние крестьяне равнодушно топтали спелую пшеницу, которая валялась повсюду запыленная, избитая, изломанная».

Как поразительно емка первая фраза повести! Крестьяне, равнодушно топчущие пшеницу… Тоска в глазах отступающих солдат — рабочих парней, которым придется переделывать чью-то плохую работу.

Но вот от точного реализма деталей автор словно уводит нас, вместе с героями, к небу, горящему отраженным земным светом: «… наступил рассвет, запели птицы и забегали посыльные. На востоке, где была Волга, встали огромные вертикальные красные полосы, похожие очертаниями на гигантских алых солдат, медленно идущих вдоль горизонта».

Вскоре второе, придонное течение, о котором я говорил, подымается наверх. И оказывается прямой угрозой для режима. И для автора…

Солдат Джурабаев, охранявший Огаркова, прост, как трава. Как ветер. У него острый слух степного человека, он слышит не только дальние выстрелы… «Ворона на тополе наконец замолчала, улетев или, возможно, заснув. Недалеко в густой пшенице раздавался тихий шорох — там возились суслики или полевые мыши. Все громче становилось стрекотание множества насекомых».

Он добр и справедлив, степной житель. Разводящий намекнул ему: застрели осужденного, если что, а Джурабаев намека не принял, возможно, даже не понял. Вместо этого разделил со смертником кашу, принесенную только ему, часовому.

К вечеру, когда солнце было сзади, бредущий на восток Огарков видел возле себя тень Джурабаева. К этой тени Огарков почувствовал глубокую антипатию, почти ненависть. Не к Джурабаеву, а именно к его тени.

Сама эта тема тени не нова в литературе. О ней говорили немецкие романтики Шамиссо и Новалис. Тень присутствует в прозрачно-фантастической драматургии прекрасного советского

драматурга Евгения Шварца. Но в таком предметно-реалистическом контексте, в эпоху трибуналов и массовых казней она зазвучала совсем иначе…

Тень тенью, а между самими людьми — Огарковьм и Джурабаевым — складываются совсем иные отношения, человеческие. «Он ведь может расстрелять меня, — подумал Огарков. Почему он этого не делает?..

— Вы бы поспали, я не убегу… Обещаю вам…»

Они бредут с ним дальше, попадают в чужой бой, где незнакомый пехотный лейтенант, угадав в Огаркове офицера, сунул ему автомат и отправил в разведку. У Огаркова шевельнулась мысль — удрать, но он подумал о молоденьком солдате, которого ему дали в помощь и который верил в него, как в Бога, и о лейтенанте, сунувшем ему автомат. «Именно доверие к нему этих случайных людей в гораздо большей степени, нежели страх перед степным чутьем и упорством Джурабаева, заставило Огаркова встать и вернуться…»

И он двинулся дальше, в сторону трибунала, «неся автомат впереди себя, как чужую хрупкую вещь. Вскоре руки устали, и он, покосившись на Джурабаева, надел автомат на ремень.

Джурабаев вдруг спросил: «Комсомолец был?» Огарков ответил: «Да!»

— Ай-ай-ай! — сокрушенно закачал головой Джурабаев, выражая этими звуками и порицание, и удивление, и жалость.

Но вот Огарков один-оденешенек. Свободен, как птица. Ощущения его поразительны. Он потерял проклятую тень. Но вместе с тем он потерял Джурабаева, ставшего его фронтовым товарищем. И — почувствовал себя человеком, лишенным опоры и какой-то видимой цели.

Однако Казакевич не был бы самим собой, то есть крупнейшим мастером сюжета, если б не воздвиг на пути смертника Огаркова новые соблазны. Это милая крестьянка Мария, которая не прочь, чтоб он остался у нее. И молодой сосед-дезертир, добравшийся до своей хаты, голос которого все звучал и звучал в соседнем дворе:

Начинаются дни золотые
Воровской непроглядной любви.
Эх, вы кони мои вороные!..

Сосед звал Огаркова распить с ним бутыль самогона да начать новую жизнь. Огарков отказался, пытаясь не прислушиваться к пьяному голосу, который пел навзрыд:

Мы уйдем от проклятой погони,
Перестань, моя крошка, рыдать…

Все переправы уже взорваны, но Огарков все равно плывет к расстрелявшим его, оставив на берегу любящую душу — Марию.

Вот он, последний аккорд, нет, еще не книги, а смертельно опасной для автора темы: «Лодка понеслась вперед, и вскоре Огарков очутился на середине реки. Одинокая фигура женщины на берегу исчезла из виду.

Оглядевшись кругом, Огарков ощутил в душе чувство необычайной свободы и даже счастья…

И ему захотелось, чтобы его хоть на одно мгновение увидала мама и Джурабаев. И если жива маленькая химинструкторша Валя, так чтоб и она увидала его. И командир саперного батальона, и курносый лейтенант… Чтобы все они видели, что он не жалкий беглец…»

Возвращается Огарков в штаб армии, в трибунал — почему же эта тема смертельно опасна для автора?

… Расстреливают патриотов, людей, верных Советской России, — вот что сказал фронтовой разведчик Казакевич, когда массовые расстрелы были сталинской политикой.

Если бы Казакевич сказал только это, вполне было бы достаточно, чтобы с ним покончили. Но он не остановился и тут. Он глубоко исследует и вторую сторону жизни — тень.

Никто из героев Казакевича не верит в гуманизм трибунала.

> «… некоторые офицеры из самых молодых… уже заранее обвиняли трибунал в черствости и формализме…»

В повести Даниэля «Говорит Москва» советское правительство учредило, по вымыслу Даниэля, День открытых убийств.

Даниэль сказал это в годы «хрущевского либерализма» — лагерная судьба его известна всем.

Казакевич сказал нам не о днях, а о годах открытых убийств. И сказал это, не могу не повторить без удивления, в сорок восьмом году!..

Однако что же такое — тень? Трибуналы?.. На этой мысли и остановились герои Казакевича. Но не сам автор.

— Нет, не трибуналы! — доказывает он.

Страх перед собственной жалостью преследует всех трибунальских. Джурабаев после первого же боя полюбил Огаркова. «И почувствовав это, — пишет автор, — решил принять меры немедленные и жестокие». Он повел его дальше, сказав

через силу: «Штаб армии нада!»

Да что Джурабаев! Председатель трибунала, полная, суровая женщина с двумя «шпалами», у которой незадолго до этого убили сына, похожего на Старкова, «гладя на высокого белокурого молодого лейтенанта… на секунду ощутила ноющую боль, которую тотчас подавила…»

Так в кого же и во что метит автор, если вдруг оказывается, что и весь трибунал, от председателя его до конвойного Джурабаева, непрерывно стремится заглушить в себе все естественно-человеческое? Что это за тень, нависшая над Старковым, Джурабаевым, всевластным председателем трибунала, женой самого командующего армией? Значит, и они косятся на тень, придавившую их?

Вот что, оказывается, решился написать и издать фронтовой разведчик Казакевич в годину массового террора.

Но — он не остановился и на этом. Эммануил Казакевич прямо сказал и о пущей беде: миллионы Огарковых все еще верят в справедливость варварской эпохи; что, мол, зря не сажают, не расстреливают. И когда лейтенанта Огаркова потащили на расправу, по сути без суда и следствия, он. Огарков, считал это вполне справедливым, как и сам приговор. «Сильная, неудержимая дрожь стала бить его. Дрожь, впрочем, скоро унялась, сменившись мертвой оцепенелостью. Нет, он ничего не имел сказать трибуналу. Все, что произойдет, — должно произойти, потому что это справедливо».

Справедливо и то, что подле него стреляют баптиста, которому вера запрещает брать оружие.

Баптист не просил снисхождения, коль и Огарковых стреляют. Только вот перед смертью не удержался, спросил у Огаркова, запертого с ним в одной землянке:

— А ты-то, советский, за что сюды попал?

Огарков не усомнился в справедливости расправы над ним даже тогда, когда прочел в глазах председателя трибунала — еще до разбирательства его дела — нескрываемую враждебность, глубоко поразившую его. Тут уж нечего было ждать пощады, и Огарков, «не читая, подписал все, что требовалось…»

Впрочем, догадайся Огарков о дикой неправде, не сказал бы он себе, как миллионы его сверстников: «Лес рубят — щепки летят!»

Вот когда проступила страшная густота тени, нависшей над поколением и омрачившей его сознание.

За четверть века до «Архипелага ГУЛАГ» Эммануил Казакевич сказал и, как видим, сказал прямо, о черной тени этого «Архипелага» над страной, над каждым ее жителем.

… Сталин пришел в ярость, о чем стало известно не только Казакевичу. Об этом упоминает и самиздатский «Политический дневник», вышедший в те годы на Западе.

Не знаю, что спасло Казакевича. Увело от беды в те кровавые годы ареста, а затем расстрела всех его старших товарищей, с которыми он был связан еще до войны, когда жил в Биробиджане и начинал как еврейский поэт.

Ему оставили призрачную надежду на то, что его могут помиловать, если он напишет «правдивое произведение»… И через год, в 1949 году, он завершает воистину с панической скоростью, роман «Весна на Одере», пухлое произведение по всем канонам социалистического реализма.

Роману дали Сталинскую премию и тут же перевели на иностранные языки, чтоб Запад не подумал, что в России не ценят таланты… Сам Фадеев обнял его.

Физически Казакевич спасен. Но писателя уже нет, хотя он пишет книгу за книгой.

Последним взлетом Эммануила Казакевича был 56-й год, когда он стал одним из редакторов «Литературной Москвы», поднявшей знамя литературного мятежа.

Он умер в 1962 году, не дождавшись выхода «Одного дня Ивана Денисовича». Всего за несколько месяцев…

И вот сейчас, когда я пишу об Эммануиле Казакевиче, я все время вспоминаю его лицо, неподвижное, как посмертная маска; передо мной, как наяву, стоят его глаза, пронзительно-внимательные, печальные, мудрые, которые за толстыми стеклами очков кажутся расширившимися от ужаса…

3. Герои расстрельных лет. Виктор Некрасов

Виктор Платонович Некрасов — явление, возможно, еще более удивительное, чем Эммануил Казакевич. Его книга «В окопах Сталинграда», вышедшая в 1946 году, составила целую эпоху, а эпохи не вырубить из истории даже циркуляром Главлита…

Рукописи на тетрадных листочках, подписанной неизвестным именем «В. Некрасов», повезло неслыханно: она попала на квартиру старейшего рецензента «Нового мира» В. Келлера-Александрова. На окнах этой странной отшельнической квартиры навсегда остались черные шторы затемнения военных лет, хотя война давно уже кончилась. Похоже, старик Келлер отгораживался от «мирного» сталинского времени, стараясь жить в прошлом, на высотах духа…

Чудаковатый, тощий, больной Келлер был гениальным

стилистом, ему первому читал Твардовский свои стихи, советуясь с ним, веря его слуху.

Я до сих пор помню взволнованный фальцет Келлера в трещавшем телефоне: «Рукопись выудил. В самотеке. До-стоверная!»

Здесь, на забытой богом 3-й Тверской-Ямской, у забаррикадировавшегося под тремя засовами Келлера, я впервые прочитал достоверную рукопись, познакомился с чернявым немногословным парнем с запавшими щеками и жестковато-насмешливым голосом «Виктором, или просто Викой», как он сам себя представил, а затем с его героем, еще более молчаливым, боксерской стати молодцом, окрещенным в книге Чумаком.

Удивительное это было время, когда авторы привозили на ночлег своих героев, чудом выживших, израненных, хлопотали по их делам, а редакторы «пристраивали» не только рукописи, но и авторов, порой зверски голодных, бездомных, в прожженных мятых шинелях.

Келлер перепечатал рукопись, уговорил Александра Твардовского прочесть ее. Тот прочел и немедля позвонил Всеволоду Вишневскому, только что открывшему Казакевича…

Да будет славен старый небритый Келлер!

Спасенная им рукопись стихийно-талантлива. Пожалуй, она противоположна прозе Казакевича по словесной ткани. Почти нет поэтических тропов, той взволнованно-метафоричной прозы, которую невозможно без потерь пересказать. Проза Виктора Некрасова деловита, часто суха, как дневниковая запись.

Однако и такие записи — писательские; действуют на все органы чувств: «Дождь перестал, немцы молчат. Воняет раскисшим куриным пометом. Мы лежим с Игорем около левого пулемета». Целую гамму чувств рождает у читателя этот запах куриного помета. Значит, пули свистят у крестьянских домов. Рядом, в подвале или просто распластавшись на полу хат, лежат дети, старухи, вздрагивающие от каждого выстрела.

А как талантливо-своеобразен Виктор Некрасов в своих характеристиках героев! Вот приходит начальник штаба Максимов. Мы даже звания его не знаем. Подтянутый, сухой, — вот, пожалуй, и все. И вдруг: «С его приходом все умолкают. Чтобы не казаться праздными — инстинктивное желание в присутствии начальника штаба выглядеть занятым, — копошатся в планшетках, что-то ищут в карманах».

И ведь кто это суетится — добавим. Фронтовые пехотные офицеры, которые только что подымали людей в атаку, шли в штыковую, люди в забрызганных кровью шинелях, которым не страшен ни Бог, ни черт! Бог и черт не страшны, а вот начальник

штаба!..

Как видите, почти ничего не сказано о начальнике, а — все сказано…

И не только о нем. Начальник штаба не в духе: одному офицеру достается за расстегнутый карман гимнастерки, другому и вовсе за ничтожные нарушения формы. Но вот на вопросы начальника штаба отвечает комбат-1 Ширяев. У Ширяева «из-за расстегнутого ворота выглядывает голубой треугольник майки. Странно, что Максимов не делает ему замечания…» — как бы удивленно сообщает автор.

И сразу ясно. Комбат Ширяев — опора, надежда. Ему, кадровику, даже это прощается. Одна вскользь брошенная фраза — аккорд, вводящий в характер.

Этот прием опосредствованного, через других героев, видения применяется Некрасовым часто, давая эффект максимально впечатляющий. Вот, к примеру, немая сцена: фронт откатывается, солдаты отступают, но перед читателем не они, солдаты: «У ворот стоят женщины — молчаливые, с вытянутыми вдоль тела тяжелыми грубыми руками. У каждого дома стоят, смотрят, как мы проходим мимо. Никто не бежит за нами. Все стоят и смотрят».

Когда мне пришлось отступать по Белоруссии, почти во всех окнах города Рогачева были выставлены иконы. Немцы, грохотавшие по ту сторону Днепра, разбрасывали листовки о том, что никого не тронут. «Только жидов и коммунистов». И вот население Рогачева, не дождавшись нашего отхода, торопливо от нас открещивалось…

Такое не могло быть опубликовано в 46-м году. Казакевич дерзнул написать «о бандитской мамке». Одной-единственной…

Некрасов увековечил молчание. У каждого дома — молчание.

Как видим, у Виктора Некрасова своя структура языка, своя стилистика, близкая отчасти фронтовой прозе Хемингуэя; однако она насыщена подтекстом такой глубины, которого, скажем, в «Прощай, оружие» Хемингуэя и быть не могло.

Дело отнюдь не в сопоставлении талантов; о нет!

Хемингуэй был свободен, раскован, о чем бы ни говорил. Некрасов писал в годы массового террора и забыть об этом, естественно, не мог. Как и Казакевич.

Поэтому книга «В окопах Сталинграда» многослойна, как сама земля. И я попытаюсь исследовать ее, как геологи землю. Слой за слоем. Углубляясь все глубже и глубже. К заветному, запретному и смертельно опасному.

Верхний слой повествования — бои под Сталинградом, героизм, ставший бытом, о чем пресса тогда только и писала. Она

старалась, правда, не очень задерживаться на этой вот разящей достоверности деталей и подробностей: «В полку сейчас сто человек, не более». Вместо 2–3 тысяч активных штыков.

Или вот: готовится атака, приезжает бездна наблюдателей. Начальство спрашивает, вынимая блокнотик:

— А какими ресурсами вы располагаете?

— Я располагаю не ресурсами, а кучкой людей, — вырывается у комбата Ширяева. — В атаку пойдет четырнадцать человек.

Герои позволяют себе не только такое. Инженер-электрик сталинградской ТЭЦ Георгий Акимович, не военный, правда, «в кепке с пуговкой», режет вдруг:

Куда нам с немцами воевать… Немцы от самого Берлина до Сталинграда на автомашинах доехали, а мы вот в пиджаках и спецовках в окопах лежим с трехлинейкой образца девяносто первого года.

… Что вы хотите этим сказать?

— Что воевать не умеем.

— А что такое уметь, Георгий Акимович?

— Уметь? От Берлина до Волги дойти — вот что значит уметь.

И далее, опять он, всеми уважаемый, «в кепке с пуговкой»: «Перед Наполеоном мы тоже отступали до самой Москвы. Но тогда мы теряли только территорию, да и то это была узкая полоска. И Наполеон, кроме снегов и сожженных сел, ничего не приобрел. А сейчас? Украины и Кубани нет — нет хлеба. Донбасса нет — нет угля. Баку отрезали. Днепрострой разрушен, тысячи заводов в руках немцев… В силах ли мы все это преодолеть? По-вашему, в силах?»

Именно за подобные мысли, высказанные в личном письме, и швырнули в ГУЛАГ Александра Солженицына. Всего-навсего полтора-два года тому назад. А тут они не в личном письме…

На поверхности повествования — бесчеловечность войн. «справедливых» и «несправедливых».

«Я помню одного убитого бойца. Он лежал на спине, раскинув руки, и к губе его прилип окурок. Маленький, еще дымившийся окурок. И это было страшнее всего, что я видел на войне. Страшней разрушенных городов, распоротых животов, оторванных рук и ног. Раскинутые руки и окурок на губе. Минуту назад была еще жизнь, мысли, желания. Сейчас — смерть».

Начинаются бомбежки. Солдаты торопливо прячутся, «потом вылезают и, если кого-нибудь убило, закапывают тут же на берегу в воронках от бомб. Раненых ведут в санчасть. И все это спокойно, с перекурами, шуточками».

Убийство стало бытом. Посмеются, похоронят, перекурят, снова похоронят.

Это — обыденность каменного века, когда шли с камнями на мамонта, веселясь в случае удачи, даже если кого-то закапывали…

Непонятные иностранные слова издавна переосмысливались в народном языке, обретая порой иронический оттенок. Со времен Лескова эта народная этимология прочно вошла в литературу. Ее зорко подмечает В. Некрасов.

Пленный офицер предлагает солдату огонька: «Битте, камрад!»

Ладно, битый, сами справимся, — и подносит огонь.

— Па-а-а щелям! — кричит один из героев. Лисогор, когда родная артиллерия начинает обстрел немецких позиций. — Прицел ноль пять, по своим опять!

Язык откровенен, как народ. Документы утаят, язык выдаст…

В июне 41-го года крестьянин, удиравший на скрипучей телеге от немцев, сказал мне со страхом и невольным уважением к силище, заполонившей небо: «Гансы летят».

А зимой 41-го об окоченелом немце говорили уж не иначе, как иронически: «Фриц». А украинцы — «Хриц!» И какое презрение вкладывалось в это «Хриц»!

Виктор Некрасов чуток к фронтовой и лагерной лексике. Это язык, от которого писатели отставали, случалось, на годы, а словари — на десятки лет, все еще помечая самые распространенные, укоренившиеся слова пометками «жарг», «обл.», «техн.» и пр. Но пойдем дальше.

Ординарец лейтенанта Керженцева (прототип автора) Валега — замечательный паренек, добрый, сердечный, храбрый. «О себе он ничего не говорит, — пишет Некрасов. — Я только знаю, что отца и матери у него нет… За что-то судился, за что — он не говорит. Сидел. Досрочно был освобожден. На войну пошел добровольцем…»

Образ простодушного Валеги — один из самых обаятельных образов солдата в советской литературе. И вдруг — сидел Валега. Кого же на Руси сажают?

С разных сторон, с разных фронтов тянутся к одной и той же трагической теме писатели Некрасов и Казакевич, друг друга до того и в глаза не видавшие…

«Лопата — та же винтовка, — весело говорит офицер из «Окопов Сталинградэ», собрав на берету бойцов, — и если только, упаси бог, кто-нибудь потеряет лопату, кирку или даже ножницы для резки проволоки, — сейчас же трибунал». — Бойцы сосредоточенно слушают и вырезают на рукоятках свои фамилии.

Спать ложатся, подложив лопаты под головы».

Казакевич блистательно написал о том, как человека приговорили к расстрелу за недоставленный пакет. Не только за пакет, расширяет картину Некрасов, могут и за лопату. И за кирку.

Естественно, что отсидевший свое Валега вовсе не так уж прост, как думалось ранее.

Проезжают столб с надписью «Сталинград — 6 км». Столб накренился, табличка указывает прямо в небо. «Дорога в рай», — мрачно говорит Валега. Оказывается, он тоже не лишен юмора. Я этого не знал».

Самый простой советский человек, проще некуда, зорок, чуток, уязвим.

И тема эта, глазами лейтенанта Керженцева, рассматривается все пристальнее, все глубже и разностороннее.

Оскорбляет, досаждает, случается, разлагает таких парней не только постоянное застращивание, но и многое другое, скажем, привычная ложь донесений. По донесениям, противник теряет втрое больше, советские — втрое меньше. «Один раз в расположение нашего полка падает «мессершмитт», — сообщает Некрасов. — Кто его подбил — неизвестно, но в вечерних донесениях всех трех батальонов значится: «Метким ружейно-пулеметным огнем подразделений сбит самолет противника». Итак, сбито три самолета…

Атмосфера постоянной лжи и неразберихи порой сгущалась так, что это сбивало с ног даже таких стойких людей, как комбат-1 Ширяев. Как-то в землянке, за водочкой, он разоткровенничался, спрашивает у Керженцева: «А скажи… было у тебя такое во время отступления? Мол, конец уже… Рассыпалось… Ничего уже нет. Было? У меня один раз было…»

Уж не вызывает удивления, что, случается, отстают в походе и разбегаются по своим деревням солдаты (когда армия оставляет их деревни); приходится комбату Ширяеву перед командирами рот даже пистолетом потрясти, пригрозить: «Если потеряется еще хоть один человек — расстреляю из этого вот пистолета».

Но бегут не только солдаты. Пропадает вдруг офицер Калужский. Вместе с подводой и солдатом. Хотят выжить.

«Народный монолит», как принято было тогда писать, подточен, и давно, встречным потоком: террором, разорением крестьянства, нескончаемым «пиром во время чумы» в иных генеральских блиндажах, увешанных коврами, куда адъютанты доставляют все новых ППЖ (походно-полевых жен).

Бегство Калужского, помощника по тылу, который — по должности — обязан снабжать начальство «всем

необходимым», — отражение разброда, бездушия и своекорыстия в штабных «верхах»: ничто так не действует на человека, как пример высшего начальства.

Но большинство ведь не бежит, сражается до последнего. Их-то берегут? Какое!

… Матросы еще есть? — спрашивает поверяющий перед боем.

— Есть, человек десять, — ответили ему.

— Ну, тогда возьмешь, — успокоение говорит поверяющий.

«Еще есть…» Как о гвоздях, о карандашах!

Мы достигаем, наконец, глубин подтекста, порой, заметим, столь очевидных, что у критиков отнимался язык. Даже догадаться об этом было смерти подобно, не то что высказать…

Харьков был позором Сталина, я упоминал об этом. Вторичное наступление под Харьковом, предпринятое вопреки штабным расчетам, по личному и гневному приказу Сталина, привело к потере 750 тысяч солдат. После харьковской катастрофы И. Сталин, по рассказу маршала Баграмяна, отошел от непосредственного руководства операциями, доверив их, наконец, специалистам…

Харьков — больное место Сталина, «ахиллесова пята» гения. Кто посмеет об этом сказать?

Виктор Некрасов. «Надо еще поменять карту у Корсакова, — пишет он. — Так и не воспользовались мы той новенькой, хрустящей, с большим разлапистым, как спрут, пятном Харькова в левом углу…».

Но это лишь присказка…

В землянке друга «чадит лампа, сплющенная из артиллерийской гильзы. На стенке… вырезанный из газет портрет Сталина и еще кого-то — молодого, кудрявого, с открытым симпатичным лицом.

Это кто?..

— Джек Лондон.

— Вы любите Джека Лондона?..

— А его все любят. Его нельзя не любить.

Почти вся страница о том, как хорош Джек Лондон. А о Сталине, между прочим, ни слова. Чувствуя, что подставляет себя под удар, автор добавляет: «… Настоящий он какой-то (т. е. Джек Лондон. — Г. С.). Его даже Ленин любил. Крупская ему читала…».

Ну, это почти полное алиби.

Однако Виктору Некрасову неймется. Друг, у которого висели портреты Сталина и Джека Лондона, погиб. И автор вешает у себя портрет Джека Лондона, взятый из опустелой землянки. «Портрет Лондона я вешаю над столиком ниже зеркала».

А портрет Сталина как же? А вот так, остался в брошенной

землянке. Не перенес его к себе лейтенант Керженцев. Без надобности портрет.

Таких эпизодов немало, и каждый из них вызывал тихий ужас у всех генералов увещевательных и карательных служб.

Не было, скажем, в те годы мысли еретичнее, чем мысль, что не гений Сталина, а горы солдатских трупов да — напоследок — второй фронт привели к победе.

Виктор Некрасов высказывает эти мысли, правда, осторожно, как бы сомневаясь вместе с солдатами, можно ли считать африканские события вторым фронтом.

Однако отмечает: «Сталин выступал шестого ноября… (со своим провидческим посулом «Будет и на нашей улице праздник». И — каков провидец!) «…Седьмого союзники высаживаются в Алжире и Оране…

Тринадцатого же ноября немцы в последний раз бомбят Сталинград… И улетают. В воздухе воцаряется непонятная, непривычная, совершенно удивительная тишина… Выдохся фриц. Это ясно». А. вот уже и вовсе без обиняков.

«Ширяев говорит, не поднимая глаз: «А все-таки воля у него какая… Ей-богу!» «У кого? — не понимаю я». (Ишь ты — не понимает Некрасов… — Г. С.)

— У Сталина, конечно… Ведь второй год лямку тянем. А он за всех думай…

Тебе хорошо. Сидишь в блиндаже, махорку покуриваешь, а не понравится что, вылезаешь, матюгом покроешь, ну, иногда там пистолетом потрясешь… А у него карта. А на ней флажки. Иди разберись… И вот смотри — держит всех нас…»

Испуг официальной критики был таков, что поначалу они подходили к книге, как к заминированному предмету.

«Держит всех нас…» Что автор хочет этим сказать? На что намекает?! Никто не смел выговорить публично, но все думали об одном и том же, зашептались в редакциях, в Союзе писателей; объяснено ведь черным по белому: «пистолетом потрясешь…»

Значит, получается по Некрасову, Сталин держит… трибуналами, заградотрядами МВД, расстрелами перед строем и на дорогах, пистолетами комбатов. Словом террором…

Карателитто знали, сколько миллионов солдат расстреляно и брошено в лагеря — и во время войны, и после нее, когда стали возвращаться эшелоны с несчастными военнопленными! Сколько миллионов сгноили голодом и холодом!

Но трибунальские бумаги хранились за семью печатями. С грифом «СС» (совершенно секретно).

Что же делать? Отдавать автора под суд, конечно, закрытый, а книгу — немедля изъять? Или не заметить?

Тут уж как прикажут. На всякий случай начали в печати шельмовать, исподволь, осторожно. Зловеще замелькало на обсуждениях, в начальственных кабинетах расхожее словечко судебных следователей и номенклатурных критиков: «якобы…»

Якобы страхом держит! Якобы расстрелами!

Ан не вышло…

Виктор Некрасов был награжден Сталинской премией за 1947 год — для этого разъяренный бульдожистый Всеволод Вишневский всех на ноги поднял; понимал: уступит Фадееву, вычеркнувшему Некрасова из списка награжденных, отдаст молодого писателя на растерзание — самому головы не сносить…

Забыть ли Некрасову те дни? Он сам пишет об этом:

> «Вы знаете, — сказал мне Всеволод Вишневский, редактор журнала «Знамя», где я был напечатан, закрыв дверь и выключив телефон, — Вас сам Сталин вставил. В последнюю ночь. Пришлось срочно переверстывать газеты».

Но уж более столь еретический текст не публиковался, так и остался — лишь в журнале «Знамя», десятом номере за 1946 год. Гора последующих лауреатских изданий погребла смертельно опасный оригинал раз и навсегда.

Вот каким он стал уже через год, в книге, вышедшей в 1947 году, в издательстве «Московский рабочий», которым руководил добряк Чагин, некогда покровитель Сергея Есенина: роковая фраза «держит нас всех» уточнена: «И вот смотри — держит же, держит… Весь фронт держит…» И хотя повесть отдельной книгой вышла через два года после победы, редактор на всякий случай — пронеси, Господи! — добавляет комбату Ширяеву веры и прозорливости: «И до победы доведет (Сталин то есть. — Г. С.). Вот увидишь, что доведет…»

Сличаешь журнальный и книжный тексты, и видишь — книга испещрена, перепахана редакторской рукой.

Виктор Некрасов даже присвистнул, когда я недавно показывал ему тексты. В те дни он, автор первой книги, и подумать не мог, что его смеют так «улучшать…»

Сейчас, из дали лет, особенно отчетливо понимаешь, что Виктор Некрасов прошел буквально по лезвию ножа.

Ни одной опасной темы «не забыл». Ни одной.

…Началась вакханалия официального сталинского шовинизма. Автор намеренно одного из главных героев вывел под фамилией Фарбер, да описал подробно, что он, Фарбер, «особо остро чувствует свою неполноценность»… Правда, Фарбер тут же увел разговор в сторону, мол, завидует Фарбер комбату Ширяеву,

его силе и ловкости.

Но чтоб читатель, вдумчивый читатель, не дал себя увести в сторонку и ощутил направленность подтекста, Некрасов написал диалог Керженцева с резким правдивым разведчиком Чумаком. «А теперь расскажите о танках. Как фамилия того, второго, который подбил?» — спрашивает Керженцев. «Корф», — отвечает Чумак. — «Рядовой?» — «Рядовой». — «Это его первый танк? — не унимается Керженцев. — Награжден?» — «Нет». — «Почему?» — «А хрен его знает, почему. Материал подавали…»

Оказывается, порой неуютно было на антифашистской войне людям с нерусскими фамилиями Корф и Фарбер, сообщает бесстрашный Некрасов — подумать только! — в 46-м году.

В этом новом глубинном пласте почти все — аллюзии, недомолвки, как бы случайные реплики, постижимые только при дальних отсветах разбросанных, как бы не связанных между собой фактов; понятные, впрочем, в России всем, жаждущим правды.

В этих сценах уже тогда поднялся во весь рост русский писатель и русский человек Виктор Некрасов, ярый ненавистник великорусского шовинизма, разбуженного Сталиным. Тот Некрасов, который позднее всколыхнул всю Россию своим публичным протестом против киевских помпадуров, вознамерившихся превратить Бабий Яр в Парк культуры и отдыха.

«В Бухенвальде поставили колокол, — писал он в «Литературной газете» в 59-м году. — Набат его предупреждает о том, что подобное не должно повториться. А в Киеве? Бальные танцы на могилах расстрелянных?..»

К концу «Окопов Сталинграда» читатель проникает в такие глубины подтекста, которые критики не просто обошли. Обежали, зажмурясь…

Случайно ли кровавая бойня, устроенная начальником штаба Абросимовым, тупым, жестким истериком, — эпизод, завершающий повесть? Это — последний эмоциональный, психологический удар. Место в сюжете рассчитано с такой точностью, с которой сапер Керженцев обезвреживал мины: неточное движение — и тебя нет…

Комбат Ширяев готовит атаку. Противник так близок, что и у немцев, и у русских ходы сообщения оказались общими. Ширяев и Керженцев решили взорвать завалы, разделяющие проходы, и ворваться в немецкие окопы, не выскакивая наверх, под огонь немецких пулеметов, бьющих в упор.

Только приблизились к завалам, бежит Абросимов.

«Он тяжело дышит. Облизывает языком запекшиеся губы.

Я вас спрашиваю — думаете вы воевать или нет, мать вашу?!..

— Думаем, — спокойно отвечает Ширяев. — Разрешите

объяснить.

Абросимов багровеет.

— Я те объясню…

Хватается за кобуру.

— Шагом марш в атаку!.. Где ваша атака?

— Захлебнулась, потому что…

— Я не спрашиваю, почему… — и вдруг опять рассвирепев, машет в воздухе пистолетом. — Шагом марш в атаку! Пристрелю как трусов! Приказание не выполнять…

Мне кажется, что он сейчас повалится и забьется в конвульсиях.

— Всех командиров вперед! И сами вперед! Покажу вам, как свою шкуру спасать… Траншеи какие-то придумали себе…

Пулеметы нас почти сразу укладывают. Бегущий рядом со мной боец падает как-то сразу, плашмя, широко раскинув перед собой руки…

Немецкие пулеметы ни на секунду не умолкают. Совершенно отчетливо можно разобрать, как пулеметчик поворачивает пулемет — веером — справа налево, слева направо…»

«Война все спишет!» — любили говорить на фронте преступники, посылающие людей на убой.

Вспоминая многочисленные эпизоды: карту Харькова, портреты Сталина и Джека Лондона, ширяевское «Всех нас держит…» и другие подобные, мы отчетливо понимаем, что Виктор Некрасов судит в те страшные годы не подсудное никому — сталинские методы, сталинских выучеников, которых олицетворяет образ Абросимова. И — прозрачно намекает, слишком прозрачно, чтоб уцелеть, кому обязана Россия гибелью двадцати миллионов человек…

Итак, четыре живых слоя… На поверхности — военный быт и народный героизм, а в самом низу — глубоко запрятанный бунт против человеконенавистнической идеи «человека-винтика», за здравие которого только что поднял тост «великий организатор наших побед товарищ Сталин».

Если дозволено сравнивать мужество двух писателей, рванувшихся навстречу огню, — Казакевича и Некрасова, — думается, армейский разведчик Казакевич отчетливее представлял себе, что его ждет. Виктор Некрасов в те дни напоминал мне счастливого киевского парубка, который выскочил на лесную опушку, не ведая вполне, что опушка эта — минное поле.

Но он, Виктор Некрасов, оказался покрепче. Казакевича — сломили. Виктора Некрасова — нет. До самого последнего часа — нет. Когда выхватили из рук перо, изъяли, арестовали все

написанное, скрутили руки писателю — он вырвался в эмиграцию. Вырвался — продолжать бой…

* * *

Хотелось бы здесь поставить точку. Заманчиво поставить.

Но тогда останется в тени главнейший вопрос, который не вправе обойти исследователь литературы сопротивления. Тем более книг, увидевших свет на закате сталинской эры, когда уже почти все чувствовали себя как бы в колонне зэков: «шаг влево, шаг вправо — считается побег. Конвой стреляет без предупреждения…»

Как вообще могли появиться такие книги? К каким приемам, намеренным или полуосознанным, прибегали авторы, чтобы обойти — нет, не главных редакторов типа Твардовского или Вишневского, которые все понимали и, порой рискуя головой, помогали таким книгам пробиться к читателю; как удавалось обойти даже военную цензуру, — а все книги о войне непременно посылались, кроме обычной политической цензуры, Главлита, еще и в военную, чтоб автор повести или стихотворения не выболтал ненароком военной тайны. Как удавалось антисталинским книгам прорваться сквозь оборонительные полосы сталинской цензуры?..

На это существовали свои нехитрые приемы, которые вдумчивый читатель в России прекрасно знал.

Они были нехитры, немудрящи, эти приемы, как немудрящи были запреты, наглядные, как забор из колючей проволоки.

1. «Не обобщать!»

Какие могут быть обобщения, когда у нас не как у людей! — как бы заранее предупреждает Виктор Некрасов со своей жестковатой усмешечкой.

«Не везет нашему полку. Каких-нибудь несчастных полтора месяца только воюем, и вот уже ни людей, ни пушек».

А у других, естественно, все хорошо: «Мимо проезжает длинная колонна машин с маленькими, подпрыгивающими на ухабах противотанковыми пушечками. У машин необычайно добротный вид… Это не наши… Выглядывают загорелые обросшие лица».

…А вскоре, когда героям Некрасова уж совершенно невыносимо жить, и пейзаж мучительный, тоскливый, степной, и «одуряющая, разжижающая мозги жара», тут же появляются первые части, идущие на фронт, хорошо одетые, с автоматами, касками. «Командиры в желтых скрипучих ремнях, с хлопающими

по бокам новенькими планшетками. На нас смотрят чуть-чуть иронически. Сибиряки».

Сибиряки в зеленых стальных касках, которые от степного солнца нагреваются так, что действительно мозги плавятся, им, как видим, все на пользу. Даже жара. Они — не мы…

2. «Где руководящая роль партии?!»

Тут Сталин, как известно, не помиловал даже своего любимца Александра Фадеева, заставив его переделывать роман «Молодая гвардия». Роман, оклеветавший многих людей, и прежде всего — одного из руководителей «Молодой гвардии» Третьякевича (в романе — предатель Стахович), стал после переделок лживым безгранично: партийное подполье Краснодона, уничтоженное гестапо в первые часы оккупации, под пером Фадеева зажило, заруководило…

Как ощутил опасность Виктор Некрасов, окопный офицер, пишущий в госпитале свою первую книгу? Видать, не столько рассудком, сколько, по словам классика, поротой задницей русского человека он заранее почувствовал ржавую «колючку» цензуры и постарался преодолеть ее с минимальными потерями для художественной ткани повести.

«Дела дерьмовые, — коротко говорит один из встречных, — полк накрылся.

Мы молчим.

— Майор убит… Комиссар тоже».

Через двенадцать страниц снова как бы невзначай: «Слыхал, что майора и комиссара убило?» Через пять страниц опять, уж вовсе ни к селу, ни к городу: «Говорят, что майора и комиссара убило…»

И все ж не выдерживает норовистый Некрасов чужеродного давления. Добавляет тут же: «…Комиссара убило. Максимов будто в окружение попал. Жаль парня, с головой был. Инженер все-таки…»

Вот так раз! Убило комиссара, а жалко не его, представителя партийного руководства, а Максимова, который с головой был…

Уж лучше бы не вынуждали Виктора Некрасова к вставкам.

Но участие комиссара в боях — требование не дискуссионное. Либо есть комиссар, либо рукопись никогда не станет книгой. И вот снова обязательная «галочка». Только комиссар, видимо, уже другой: «Я один как перст остался. Комиссар в медсанбате, а начальник штаба ночью ничего не видит».

К тем же «галочкам» прибегает и Эммануил Казакевич. Комиссар, в сюжете лишний, как и у Некрасова, встречает солдата с арбузами.

Ты куда?

— Раненым.

А, раненым, это правильно, — изрекает комиссар.

Итак, с ролью партии все в порядке. У Некрасова — недоглядели малость — в могиле или в санбате. У Казакевича зато партийным глазом одобрен арбуз.

Но Виктору Некрасову этого мало. Не терпится Виктору Некрасову сказать несколько слов по адресу «наблюдателей»…

Вот эта поразительная сцена:

«В подвале тесно, негде повернуться. Двое представителей политотдела (они указываются прежде всего. — Г. С.). Один из штадива. Начальник связи полка. Это все наблюдатели. Я понимаю необходимость их присутствия, но они меня раздражают».

В конце концов Керженцев требует, чтобы все, кто не будут принимать участие в атаке, покинули землянку.

«Глаза у капитана (наблюдателя — Г. С.) становятся круглыми. Он откладывает газету.

Почему?

— Потому…

Я прошу вас не забывать, что вы разговариваете со старшим.

— Я ничего не забываю, я прошу вас уйти отсюда. Вот и все.

— Я вам мешаю?

— Да. Мешаете.

— Чем же?

Своим присутствием. Табаком. Видите, что здесь творится? Дохнуть нечем. — Я чувствую, что начинаю говорить глупости…»

Капитан не уходит, но автор уж закусил удила:

«— Значит, вы собираетесь все время при мне находиться?

— Да. Намерен.

— И сопку со мной атаковать будете?

Несколько секунд он пристально, не мигая, смотрит на меня. Потом демонстративно встает, аккуратно складывает газету, засовывает ее в планшетку и, повернувшись ко мне, медленно, старательно выговаривая каждое слово, произносит:

— Ладно. В другом месте поговорим.

И выползает в щель. По дороге цепляется сумкой за гвоздь и долго не может ее отцепить».

«Они славные ребята, — вскользь замечает автор о представителях политотдела, — понимают, что вопросы сейчас неуместны, и молча занимаются своим делом».

«Славные ребята», естественно, смеются, видя, как капитан пытается отцепиться от гвоздя. Живые люди!.. Они доедают свои консервы. «Я против них ничего не имею — торопливо добавляет

Керженцев-Некрасов. — Но не мог же я одного капитана выставить». Они понимающе смеются и, пожелав успеха, уходят.

В подвале сразу становится свободнее…»

Вот что такое пусть и приневоленная, но точная и храбрая проза.

Инстинктивно, все той же «поротой спиной» советского человека почувствовал Виктор Некрасов: акцентировать надо на штабном, а не на «славных ребятах», Боже упаси!..

И по-доброму рассказал также о Сенечке — полковом агитаторе. О самом низовом работнике агитслужбы, таком же солдате, как и все. Сделал Сенечка чучело Гитлера, выставил его над бруствером, немцы стреляют по Гитлеру, а солдаты хохочут.

Говорили, не сойдет Виктору Некрасову изгнание представителей партии из землянки. Сенечка не перетянет чашу весов.

В самом деле, никто из советских писателей на такое не решался.

Шестьсот советских писателей в те дни сидели в лагерях или были уничтожены.

Виктор Некрасов решился…

И, наконец,

3. «Порок наказан, добродетель торжествует».

Или, как позднее простодушно сформулировала министр культуры СССР Е. Фурцева: «Конец должен быть хорошим…»

Начштаба Абросимова, у В. Некрасова, судят и отправляют в штрафной батальон.

Но — для читателя — всего этого как бы нет. Порок не искоренен: кого не застрелили гитлеровцы, добивают абросимовы.

Такова сила повести «В окопах Стадинграда».

Прочтите эту бесстрашную книгу.

Как встретил Запад книгу, открывшую вместе с повестью «Двое в степи» Э. Казакевича правду сталинской эпохи? Заметил ли хотя бы очевидное: в повести сказалось больше, чем автор хотел или решился сказать; что, к примеру, антиподы В. Некрасова — и прекрасный Ширяев, и преступный Абросимов — оба обладают правом на бессудное убийство, «трясут пистолетами»? И отнюдь не только в часы атаки… А трибуналами запугивают лишь второстепенных героев.

Фаворитом в те дни выскочил Константин Симонов. Его командировали в Америку с его строго дозированной сталинистской прозой. Он собрал весь газетный мед.

Это был удавшийся маневр агитропа ЦК: даже те в США, кто пристально и доброжелательно следил за новинками советской

литературы, заметили лишь следующее: «Под конец года появился роман «Сталинград» В. Некрасова, хотя во многом повторяющий и подкрепляющий настроения симоновских «Дней и ночей…»

(Точная творческая характеристика постоянного Секретаря Союза писателей СССР К. Симонова, сложившаяся о нем за четверть века, такова: «Симонов всегда первым выскакивает на разминированное поле…»)

«… обе эти вещи, — продолжим обобщающую цитату, — посвященные первому периоду войны, не могут претендовать на ведущее место в литературе и — главное — ничего не рассказывают о том, о чем думают и что встретили люди дома, вернувшись с войны».

Как говорится, отделили пшеницу от плевел…

4. «Затылком к ростомеру»

«Помилованная» В. ПАНОВА и приговоренный В. ГРОССМАН.

Массовый расстрел еврейских писателей. Выбор Ильи ЭРЕНБУРГА.

— Как живете? — спросил у однажды зимой сорок девятого года вполне благополучного писателя К.

— Как? Как и все! — отозвался он со своей одесской живостью. — Затылком к ростомеру…

Мы шли по пустынному Москворецкому мосту; К. объяснил под свист ледяного ветра, то и дело озираясь, не подслушивают ли.

В концлагере под Веймаром был ростомер с отверстием для дула. Заключенного приставляли к нему затылком, будто бы измерять рост. И стреляли в затылок.

Вот и я… Опубликуешь что-либо — ставят к ростомеру. Ждешь в холодном поту, то ли отмеряют, какую премию дать: первую — вторую — третью степень признания. То ли грянет выстрел…

Ставили «затылком к ростомеру» и Веру Панову.

Ее роман «Кружилиха» вряд ли останется в истории литературы как произведение искусства. Он останется памятником общественной мысли. Мысли смелой и честной.

Веры Пановой уже нет, и некому отделить пшеницу от плевел — рыхлых публицистических глав-заставок, рожденных страхом, или от обязательного соцреалистического хэппи-энда —

добродетель торжествует! Некому отбросить то, что мысленно отбрасывал читатель.

А жаль!.. «Кружилиха» Пановой приблизила ее к Некрасову и Казакевичу.

Впервые мы разговорились с Пановой в ночном саду, в доме творчества в Коктебеле, в 1966 году. У меня только что закончилась очередная схватка с партийными властями Москвы, и дежурная принесла мне записку. Записка была от Веры Федоровны. Я пошел в коктебельский парк, как на свидание.

«Что вы, что вы делаете?! Такая махина перед вами. переедут и не оглянутся…» — У Веры Федоровны тряслись губы. Лицо было белым. Ни кровинки. Лицо перепуганного насмерть человека…

Это меня поразило. Да кого б не поразило?!

Вглядитесь в ее портрет. Фотография Веры Федоровны открывает почти каждую ее книжку; вы поймете: это человек сложный, сильный. У Пановой прямой, проницательный взгляд серых глаз. Неуступчивый взгляд, властный…

Что привело Панову в такое состояние? В 66-м году, когда время смело уж и Сталина, и Хрущева, когда казалось — и ей, и другим ничто не грозит.

Возможно, она и ранее была не столь отважна, как думали…

Но тем мужественнее ее стремление стучаться в запретные места.

Еще в 1948 году Вера Панова заставила мыслящего читателя задуматься о новом классе.

Именно об этом «руководящем», губящем страну классе бюрократов впервые зашептались тогда многие студенческие аудитории — это закономерно в стране, где выражения «классовая борьба», «классовая ненависть» полвека не сходят со страниц газет, ежедневно гремят по радио. Слово «класс» в столь непривычном контексте старались, правда, не произносить — из предосторожности…

Я не буду останавливаться на повести «Спутники», действие которой разворачивается в санитарном поезде. Это честная и талантливая книга Веры Федоровны о героях и страдальцах; однако она не столь глубока, как социально взрывная проза Некрасова и Казакевича.

Зато вторая книга Пановой поставила ее в один ряд с этими писателями.

В 1944 году Вера Федоровна жила на Урале, в городе, который всегда назывался Пермью, а тогда — Молотовом. В предместье Перми — Мотовилихе расположены гигантские заводы. Здесь, в Мотовилихе, Вера Федоровна и начала свой

роман «Кружилиха».

«И хотя я уже писала что-то на своем веку, — говорила она в автобиографии, — здесь впервые узнала, как трудна писательская работа и как она сладостна…»

Вот начало «Кружилихи»: Уздечкин, руководитель профсоюза, заявляет в присутствии всех городских властей: «Никакой согласованности у нас нет. А есть… директорское самодержавие».

Это сказано о заглавном герое в годы сталинского самодержавия.

Нет, это не было случайным совпадением или намеком: все руководители «Кружилихи» — маленькие самодержцы.

Вот, к примеру, главный конструктор Владимир Ипполитович: «Он мог уволить человека неожиданно и без объяснений — за малейшую небрежность, за пустяковый просчет и просто из-за каприза».

Но начнем все же с главного и почти легендарного героя Листопада.

Самодержавие Листопада освещается целенаправленно, с большим мастерством, приемом всестороннего и многоступенчатого обнажения.

Он терпеть не может Уздечкина. Почему?

Процитируем Панову, чтобы не было ощущения своеволия комментатора:

> «Листопаду говорили, что у Уздечкина большое несчастье: жена его пошла на фронт санитаркой и погибла в самом начале войны; остались две маленькие девочки, подросток, брат жены, и больная старуха-теща; Уздечкин в домашней жизни — мученик. Листопад был равнодушен к этим рассказам, потому что Уздечкин ему не нравился».

Это легко понять.

Листопад равнодушен не только к неприятным ему людям. Казалось бы, он любит свою молодую жену Клавдию. Но случается несчастье, Клавдия умирает во время родов. После нее остаются дневники; она вела их при помощи стенографии, чтобы никто не мог прочесть. По просьбе Листопада его секретарша расшифровывает дневники. Оказалось, что Клавдия была бесконечно одинока. Рядом с ней жил человек, для которого она, Клавдия, как бы не существовала. «Я — после всего, — писала она для самой себя. — Если я умру, он без меня прекрасно обойдется».

Как-то, когда он пришел с завода и тут же заснул, Клавдия громко спросила, любит ли он ее. «Я без тебя была счастливая, а с

тобой несчастливая… Для чего ты женился на мне? Кто ты мне?.. Прости меня, если я требую больше, чем мне полагается, но я не могу жить без счастья…». Этими словами и заканчиваются дневники Клавдии, которые секретарша Листопада так и не показала властительному директору: зачем тревожить его превосходительство?..

Кто знает, возможно, Листопад и в самом деле не очень любил свою молодую жену, далекую от его всепоглощающих забот.

Однако мать свою он действительно любит, в этом нет сомнения: он часто вспоминает детство, деревню, сенокос, мать, как праздники нелегкой жизни.

И вот любимая, с волнением ожидаемая мать приехала, сын просит ее прожить у него все лето.

«Лето? Ловкий ты, Сашко! — отвечает удивленная мать. — Через две недели жнитва начнется. Я ж теперь голова колхозу, *ты и не спросишь. И про Олексия не спросишь*…» (Подчеркнуто мной. — Г. С.)

Рассказ матери об Олексии, отчиме Листопада, — один из самых поэтичных в «Кружилихе». Слепой Олексии пытается помочь ей, чем может. Как-то затачивал косы, порезал руки, а не видит, что порезал, спрашивает жену: «Чого это кровью пахнет?»

Листопаду после попрека матери, — сообщает автор, — «до того стало стыдно, даже покраснел». Остановимся здесь, поразмышляем.

Вера Панова от главы к главе как бы подводит к главному герою близких ему людей.

К Уздечкину он, как мы знаем, нетерпим.

К жене — равнодушен; дневник не случайно расшифрован посмертно.

Листопад бездушен и к самым близким людям.

Панова пристально вгляделась в положительного героя сталинской эпохи, любимца партии и что акцентировала, что посчитала доминантой образа, его стержнем?

Бездушие героя, бесчеловечность, нравственную глухоту…

Более всего рады Листопаду, тянутся к нему — жулики (скажем, его шофер Мирзоев, который «широко эксплуатировал» директорскую машину, жил припеваючи).

И — представители партийного аппарата, которые, как и жулик Мирзоев, боготворят его, выгораживают, как могут. Живут при нем как у Христа за пазухой.

Значит, и они преступно корыстны? Их устраивает его сила, пусть даже безнравственная, бесчеловечная?

Смелая и глубокая книга Веры Федоровны подводит к этой

мысли каждого, кого еще не отучили думать…

Естественно, прямо сказать об этом Вера Панова не может. И потому Рябухин, секретарь парткома, сила на заводе огромная, для порядка ругает Листопада:

«Ты сукин сын, эгоцентрист проклятый, *но я тебя люблю — черт знает тебя, почему*». *(Подчеркнуто мной. — Г. С.)*

Чтобы как-то пройти по минному полю собственных открытий, Вера Панова придумывает смехотворную мотивацию: Рябухин на войне был контужен, на время ослеп, а когда прозрел, «ему казались прекрасными все лица вокруг».

…Слепота партийной власти — и это не предел глубины, а только веха на пути исследования. Вера Панова идет дальше, посягая на неприкасаемое.

Отчего народ терпит Листопада и его холуев? Не справедливо ли беспощадное выражение: каждый народ заслуживает то правительство, которое имеет?

Вот он, представитель народа — Лукашин, бывший солдат, честнейший человек, тихий, работящий, обойденный наградами. Вера Федоровна постоянно подчеркивает, что именно он, Лукашин — олицетворение народа в «Кружилихе». Гораздо позднее, в автобиографии, изданной в 1968-м, через двадцать лет после выхода «Кружилихи», она прямо пишет об этом: «В схватке Листопада с Уздечкиным все время рядом присутствует Лукашин и, не вмешиваясь в спор, напоминает: «Товарищи, товарищи, существую и я…»

Голоса его, конечно, никто не слышит. Лукашин — это своеобразный Теркин на том свете, явившийся в мир задолго до появления Твардовского. Только не улыбчивый, а грустный Теркин. Подземный: у подземных жителей голоса нет…

…Однако роман написан как бы по канонам социалистического реализма; нужна, следовательно, реалистическая мотивация безгласия народа; почему, в самом деле, Лукашин не борется со злом? Бессилен перед подлостью? Что стряслось с героем, олицетворяющим народ?

«В детстве его корова забодало», — отвечают односельчане.

Что имела в виду Вера Федоровна под этим: татарское нашествие, революцию, годы террора и массовой высылки крестьянства?

Простор для мысли читателя…

Такова сила талантливого иронического подтекста в книге, написанной при жизни самого кровавого самодержца, которого только знала земля!

Листопада и таких, как он, повествует автор, держит наверху народная толща; деревенский и полудеревенский рабочий люд,

наши вековечные молчальники; привыкшая к произволу интеллигенция, неукротимый Уздечкин, образом которого начинается и по сути завершается изобличение подлой эпохи… Выясняется вдруг, что героически честный, неподкупный Уздечкин, народный страж, борец за огороды и пенсии, человек выборный и уважаемый, так же черств, как и его антипод Листопад, сталинский герой.

Уздечкин черств, правда, не умом, не осознанно и цинично, как Листопад, декларирующий: надо уметь жить так, чтоб «было сладкое», а черств сердцем, измученным всеобщей дерготней, приниженностью, нищетой, деревенской и фабричной. Черств даже к Толику, брату погибшей жены, который молча плачет от безучастия родни, отвернувшись к стене.

Образ Уздечкина, больного человека, страдальца, заслуженно выдвинутого народом, — может быть, самый сильный удар Веры Пановой по системе, иссушающей, мертвящей даже таких людей…

И «положительный» Рябухин, символ партии на заводе, говорящий на чудовищном языке, где смешаны «харч» и «реноме», такой же. Все руководители «Кружилихи», до единого, душевно черствы, бездушны, безжалостны к самым близким людям своим…

По объективной сути они сближены жестоким временем, как и герои-антиподы Виктора Некрасова.

Такова правда эпохи, какой увидела и описала ее в 1944–1947 годах, годах массовых расправ, Вера Федоровна Панова.

Разумеется, расправиться с ней попытались немедля. В журнале «Крокодил» появился издевательский фельетон «Спешилиха». От «Кружилихи» не оставили камня на камне.

Вера Панова была лауреатом Сталинской премии (за повесть «Спутники»); таким тоном со сталинскими лауреатами не говорили — было очевидно, что погром инспирирован отделом культуры ЦК партии, по крайней мере.

Все работы Пановой были приостановлены. На публичных лекциях «люди из публики» начинали задавать вопросы: «Доколе будут терпеть «очернительство этой Пановой?», «Почему на свободе Панова, оклеветавшая народ и партию?»

Панова не стала ждать «черного ворона». Она знала, как в самодержавной России дела делаются… Она написала письмо «на высочайшее имя» и сумела, через Поскребышева, это письмо передать.

Сталин не откликался на жалобы писателей (исключения единичны: Горький, Булгаков, еще несколько имен). Но, случалось, бывал «отзывчив», когда писали литераторы-женщины.

Незадолго до Веры Пановой к нему обратилась за защитой Вера Инбер, которую он тоже «оградил от посягательств»…

Восточный деспот, Сталин не считал женщин существами вполне равноправными и уж конечно не боялся их.

…Однако В. Панову предупредили, как и Казакевича: «Смотрите, Вера Федоровна…»

Казакевич, как мы знаем, был сломлен после повести «Двое в степи», Вера Панова стала иной после «Кружилихи»…

Даже в шестидесятых годах у нее тряслись губы, когда она вспоминала о тупой и жестокой государственной машине, которая возвеличила ее премией, а одновременно спустила на нее с цепи всю свору лагерных овчарок во главе с Кочетовым.

Да, странная это была победа… Спустя два года после присуждения Сталинской премии за роман «Кружилиха» вдруг появляется в печати ругательное «письмо читателя».

Была и такая форма расправы, она сохранилась и по сей день: «письмо читателя». Это блистательно описано в стихотворении Александра Галича о Климе Петровиче Коломийцеве, знатном рабочем, которому, помните, «чернильный гвоздь» — обкомовский порученец сунул в машине, по пути на митинг в защиту мира, бумажку, чтоб тот познакомился наскоро «со своей выдающейся речью…»

21 сентября 1950 года в статье «Мастерство писателя» дважды лауреат Сталинской премии Вера Панова все еще вынуждена отбиваться от подобных «выдающихся речей» знатных токарей, которые почему-то не могли простить ей, нет, не образ токаря, а образ сановного Листопада.

Странные токари, пекущиеся только о бюрократах!.. Выступать против знатных токарей и весьма незнатного тогда Кочетова становилось все трудней и трудней. Порой уж и головы нельзя было поднять. «Кружилиху» критиковали так, словно книга стала другой.

* * *

…Не книга Пановой изменилась — времена изменились, изменились по-сталински круто. Откровеннее всего это проявилось в шумном разгроме романа Василия Гроссмана «За правое дело», опубликованного журналом «Новый мир» в 1952 году.

Казалось бы, этот роман о войне. Только о войне. Однако в нем то и дело пробиваются наружу темы, впервые поставленные в послевоенной литературе Верой Пановой, — невыносимые

Сталину темы социального размежевания советского общества… Вот только два небольших эпизода, чтобы вы сами судили об этом.

Любимый герой автора, полковник Крымов, едет к фронту. Он подъехал к переправе, забитой бегущими от немцев людьми. На переправе некий генерал, «открыв дверцу легковой машины, крикнул в толпу, шагавшую по мосту: «Куда вы? Посторонитесь! Дайте проехать!»

И пожилой крестьянин, положив руку на крыло машины, сказал необычайно добродушно, лишь с легкой укоризной, как крестьянин говорит крестьянину: «Куда, куда, сами ведь видите, туда, куда и вы, — жить-то всем хочется»…

И в этом простодушии крестьянина-беженца было нечто такое, что заставило генерала молча и поспешно захлопнуть дверцу».

Но вот началась паника, очередной жестокий налет на переправу. Крымов хоть и ехал он к фронту, а не от фронта, и потому ему отдавалось предпочтение, крикнул нетерпеливо шоферу, топнув ногой, чтоб ехал быстрее.

Вот как описывает это, казались бы, малоприметное событие Василий Гроссман:

«На плоских понтонах, упершись грудью в настил моста, стояли два красноармейца, их службу на понтонах считали тяжелой даже саперы и регулировщики, обслуживающие переправу, им доставалось больше огня и осколков, чем тем, кто работал на берегу, да и нельзя уберечься от этих осколков посреди реки в тонкобортных понтонах.

Когда Крымов нетерпеливо звал водителя, один понтонер сказал второму: «Легкар***и***!» Этим словом, они, видимо, обозначали не только едущих на легковых машинах, но и тех, кто хотел легко отделаться от войны и долго жить на свете.

Второй спокойно, без осуждения подтвердил: «Легкарик, торопится жить».

Что началось после выхода романа Василия Гроссмана! Заголовки газет кричали: «На ложном пути!» Писатель Михаил Бубеннов отправил письмо о романе Гроссмана Сталину.

(Сталину писала вся Россия. Измученная Россия искала у него правды и защиты.

Никакая канцелярия не могла бы справиться с таким потоком писем, и большая часть писем сжигалась. Мне рассказывал об этом знакомый литератор, служивший в те годы солдатом в охране Кремля. Даже через много лет голос его пресекался от волнения, когда он говорил, как бросались в огонь тысячи нераспечатанных конвертов с заветным адресом: «Москва,

Кремль, товарищу Сталину Иосифу Виссарионовичу».)

…А письмо Михаила Бубеннова попало на рабочий стол Сталина в тот же день.

В газете «Правда», куда письмо было сразу же переправлено, к тексту боялись прикоснуться, не поставили даже нужных запятых. Сами рассказывали потом об этом с восторгом: то был уж не текст Бубеннова. После того как его прочитал, с карандашом в руках, сам, это был уже текст исторический, неприкасаемый, вроде государственного гимна…

«Новый мир», опубликовавший Гроссмана, немедля отмежевался от своего автора.

Фадеев потребовал распять виновников.

И взошла звезда Александра Чаковского, страстного обличителя В. Гроссмана.

«Желтая звезда… в красной каемочке полезного еврея».

Василия Гроссмана рвали в клочья, как годы спустя — Солженицына.

И писатель не вынес, когда позднее вдруг «арестовали» вторую часть романа о Сталинграде, изъяли все 17 экземпляров рукописи; он умер от рака, успев ударить своих убийц из гроба посмертно изданной повестью «Все течет». Но об этом разговор особый…

Трагический опыт Василия Гроссмана спас много рукописей советских писателей, «пишущих в стол» ради будущего. Рукописи снова стали прятать, и надежно.

Василию Гроссману не было пощады. Время шло к новым процессам. К убийству писателей, творивших на языке идиш. Эти факты известны. Но есть одно обстоятельство, исследователями литературы не замеченное.

Шовинист, антисемит Сталин расстрелял вовсе не крамольных, опасных ему Гроссмана и Казакевича, а вполне советских еврейских поэтов и прозаиков, прославлявших сталинскую эпоху, колхозы и ударные бригады. Расстрелял всех — Переца Маркиша, Д. Бергельсона, Фефера, Квитко, создавшего восторженные стихи, которые все наше одураченное поколение твердило наизусть:

Климу Ворошилову письмо я написал:

Товарищ Ворошилов, народный комиссар…

За полгода до смерти Сталин успел уничтожить весь цвет советской литературы на идиш.

Этакое неожиданное кви про кво — один вместо другого из итальянской комедии масок. Кви про кво кровавой деспотии.

12 августа 1952 года по приказу Сталина были свезены в один лагерь и расстреляны члены Еврейского антифашистского

комитета.

То, что разгром литературы и интеллигенции примет после революции антисемитский характер, очень точно предвидели сами черносотенцы, вернее, их идеологи. Вот отрывок из стенограммы заседания 3-й Государственной думы. Выступает редактор погромного листка «Киевлянин» Шульгин, позднее пригретый Хрущевым.

«Революция в России пойдет по еврейским трупам!» — восклицает Шульгин с трибуны.

Пуришкевич, глава черносотенного «Союза Михаила Архангела» кричит с места: «Так!»

Шульгин продолжает: «…пойдет по еврейским трупам, потому что евреи есть сторона наименьшего сопротивления, и толпа будет бить по ним!»

Пуришкевич с места: «Правильно».

Космополитическая кампания развивалась, как видим, точно по этой программе…

В те дни Илья Эренбург получил звание лауреата Сталинской премии… И творчество и личность Ильи Эренбурга были сложны, противоречивы и несли на себе, за немногим исключением, печать соглашательства: он пытался уцелеть. Но… жертвам погромных кампаний писать больше было некуда, Сталин не отвечал, — и они писали Эренбургу; его дача в Новом Иерусалиме под Москвой была едва ль не до самой крыши завалена письмами растоптанных и поруганных. Что он мог сделать? Он опубликовал в «Правде» статью, умолявшую не удивляться духовному единству гонимых: «Если завтра начнут преследовать рыжих и курносых, мы станем свидетелями единения рыжих и курносых…» Он переслал в ЦК несколько ужасающих писем. среди которых, помню, было письмо от соседей русской женщины-уборщицы. Прочитав в газете, что ее муж, оказывается, злодей-космополит, она сошла с ума и ночью зарубила топором и самого космополита, и троих детей, прижитых от него.

Трагедии, пострашнее шекспировских, разыгрывались в снежных глубинах России, привыкшей верить печатному слову.

Даже робкое вмешательство Эренбурга вызвало ярость профессиональных убийц.

Заведующий отделом культуры ЦК партии товарищ Головенченко объявил на заседании редакторов газет под бурные аплодисменты о том, что «сегодня утром арестован, враг народа космополит № 1 Илья Эренбург».

Поспешил Головенченко, не проверив информации; непростительно поспешил: Сталин не любил, когда аппарат

забегал вперед…

Один из редакторов тут же из зала позвонил на квартиру Эренбурга и… застал его дома.

Илья Эренбург потребовал, в свою очередь, немедля соединить его со Сталиным, и новому лауреату Международной Сталинской премии не отказали.

…Головенченко вынесли из собственного кабинета на Старой площади с инфарктом, тогда-то и облетела Москву знаменитая фраза Льва Кассиля: «И у них бывают инфаркты…»

Не знаю, может быть, сыграли роль горы писем, эти потоки скорби, которые подхватили и понесли его утлую писательскую ладью, — Илья Эренбург нашел в себе силы распрямиться и ослушаться Сталина…

В Сибири, Казахстане и Голодной степи уже выстроили бараки для высылки еврейского населения СССР, в день, когда на Красной площади 30 апреля 1953 года у Лобного места вздернут на виселицу «врачей-убийц»…

В комбинате «Правды» собрали «государственных евреев» — подписываться под статьей, одобряющей высылку всех евреев, до грудных детей включительно, чтоб спасти-де их от гнева народа…

Лев Кассиль, который вслед за генералом Драгунским, историком Минцем и другими уже подписал этот документ («А куда деваться?» — бурчал он), рассказывал, как Илья Эренбург поднялся и, ступая по ногам и пошатываясь, пошел к выходу… На него смотрели с ужасом, как на человека, выпавшего из окна небоскреба. Илья Григорьевич позже сам рассказывал, что испытал в эти минуты, когда впервые решился воспротивиться воле Сталина, то есть умереть.

«Я думал, меня возьмут тут же, у выхода из конференц-зала… Вижу, в коридоре никого. Ну, думаю, у гардероба… Нет, дали одеться. Вышел, сказал шоферу: «На дачу самой длинной дорогой…»

Эренбург писал в машине письмо-завещание, ни минуты не сомневаясь, что его возьмут у дачи…

Эренбург распрямился в конце жизни.

Об этих его годах, пожалуй, можно сказать словами поэта Иосифа Керлера, брошенного в рудники Воркуты:

Мне кажется, в то время
Я был уже гранатой,
Весь начиненный
смертью
и расплатой.

На том «патриотическом сборище» никто, кроме Эренбурга не осмелился поднять головы.

Впрочем, протесты были, но несколько своеобразные: смертным запоем запил во время погромных кампаний Всеволод Вишневский, хотя лично ему не грозило ничего. В ответ на предостережение врача он спросил, сколько еще проживет, если будет пить так же.

— Три года, — ответил врач.

— Впо-олне достаточно.

И — умер. Точно в отведенный самому себе срок…

Кровавый разгул был удесятерен первьм в России атомным взрывом. На заявление ТАСС немедля откликнулся Е. Долматовский; он написал — что бы вы думали? — «Атомную колыбельную»:

…не тол, не динамит,
Есть посильнее вещество
Теперь в твоем краю.
Не буду называть его…
Баюшки-баю…

Империя ощутила себя неуязвимой — атомным эхом пришел указ о расстрелах.

12 января 1950 года в СССР была восстановлена смертная казнь.

Кровавый девятый вал сталинщины ударил, как мы уже знаем, и по Союзу писателей.

Кто, зная это, бросит камень, скажем, в Веру Панову, отшатнувшуюся от социальных проблем, как отшатываются от мчащегося поезда.

С кем была она все эти годы, о чем молчала, когда писала свою талантливую лирическую прозу: «Сережа», «Валя», «Володя», сценарии-кормильцы?..

В 1967 году было передано в Президиум IM Всесоюзного съезда писателей, а затем в самиздат и широко разошлось по России письмо, подписанное незнакомой широкому читателю фамилией «Д. Дар, член СП».

Д. Дар, автор нескольких книг, общительный, добрый старик, который уже давным-давно не обижался, когда его представляли молодым писателям так:

— А это муж Веры Федоровны…

Мужу Веры Федоровны было посвящено в те годы почти дружеское четверостишие:

Хорошо быть Даром:
Получаешь даром
Каждый год по новой
Повести Пановой.

Вот отрывки из этого письма Президиуму IV Всесоюзного съезда писателей СССР.

«Не имея возможности выступить на съезде, прошу приложить к материалам съезда мое нижеследующее открытое письмо:

> …пришло время покончить с иллюзией, будто государственные или партийные служащие лучше, чем художники, знают, что служит интересам партии и народа, а что вредит этим интересам. Сколько их было в России, разных Бенкендорфов, Ильичевых и Поликарповых, безуспешно пытавшихся задушить и поработить русское искусство!
>
> Нынешний съезд должен назвать своим подлинным именем такое явление, как бюрократический реализм. Только то, что угодно чиновникам и служащим разных ведомств (в том числе и такого бюрократического ведомства, как Союз писателей), получает спасительный ярлычок социалистического реализма…
>
> Мы не нуждаемся ни в чьей опеке. А тот литератор, который не чувствует своего права самостоятельно творить, тот, кто по своей глупости, невежеству, неопытности или трусости испытывает необходимость в подсказке, руководстве и опеке, тот попросту не достоин носить высокое звание писателя.
>
> *9 мая 1967 г.*
>
> *Ленинград»*

Это письмо подписано Д. Даром, мужем Веры Пановой. Я верю, что она разделяла мысли, выраженные в этом письме.

5. Каратели

Выход смелой книги в СССР походит на бегство опасного арестанта из тюрьмы. Объявляется тревога, погоня, травля собаками.

Состоялось первое Всесоюзное совещание молодых

писателей.

Оно было созвано как по пожарной тревоге — после выхода книг Казакевича и Некрасова. Молодых писателей доставляли самолетами. Секретари ЦК комсомола отвели для них свои кабинеты. Денег не жалели.

Над притихшими парнями в застиранных гимнастерках навис величественно-красивый, с седыми висками Александр Фадеев, раскрывая основы соцреализма:

«Мы должны показать нашего человека правдиво и показать его таким, каким он должен быть, осветить его завтрашний день. — Он шелестел листочками, шелестел все эти годы, на всех Пленумах и совещаниях: после «государственного камнепада» он был возвышен в Генеральные секретари, вместо блокадного ленинградского поэта Николая Тихонова, мягкого к людям.

— Яблоко, какое оно есть в природе, довольно кислый плод. Яблоко, какое оно есть в саду… это яблоко, «какое оно есть», и одновременно, «каким оно должно быть»… — теоретизировал Александр Фадеев.

Через десять лет он уже не прибегал к метафорам. Каялся — косноязычно, прячась за газетные стереотипы.

Невыправленная, честная стенограмма 56-го года, которую уже через год давали читать в Союзе писателей под большим секретом, свидетельствует об этом красноречиво:

«…Нужно полностью выявить последствия культа личности… что сводилось к попытке, к насильственной попытке привития партийности…»

… Всего двадцать дней оставалось жить Фадееву. Через двадцать дней он пустит себе пулю в висок.

Выстрелить в висок — решится Александр Фадеев, быть правдивым до конца — нет. Даже в эти дни.

«Я был вызван ночью в «Правду», где было просто сказано Поспеловым:

> «Товарищ Сталин дал срочное задание разгромить антипатриотическую группу космополитов… Статья «Правды» была сделана по указанию и написана в одни сутки…»

Подлинную правду знали многие; не очень скрывал ее и сам Фадеев, в беседах с глазу на глаз. Я впервые услыхал, как дело было, от Иосифа Юзовского, театрального критика.

Я помню захватанные пальцами странички журнала «Театр» с искрометными статьями Юзовского, Юза, как называли его друзья. И его самого, маленького, сухонького, доброго гнома, едва не погибшего в лесу. Он ушел с утра на лыжах, голый до

пояса, с рюкзаком за плечами. Потерял направление и четырнадцать часов подряд мчал, а затем брел на лыжах, чтоб не окоченеть.

Он прибился к своим лишь к ночи. Напрасно мы целый день искали его, аукали. Юз не отзывался.

Таким он навсегда и остался в моем сердце: отчаянный, в вязаной шапочке, на ночном снегу. В лютый мороз свернувший с лыжни…

И позднее, в той же подмосковной Малеевке, у огромного, как сундук, приемника, когда мы ловили новости.

Неслышной походочкой приблизился «номенклатурный» критик Корнелий Зелинский, слащаво-вежливая, учтивая литературная гиена. Спросил как бы небрежно: «Что ловите? Чужедальное…»

Не страшно умирать, — произнес вдруг Юзовский, — страшно, что именно те, кто всю жизнь тебя травил, они-то и будут разглагольствовать над твоим гробом.

Корнелий Зелинский отпрянул столь же неслышно, как и подошел, а через несколько лет, как и предвидел мудрый Юз, разглагольствовал над его гробом.

Александр Фадеев любил веселого, искреннего Юза, а кто его не любил!

В феврале 49-го года они встретились вдруг на заваленной снегом Пятницкой улице, нос к носу, палач и его жертва. Багроволицый, под винными парами, благополучный Фадеев и щупленький, голодный Юзовский, которого все газеты крестили в те дни «диверсантом» и «разбойником пера» и который ждал ареста с часу на час…

Остановились, поскользнувшись и уставясь друг на друга, затем Фадеев предложил своему старому товарищу зайти в закусочную, где теснились у высоких столов красноносые завсегдатаи… Распив на двоих с «безродным космополитом» пол-литра водки, Фадеев поведал извиняющимся тоном о том, сколь серьезно дело, и жалеет он Иосифа от всей души.

Дело обстояло так. Несколько руководителей Союза писателей — Софронов, Грибачев, Суров, Бубеннов и другие — написали Сталину письмо о том, что группа антипатриотов — литературных критиков мешает развитию истиннорусской патриотической драматургии.

«Юз, что я мог ответить Иосифу Виссарионовичу? — воскликнул виновато Фадеев, булькая водкой. — Что я мог?»

Спустя семь лет Фадеев скажет на совещании в Союзе писателей хорошо поставленным голосом профессионального проповедника: «В статье «Правды» (о Юзовском и других — Г. С.)

был оттенок шовинизма».

Перед понуро-трезвым Фадеевым сидел тогда в первом ряду Василий Гроссман. Лицо Гроссмана было окаменело-презрительным.

Скользнув взглядом по рядам, Фадеев приоткрыл рот, словно губы обжег:

«Еще один пример. Вся история с романом Гроссмана… мы его насиловали, крутили. Но он человек умный, он понимает, что это зависит не от нас…

Совершенно ясно, что перегибы в борьбе с космополитизмом были по всему идеологическому фронту… И если Шолохов обвиняет Фадеева и Суркова, что они фельдфебели, то возникает вопрос, не является ли это одной из сторон прикрыть (ох и язычок у художника слова. — Г. С.)… прикрыть большее количество фельдфебелей…

Яшин написал «Алену Фомину». Он плакал, когда писал. Он говорил: «Я не могу смотреть на то, что делается в деревне».

Получилась платформа неправды, на которой ничего толкового создать невозможно… Литература и искусство не могут существовать на неправде… Если взять XIII пленум (1949 г. — Г. С.) и прочитать стенограмму… если бы теперь заставить вслух прочитать свое выступление, то никто этого сделать не решился бы, испугался бы аудитории, она его съела бы. Это касается и Шкерина, и Белика, и Кирсанова, и Первенцева — они громили всех…

Я хорошо проинформирован и хорошо знаю, как произошло закрытие театров Мейерхольда и Таирова. Театр Мейерхольда был закрыт потому, что на него было два показания, что сам Мейерхольд является французским шпионом… нужно людям снять пелену с мозга и сказать: давайте свободно покритикуем все ошибки… Вот все мои мысли в грубой форме… Вы понимаете, что сейчас обдумываешь свою жизнь…»

Замолчал Фадеев, хотел уйти с трибуны. Но из зала на него глядели писатели, только что вернувшиеся из лагерей. Среди них — нервный ироничный Юрий Домбровский, молчаливый Макарьев, который публично обозвал Фадеева негодяем. Вскоре Макарьев, увидев, что ничего не меняется, повесился. Но в те дни он еще требовал справедливости, и Фадеев выдавил из себя то, что уж никак нельзя было скрыть. Бывшие зэки не дали бы…

«Этот вопрос связан с групповщиной: Грибачев, Суров, она существует и сейчас… У нас есть одна группировка, которая была при «Октябре».

Возглас с места: «Да, и не одна!»

«… Мы так привыкли жить в условиях группы, — вяло, через

силу продолжал Фадеев, — что не стремились и не в силах были подняться на эту большую вышку (?!) Меня вызвали в органы и сказали, как вы смотрите на Киршона, когда он был арестован. Я сказал, что Ягода, Авербах и Киршон — это одно и то же. Я привык так мыслить. Но такой ответ для Киршона мог стать роковым» (та же стенограмма от 19 апреля 56-го года).

13 мая 1956 года Александр Фадеев застрелился у себя на даче в Переделкино, разослав нескольким друзьям письма, немедленно перехваченные госбезопасностью.

Узнав о самоубийстве Фадеева, я сразу же поехал в Союз писателей и… не услышал слов сожаления.

«Это не охотничий выстрел, — сказал в тот день старый писатель Н. поэту А. Галичу. — Помнишь, вчера в лесу слышали. Это тот самый… Как сука застрелился! При ребенке! — в сердцах добавил Н. — Хоть бы в лес ушел».

Известный литературовед Ф. — трясущийся, иссохший, четверть века ждавший «черного ворона», вздохнул:

— Ничто так не убивает человека, Гриша, как чувство напрасно содеянной подлости…

Выстрел Фадеева, обдумавшего свою жизнь, вызвал ярость членов Политбюро.

— Он выстрелил в нас! В каждого из нас! — вскричал Климент Ворошилов, «первый красный офицер», как пело наше поколение.

Наше поколение вообще о самом главном узнавало из песен. Нас скрутили несмысленышами: когда появился фадеевский «Разгром», мы еще не пошли в школу. «Разгром» был для нас такой же классикой, как «Казаки» Льва Толстого. Сотни диссертаций и десятки книг объясняли, что Фадеев — это Толстой XX века: у него — толстовская фраза, толстовская глубина психоанализа.

Мы, парни в гимнастерках, заполнившие зал I Совещания молодых, тогда, в марте 1947 года, конечно, и знать не знали, что только из одного поселка Переделкино, где строились писательские дачи, брошено в ГУЛАГ на смерть и муки двадцать крупнейших писателей России, и каждый — каждый! — арест был завизирован Александром Фадеевым или даже подготовлен им.

Он знал о предстоящих расправах. За день до обыска у старейшего писателя Юрия Либединского Фадеев поспешил в его квартиру (хозяев не было дома, открыла старуха-родственница, знавшая Фадеева в лицо и потому ничем не обеспокоенная). Перерыв в кабинете писателя все бумаги, он отыскал, наконец, и унес папку: в ней хранилась его переписка с Юрием Либединским, которому он, Фадеев, был обязан своей славой.

Именно Юрий Либединский впервые «открыл» молодого провинциального литератора Сашу Фадеева. Помог перебраться в Москву, напечататься.

Папка с письмами «меченого» Юрия Либединского могла скомпрометировать и его, Генерального Секретаря ССП.

Юрия Либединского, у которого на другой день все в доме перерыли вверх дном, впрочем, не арестовали; ограничились Авербахом и Киршоном. Всех подряд брали несколько позднее.

Нет, и мысли у нас, участников Совещания молодых, не было, что правда для Александра Фадеева смерти подобна. И внимали ему, как оракулу.

Оракул, правда, был смущен, когда один из нас (не помню сейчас, кто именно) спросил у него после его речи, в буфете, где мы пили водку, как «настоящие писатели»:

— Александр Александрович, если бы сегодня пришел к вам некий юноша и положил на ваш стол тоненькую книгу под названием «Разгром», если бы этот юноша положил «Разгром» таким, каким вы его написали: с трагическим концом и мечущимся хлюпиком Мечиком, выдаваемым за красного партизана, и главным героем с нерусской фамилией Левинсон, — напечатали бы вы сейчас это талантливое произведение начинающего автора? Скажите правду или вовсе не говорите!

Александр Фадеев улыбнулся натянуто, краснея до шеи, быстро выпил свой коньяк и выдавил, уходя:

— Боюсь, что нет!

Такие сцены отрезвляли, спасали от трескотни, выдаваемой за новое слово в литературе; от чиновничьей лести, в любую минуту готовой обернуться гневом…

И все же… мы почти верили Фадееву. Как и вся Россия, повторявшая фадеевское откровение о яблоках «диких» и «садовых».

Не будь за фадеевскими плечами легендарной биографии дальневосточного партизана, славы «почти Толстого», он вряд ли смог бы нанести нашему поколению столь разящий удар…

По ущербу, который «почти Толстой» нанес поколению писателей-фронтовиков, с ним можно поставить рядом лишь Константина Симонова.

Симонова, помню, после войны, забросали в Московском университете цветами, хотя уже догорала, чадила его «утешающая» поэзия военных лет: «Жди меня, и я вернусь, только очень жди…»

А я тянулся к нему еще со времен боев на Халкин-Голе, когда среди моря барабанного «искусства» во славу грядущей войны, конечно же, «малой кровью» и «на чужой территории», вдруг

прозвучал человеческий голос незнакомого мне тогда поэта, склонившегося над записной книжкой убитого: «Он матери адрес и адрес жены в углу написал аккуратно: Он верил в победу, но знал, что с войны не все возвратятся обратно…»

Во время боев в Заполярье Константин Симонов, в дубленом полушубке, ходил на торпедном катере к берегам Северной Норвегии высаживать десант; нет, что говорить, он был совсем не Толстым, но — дорогим нам человеком, поэтом-солдатом…

И вдруг я увидел «дорогого человека» в «дубовом зале» писательского Клуба на улице Воровского, возле ресторана, откуда тянуло ободряющими запахами.

Разгром «юзовско-борщаговских» шел под звон посуды и восклицаний: «Еще графинчик «Столичной»!..»

У стола руководства стоял маленький, с разбухшим и красным лицом, хромой Анатолий Суров. Суров то и дело пьяно икал и угрожающе стучал клюкой.

Обычно он стучал клюкой в ресторане, только там он газетное слово «космополит» не произносил, а тянул угрожающе-восторженно: «Ух, парочку жидочков сейчас, на «закусь»! Я бы их!» — И стучал-грохотал клюкой на весь зал.

Ныне в «дубовом зале» у стола, накрытого зеленым сукном, он кричал про космополитов, которые не дают развернуться истинно русскому человеку…

Рядом с ним — трезвый и благовоспитанный Симонов чуть кривил подбритые усы-сталинки в иронической усмешке. Чувствовалось, его несколько шокировал пьяный крик, но речи и статьи его отличались от разговоров Анатолия Сурова разве что выбором выражений.

«Почему они рядом?» — спрашивал я себя, глядя на Сурова и Симонова.

Минуло всего года два-три, и я больше не задавал себе наивных вопросов. Произошло это после того, как меня вызвали к Александру Фадееву на беседу. Но — окончательно, пожалуй, после собрания в «Литературной газете», где обсуждалось так называемое «дело Бершадского»…

Рудольф Бершадский был заведующим отделом фельетонов. В дни истерии, вызванной сообщениями о врачах-убийцах, несколько энтузиастов, среди которых выделялась Шапошникова, давний осведомитель МГБ, многолетний затем член редколлегии журнала «Москва», взломали ночью письменный стол Бершадского. нашли там два фельетона-проклятия «врачам-убийцам», которые Бершадский не передал для публикации…

«В исторические дни, — кричала Шапошникова, — когда «Правда» и «Известия» непрерывно публикуют материалы об

убийцах, об этих Вовси-Этингерах, «Литературная газета» как воды в рот набрала…»

И тут началось. «Агент империалистических разведок!», «Иуда, продавший страну за тридцать сребреников!», «Диверсант!» — терминология была отработана годами…

«Пусть сам Бершадский выступит!» — кричал зал, готовый Бершадского ногами затоптать.

И вот появился у стола президиума Рудольф Бершадский, сгорбленный, полуглухой. Оказалось, он был во время войны командиром артиллерийской батареи. Прошел со своими пушками от Сталинграда до Берлина. Глуховат от контузии. Изранен. В теле осталось несколько десятков осколков. Вся грудь — в боевых орденах.

Молчание зала становилось тягостным. Казалось, вот-вот кто-то крикнет: «Товарищи, не на того напали! Ошибка…»

И вот тут поднялся со своего места благовоспитанный, находчивый Константин Симонов и — «спас положение…» Мягко грассируя и как бы в раздумье, произнес речь, которую многие из нас не забудут до конца жизни. Почти месяц литературная Москва только и говорила о симоновском слове…

«Да, — сказал Симонов, в голосе его звучало страдание и решимость преодолеть жалость к своему подчиненному, — Бершадский действительно храбро воевал. Сам подбил несколько танков… Военные газеты писали о его доблести. Знаю! — Тут главный редактор «Литературки» помолчал и нанес последний удар: — Храбро воевал, да! Но… за какие идеалы?!» Идеалы у Бершадского были, конечно, «космополитические».

Бершадского арестовали тогда же. Это случилось за три дня до смерти Сталина; потому выпустили «за отсутствием состава преступления» через полгода. Он приехал в Союз писателей, где в то время элегантный Симонов читал доклад о советской литературе для учителей Москвы. Скромные учителя теснились позади, первые три ряда не были заняты. В первом ряду посредине и уселся Рудольф Бершадский в своем тюремном пиджачке.

Симонов побледнел, отпил воды, стараясь, чтоб зубы не стучали о стакан, и… довел победный доклад до конца.

Учителя записывали дословно, особо вредоносными в те дни считались исследования, в которых находили воздействие идей Байрона на Пушкина.

И тут мы столкнемся с поразительным, возможно, уникальным обстоятельством. Кроме Фадеева, Симонова и еще двух-трех имен, к которым мы вернемся, основными исполнителями сталинских погромов 1946–1953 годов были

известные писатели, которые никогда не существовали.

Анатолий Суров — полуграмотный, вечно пьяный «охотнорядец», никогда не скрывавший своих пристрастий. Позднее специальная комиссия Союза писателей установила, что он не написал ни одной строки. За него «творил» писатель Я. Варшавский, отовсюду изгнанный голодавший «космополит». А. Суров нанял его для «творческих нужд»…

Суров был лишен авторства. Но, конечно, пропасть ему не дали, определили на руководящее место во Всесоюзном радиокомитете…

Аркадий Первенцев — фигура не менее зловещая. Двоюродный брат Маяковского, огромный, бритоголовый. «Шофер из душегубки» — называли его тогда.

Первую книгу Первенцева «Кочубей», изданную в 37-м году, начисто переписал литературный редактор. Она отличалась по художественному уровню от всех других созданий Первенцева настолько, что и без того становилось совершенно ясно: «Кочубей» написан другим человеком…

Скольких людей погубил этот несуществующий писатель, писатель-призрак, кричавший на талантливых критиков — профессоров университета: «Долго ли будут они своими мышиными зубками, своими ядовитыми чумными зубками подтачивать здание советской драматургии?!»

Орест Мальцев — фигура фиктивная до такой степени, что даже в справочнике Союза писателей о лауреатах Сталинских премий, в графе «за что получена Сталинская премия» — прочерк…

Хотя известна и его книга, и рыжеватый инвалид войны Володя Гурвич, сын одного из основателей американской компартии, которого по заведенной МВД схеме вначале выталкивали с работы, а затем выселяли вместе с матерью из Москвы как тунеядца…

Чтобы не умереть с голода, Володя Гурвич схватился за первую попавшуюся работу — писал заказанный Оресту Мальцеву роман «Югославская трагедия» — о «кровавой собаке Тито»… Когда с Тито помирились, роман изъяли из всех советских библиотек, и Орест Мальцев оказался писателем — лауреатом Сталинской премии без единого литературного труда…

Писатели, которые никогда не существовали, стали «опричниками» Фадеева и Симонова…

Литературная опричнина губила советскую литературу с яростью.

…Их было более шестисот — ни в чем не повинных писателей, которых Союз послушно отдал их тюремно-лагерной

судьбе…», — повторяет Солженицын в своем письме IV съезду СП официальные данные, объявленные в свое время с трибуны Союза писателей.

Как видим, и Солженицын еще не знал в те дни всей правды.

Союз писателей не только «отдал», он и заталкивал литераторов в тюрьмы. А от вернувшихся с каторги ссыльных бедолаг требовал молчания или предательства.

Увы, и это не дурной сон…

Целая бригада симоновцев (Н. Дроздов, завпрозой в симоновском «Новом мире», с сотоварищами) начисто переписала рыхлые записки бывшего заключенного В. Ажаева, изданные на периферии; автор превратил в них начальника концлагерей Барабанова, которого зэки и охрана боялись как огня, в героя вольной советской жизни — Батманова. Симонов с энтузиазмом поддерживал ложь: магистральный трубопровод в ажаевской книге, после всех исправлений, по-прежнему прокладывали не несчастные, голодные, полумертвые зэки, которых автор предал, а исключительно счастливые советские граждане. Симонов бдительно просмотрел готовую рукопись: не остались ли лагерные «намеки», ненужные психологические ассоциации и пр.; и Василия Ажаева, тихого, болезненного зэка-«вольноотпущенника» восславили — за молчание. За молчание и робость определили главным в витринный журнал «Советская литература на иностранных языках», где, как известно, главный не решал ничего.

Он был осчастливлен, Василий Ажаев, а жить больше не мог: умер от инсульта и прочих болезней, приобретенных на каторжных работах.

Ажаевский же архипелаг ГУЛАГ стал, благодаря Константину Симонову, всемирно известным апофеозом свободного труда в свободной стране — нашумевшим романом «Далеко от Москвы», удостоенным Сталинской премии первой степени.

Это, пожалуй, было рекордом фальши. Рекордом фальши в эпоху кровавых фальсификаций.

Симоновы, как видим, не только заталкивали писателей в тюрьмы, но и в случае нужды срочно создавали, за них или «помогая» им, «новый социалистический эпос», а затем били — по этому поводу — годами в литавры, чтобы заглушить побеги писателей-смельчаков из конвоируемых колонн.

Чтобы смельчаки забывались. Чем быстрее, тем лучше… И, надо сказать, это Симоновым удавалось.

6. Самиздат при Сталине (1945 — 53 гг.)

Казалось бы, бессмысленно говорить о самиздате в послевоенные годы. При Сталине. Какой, в самом деле, возможен самиздат в годы тотального террора, когда не только за еретическую строчку, но и за анекдот, за намек, за усмешку сажали в тюрьмы и — расстреливали! Расстреливали и без всякого повода — до сих пор старшее поколение никак не отойдет от леденящего страха…

Мог ли тогда появиться самиздат, коль и авторы его — смертники, и читатели — почти смертники?

Тем не менее самиздат существовал.

Среди московского студенчества, к примеру, непрерывно циркулировали напечатанные на пишущих машинках стихи. Без имени авторов. Содержания порой самого невинного… И лишь тот, кто тебе вручал, говорил вполголоса: «Это — Марина Цветаева».

Так как имя Цветаевой было известно, по крайней мере, из куцего курса современной литературы, где Марине Цветаевой отводилось несколько строк, начинавшихся с отрицания «Не» — «Не признала, не согласилась, не ужилась», — то все, без возражений, брали и порой тут же, на лекциях читали, так и ходили листочки вдоль скамей Коммунистической аудитории, в которой преподавалось в тот час что-либо законопослушное, тягучее, как зевота.

Я помню, как меня ударило в сердце, в тот первый послевоенный год, стихотворение Марины Цветаевой на измятом тетрадном листочке, переписанное от руки полудетским почерком:

Тоска по родине! Давно
Разоблаченная морока!
Мне совершенно все равно,
Где — совершенно одинокой
Быть, по каким камням домой
Брести с кошелкою базарной
В дом, и не знающий, что мой,
Как госпиталь или казарма…
Всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст,
И все равно, и все едино.
Но если по дороге куст
Встает, особенно — рябина!..

У знакомых, которые дали мне стихотворение Цветаевой «Тоска по родине», я попросил неуверенно еще «что-либо», и вот мне вручили полуслепые экземпляры, шестые или седьмые копии

стихов Марины Цветаевой и Мандельштама, без имени авторов.

Эти стихи позднее повторяли все поколения, не отброшенные сталинщиной от духовной жизни; но для нас, выросших под стеклянным колпаком террористической системы, они были откровением. И вот почему.

Мы только что пришли с войны, на войне мы увидели штрафников, я упоминал об этом. некоторые сами побывали в штрафных батальонах.

У других — увезли в 37-м году отцов и братьев.

Во всяком случае, мы знали, уже тогда знали, что существуют люди, — оклеветанные, поруганные, упрятанные в тюрьмы.

Естественно, по-новому мы стали смотреть и на эмигрантов, прежде всего эмигрантов — поэтов и писателей; не разделяют ли и они участи штрафников или так называемых «врагов народа»? Может быть, и они оклеветаны?

… Крайне любопытно это наше мироощущение людей, рожденных в кромешной тьме и вдруг увидавших первый луч!

Особенно остро мы ощутили реальность и какую-то странную закономерность избиения талантов после 48 — 49-го годов: это были годы изгнания из университета наших любимых учителей.

Вперед выходили циничные «проработчики», вроде заведующего кафедрой западной литературы Самарина или старого провокатора профессора Эльсберга, бывшего секретаря Каменева.

Нас, мальчишек, обманули в 37-м году. Это оказалось делом нетрудным…

Теперь все было иначе. И мы стали другими. Избивали не далеких, неведомых нам «вредителей», а любимых стариков-энтузиастов в академических шапочках, с локтями, испачканными мелом, готовых возиться с нами, неучами, до полуночи.

Особенно много погибло ученых, как известно, на биологическом факультете, благодаря наветам Лысенко, Презента и других «борцов за чистоту советской науки». Пострадали и физики. Достаточно сказать, что с физического факультета Московского университета были изгнаны все выдающиеся ученые России во главе с академиком Ландау, Таммом и другими.

Как легко понять, студенты, среди которых был тогда и я, были возмущены расправой над своими учителями.

… А находило это выход своеобразный: читали, заучивали забытую поэзию, передавали друг другу копии писем ошельмованных поэтов.

… Я с предельной отчетливостью помню вечера и ночи в Геленджике, университетском доме отдыха на Черном море.

Сырая, пахнущая водорослями ночь. Море. Собираются,

сбиваются в кучки пять или шесть человек, доверяющих друг другу. Пограничники выгоняют студентов с ночного пляжа. «Не положено! После 10 вечера пляж — запретная зона…»

Студенты вновь и вновь просачиваются в запретную зону, поближе к морским брызгам и светящейся шуршащей воде, и по очереди читают, читают, читают. Оказалось, есть ребята, которые помнят всего Гумилева…

До войны я знал несколько мальчишек, которые декламировали наизусть всего Пушкина, продолжали с любого места, Лермонтова. И вот прошло всего каких-то пять или шесть лет, и такие ребята почему-то декламировали в ночи уже не Пушкина и Лермонтова, которых «проходили» по официальной программе, хотя вспоминали и их, а более всего — Гумилева, Цветаеву, снова Гумилева. Юношеские голоса читали стихи и час, и два, и три. Одни сменяли других, продолжая с оборванной забытой строфы. Стихи, изъятые изо всех библиотек и, казалось вытравленные из сердца поколений, снова звучали в сырой ночи, вопреки всему. Строфы о дальних морях и капитанах,

… открывателях новых земель…
Для кого не страшны ураганы,
Кто изведал мальстремы и мель.
Чья не пылью затерянных хартий, —
Солью моря пропитана грудь,
Кто иглой на разорванной карте
Отмечает свой дерзостный путь…

Стоило чтецу замолчать, перевести дух, и тут же высокие голоса подхватывали упоенно:

… Пусть безумствует море и хлещет,
Гребни волн поднялись в небеса, —
Ни один пред грозой не трепещет,
Ни один не свернет паруса.
Разве трусам даны эти руки,
Этот острый, уверенный взгляд,
Что умеет на вражьи фелуки
Неожиданно бросить фрегат.
Меткой пулей, острогой железной
Настигать исполинских китов.
И приметить в ночи многозвездной
Охранительный свет маяков?

Бог мой, какие мысленные клятвы, какие надежды вкладывали молодые люди в романтические строки!

Прямо с поезда я побежал к морю окунуться и услышал взволнованное, порывистое, как признание:

Да, я знаю, я вам не пара,
Я пришел из другой страны,
И мне нравится не гитара,
А дикарский напев зурны.
Не по залам и по салонам,
Темным платьям и пиджакам —
Я читаю стихи драконам,
Водопадам и облакам…

И тут читавший заметил меня, неведомого ему, во флотском кителе, и — оборвал чтение; кто-то вскочил, чтобы нырнуть во тьму; но послышался басовитый голос: «Это свой! С филологического…» И читавший вздохнув полной грудью, прокричал ночной тьме:

И умру я не на постели,
При нотариусе и враче,
А в какой-нибудь дикой щели,
Утонувшей в густом плюще…

Тут заплакала какая-то девушка, навзрыд, ее пытались успокоить, увели; позднее я вспоминал и эту ночь у воды, и эту исступленность жертв, читая фантастическую книгу Рея Бредбери «451 градус по Фаренгейту». В этом фантастическом произведении государство уничтожало культуру. Точнее, культура была уже уничтожена. Давно. А если обнаруживали книгу, немедля выезжали по тревоге пожарные — с керосином в цистернах — и сжигали остатки запрещенной культуры. Специальный летающий аппарат настигал и, ужалив, убивал всякое инакомыслие, даже самое невинное. Вместе с инакомыслящими, разумеется… И вот отдельные интеллигенты заучивали наизусть классику. И, уйдя подальше от городов, бродили по полям и берегам рек, твердя любимые строки, чтобы не забыть и передать своим детям…

Море шуршало по прибрежной гальке, фосфоресцировало, лунные блики колыхались, дрожали; оно было прекрасным, это ночное море, объявленное по вечерам запретным.

Стихи, читавшиеся дрожавшими от волнения голосами, тоже

были прекрасными, и тоже — запретными. Враждебными. Всегда. И до десяти вечера, и после.

И вот эта сырая ночь, эти романтически-исступленные, как клятва, запретные стихи у запретного моря всегда вспоминались мне затем главой из придуманного Реем Бредбери страшного, адского мира; может быть, впервые в ту сырую черноморскую ночь я задал себе вопрос: «Где мы живем? В какую эпоху?»

А мог бы и не спрашивать… В университете прошли массовые аресты. Были упрятаны в тюрьмы не только несколько преподавателей, но и немало студентов. В том числе и из нашей группы. Ребята гуляли по Москве со студентами-албанцами, и один из моих товарищей по группе Сережа Матвеев сказал, кивнув в сторону Кремля: «Вы думаете, там идиллия? Там тоже свои счеты-расчеты…»

Албанцы пришли в ужас и… сообщили о реплике Сережи секретарю парткома университета, и наши однокурсники стали пропадать один за другим. Прежде всего — самые талантливые: Костя Богатырев, Геня Файбусович…

Оказалось, МГБ выдумало целый студенческий заговор и, конечно же, террористический.

…Мы долго молчали, подавленные. Затем один из нас снова начал декламировать, сперва вполголоса, потом все громче, декламировать так созвучное нашим мыслям и нашему настроению:

Он стоит пред раскаленным горном,
Невысокий старый человек.
Взгляд спокойный кажется покорным
От миганья красноватых век.
Все товарищи его заснули,
Только он один еще не спит:
Все он занят отливаньем пули,
Что меня с землею разлучит…

Он замолчал, читавший паренек, и никто не подхватил, как обычно; предвиденье Гумилева было ужасающе реально: он написал, оказывается, это свое стихотворение «Рабочий» не только о собственной судьбе…

Все удрученно молчали, и тогда паренек продолжил едва слышно:

Пуля, им отлитая, просвищет
Над седою, вспененной Двиной,
Пуля, им отлитая, отыщет

Грудь мою, она пришла за мной.
Упаду, смертельно затоскую,
Прошлое увижу наяву,
Кровь ключом захлещет на сухую
Пыльную и мятую траву.
И Господь воздаст мне полной мерой
За недолгий мой и горький век…
Это сделал в блузе светло-серой
Невысокий старый человек…

Так совершенно естественно пришла, вслед за предвоенной романтикой Багрицкого и Михаила Светлова, мужественная и горькая романтика Гумилева…

В самом деле, могла ли волновать нас теперь поэзия нашего детства: «Нас водила молодость В сабельный поход. Нас бросала молодость На Кронштадтский лед…»?

Вместо этого в жизнь моих друзей вошла Марина Цветаева:

Все рядком лежат, —
Не развесть межой.
Поглядеть: солдат!
Где свой, где чужой?
Белым был — красным стал,
Кровь обагрила.
Красным был — белым стал,
Смерть побелила…

Позднее, на лекциях, мы передавали друг другу конспекты по философии, где величайшей крамолой зазвучал Спиноза: «Диктатура — это режим, в котором человек обязан думать и верить согласно предписаниям правителей; они говорят ему, что правда, что ложь, и наказывают его, если он думает иначе». (Трактат 20–35.)

Я помню, как мне показали Спинозу, прикрыв рукой книгу и отчеркнув ногтем еретическое место.

Несчастный Барух Спиноза! Вначале его изгнали раввины, теперь он стал еретиком в эпоху, уничтожавшую раввинов…

Спиноза чередовался с запретным Волошиным и «непонятным» Пастернаком.

Сновали, сновали под студенческими столами листочки — «безымянные» стихи. Самиздат, как говорят теперь.

В те годы, когда и Солженицын, и Евгения Гинзбург, и Варлам Шаламов еще изнывали в каторжных лагерях, к нам пришли на

помощь Гумилев и Цветаева, Волошин и Пастернак…

Самиздат, зародившийся в страшные годы террора, сразу обрел высоту классики. И это определило его значение и непреходящее влияние…

ЧАСТЬ 2
«Цветет в Тбилиси алыча»

I. Реанимация общественной мысли. Всполохи 1953 года

Жизнь в России, особенно в последние годы сталинщины, была как бы жизнью в глубоком колодце. Народ опустили в колодец, и он существовал там в кромешной тьме, лишенный всякой информации, кроме отфильтрованной, или «идейно-напряженной», как говорят на Руси специалисты по оболваниванию.

Помню ужас соседа, работавшего в каком-то учреждении, на нищенской зарплате. Он прибежал с расширенными от испуга глазами, бормоча: «Что стряслось?! Что будет?! Приказано портреты Берия снимать! Лаврентия Павловича! Самого!..»

А улица, полупьяная по выходным, была равнодушна и цинична. Горланила и пьяными, и трезвыми голосами:

Цветет в Тбилиси алыча
Не для Лаврентий Палыча.
А для Климент Ефремыча
И Вячеслав Михайлыча…

Вячеслав Михайлович Скрябин, партийная кличка Молотов, еще был в силе. Частушки о его крушении загорланили через четыре года. С тем же цинизмом и по-олнейшим равнодушием…

В страшном испуге находились лишь бывшие «проработчики», доносчики, заплечных дел мастера.

Особенно суетилась «Литературная газета», трусливая, как все хулиганы.

Только что, к примеру, она смешивала с грязью, затаптывала ленинградского писателя Юрия Германа. До того докричалась, что повесть Юрия Германа «Подполковник медицинской службы», о враче по фамилии Левин, опубликованная в журнале «Звезда» наполовину, была спешно изъята, а набор рассыпан…

И вдруг в той же самой «Литературке» появился «трехколонник славы» — в честь крупнейшего писателя Юрия Германа. Его величали, как Шекспира в юбилейный год, конечно, даже не вспомнив о том, как затаптывали вчера.

Василия Гроссмана, правда, еще не подымали: пока только

Юрия Германа, Сталиным не меченного. Однако было совершенно ясно, что в безотказно действующем государственном механизме полетели какие-то шестерни.

Владимир Ермилов главный редактор «Литературки», травивший десятки писателей «от Маяковского до Твардовского», как говаривали в Союзе писателей, стал вдруг восславлять Твардовского и ругать собственных друзей, писателей из МГБ типа Василия Ардаматского…

Василий Ардаматский вряд ли, впрочем, заслуживал упоминания, если бы позднее не стал, наряду со Львом Никулиным, «ведущим антиписателем»; такие литераторы с вывернутой наизнанку моралью, восхваляющие ложь, вероломство, убийства, если они, конечно, «во славу революции», заслуживают особого рассмотрения, и к ним мы вернемся.

Но тут произошло неожиданное. Массовый читатель не умел «перестраиваться» столь стремительно; он помнил тональность вчерашних газетных разносов и — недоумевал. Он не был прожженным циником, массовый читатель, и требовал объяснений…

Литература — это «должное», а не «сущее» — напоминали «Литературке» чаще всего отставные полковники, или, в просторечии газетчиков, «чайники».

«Литературка» взялась срочно переучивать читателя, заведенного ею самой в дебри бесчисленных фальшивых теорий: бесконфликтности, примата положительного героя и пр.; это была светлая минута в жизни «Литературки» — люцидум интервалпум, как шутили старые писатели, окончившие еще классические гимназии, т. е. светлый промежуток у сумасшедшего…

В этот светлый промежуток «Литературка» пыталась устыдить даже советских издателей, опубликовав нашумевшую в свое время статью «Найти собакина» (т. е. разбойника-рецензента, готового угробить любую нежеланную издательству рукопись).

Люцидум интерваллум продолжался, как и полагается, считанное время. На даче Ермилова висела железная табличка с надписью: «Осторожно: злая собака». Кто-то приписал на ней гвоздем: «и беспринципная». Пришлось табличку срочно отрывать.

Но на том перестройка и кончилась. Сталинские методы фальсификации общественной мысли, вошедшие в плоть и кровь, снова высыпали наружу, как сыпь при скарлатине.

В те дни обсуждался, скажем, чудовищно плохой роман Федора Панферова «Волга-матушка река». «Литературная газета» опубликовала обзор писем читателей. Было процитировано 13 положительных отзывов и чуть поменьше — отрицательных.

Словом, книга как книга. Никакого скандала!

Каков же был конфуз, когда выяснилось, что редакция получила более тысячи негодующих писем и только… 13, одобряющих роман. Негодование читателей скрыли, а 13 положительных увидели свет как «мнение народа». Но все скрыть было уже невозможно.

Люди стали во весь голос критиковать антилитературу и, прежде всего, Бабаевского с его «Кавалером Золотой Звезды». Фальшь таких книг стала вопиющей после сентябрьского пленума ЦК партии 1953 года, когда выяснилось, что коров ныне в СССР меньше, чем при Николае II.

Подобные открытия — позднее все более редкие — привели не только к краху «деревенской» антилитературы, трубившей о полном изобилии в годину голода, но и к трагедии таких даровитых писателей, как Сергей Антонов. Его бесспорно талантливые рассказы о деревне, частушечно-фольклорной, напоенной запахами трав, написаны скорее глазами дачника, отпускника. Они не претендовали на обобщения. Но все равно талантливый писатель не мог простить себе того, что в годы разора и голода он отделывался «частушечными рассказами», и надолго замолчал…

Напротив, подняли голос писатели-националы.

Крупный дагестанский поэт Расул Гамзатов серьезно заинтересовался трагедией Шамиля, преданного Россией, требовал поставить ему памятник; а позднее, на съезде писателей, выступил с поздравлением, от которого, помню, председательствовавший Сергей Михалков вскочил, точно на гвоздь сел.

— Я па-аздравляю, — гулко, в съездовские микрофоны, нарочито замедленно начал Расул Гамзатов. — Па-аздравляю русских писателей — первых среди равных — от имени дагестанского народа — предпоследнего среди равных…

Эммануил Казакевич, побывавший в Венгрии, привез оттуда анекдот, также свидетельствующий о том, что советское великодержавие для многих народов — кость в горле. Он неизменно добавлял, что услышал его в Будапештском райкоме партии. «Заключен-де пакт между СССР и Венгрией, — шутили секретари Будапештского горкома, — о свободе плавания по Дунаю. Русским — вдоль реки, а венграм — поперек…»

Увы! Политические анекдоты безвременья, затопившие Россию, так анекдотами и остались: словотворчеством в те времена оторопи и прозрения временно не интересовалась даже припугнутая госбезопасность.

Сразу после смерти Сталина — почти на другой день —

усилилось шуршание листов самиздата. То, что лежало в тайниках, уцелело после чисток 37-го года, стало множиться и расползаться по стране.

Любопытно, что же стало самиздатом после марта 1953 года, кроме стихов Гумилева и Цветаевой, имевших распространение лишь в университетском кругу?

Каков был новый самиздат?

Как это ни парадоксально, новым самиздатом стал… Ленин. Помнится, в тот год я впервые прочитал, на тетрадном листочке, копию письма Ленина к народному комиссару юстиции Д. Курскому, в котором призывалось «обосновать и узаконить» террор… «без фальши и прикрас…», «… формулировать надо как можно шире…»

Оказалось, это письмо было напечатано и ранее, но — наше поколение все открывало заново. С несравненно большим вниманием мы читали и то, что от нас скрывали всегда. Помню, как поразили меня слова Веры Засулич, напечатанные 26 ноября 1917 года в России. Слова народоволки, стрелявшей в губернатора. Ее считали героиней даже в сталинское время. Она прочно вошла в историю русского освободительного движения. И вдруг выяснилось — народная героиня сказала вот что: «Защищать свободу печатного слова от Ленина с компанией можно только делом. Ни урезонивать их, ни запугать невозможно… Нас, социалистов, Ленин пытается запугать тем, что борьба с его владычеством является борьбой «в рядах буржуазии» — против рабочих, солдат и прочих масс. Но это такая же ложь, как и все остальное… Борьба идет… не против масс, а против лжи, которой их опутывают… Неустанной борьбой русские люди докажут — самим себе докажут, а это очень важно, — что кроме деспотов и рабов в России есть граждане…» («Протест русских писателей», 26/X1 1917 года).

Подобные открытия ошеломляли нас. Выбравшись по скользким заплесневелым стенкам из бездуховного колодца сталинщины, мы открывали горизонты, о существовании которых и не ведали…

Что же делать? Как быстрее, серьезней осмыслить происходящее, если все документы, по-прежнему заперты в «спецхране» Ленинской библиотеки, заперты, как и в сталинское время?

Естественно, мы потянулись к Достоевскому, Кафке, Пастернаку. «Бесы» Достоевского или история провокатора Азефа читались и перечитывались: книги эти перестали быть историей…

Нас, тогда молодых писателей, отбрасывали от редакций, хотя кое-что неожиданно прорывалось, о чем скажу позднее. Эта

необычайная активность молодых объяснялась главным образом тем, что мы знали, твердо знали: ни Фадеев, ни Симонов, ни Сурков, ни Катаев не оградят от разбоя.

Мы трепетно ждали, много лет ждали голоса уважаемых нами тогда маститых «советских классиков», ставших чем-то вроде икон советской литературы. Торопливо раскрывали газеты: кто бы мог — в тот год потрясений — помешать, скажем, Л. Леонову, Ф. Гладкову, К. Федину, К. Паустовскому, если бы они объединились против литературной нечисти? Против каторжной советской цензуры.

Однако неоклассики молчали.

Разнесся, правда, слух о дерзости писателя Степана Злобина. Степан Злобин вернулся из гитлеровского плена, где был руководителем восстания в одном из лагерей уничтожения. Злобин заслуживает особого разговора, особого места в истории современной литературы. Приведу только один эпизод из его жизни… Степана Злобина, как писателя-историка, пригласили в Политиздат. На заседание. Сюда прибыли и испытанные ортодоксы из института Маркса-Энгельса — Ленина, которые вычеркивали из издательского плана (а обсуждался план будущих лет) книги об участниках революции, погубленных Сталиным. Одного революционера вычеркнули как уклониста, двух — как частичных троцкистов.

Список редел. И вот поднял руку Степан Злобин, спросил главного ревнителя чистоты: «Скажите, пожалуйста, кто был главным троцкистом?» Тот смешался: «То есть кто главный троцкист? Троцкий, конечно». «Ничего подобного, — сказал Степан Злобин. — Главным троцкистом был Сталин».

Ревнитель партийной чистоты покачнулся, свалился бы со стула, если б его не поддержали. Такого Россия не слыхивала уже три поколения.

Но то было частное мнение. Не увидевшее, конечно, публикации…

Кто начнет в печати? Кто сумеет прорвать бетонные надолбы цензуры?

Несколько поколений ждало смельчака в литературе, который первым бросит камень в гнилое болото. Вызовет дискуссию, ругань, серьезное переосмысление жизни! Пусть только начнет!..

Первым начал Илья Эренбург.

Осенью 1953 года в журнале «Знамя» появилась его статья с невинным названием «О работе писателя. Этот журнал зачитывался до дыр, как и все еретическое, хотя бы близкое к правде. «Каждое общество знает эпоху своего художественного

расцвета, — писал Эренбург. — Такие периоды называются полуднем. Советское общество переживает сейчас раннее утро».

Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! Тридцать лет печать твердила изо дня в день: «Под солнцем сталинской эпохи», «на солнечной стороне мира». Целые поколения были воспитаны на этих словесных штампах и поверили, что живут под добрым солнцем, по крайней мере, сталинской конституции. И вдруг оказывается, утро забрезжило только сейчас. Значит, что ж, сталинская эпоха была мраком?!.

Далее: «Есть область, в которой писатель обязан разбираться лучше своих сограждан и современников: это внутренний мир человека». Лучше всех все знало и во всем разбиралось ЦК КПСС, оно породило все постановления ЦК об искусстве, и — вдруг?! «Место писателя не в обозе, он похож скорее на разведчика, чем на штабного писаря. Он не переписывает, не излагает, он открывает…»

Это был бунт! Бунт против невежественного цензурного контроля! «Писатель не может выправлять жизнь своих героев, — категорически заявлял Эренбург, — как корректор выправляет гранки книги».

Прошло меньше года, и появилась «Оттепель», повесть 54-го года. Она была, по сути, продолжением той же еретической статьи. Главный отрицательный герой ее — директор завода Журавлев, бюрократ, нечто вроде Листопада из «Кружилихи» Веры Пановой. Новый Листопад призывает: «Поменьше смотреть на теневые стороны, тогда и сторон будет меньше». Не дает грузовика роженице: «Машины не для этого».

Есть в книге и художник Пухов, циник, растерявший талант. (Тема эта давно описана Гоголем в его «Портрете» — трагедия художника, угождавшего вкусу заказчика.)

Есть и героиня Лена, ушедшая от отрицательного Журавлева к серому положительному Коротееву — все это в литературе было. Ничего нового Эренбург не открыл. Повесть эта, на мой взгляд, одна из самых слабых у Эренбурга. Даже стиль Эренбурга, рубленый, основанный на контрастах, так уместный в его «огнепальной» публицистике, в «Оттепели» — вял, бесцветен…

Но поставим вопрос прямо: если герои «Оттепели» не новы, если сюжет задан и элементарен, почему же книга, художественно слабая, стала знамением времени? Явлением переходных лет? Почему на нее обрушились, как на главную опасность?

В конце книги завихрилась буря, сбросившая с пьедестала Журавлева, и — наступила оттепель…

Это слово Илья Эренбург, как известно, вынес в заголовок, ставший символом… «Оттепель», — повторяла Россия, когда все

мракобесы, от Молотова до Шолохова, утверждали, что ничего не случилось и все было прекрасно, кроме отдельных недостатков.

Илья Эренбург дал мыслящей России точное и образное определение времени: оттепель…

Конечно, на него снова набросились все — от Шолохова до Симонова…

Эренбург ответил на это предисловием к книге Бабеля, которое срочно изъяли, а затем своим последним и, на мой взгляд, главным трудом — «Люди, годы, жизнь», целые главы которого немедля изымались цензурой и уходили в самиздат…

Вклад Эренбурга в процесс духовного пробуждения послесталинской России трудно переоценить.

Однако самый сильный удар по сталинщине нанес не он. Не он поднял на ноги всю молодежь, посеяв панику в ЦК.

Героем 1953 года стал совсем другой писатель, бывший иркутский следователь, выступивший против произвола. Он сделал это столь талантливо и ярко, что об Эренбурге, авторе крамольной статьи, почти забыли.

2. Подвиг Владимира Померанцева

Этот прорыв совершил маленький тихоголосый человек, болезненно скромный, неторопливый, ходивший даже в лютые морозы в легкой шерстяной куртке. «Я иркутянин, — говорил он с застенчивой улыбкой. — Привык морозу не поддаваться».

Имя этого человека — Владимир Померанцев. Подвиг, им совершенный, назывался прозаично: «Об искренности в литературе», очерк. Опубликован этот очерк был в 12-м номере журнала «Новый мир» за 1953 год. Спустя два месяца после пристрелочной статьи Ильи Эренбурга в десятом номере «Знамени».

Едва декабрьский номер появился в продаже, как о Владимире Померанцеве заговорила вся думающая Россия.

Но вначале расскажу о той стороне его жизни, о которой мало кто знал и которая была не менее героична, чем его статья, изобличившая ложь эпохи…

Некогда Владимир Померанцев изучал юриспруденцию, в молодости работал следователем в сибирской глуши, а затем ушел в журналистику, так как сажать невинных было невмоготу. Многие его однокурсники стали за эти годы прокурорами и судьями, и, изредка общаясь с ними, товарищами детства, Владимир Померанцев непрерывно освобождал невиновных.

Он сам, на свои средства, выезжал в дальние города, разговаривал с запуганными свидетелями, и — выяснял истину.

Когда я впервые пришел к нему домой, на тихую улочку, неподалеку от станции метро «Сталинская», у него сидели двое стриженых парней в тюремных ватниках. Они приехали к нему прямо из лагеря. Парни были музыкантами, получили в свое время по двенадцать лет лагерей.

В одном из городов они, устав после концерта, не пожелали играть на свадьбе председателя горсовета.

Гонец от властей настаивал, и один из музыкантов сказал:

— Парень, мы играем только на похоронах. Вот если бы ваш председатель предстал перед Господом!..

За музыкантами приехали утром. Нет, им не «шили» политику: времена были не те. Им приписали… групповое изнасилование, совершенное в те дни в районе; да еще добавили, для крепости, по разным «звонковым» статьям, как говорят юристы; приговоренные по этим статьям досрочно не освобождаются, сидят «от звонка до звонка».

Померанцев отыскал все документы, говорящие о мести городских властей, и добился смещения прокурора, придумавшего «дело» об изнасиловании.

Однако борьба за освобождение музыкантов продолжалась пять лет. Один из музыкантов, скрипач, отморозил в лагере пальцы, и их ампутировали; другой ослеп. Их «комиссовали» как инвалидов. Третий, не выдержав мучений, повесился в лагерном бараке. И только двое вышли через пять лет за ворота лагеря. И прежде всего приехали к Владимиру Михайловичу Померанцеву, своему освободителю.

Кого только не освобождал Владимир Померанцев за свою подвижническую жизнь: токарей, деревенских мальчишек, начальников геологических партий, председателей колхозов. Гости на его день рождения прилетали, случалось, за 10 тысяч километров, из Петропавловска-на-Камчатке или Магадана, порой только на один день. Подняв рюмки за здоровье именинника, утирали ладонями повлажневшие глаза.

… В декабре 53-го года Владимир Померанцев как в набат ударил. Передо мной его очерк-исследование «Об искренности в литературе», который ныне так хотели бы вырубить из истории литературы лжецы и фальсификаторы.

«Неискренность, — писал Владимир Померанцев, — это не обязательно ложь. Неискренность — это и деланность вещи… История искусства и азы психологии вопиют против деланных романов и пьес».

В ЦК сразу поняли, что он имеет в виду социалистический реализм, который весь — от схемы, от заданности, «деланности», как выразился Померанцев.

Он прослеживает главные приемы лакировки в советской литературе.

а) Самый грубый, пишет он, — измышление сплошного благополучия (Бабаевский, Сергей Антонов, фильмы Пырьева, вроде «Кубанских казаков»).

б) Прием потоньше. Явной лжи нет. Заливные поросята и жареные гуси убираются из колхозной жизни. Но — цинично замалчивается дурное и скверное.

с) Третий прием хитрее и подлее всех предыдущих. Он заключается в таком подборе сюжета, когда вся проблематика, вся глубина темы вообще остаются за бортом. «Искажение тут — в произвольном отборе».

После очерка-исследования Владимира Померанцева и по следам его и родился в Москве полуанекдот-полупрозрение о том, что же такое, в конце концов, социалистический реализм…

Жил некогда жестокий царь Навуходоносор, — рассказывалось обычно с шутливой интонацией это вовсе не шуточное. — Придворный художник изобразил хромого и одноглазого Навуходоносора стройным рыцарем с блещущими отвагой очами и… был казнен «за лакировку действительности».

Призвали второго, который, естественно, знал о судьбе первого. Второй нарисовал грозного царя таким, каков он есть, т. е. колченогим и кривым, и… был казнен «за клевету на действительность».

Вызвали третьего. Тот написал страшного царя в профиль. Царь стоял на одном колене и, прикрыв глаз, нацелился из лука. Ничего не было искажено. У царя был зажмурен, разумеется кривой глаз. Подогнута укороченная нога. Царь был прекрасен в своем охотничьем порыве.

Лжи не было. Как и правды.

Сей запуганный до смерти, издрожавшийся за свою шкуру художник, который придумал, на краю могилы, спасительный ракурс, — завершал обычно рассказчик, — и был родоначальником социалистического реализма…

Этот как бы анекдот облетел Москву, а затем всю страну. О нем говорили в университетах, в Союзе писателей, в бесчисленных секретных НИИ и КБ, где собрана «техническая элита», фыркали в кулак, узнав о нем, на высоких совещаниях. Острая и талантливая статья, высказавшая давно наболевшее, начала, как видим менять нравственный климат…

«Писатели не только могут, а обязаны отбросить все приемы, приемчики, способы обхода противоречивых и трудных вопросов…» Настоящий писатель никогда не станет «заглушать проблематику…», — писал В. Померанцев.

А проблематика сложна и противоречива, и Померанцев рассказывает о случае из своей юридической практики, когда его послали в дальний колхоз, в Заозерье, куда начальство не добиралось. Им руководила бой-баба, вдова. Она подняла колхоз, спасла людей от голода, но… добивалась этого не всегда юридически безупречными способами. Скажем, гнала самогон, которым и расплачивалась и с плотниками, и с рыбаками, обогащавшими колхоз.

Правда оказалась не так проста. Куда сложнее должностного взгляда прокурора или директора банка.

Прокурор между тем требовал немедля завести на бабу-председателя «дело». И посадить в тюрьму ее, спасшую от гибели десятки ребятишек… Владимир Померанцев бросил тогда работу в прокуратуре.

«Искренность… должна быть мужественной, — требовал он в работе, напечатанной в «Новом мире». — Не писать, пока не накалился; не думать о прокурорах…»

Вот на что посягнул бывший следователь прокуратуры. Не думать о прокурорах!

Не жалует он, разумеется, и «благополучно-номенклатурных писателей».

«Когда в нас, читателях, возникает тоска и горечь, когда с нами происходят перемены судьбы, бить нас, беззащитных, пустыми, бессочными фразами — это жестокость бесталанных людей».

Особый счет у Померанцева к критикам. «От критика исходят, — негодует он, — не звуки, а отзвуки». «Плохо, когда критик ничего не подсказывает, а сам ожидает подсказок». «Мы знаем имена многих писателей, знаем их книги, но вовсе не знаем, чем обязана им литература, что они дали ей…»

Разве в нашей лирике нет такого «неразумного, как не объясненного еще рассудком разумного», что, по утверждению Гете, является признаком настоящей поэзии?

Но никто ничего этого не проследил. Поэтов у нас разделяют лишь запятые.

«Наши критики, — возмущенно продолжает далее Померанцев, — боятся вписывать современных советских писателей в литературу… Боятся зачеркивать тех, кто вознесен ввысь на бумажном планере и держится ветром или веревочкой».

Это уж недвусмысленный намек на конкретные имена. Не так грудно себе представить, в какой истерике забился, к примеру, «борец за мир» Корнейчук. И его подголоски…

Каждым абзацем, каждой строкой Владимир Померанцев бьет, что называется, не в бровь, а в глаз. «А что такое

перестраховка? — вопрошает он. — Это, по меньшей мере, десять пороков. Тут эгоизм, трусость, слепой практицизм, безыдейность и прочее, включая подлость».

А трусам-редакторам подают руку, зовут в гости. Их надо бойкотировать, изгонять из среды честных людей. И писать о подлинных страстях и страданиях.

«Обогащение тематики кажется мне самой надобной из надобностей литературы» («Новый мир» № 12, 1953 г.).

Как видим, литература отмобилизовалась сразу же после смерти Сталина. Буквально в тот же год! Хотя о предстоящем развенчании Сталина еще и мысли не было, напротив, ермиловы пытались продолжать величание «сталинской эпохи», подлинная литература пошла на прорыв, как герои-пехотинцы, бросаясь грудью на ДОТы.

Легко понять, такого удара по сталинщине Владимиру Померанцеву не забыли до конца дней его. Десятки прекрасных рассказов так и остались похороненными в его столе.

Это было подлинным преступлением против литературы: Владимир Михайлович писал талантливо и мудро.

Кто мог забыть, скажем, его рассказ «Караси», прослушав его хоть раз?

Хотя пересказ всегда ослабляет силу воздействия талантливого произведения, я все же коснусь его, придушенного цензурой…

Одному из ответственных работников рыбной промышленности позвонили и сказали, что в Кремле просят карасей. Полагая, что карасей возжелал отведать сам Сталин, ответственный чиновник немедля в панике вылетел в один из дальних рыбных колхозов, где, он точно знал, еще водились караси.

А стояла лютая зима. Никто из колхозников, естественно, доставать карасей из-подо льда не соглашался. И вот секретарь райкома партии и этот ответственный чиновник, взломав лед и стоя по колено в ледяной воде, принялись выполнять государственную задачу: ловить карасей…

Словом, привез этот ответственный чиновник несколько карасиков, однако тяжело заболел.

А выяснилось вскоре, что караси-то были нужны не Сытину, а начальнику охраны генералу Власику. Мать к нему приехала из деревни, посетовала: вот, мол, рыба у вас. московских, все соленая, морская. А карасика и не попробуешь.

Генерал решил ублажить свою матушку, позвонил в министерство по «вертушке», т. е. кремлевскому телефону…

Страх и угодливость чиновничества, убеждает нас Владимир

Померанцев своим рассказом, достигли такой степени, что человек по звонку из Кремля мог убить себя, родных, кого угодно, лишь бы не прогневить власть.

А потом, когда этот человек стал инвалидом, его третирует жена, от него отвернулись дети; и он, сановный деятель, отдавший жизнь сталинской эпохе, спрашивает самого себя и окружающих: «Я инвалид. И пенсию получаю как инвалид. Есть инвалиды войны. Инвалиды труда. А я — инвалид чего?..»

Подобные острые и ярчайшие рассказы Владимира Померанцева, ходившие по рукам, начисто изымались цензурой из его книг, книги выходили худосочными, обесцвеченными. Скорее, не книги, а клочья от книг. С трудом прорвались исковерканные цензурой повесть «Неумолимый нотариус», рассказ «Оборотень», о глухой сибирской деревне, где командировочных из города и вообще врагов, убивали, привязав их к спине оленя и отпустив испуганного оленя в таежные заросли, где тот пытался сбросить с себя орущую окровавленную ношу, обдирая ее о деревья…

Свои главные выстраданные рассказы Владимир Померанцев попытался издать в сборнике «Дом сюжетов»… Он умер в тот день, когда набор этой долгожданной книги был рассыпан.

Убила его Валентина Карпова, главный редактор издательства «Советский писатель». Услышав, что редактор соседнего издательства получил нагоняй в ЦК за выпуск одной из книг, она остановила все наборные и печатные машины своей типографии в Туле, где уже печатался, среди других, «Дом сюжетов».

Карпова объявила по телефону Владимиру Померанцеву, что будет читать его книгу заново.

Измученный, больной Померанцев, у которого уже было до этого два инфаркта, понял, что означает неумолимо-суровый голос трусливой и сверхбдительной Карповой. Выронив телефонную трубку, он упал, захрипел. Его отвезли в больницу, где он и умер.

Я, вместе со многими писателями, хоронил его. Не собирался выступать. Просто плакал: мы дружили всю жизнь. Но… слово было предоставлено официальным лицам.

Бог мой, тем же самым, которые добивали его! Вещий Юз! «Не страшно умирать, — снова обожгли меня его слова, — страшно, что именно те, кто тебя травил, и будут разглагольствовать над твоим гробом».

Владимир Померанцев тоже знал, предвидел это. Он строго-настрого наказал своей жене перед смертью, чтобы гроб его ни в коем случает не выставляли в Клубе писателей. Чтоб и духа

нечистого рядом не было.

Отыскали, проклятые. Примчались в крематорий с веночком на проволоке, только что не колючей… У карателей из издательства «Советский писатель» были скорбные лица глубоко потрясенных людей.

Нет, этого нельзя было вынести. Протолкавшись вперед, я попросил слова. Не от издательства, не от комиссии по литературному наследству. От друзей писателя. Меня пытались оттолкнуть; какая-то кожаная куртка начала оттирать широкой спиной, но… не очень-то просто скандалить у гроба на виду осиротелой семьи, под тихую скорбь Шопена. Я начал говорить, и меня не прервали, не посмели прервать. Я сказал, как убили Владимира Померанцева.

По крайней мере, имя убийцы стало известно литературной Москве. «В млечном пути мучеников русской литературы, — сказал я над гробом друга, — зажглась ныне и звезда Владимира Померанцева».

… После блистательного прорыва Владимира Померанцева, названного столь прозаично — «Об искренности в литературе», сняли с поста главного редактора «Нового мира», правда, не в последний раз, Александра Твардовского. Главным назначили Константина Симонова, которого, в свою очередь, изгнали после публикации еретично-го романа Дудинцева «Не хлебом единым…»

Ох, как кричал-надрывался в тот раз на всех пленумах Алексей Сурков: «Вместо понятия «партийность» Померанцев на первое место выдвигает «искренность»… (!)

Этак объявят вдруг партийность и искренность синонимами — тогда зачем он. Сурков? Спишут на партийную пенсию…

«Когда писателя приводят в «милицию нравственности» В. Померанцева, — шумел Сурков, — и начинается допрос, а искренно ли ты писал, — это оскорбительно… для нашей литературы».

Но мытарили-таскали по кабинетам, конечно, не «искреннейшего» Алексея Суркова, а Владимира Померанцева, который заявил в сердцах в кабинете властного Поликарпова, заведующего Отделом культуры ЦК КПСС:

«Мы друг друга не поймем, товарищ Поликарпов. Вам свобода не нужна, а мне нужна…»

… Мужественному и талантливому Владимиру Померанцеву свобода была нужна. Очень нужна! Как воздух! Поэтому его и убили…

3. Виселица, убранная цветами…

Подвиг Владимира Померанцева дал обильную жатву. Активизировались все, в ком еще была жива совесть. Появилась целая воинственно-критическая литература, новые имена, которые с благодарностью повторяла думающая Россия.

Федор Абрамов, ставший одним из самых интересных прозаиков-печальников русской деревни.

Марк Щеглов, наш однокурсник и общий любимец, болезненный, на костылях, юноша неистовой силы духа. Никто еще так умно и храбро не высмеивал живого мертвеца Леонида Леонова, который вывел в романе «Русский лес» негодяя Грацианского и, заранее испугавшись государственного разноса, попытался увести «корни» Грацианского к царской охранке и за границу. Не может-де вырастить таких негодяев советская действительность…

Ах, как отхлестал его Марк Щеглов, самый талантливый критик последней четверти века, загубленный на корню.

И Федор Абрамов, и Марк Щеглов — дети «Нового мира», зеленая поросль в вырубленном лесу неподкупной критики.

А за ними потянулись маститые: поэтесса Ольга Берггольц, героиня блокадного Ленинграда, ударила душегубов статьей, названной без смягчений и уловок: «Против ликвидации лирики». Драматург-моряк Александр Крон высмеял недоразумения, которые перепуганная советская драматургия выдает за конфликты. И даже битый-перебитый поэт Илья Сельвинский и тот опубликовал в «Литературке» свой известный протест, в котором он сравнивал советских литераторов с оркестрантами: одни получают канифоль, и потому звуки от их инструментов разносятся далеко, а другие — нет, и потому их слышат только первые три ряда партера…

Срочно убрали из секретарей Союза писателей-палачей 49-го года Грибачева и Софронова, провалились они, словно пушкинский каменный гость… И вдруг — оказалось, убрали недалеко. Один стал главным редактором витринного журнала «Советский Союз», а другой — редактором «Огонька», который в СССР лежит во всех парикмахерских. Они были всевластны еще 40 лет — до 1989 года.

«Наш бронепоезд стоит на запасном пути», — горьковато шутили в Союзе писателей, предчувствуя недоброе. И не зря: сталинщина не могла выжить правдой, и вот началось исподволь, замутняя нравственную атмосферу, половодье фальшивок, подобных пьесе «Персональное дело» Александра Штейна…

Героиня пьесы Марьяна не хочет подавать в партию. «Почему?» — спрашивает чудом уцелевший в сталинской мясорубке папа Хлебников.

«Пока тебя не восстановят, не могу, папа», — отвечает дочь.

Папа Хлебников (оттолкнув дочь, встал, как сообщает автор). А встав и оттолкнув, вскричал: «Ты что? Обиделась? (Марьяна молчит). На кого же ты обиделась? На партию?» (Марьяна молчит, естественно.)

«Я спрашиваю, — не унимается недобитый папа, — на кого ты обиделась?»

Марьяна что-то лепечет нарочито оглупленное, ссылается на свое психологическое состояние. Тут уж папа заходится в страстном припадочном монологе: «Да чем бы была моя жизнь без нее? Дышал бы чем? — И т. д. И прочее. — И завершает: — Стыдно!»

Подобные фальшивки, во всех жанрах, заполняют сценические площадки, оттесняя подлинное аналитическое искусство художественных открытий.

Однако этого недостаточно, чтобы спасти палачей. Спасти палачей может только безотказно работающая виселица, на которую вздергивают таланты.

Ждать ее пришлось недолго. Благо она была сбита-сколочена давным-давно, к 17 августа 1934 года.

В этот день Максим Горький открывает 1 съезд писателей восторженным восклицанием по поводу того, что они собрались все, вместе с зарубежными писателями, «в стране, где неустанно и чудодейственно работает железная воля Сталина». Горького прервал «взрыв восторга», как свидетельствует газета «Правда».

Александр Фадеев поведал тогда вдохновенно, какой глубиной может поражать слово, допустим, слово «дружба». К примеру, дружба, которая связывает вождей партии. До убийства Кирова оставалось всего три месяца. Алексей Сурков не уловил глубины фадеевского сравнения дружбы с железом и досадовал на то, что на I съезде забыли про ненависть. Хитрая лиса, он чувствовал, к чему идет дело. Он требовал крови. Без эвфемизмов и поэтических тропов.

От I до II съезда писателей прошло ни много ни мало двадцать лет. И, как все знают теперь, это были двадцать лет такой железной дружбы, которой не знала ранее веками окровавленная Русь!

И вот снова подкатили виселицу, убранную цветами, увитую праздничными гирляндами и даже иллюминированную. Произошло это 16 декабря 1954 года.

… Я был на II съезде со второго до последнего дня, наивно надеясь, что литературе дадут жить.

Когда я вошел в Колонный зал Дома Союзов, на какое-то мгновение почти поверил в то, что все изменилось. Стены Дома

Союзов были увешаны карикатурами. Такие карикатуры были невозможны даже год назад. Тем более полтора. При Сталине. Вот на одной из карикатур девчонка-грязнуха, хитренькая-хитренькая, с остреньким угодливым лицом ябеды. Рядом — ее безликий силуэт с красным галстуком. Под первым рисунком написано: «А вот Лиза, Лиза-подлиза». Под соседним: «А вот Лиза в изданье «Детгиза».

Рядом была нарисована на всю стену, огромная голова Корнея Чуковского. Стихами его о «Мойдодыре» начиналось восприятие жизни почти каждым ребенком в России. Корнея Чуковского долго поносили, особенно когда на репинской даче было найдено и отправлено «куда следует» его письмо к Репину, в котором Чуковский умолял Репина не возвращаться в сталинскую Россию.

И вдруг на всю стену добрый шарж на носатого Корнея Чуковского с ободряющей подписью: «Нашдодыр».

Рядом — стихи Михаила Светлова, примирительно-иронические, о «проработчиках», которые всюду ищут обратную сторону медали. Успокойтесь, мол…

> Обратная сторона медали —
> Это те, кому не дали.

Открыла «действо» Ольга Форш, старейшая писательница, умница, интеллигентка, язва. Она сказала в фойе о представителе ЦК партии на писательском съезде: «Да разве у него лицо? Коровье вымя!»

А на трибуне она прошелестела что-то по бумажке, которую ей подал, почтительно горбясь и ведя ее под руку к трибуне, Константин Федин. Ни единой мысли не было в этой бумажке, заготовленной, видимо, тем же «коровьим выменем».

Если вдуматься, какая это трагедия, когда совесть нации, ум и талант начинают шелестеть пустыми канцелярскими бумажками!

Вряд ли я когда-либо забуду талантливого Павла Антокольского с расширенным ужасом глазами Акакия Акакиевича, у которого украли шинель. И шинели не вернешь, и жаловаться некому.

Треть зала стала с шумом подниматься и выходить в коридоры.

И вдруг началось обратное движение! Помню, как повалили в зал писатели, дожевывая на бегу бутерброды. Это объявили выступление «блокадной поэтессы» Ольги Берггольц.

Белое, испитое, измученное лицо ее и едва слышный

мерцающий голос вызвали в президиуме почти панику: она заговорила о праве писателя на самовыражение… О том, что без самовыражения нет ни писателя, ни литературы… И вдруг, повернувшись к дергающемуся президиуму, она сказала с усталостью и застарелой тоской вечного зэка:

— А вообще вам этого ничего не надо… Литературы, говорю, не надо. Вам нужен один писатель, да и то…

Ни я, никто из соседей так и не разобрали завершающего слова… «Да и то… что? «да и то…?»

Это слово выпало из официальной стенограммы, из которой вообще выпадало довольно много.

Мы принялись выспрашивать всех подряд: «… Что «да и то…?»

Сама Ольга Берггольц уже не помнила: она сидела в буфете, в углу, наливая дрожавшей рукой водку в стаканы и стараясь хоть таким путем быстрее уйти, пускай на время, из этого страшного мира, где литературу публично казнят, как некогда казнили цареубийц.

Допросы без сна, лагеря, расстрел мужа — поэта Бориса Корнилова, ленинградская блокада, безнаказанность доносчика Лесючевского, ставшего после войны руководителем издательства «Советский писатель», избиение послевоенной литературы — все это было не под силу худой маленькой женщине без кровинки в лице, — кто осудит ее, героиню ленинградской блокады?

Наконец общими усилиями текст Ольги Берггольц восстановили, и «Литературная газета» вынуждена была точно воспроизвести этот порыв самовыражения Ольги Берггольц, сказавшей в заключение: «… вам нужен один писатель, да и то усопший…»

Первым почувствовал опасность понятия самовыражение Александр Фадеев — недаром так ценились его услуги… «Такую терминологию используют декаденты!» — немедля отозвался он.

Самовыражение! Да ведь это, по сути, то же самое, чего требовал Владимир Померанцев. Дай волю самовыражению — писатели начнут выражать собственные мысли и чувства, а не партийную линию…

Казалось бы, невинное слово «самовыражение» так всполошило президиум съезда, что не дали выступить даже Константину Паустовскому…

Еще в 47-м году, на совещании молодых, он требовал от нас, чтобы мы никогда не расставались с чувством внутренней свободы… Без этого нет литературы.

У него начался тогда приступ астмы. Константина Георгиевича увели под руки, уложили на диван, он хрипел:

Чувство внутренней свободы… без этого нет…

Пушкин первый сказал на Руси, Блок понес дальше, как эстафету, это пушкинское выражение «тайная свобода». В «Пророке» Пушкина ухе вся программа.

Константин Паустовский, руководитель семинара прозаиков, не мог завещать нам чувство «тайной свободы». Тайная свобода — таких слов и произносить было нельзя в казенных местах. «Тайная — от кого? — немедля спросили б. — Зачем?»

Однако даже мы, начинающие, поняли тогда, что хотел сказать нам Константин Паустовский, сдержанный, осторожный Константин Георгиевич, который, как нам казалось, избегал политики…

А матерые доносчики из президиума уж точно знали, чем «дышит» Константин Георгиевич. Кто-то из подставных лиц закричал: «Подвести черту!» А все уже устали от болтовни, от ораторов-вулканов, извергающих вату…

32 писателя Москвы тут же отказались от слова в пользу Паустовского. Об этом Александр Бек прокричал на весь зал, чтоб пристыдить президиум… Какое!

Ни тени неловкости не было на лицах Суркова, Симонова, Корнейчука, этой птицы-тройки литературных мероприятий, только деловитость и чувство государственной важности своей миссии.

Никому, ни одному честному писателю не дали выступить — ни Константину Паустовскому, ни Степану Злобину, ни Александру Беку.

Помню, как Паустовский поднялся в середине зала, сгорбленный, точно придавленный, и медленно вышел, пристукивая тростью по полу. Стало тихо-тихо. Даже в президиуме. Стук, казалось, усилился. И долго звучал в моих ушах: тук-тук-тук!

И я подумал тогда впервые: «Какой же это съезд? Это в самом деле виселица на колесах. Простояла в сарае двадцать лет за ненадобностью: убивали другими способами, более современными, а теперь понадобилась, убрали свежими цветами и подкатили снова, чтобы литература не делала и попыток самовыражения…

Литературе нравственного сопротивления опять, в который раз, была показана намыленная веревка. И снова, в который раз, ее не удалось запугать…

Тогда решили обмануть. Заявили во всеуслышанье, что отныне и вовеки руководить литературой будут сами писатели. Са-ми!..

Партийный функционер, опора Жданова, ненавистный

большинству писателей Д. Поликарпов, который до этого дня принимал страждущих в знаменитом московском «доме Ростовых», где обосновался Союз писателей СССР, пересел в другое кресло. Не писательское… В сером здании ЦК — ведал всей советской культурой.

Правда, он успел выбросить со двора Союза писателей статую Родена «Мыслитель».

Каменный мыслитель был живым укором.

Больше никто не каменел в зеленом писательском дворике, пригнувшись, в напряженном и мучительном раздумье…

4. «Булыжник — оружие пролетариата»

Заклеймили «самовыражение» Ольги Берггольц, сбросили под откос Владимира Померанцева с его тоской по искренности, растоптали «Оттепель» Ильи Эренбурга.

И в новом, 1955 году руководители Союза писателей пытались сохранить идеологию и тактику выжженной земли.

Тактика выжженной земли — это значит: ни одной статьи или книги, концепция которых хоть на волос отклонялась бы от сиюминутной «партийной» линии, сиюминутных окриков и указаний секретарей ЦК партии.

Тактика выжженной земли — это только одна точка зрения; единое — непременно единое! — мнение обо всем на свете. Особенно в духовной жизни.

И вдруг поднялись ветры, странные ветры, впервые потянувшиеся, думаю, из восставших лагерей, которых вначале давили танками, а затем начали «расформировывать»… Лагеря требовали одного — правды. За всю Россию требовали — правды… Эти новые и суровые ветры-поветрия задували порой ревнителей сталинской выучки, помогая уцелеть первым и робким литературным протестам.

Первой подняла голову публицистика — литературная разведка, шедшая впереди фундаментальной прозы.

Проза требует времени. Публицистика — как камень на дороге. Преодолей, писатель, страх да метни. «Булыжник — оружие пролетариата» — эти слова начертаны на постаменте одного из «шедевров» социалистического реализма — скульптуре рабочего, потянувшегося в ярости и отчаянии за булыжником.

И моя проза, как и проза Владимира Померанцева и других моих товарищей, десятилетиями оставалась в столах, в издательских шкафах, устаревала. Изредка выходила искромсанной до неузнаваемости. Волей-неволей жизнь толкала к литературному «камнеметанию». «Оружие пролетариата» стало

воистину и моим оружием. Помогло выжить, не задохнуться…

Я вправе, возможно, поэтому остановиться на одной из своих многочисленнейших попыток пробить крепостную стену этим «оружием» отчаяния… Она объяснит, пожалуй, какой ценой достигалось любое, даже самое ничтожное, движение вперед…

В один из смутных дней 54-го года я пришел в «Литературную газету» со статьей. Обычной. Небольшой. На тему, правда, сакраментальную. О том, как отучают думать на университетских кафедрах марксизма.

Не исключено, мысль написать ее была вызвана статьей Владимира Померанцева. Первый для меня огонь, вспыхнувший в ночи… Я закончил ее в самом начале 1954 года. Сумел опубликовать, как это ни парадоксально, в официозе ЦК партии журнале «Партийная жизнь», в директивном органе, каждое слово которого для партийного аппарата — закон.

Два года я ходил с этой работой из редакции в редакцию, от стола к столу. Два года подряд. Одни смотрели на меня, как на городского сумасшедшего. Другие как на опасного изобретателя, который обивает пороги учреждений с новым видом адской машины подмышкой…

Впрочем, иногда ее обсуждали, одобряли, а потом я ехал, вызванный срочным звонком, за ней, и мне объясняли учтиво, что для меня же лучше отложить ее до иных времен.

Но однажды один из сотрудников «Литературной газеты» взял на себя смелость, нет, не напечатать, такого права у рядовых советских журналистов нет ни ранее, ни сейчас, а — доложить на заседании редколлегии. И — время было неясное — никто не посмел возразить вслух и тем самым прослыть ретроградом. Статья пошла в набор.

Ею занялись всерьез позднее, в тиши кабинетов, наедине со своими страхами. А мне через неделю сказали, что статья — нужная, правильная, но… лучше ее написать не на материале Московского университета — это вызовет нежелательный резонанс за рубежом, тем более что университет празднует свой юбилей, — а взять тихий провинциальный вуз и вот его-то уж и представить, перед всем миром голеньким. Как захолустное исключение. Это не было предложением, это было условием.

Я никогда не бывал до этого в Одессе, а давно собирался взглянуть на Одессу Бабеля и Паустовского, и выбрал Одессу.

В университетской Одессе все было как в Москве. Точь-в-точь. На второй или на третий день я попал на занятия, которые и положил в основу исследования. Во всяком случае, они стали зачином, ниткой, потянув за которую удалось размотать весь клубок.

Я расскажу об этом по возможности подробно, так как вопрос этот, о бездумье и легковерье миллионов, для России ныне основополагающий, генеральный.

В старинном здании университета проводился философский семинар. По эстетике. Проводил его старый профессор, доктор философских наук, умный, эрудированный человек со скептической складкой у губ.

Доклад читал студент четвертого курса, филолог по фамилии Подгаец, герой войны, без ноги, со многими орденами, серьезный, с открытым, добрым лицом. Он анализировал пьесы, которые в то время ругали во всех газетах. Он тоже ругал их, правда, не столь бранчливо, как газеты. Пристойно, во всеоружии философской терминологии. Останавливаясь на образной системе и что-то аргументируя; словом, это был разнос, но разнос почти научный. Со ссылками на Гегеля и младогегельянцев. Конечно же, на Маркса — Энгельса-Ленина. Посмеялся над теорией бесконфликтности… Хороший парень, мелькнуло у меня. Думающий.

Профессор остался очень доволен, спросил, как водится, есть ли вопросы. Вопросов почему-то не было. Я был гостем, сидел сзади тихо. Неуверенно поднял руку. Спросил, какие из этих пьес, только что им так умело проанализированных, он видел на сцене. Подгаец ответил, что он не мог видеть этих пьес, так как в Одессе они не шли.

Тогда я заставил себя снова поднять руку и спросил, какие из этих пьес он читал.

Чуть покраснев, он ответил, что этих пьес он не читал… Руководитель пытался как-то слабо возразить, взмахнул протестующе руками, но Подгаец упрямо повторил, честный человек: — Нет, не читал!

Затем взглянул на меня своими светлыми очами, в которых застыло недоумение, и воскликнул:

— А в чем дело?! Ведь сколько рецензий написано об этих пьесах! Во всех газетах! Во всех журналах! Нет других мнений!..

Передо мной стоял человек, который, дойдя до четвертого курса университета и выступая на философском семинаре с научным анализом, был твердо убежден, что и в научном анализе можно полагаться на силу своего ума, знаний, умения, в конце концов, а на мнение… Тем более — руководящее…

Сколько несчастий видела Россия, сколько крови пролилось, сколько предательств было окрещено благородными поступками из-за того, что молодежь отучили думать! Одурачили. Превратили в благопристойных попугаев, голосующих, стреляющих, — без собственных раздумий о содеянном…

Я так и поставил вопрос, предельно резко, и начал разматывать клубок. Профессура глупая? Нет, не глупая. Напротив. И профессор, проводивший семинар, и заведующий кафедрой — умные люди.

Что же происходит? Если умные люди, вместе взятые, образую некое сообщество дураков и плодят себе подобных…

Оказалось, что одесские ученые так же, как и ученые-гуманитарии московских вузов, по-прежнему терроризованы. Не забыт, не преодолен террор тридцатых годов, когда и просто-то живое слово обзывалось «отсебятиной», а — не дай Бог! — новое, самостоятельное немедля шельмовалось, объявлялось «вражеской вылазкой».

Врагов, разумеется, уничтожали, а оставшиеся более уж не выползали из раковины «расхожих слов». Никогда…

С тех пор сменилось, по крайней мере, шесть поколений студентов. На первый курс они приходили пытливыми юнцами с тысячью «почему» на устах; а к концу пятого курса, лишенные возможности искать, сравнивать, вскормленные, как деревенские младенцы, жвачкой и успокоенные «пустышкой», приобщались к наукообразному пустословию. Мозг засыпал… Честный Подгаец и миллионы таких подгайцев во всех углах СССР даже и не догадывались, что они жестоко и преступно обмануты. Их обезоружили, связали по рукам и ногам.

Статья вызвала панический ужас даже у того, кто меня поддерживал. Однако отступать было поздно, и о ней доложили заместителю главного редактора «Литературки» Виталию Озерову, впоследствии главному редактору теоретического журнала «Вопросы литературы» (в обычном сокращении — ВОПЛИ…).

Старый «правдист» и шеф советских критиков Виталий Озеров не колебался ни минуты. «Отучают думать? Даже проблема такая еще не созрела», — заявил он, глядя в пустой угол.

Помнится, я вспылил: «Знаете что, — сказал я ему, — мы дрожали от страха тридцать лет. Может, вы найдете в себе силы преодолеть страх. Если не вы, то кто?»

Старый правдолюб покраснел и, взяв статью, решительным почерком наложил резолюцию: «В набор!» — и взглянул на меня просветленным взором.

Однако набранную статью он поставил в номер, когда дежурил но он сам, а главный редактор, ныне покойный. Поскольку о покойном по старой русской традиции, говорят либо хорошо, либо ничего, скажу только, что тот перечеркнул статью красным карандашом жирно, с нажимом, а правдолюб Виталий

Озеров развел руками: вот, мол, хотел быть смелым и честным, увы!..

Спустя несколько дней я получил повестку: явиться в отделение милиции на улицу Сретенка, в комнату № 7. Пришел, недоумевая, в отделение милиции. У стойки дежурного матерились пьяные женщины, отвратно пахло блевотиной; меня тут же проводили в отдаленную комнату, где поднявшийся навстречу мне молодцеватый, с комсомольским румянцем на всю щеку старший лейтенант сказал мне учтиво: «Мы не милиция. Мы — государственная безопасность…»

И затем часа четыре дотошно выспрашивал меня, с кем я дружу, у кого бываю, что пишу и что думаю.

Я уже знал, чем оборачивается учтивость следователей, хотя время было не расстрельное.

Я назвал двух самых ортодоксальных своих знакомых, которым вместе около 150 лет. И замолчал.

Вздохнув, он спросил, зачем я бываю в доме такого-то… там бывают бывшие лагерники, люди раздраженные, больные. Они не всегда отвечают за свои слова, а вы-то отвечаете.

Я ничего не понимал.

Старший лейтенант ушел, вернулся с какими-то грузными людьми в штатском, те долго разглядывали меня, наконец один из них протянул отеческим тоном: «И биография у вас вроде чистая, и друзья, по нашим сведениям, хорошие. Отчего ж вы такое пишете?.. Отучают думать… А? Прямо фантастический роман. Смо-отри, парень!..»

Оставалось одно — жаловаться. Но куда можно жаловаться, скажем, на главного редактора «Литературной газеты», под рукой у которого белая кремлевская «вертушка»?

И вот я сижу перед бывшим секретарем Союза писателей, а теперь работником ЦК партии Дмитрием Поликарповым, который одним словом останавливал ротационные машины, кромсал или хоронил статьи: с ним тотчас согласовывали все важное; редакторы боялись его обморочно.

Он прочитал внимательно и сказал, что у него никаких возражений нет, но… не может же он, ответственный работник ЦК, принуждать главного редактора «Литературной газеты» печатать то, чего тот не хочет. Теперь литературой руководят сами писатели…

И взглянул на меня, как и Виталий Озеров, — святыми глазами.

Выбрел я из его кабинета измученный, придавленный ханжеством, как могильной плитой.

Двинулся по коридору, держа в одной руке пропуск на выход,

в другой — газетную полосу с оттиском похороненной статьи. Коридор длинный, я брел, читая, по привычке горожанина, все, что попадается на глаза. Какие-то фамилии. И вдруг под синим стеклом надпись: «Главный редактор журнала «Партийная жизнь».

«Раз уж я тут, — мелькнуло у меня, — почему не постучать?» Решившись, постучал. Главный редактор взял полосу в трясущиеся от старости руки и, видно, от того, что это была не просто рукопись, а газетная верстка, сразу начал читать.

Прочитав, снял очки и сказал совершенно немыслимое: «Вы даже не представляете себе, как нам нужна такая статья…»

Признаться, от неожиданности я просто обалдел. А он продолжал деловито: «Дадим в следующем номере. Засылаю в набор!..»

Тут уж я струхнул. Полтора года прошло с той поры, как я ее написал. Может, там, в Одессе, кто помер. Или что изменилось. Надо взглянуть!

— Пожалуйста, — сказал он. — Можете вылететь в Одессу сразу? Чтобы материал успел в номер?

Забронировали, по звонку из ЦК, место в самолете. Забронировали одно, а оставили, на всякий случай, четыре. Еду я, как купец из пьесы Островского, один в четырех каретах.

И тут я стал свидетелем метаморфозы, крайне важной для понимания морали эпохи.

Всего полтора года назад я был в Одессе с командировочным удостоверением «Литературной газеты». Подружился со многими.

И вот я снова пытался вступить с людьми в дружеские отношения, возникшие тогда. Не тут-то было!.. Со мной говорили так, словно я мог во время беседы выстрелить в живот. Меня боялись. Откровенно. Цедили по слову… В чем дело? Я понял не сразу.

Да ведь у меня был на этот раз совсем другой мандат. Большие красные буквы сверху: ЦК КПСС. Снизу помельче: «Партийная жизнь», орган ЦК КПСС.

Я был уже не просто человеком. Я был… оттуда. Лицом, с которым не полемизируют и… не откровенничают.

Я вдруг ощутил воочию, что лица, прибывшие оттуда, как правило, подлинного положения постичь не могут. Они слышат лишь то, что им хочется услышать.

По сей день помню застывшие студенистые глаза ректора университета, заикание директора областного издательства. В глазах ректора леденел страх, опасность проговориться.

Это было мучительно. И смешно, и ужасно одновременно.

И вот статья появилась в киосках Москвы. Название кто-то из

секретарей ЦК, членов редколлегии, заменил. Кафедру марксизма из заголовка стыдливо убрали. Оставили лишь в тексте. Теперь она называлась более академично: «Так воспитывается бездумье». Да добавили последний дежурный абзац: «партийная организация обязана»… «партийная организация призвана…»

Так появилась в официозе ЦК совершенно невозможная статья о том, что на кафедрах марксизма-ленинизма, диамата и политэкономии, на всех сугубо партийных кафедрах годами и десятилетиями отучают думать.

На то, чтобы эти несколько страничек увидели свет, я потратил два года жизни.

От булыжника, брошенного отчаянием, зазвенело несколько сонных окон. Только и всего.

Никто не мог понять, как смогли «прорваться» в печать мысли столь еретические.

Более всех, признаться, изумлен был я.

А дело-то было простое. Журнал вышел в конце декабря 1955 года. Полтора месяца оставалось до антисталинского XX съезда партии, и до самого тупого школьника дойдет, как поется в песне Галича: «Оказался наш отец не отцом, а сукою…»

Съезд открыли зимой, в самом начале 56-го года, и они, работники Серого дома ЦК, уже знали о том, что готовится. Торопились попасть в ногу…

Я этого еще не знал. Как и вся страна. А они — знали.

Ни полумесяцем раньше, ни полугодом позже такая «крамола» уже не могла увидеть света. Была бы объявлена клеветнической и антипартийной…

Каково-то большой прозе, несущей в недрах своих ту же тему и создаваемой годами! Могла ли она прорваться к читателю»?

Илья Эренбург, Владимир Померанцев, Ольга Берггольц первыми метнули в палачей тем, что оказалось под рукой. Ждать было нельзя.

За ними устремилось и наше поколение — солдаты, пришедшие с войны.

Публицистика отвоевала, еще до XX съезда, небольшой плацдарм. Приходилось, как видите, харкать кровью, чтобы донести до людей хотя бы крупицу правды.

… В этой атмосфере ожиданий и страхов, скрытого противоборства и открытых угроз московская писательская организация начала готовить свой выстраданный сборник «Литературная Москва», составивший целую эпоху в духовной жизни России.

5. Книги антисталинского года

«Литературная Москва», том 1

1956 год можно назвать антисталинским лишь условно. Он продолжался со второй половины февраля, т. е. окончания XX съезда партии, когда закрытый доклад Хрущева открыл всему свету глаза на «вождя и учителя», до 30 июня 1956 года, когда ЦК начал бить отбой… Анастас Микоян вскричал вскоре на собрании московской интеллигенции: «Вы хотите раскачать стихию?!.»

Тем не менее литература слово свое сказать успела.

Первой привлекла всеобщее внимание «Литературная Москва». Огромный том, в который не вошла и треть подготовленного материала.

«Литературная Москва», запрещенная после выхода 2-й книги, стала не только вехой в общественно-литературной жизни России. Она была взлетом литературы и взлетом героическим, осуществленным ценою многих потерь. Главными из потерь были ранняя смерть писателя Эммануила Казакевича, у которого после разгрома «Литературной Москвы» более не осталось никаких надежд, и долгая блокада и болезнь поэта и прозаика Александра Яшина, — Яшин ушел в могилу несломленным, и похороны его на вологодском деревенском кладбище, под плач и причеты нескольких северных деревень, прозвучали как похороны последнего крестьянского заступника…

Однако все это было позже. А тогда, в начале 56-го года, перелистав только что подписанный к печати 1 том, я с радостью увидел, что в его редколлегии — Константин Паустовский, ранее избегавший открытых столкновений с властями, и Эммануил Казакевич, которого, оказывается, не забили насмерть, и он, по крайней мере как редактор, снова ринулся в бой. Рядом с Паустовским и Казакевичем, плечо к плечу, Александр Бек, Вениамин Каверин, Владимир Рудный, герой войны, морской офицер. Наконец, Владимир Тендряков. О каждом из них я уже говорил или буду говорить. Ибо каждый из них — это веха в русской литературе послевоенного времени. Или, как Рудный, веха пробуждающейся общественной жизни.

При подготовке 1 тома не обошлось без доморощенной дипломатии, этакого легкого политеса… Когда редколлегии предлагали что-либо бескомпромиссное, взрывное, она откладывала в сторону, говоря: «Нет-нет! Это не для первого номера! Зачин должен быть почти безоблачным, без острых углов, безобидно-круглым… Нас не должны испугаться. Иначе тут же запретят…»

«Пусть привыкнут к нам, увидят, что мы не бунтари, не соловьи-разбойники, а вот тогда уж…»

… Первый том был действительно без острых углов, округлым.

Тяжелым и круглым, как… пушечное ядро. Кое-кто шарахнулся от него, как шарахаются от пушечного ядра.

Дело в том, что и в первом, приглаженном томе среди гигантской кучи «должностного навоза» — статей ответственных фигур, вроде К. Федина, пустых стихов Евтушенко и стерильной, хоть и небесталанной, прозы, в том числе и прозы Казакевича, стреноженной соцреализмом (роман «Дом на площади») — блеснули и жемчужные зерна.

Они привлекли к себе всеобщее внимание: тактика выжженной земли свирепствовала в те дни по-прежнему, отдельные публицистические прорывы, о которых я говорил ранее, были скорее исключением, подтверждающим правило.

А как же она была выполота и выжжена, литературная нива! В вузах учились все по тому же злосчастному учебнику литературы профессора Л. И. Тимофеева, изданному Учледгизом еще в 46-м году. Из крестьянских поэтов, особо почему-то редких в крестьянской стране, уцелели здесь лишь Исаковский с Твардовским. Да Есенина вернули читателю! Это воспринималось как историческая победа.

Треть литературы, самой глубокой по анализу и высокой по мысли, самой талантливой, исчезла из обихода.

Нет, теперь ее, по обыкновению, не ругали: ругань привлекла бы внимание. Ее просто не упоминали, отбросили, по сути — уничтожили.

Это была неизменная практика сталинщины, фашистская практика сжигания книг; неважно, в конце концов, сожжены ли книги на площади, под улюлюканье толпы, или тайно, по ночам свезены на бумажные фабрики, где изрублены в лапшу и брошены в огромные чаны; а оставлены только отдельные экземпляры в спецхранилище Ленинской библиотеки, где выдаются только специалистам, по особым документам, но ни в коем случае не учащимся, студентам.

Треть русской литературы продолжала оставаться для широкого читателя горстью пепла….

«Литературная Москва» начинала почти сначала. Зазвучали живые ноты, главным образом в поэзии. Она вынесла к читателю — правду. Всеобщее внимание привлекли стихотворения Маргариты Алигер и Николая Заболоцкого, вернувшегося из концлагеря, больного, измученного смертельно.

В стихах Маргариты Алигер ожила правда о войне, которая после первых книг Казакевича и Некрасова словно умерла.

Есть в восточной Сибири деревня Кукой,
Горстка изб над таежной рекой.
За деревней на взгорье поля и луга
А за ними стеною — тайга…
В сорок первом, когда наступали враги,
Проводила деревня от милой тайги
Взвод отцов и мужей, взвод сибирских солдат…
Ни один не вернулся назад!
…Не играют тут свадеб, не родят детей,
Жизнь без всяких прикрас, безо всяких затей.
Ранним рано кукоевцы гасят огонь,
Никогда не играет в Кукое гармонь.
Ни вечерки какой, ни гуляния нет,
Только вдовья кручина, считай, столько лет…
…Так о чем моя дума, о чем?
А о том, что прошли молодые года,
Ни согреть никогда, ни вернуть никогда.
А о том, что одна у нас доля с тобой,
Друг мой сильный и мудрый, деревня Кукой.

Советская поэтесса, прославленная и вроде бы благополучная, вдруг пишет, что у нее с деревней Кукой, с убитой врагом деревней Кукой, одна судьба…

А мы с вами знаем, как укладывали под Москвой сибиряков. И не только под Москвой.

Стихотворение я ощутил, как сердечный укол. Я запомнил его скорее всего потому, что это был первый глоток воздуха. Позднее слышал стихи и сильнее, и сочнее, но это был первый глоток свежего воздуха в подцензурной духоте.

Вот таким же глотком воздуха, явлением правды и поэзии, высокой поэзии, стали стихи измученного Николая Заболоцкого, который после лагеря как поэт почти не печатался, а занимался переводами с грузинского.

Жил он под Москвой, вначале без права въезда в Москву, где чувствовал себя хозяином его палач — руководитель писательского издательства Н. Лесючевский, написавший донос на поэта.

Мы опасались, что он уже не распрямится никогда, Николай Заболоцкий, крупнейший русский поэт, притихший в лесном углу.

Оказалось, он заканчивал новую книгу стихов. О чем же?

Уступи мне, скворец, уголок,
Посели меня в старом скворечнике.

Отдаю тебе душу в залог
За твои голубые подснежники.
И свистит, и бормочет весна,
По колена затоплены тополи,
Пробуждаются клены от сна
Чтоб, как бабочки, листья захлопали.
И такой на полях кавардак,
И такая ручьев околесица,
Что попробуй, покинув чердак,
Сломя голову в рощу не броситься!
Я и сам бы стараться горазд,
Да шепнула мне бабочка-странница,
Кто бывает весною горласт,
Тот без голоса к лету останется…
Повернись к мирозданью лицом,
Голубые подснежники чествуя.
С потерявшим сознанье скворцом
По весенним полям путешествуя…

Или вот как звучит другое его стихотворение — «Утро»:

Обрываются речи влюбленных,
Улетает последний скворец,
Целый день осыпаются с кленов
Силуэты багровых сердец.
Что ты, осень, наделала с нами?
В красном золоте стынет земля.
Пламя скорби свистит под ногами,
Ворохами листвы шевеля…

«Багровые сердца…», «Пламя скорби под ногами…» А горластый по весне скворец!.. Да он просто потерял сознание! Не к осени с ее «пламенем скорби», а еще к лету… «он без голоса к лету останется…»

Увы, это не случайное и скоропреходящее настроение. То же и в «Журавлях»:

Длинным треугольником летели,
Утопая в небе журавли…
…Вытянув серебряные крылья,
Через весь широкий небосвод
Вел вожак в долину изобилья
Свой немногочисленный народ.

Но когда под крыльями блеснуло
Озеро прозрачное насквозь,
Черное зияющее дуло
Из кустов навстречу поднялось
Луч огня ударил в сердце птичье,
Быстрый пламень вспыхнул и погас,
И частица дивного величья
С высоты обрушилась на нас.

Может быть, эти строки дадут представление о том, какие мысли и чувства охватили измученную поэзию на развале веков: для нескольких поколений кончился один век, век террора, и начался новый, позволивший на могилах друзей осмыслить и время, и свое место в этом жестоком и кровавом потоке, которому нет конца…

А в те памятные дни… хлынули измученные люди, в мятых кургузых пиджаках, с бескровными губами и горящими глазами. Они спускались, держа чемоданы из фанеры, на перрон Ярославского вокзала. У кого за плечами было 17 лет лагерей, у кого — 22.

И мы не удивлялись тому, что на страницах «литературной Москвы» появились стихи Твардовского «Друг детства» — новая глава из поэмы «За далью даль», в которой он шагнул навстречу тем, кого не успели добить в лагерях и тюрьмах. Она описательна, эта глава, как многое у Твардовского, — я приведу несколько строф, чтобы напомнить о том, как встретил Твардовский людей, с которыми потом уже шел — плечо к плечу — до самой смерти.

Легка ты, мудрость, на помине,
Лес рубят, щепки, мол, летят…
Но за удел такой доныне
Не предусмотрено наград.
А жаль… Вот, собственно, и повесть,
И немудрен ее сюжет.
Стояли наш и встречный поезд
В тайге на станции Тайшет.
.
Кого я в памяти обычной
Среди иных потерь своих
Как за чертою пограничной
Держал. Он, вот он был, в живых.
Я не ошибся, хоть и годы
И эта стеганка на нем.

Он! И меня узнал он. Сходу
Ко мне работает плечом…
И чувство стыдное испуга
Беды пришло еще на миг…
Но мы уже трясли друг друга,
За плечи, за руки: «Старик!»…
.
«Старик!» И нет нелепой муки.
Ему ли, мне ль свисток дадут.
И вот — семнадцать лет разлуки,
И этой встречи пять минут…

Не удалось развести встречные потоки. Даже на страницах литературы… Правда, такое было разрешено лишь Твардовскому.

В этой точке, где впервые встретилась официально признанная русская поэзия с лагерным потоком, я бы хотел сказать ценителям русской поэзии, повторяющим мне завороженно: «Политика меня не интересует».

Человек в России, живая душа человеческая — жертва политики. Политика вот уже много веков сапогами солдат и тюремных надзирателей топчет эту живую душу.

Потому самая глубокая лирика, чистая лирика современных русских поэтов, как мы видели на примере Николая Заболоцкого, — это в то же время — политика. Страх перед политикой, но — политика…

Трус на Руси никогда не бывал большим поэтом.

…Навстречу измученным людям, вырвавшимся из тюрем, постепенно повернулась вся настоящая поэзия. Конечно, и такие известные природолюбы, как Паустовский! Да что там Паустовский! Даже никогда не выглядывавший из русского леса старик Михаил Пришвин, который, казалось, всегда был бесконечно далек от политики, принципиально далек!.. и тот вдруг в своей последней книге «Глаза земли», вышедший посмертно и состоящей из разрозненных наблюдений природы, как всегда, лаконичных, точных, глубоких, и он вдруг, среди наблюдений над травами и зверюшками, начал высказывать такие совершенно несвойственные ему ранее мотивы:

«Без регулятора» (зарисовка) «… Излюбленные переулки у московских шоферов — это где нет регулятора. И каждый держится правила: поезжай куда и как тебе хочется».

Если это вырвалось у Пришвина, о котором старики-писатели говаривали, что он всю жизнь тише воды и ниже травы; не осуждая, говорили: такой уж талант, с травой разговаривать, не

слыша ничего за ее шелестом; если уж Пришвин написал это свое «Без регулятора», значит, действительно не осталось в современной России ни одной талантливой книги без того, что иные брезгливо называют «политикой».

В том же первом номере «Литературной Москвы» есть и рассказ талантливого прозаика Сергея Антонова «Анкета», которого отвращение к политике привело в свое время к тому, что он писал, как я уже упоминал, безмятежные деревенские рассказы… когда деревня вымирала от голода.

Этого Сергею Антонову читатель не простил. И он сам себе не простил.

И вот здесь, в рассказе «Анкета» он прежде всего выписал образ бездушного руководителя, для которого строка в анкете: «Был на оккупированной территории», строка в те годы порочащая, важнее самого человека… Сергей Антонов казнил сам себя, обращаясь к теме жестокосердия, однако читатель больше не верил ему, забывшему в свое время о людях ради песенной фольклорной строки.

О нем на обсуждениях даже не вспоминали, как не вспоминают о чем-то стыдном…

… И все это: и деревня Кукой, и «потерявший сознанье скворец», горластый скворец, ничего не слыхавший о бедах земли, и встреча с другом на станции Тайшет — все это в так называемой сверхосторожной первой книге. Свидетельстве, как думал милый наивный Бек, их лояльности и законопослушания…

Подлинный взрыв, на всю Россию, не заставил себя ждать. Он произошел в том же 56-м году, на исходе терпения сталинистов, насмерть перепуганных венгерским восстанием: 2-я книга «Литературной Москвы» была подписана к печати в декабре 56-го года.

6. Прозренья антисталинского года
«Литературная Москва», том 2-й и последний

I. Набатный рассказ Александра Яшина

Времена изменились за полгода — изменились решительно: снова, на этот раз в китайском посольстве, Никита Хрущев назвал себя сталинцем.

Однако запретители не успели. Книга появилась, и сразу заговорила Россия о рассказе Александра Яшина «Рычаги».

Бывший вологодский крестьянин, связанный со своей деревней до конца жизни, обласканный государством поэт,

лауреат Сталинской премии, свой, кровный, земляной. Вот уж от кого сталинцы не ожидали!..

Этот рассказ стоил Яшину жизни, во всяком случае, сократил ему жизнь, обрушив на его семью много бед.

«Рычагам» Александра Яшина сопутствовали другие произведения, о которых упомяну позднее, — Юрия Нагибина, Николая Жданова, — но набатом, заставившим людей поднять голову, прислушаться, а иных — действовать, звенел и звенел рассказ Яшина.

А он прост и, казалось, ни к чему не призывает…

Если вы его не знаете, познакомьтесь с ним. Обязательно: в нем сконцентрирована не только беда прошлая, но и нынешняя, да и завтрашняя. Коренная беда России, подмятой произволом. Когда у людей отняли не только право на действие, но и право на раздумье. На мышление. На естественную человеческую жизнь, немыслимую без раздумья о жизни.

Нетрудно представить себе, как солдаты становятся рычагами и как их бросают, скажем, на венгров. Солдат давал присягу. Ему приказывают стрелять — он стреляет. Альтернатива — военный трибунал или самоубийство.

Можно понять, как рычагами становятся партийные чиновники. Они — рычаги уж по самой должности. За то им бездна привилегий, не говоря уж о двойной зарплате. Они независимость свою продают. Сознательно.

Но почему, как становятся рычагами крестьяне, сама народная толща — об этом не говаривали на Руси давненько.

«Народ безмолвствует» — когда еще сказано! И безмолвием своим, — вторит Яшин, — способствует разору деревни, произволу, словом — злодейству.

Эзопову языку здесь места нет. Тут все черным по белому.

Пожалуй, впервые после войны земная, добротная, не обесцвеченная порой жиденьким «усредненным» языком города, народная проза снова, после перерыва в четверть века, вышла на большак. И стала основой и продолжением целого направления послевоенной советской литературы, окрещенного позднее деревенской прозой…

Начало почти символично в своей бытовой повседневности. Сидят в правлении колхоза четыре человека и курят. Дыму столько, что дышать нельзя. Казалось, что и приемник потрескивает потому, что дыму, дыму — почти не видать друг друга… Один из колхозников говорит соседу, роняющему искры: «Сожжешь бороду коровы бояться перестанут». На что второй отвечает неизменно: «Бояться перестанут, так, может, удоя прибавят».

Так, словно бы не о главном, пустяшный разговор.

А вовсе не пустяшный. Это — запев. Звучит главная тема, западает в нас, хотя мы еще и не знаем, что она — главная.

И опять — быт. Обычный, деревенский. Казенный, поскольку это — Правление.

Полумрак. Случайные плакаты и лозунги. К какой-то праздничной дате. Но висят они, по обыкновению, круглый год. Список членов колхоза с указанием выработанных трудодней. И пустая, вся черная, доска, разделенная чертой на две равные части. На одной половине сверху написано: «черная», на другой — «красная».

Доска черна, как их жизнь. Но одну половину принято считать красной. Почетной.

Вы уже начинаете постигать атмосферу ожидания, хотя, казалось, еще ничего не сказано. Дым. Доска. Случайные реплики. Сахара в деревне нет. Нет, никто не жалуется! Просто один из курцов сообщает, что ему кладовщик «подбросил два кило. Боится, что ли?» Другой подтверждает: «Конечно, боится! Я ж теперь новый кладовщик». Автор поясняет тут же, что кладовщиком-то назначили его, колхозника этого, потому что он в партию вступил. А вступив в нее несколько месяцев назад, начал поговаривать о том, что все командные посты в колхозе должны занимать коммунисты.

Все просто, даже простодушно. Получил партбилет — на тебе дополнительный корм! Тем более, тут же вспомнили, что старый кладовщик проворовался. А то раньше не знали…

Новый коммунист-кладовщик купил авторучку и стал носить галстук. Приобщился к руководству.

Атмосфера прояснилась, несмотря на дым. Теперь все явственней звучит главная тема. «Взял-то я взял (сахар то есть. — Г. С.), — сказал Щукин после некоторого раздумья. — Но где же все-таки правда? Куда уходит сахар? Где мыло? Где все?..» А другой собеседник шутит: «Зачем тебе правда, ты сейчас — кладовщик?»

Кто-то прогудел деловито: «Ну, правда — она нужна. На ней все держимся. Только я, мужики, чего-то опять не понимаю. Не могу понять, что у нас в районе делается? Вот ведь сказали — планируйте снизу, пусть колхоз решает, что ему выгодно сеять, что нет. А план не утверждают. Третий раз вернули для поправок… От нашего плана опять ничего не осталось».

Разговор обретает глубину: от сахара, от коров — к тому, что руки у людей связаны.

«Вот тебе и правда. Не верят нам», — говорит один из героев. «Правду у нас в районе сажают только в почетные президиумы,

чтоб не обижалась да помалкивала», — сказал другой колхозник и бросил окурок в горшок. Ввернул слово и Щукин, кладовщик: «Правда нужна только для собраний, по праздникам, как критика и самокритика. К делу она неприменима, — так, что ли, выходит?»

Так и длится этот обмен репликами. Обычный человеческий разговор людей, которым надоела ложь. Хотя иные, как новый кладовщик, уже успевают извлечь из нее выгоду. Очень просто уговорить себя: власть кто? Партия… Значит, и я власть, давай должность!

Завершается эта вполне человеческая доверительная беседа односельчан досадливой репликой одного из героев, который был в районе, у самого, и сказал тому: «… Что ж вы. говорю, с нами делаете? Не согласятся колхозники третий раз план изменять. А он говорит: «Вот ты и убеждай. Мы тебя раньше убеждали, когда колхозы организовывали. А сейчас ты убеждай других. Проводи партийную линию. Вы, говорит, теперь наши рычаги в деревне».

Так впервые появляется это словечко: рычаги. В каком значении? Для какой цели людей рычагами назвали? Для того, как видите, чтоб восторжествовала официальная ложь. Неосуществимые планы. Планы-разорители. Чтоб сеяли не то, что деды сеяли и что взойдет. А то, что решили в Москве да по областям и районам разверстали.

Другая власть — другие «планы» в почете…

Как в таком случае может вести себя секретарь райкома? Честный — напишет протест, подставит голову под удар. Нечестный… Сама система, как видим, отбирает их, как сортовые зерна. Один к одному. «Он с народом не разговаривает по-простому, — рассказывает о секретаре райкома тот же колхозник. — Ведь знает, что получаем в колхозе по сто граммов на трудодень. А твердит одно: «С каждым годом растет стоимость трудодня и увеличивается благосостояние». Коров в нашем колхозе не стало. А он: «С каждым годом растет и крепнет колхозное животноводство». Скажи, мол, живете вы неважно потому-то и потому-то, но будете жить лучше, скажи, и люди охотнее за работу возьмутся…»

Но правды секретарь райкома не говорит, он лжет…

Если иметь в виду, что лжет-то он не своими словами, а словами, почерпнутыми из докладов руководителей государства Хрущева, Булганина, лжет, так сказать, государственными стереотипами, нетрудно понять тот огромный риск, на который пошел Александр Яшин, решившись порвать с укоренившейся государственной ложью.

Идет он в своем разрыве до конца. Что называется, режет по

живому.

Немного откашлявшись, но еще не разгибаясь, один из колхозников поднял голову и сказал с хрипотцой: «Начальники наши районные с народом разговаривать разучились, стыдятся. Сами все понимают, а прыгнуть боязно. Где уж тут убеждать?.. На рычаги надеются… Дома заколоченные в деревне видят, а сказать об этом вслух не хотят. Только и забот, чтоб в сводках все цифры были круглые».

А тут лампа гаснуть начала, и кто-то замечает, между прочим: «Эх, черт, погаснет без воздуха. Лампе тоже воздух нужен».

Течет беседа, дружеская, искренняя, впечатляющую правду которой усиливают как бы случайные детали. Дым. Доска, половину которой приказано считать красной. Лампа, которой тоже воздух нужен…

И тут вдруг появляется перестраховочная нота, об этом мы говорили, рассматривая творчество Казакевича, Некрасова и других писателей, пошедших в свое время на смертельный риск. Выглядывает вдруг не автор, а тот самый «соавтор» — внутренний редактор, который шепчет автору: «Ты что, ты о чем говоришь-то? Да тебя за это до смерти забьют! Уморят голодом! И тебя и детей твоих!.. А то и срок дадут! За решетку упрячут!..»

Вспомнил невольно об этом Александр Яшин, он ведь тоже пережил сталинщину, как и все. И попытался как бы смягчить свой приговор разорителям страны. Тем же, надо сказать, приемом, что и Казакевич и Некрасов… Это-де у нас плохо, в нашем селе, а вот в других местах не в пример иначе… «На полке, в переднем углу, слышнее заработал радиоприемник. Он все так же потрескивал и шипел, словно выдыхающийся пенный огнетушитель, но теперь сквозь шипенье и потрескивание пробивалась не музыка, а окающая, с запинками речь. Передавались письма с целинных земель. «Нас всех зовут москвичами, хотя мы из разных городов. Держимся дружно, в обиду себя никому не даем. Урожай в прошлом году выдался небывалый, в пшеницу войдешь, словно в камыши. Даже старики не помнят таких хлебов. Для ссыпки не хватало мест, тяжело было».

Автор раздраженно перебивает себя; чувствуется, он стал противен самому себе. Один из героев пресекает эту похвальбу: «Не всем же на Алтай ехать!»

И вдруг послышался в избе какой-то шум. Из-за широкой русской печи раздался повелительный старушечий окрик: «Куда сыплешь, дохлой? Не тебе подметать!»

От неожиданности мужики вздрогнули и переглянулись.

«Ты все еще тут, Марфа? Чего тебе надо?» — «Чего надо! За вами слежу! Подпалите контору, а меня на суд потянут. Метла сухая. А вдруг искра, и не приведи бог!..» — «Иди-ка ты домой!» — «Когда надо будет, уйду!»

Разговор друзей оборвался, словно они почувствовали себя в чем-то друг перед другом виноватыми, Долго молчали, курили. А когда начали опять перебрасываться короткими фразами, это были уже пустые фразы. Ни о чем. Ни для кого…

Наконец один из них, Щукин, еще не привыкший к руководящему положению, еще в душе рядовой колхозник, вдруг не выдержал и громко захохотал: «Ох, и напугала ж нас проклятая баба!»

Все переглянулись и тоже захохотали. «И верно, дьяволица, вдруг из-за печки как рявкнет. Ну, думаю, сам приехал, нас застукал. Перепугались, как мальчишки на чужом горохе».

Смех разрядил напряженность и вернул людям их нормальное самочувствие. «И чего мы боимся, мужики, — раздумчиво и немножко грустно произнес Петр Кузьмич. — Ведь самих себя боимся».

«Самих себя боимся». Вот, оказывается, какие дела. До чего доведена, нет, не чиновная Россия, а глубинная Россия, та народная толща, на которую уповали все, от Достоевского до народников. Не тронутая ложью, истинная крестьянская Русь.

И сказал это крестьянский поэт, вологодский по выговору и складу мышления, сказал, как перепуганы мужики. Вологодские мужики, до которых даже татарва не дошла, Чингисхан не достал.

Чингисхан не достал, а Сталин с Хрущевым — в самый раз.

Пришла учительница, которую ждали, и началось партийное собрание, ради которого собрались. Учительница, усаживаясь, жалуется, что в школе нет дров.

— О делах потом! — обрывает ее председательствующий. — Сейчас собрание проводить надо! Райком давно требует, чтобы в месяц два собрания было, а и одного сговориться, запротоколировать не можем. Как отчитываться будем?

(Язык-то какой пошел сразу, государственный… Да и то, не о делах ведь речь, о делах потом…)

Вот куда бросил камень отчаянный, а скорее, отчаявшийся Александр Яшин. Партийное действо-то никому не нужно. Не для дела оно, для отчета.

На устои посягнул. На фундамент бюрократической машины, которая без этой суеты сразу станет грудой металлолома.

Ну, а Марфа, беспартийная запечная Марфа, глухота российская, самая что ни есть надежда народников, она понимает, что происходит?

А как же! Она не ослушалась, не заворчала, когда ее стали выпроваживать. Не обозвала партийного курильщика — дохлой, как в тот раз, — по-родному, по-вологодски. «Говорите-говорите (заторопилась она), разве я не понимаю? Выйду!..»

Ведь теперь уж была не жизнь, в которой Марфа имеет право: словечко сказать, а закрытое партийное собрание…

Автор едва сдерживает и гнев, и иронию, которая, чуть усиль ее, была бы равносильна самоубийству: «Все земное, естественное исчезло, действие перенеслось в другой мир, в обстановку сложную и не совсем привычную и понятную для этих простых сердечных людей…»

А тут еще вину усилила странная опечатка. Хотел автор вроде бы сказать, что после того как Щукина поставили кладовщиком, «рядовых колхозников в парторганизации не было…» А напечатано было куда более еретическое, более точное, хотя, не исключено, это была, действительно опечатка: «С той поры, как Щукина поставили кладовщиком, рядовых колхозников и парторганизации не было».

«Не случайная, злостная опечатка! Вредительская!» — твердили на всякий случай испуганные чиновники от литературы.

Ну, а само собрание, естественно, течет, несет словесный мусор; — «… мы не предусмотрели и пустили на самотек… Мы не провели разъяснительной работы с массой и не убедили ее…»

И хотя Щукин иронизирует в углу над потоком пустословия, молодой он коммунист, непривычный, вполголоса иронизирует, его уже наставляют кто поопытнее, пообтертее: «Ладно, уж не мешай ему выговориться. *Так надо!* (Подчеркнуто мною. — Г. С.). Петр Кузьмич сейчас в своей должности. Как в районе, так и у нас. Каков поп, таков и приход».

Притихают они, готовые проголосовать за что угодно. Так надо!.. Только что люди были, а уж больше не люди. Рычаги.

Кончилась официальная мертвечина, вломилась молодежь, которой не терпелось потанцевать, тут ведь и правление, и клуб — одна в селе казенная хата, — раскрыли настежь окна; «Ну, и дыму у вас! — шумели девушки».

Дым-то оказался не простым. А партийным… Задымили Россию, задурили. До тошноты, до головокружения.

Такова сила поэтического образа, когда рукой Поэта водят страдание и мужество. И он решился крикнуть на всю Россию: — Люди мы! Люди, а не рычаги…

II. Юрий Нагибин, Николай Жданов, Николай Заболоцкий, Александр Крон, поднявшие вслед за Александром Яшиным руку на сталинщину…

Вряд ли «Рычаги» Александра Яшина, всколыхнувшие думающую Россию, могли появиться, если бы они были единственной попыткой «Литературной Москвы» бросить свет на «новый класс» узурпаторов и разорителей…

Кроме глубокого, как русская беда, рассказа «Рычаги», в той же, второй и последней книге «Литературной Москвы», появился рассказ Юрия Нагибина «Свет в окне».

Уборщица Настя прибирала в доме отдыха всегда пустую квартиру, предназначенную для Самого.

Такие покои есть в каждом, даже самом плохоньком, доме отдыха, санатории на случай, если прибудет «Сам» — министр или директор завода, секретарь ЦК или райкома — у каждого такого дома свой Сам, и вот Настя, подметавшая эти мертвые покои, год терпела, глядя на тесноту вокруг, а потом плюнула на запрет и, включив в комнате свет и позвав детишек дворника и знакомых, расположилась по-хозяйски перед телевизором.

Директор, увидев свет в окне номера, предназначенного — шутка сказать! — для Самого, естественно, кричал на уборщицу. И у него, у директора, бранившего Настю, пишет Юрий Нагибин, «росло… пронизывая до кончиков пальцев, ощущение невыносимой гадливости к самому себе».

Рассказ Юрия Нагибина был почти таким же острым, как «Рычаги»; и, возможно, более поэтичным. Но, конечно, его даже сравнивать нельзя по впечатляющей силе и значению, которое он имел для нашего поколения.

В той же книге напечатан рассказ московского писателя Ник. Жданова «Поездка на родину».

Умерла в деревне мать большого московского начальника Варыгина, и начальник отправился в родную деревню, на похороны. Он отправился в мир, который, по его представлению, давно не существовал. В мир нужды. Грубая мебель. Какой-то распаявшийся самовар.

Он бросает на прибывшего свой отсвет, этот хлам, оживает второй жизнью.

Распаявшийся старый, никому не нужный самовар, лежал на боку, вот так же лежал, как этот приехавший большой начальник. В дороге «расклеился» начальник и тоже никому не был нужен в родной деревне.

Мать ждала-ждала сына, ждала много лет, он оторвался не только от деревни, даже от матери. Он и общего языка найти ни с кем не может, словно из другого государства приехал. Вот какой разговор произошел между крестьянкой, знавшей его мать, и этим

бывшим крестьянским парнем.

«Ждала она меня?» — спросил он.

«Да нонешний год молчала, а летось, когда приехать сулились, сильно ждала. Все, бывало, говорит: «Вот ноне, вот ноне». Потом-то притихла уж. Но только не обижалась, нет. Понимала тоже, легко ли такому занятому человеку оторваться… Из наших, деревенских, вы, небось, дальше всех пошли… — Заварив чай, она поставила перед ним чашку и подсела к столу. «Вот что я у вас спросить хотела, — продолжала она. — Верно ли, нет ли ноне сделали с нами? Мы сегодняшний год конопли сеяли, семьдесят четыре гектара. Только посконь зацвела, а тут, глядим, яровые созрели. Мы было жать да скирдовать, а нам молотить велят да вывозить. А посконь, если ее вовремя не убрать, так ведь и матерки не жди…»

«Она думает, от меня все зависит», — растерянно думал Варыгин, стараясь припомнить, что такое эти «посконь» и «матерка» и какая между ними связь. Но припомнить так и не мог.

«Вопрос политический, — проговорил он вслух. — На первом месте у нас всегда должно стоять государство. Все зависит от уровня сознательности масс». Он замолчал, чувствуя, что говорит не то».

Даже он почувствовал, — что же говорить о читателе?! Читатель давненько видел вокруг себя таких Варыгиных. Он и в послевоенной литературе их встречал, еще у Веры Пановой. Поосторожней писала Вера Панова своего Листопада, так ведь и время было другое.

С Варыгиным осторожничать нечего. Оказалось, он не только бездушен, он и языка народа не понимает, вовсе не понимает, точно из другого мира.

Осталось, сообщает автор, у него только чувство вины и вопрос этот: «Верно ли, нет ли с нами сделали?»

Хо-ороший человек, из народа…

Во второй книге снова напечатан Николай Заболоцкий 43. Целая подборка стихов ожившего поэта, среди них три строфы:

При первом наступлении зимы
Блуждая над просторною Невою,
Сиянье лета сравниваем мы
С разбросанной по берегу листвою.
Но я любитель старых тополей,
Которые до первой зимней вьюги
Пытаются не сбрасывать с ветвей
Своей сухой заржавленной кольчуги.

Как между нами сходство описать?
И я, подобно тополю, немолод,
И мне бы нужно в панцире встречать
Приход зимы, ее смертельный холод.

Это стихотворение, по-видимому, не нуждается в комментариях. И в «Литературной Москве», и позднее появляются такие стихи мастера, который не верит теплу и даже той оттепели, которая, по общему мнению, наступила.

Так и не оттаял этот крупнейший поэт, так и умер, тоскуя о том, что у него нет панциря, чтоб вынести холода…

В том же номере «литературной Москвы» Илья Эренбург представляет советскому читателю Марину Цветаеву. Да, именно представляет. Как новичка. К этому времени целые поколения уж и имени ее не слыхали…

Да и кто посмел бы рассказать им о поэтессе, которая, вернувшись на родину, — повесилась?.. Демонстративно, что ли?..

Это был прорыв. Сквозь глухой запрет. Каждый торопился внести свою лепту.

Моим стихам о юности и смерти,
Нечитанным стихам! —
Разбросанным в пыли по магазинам
(Где их никто не брал и не берет),
Моим стихам, как драгоценным винам,
Настанет свой черед!

Так начал Илья Эренбург свою статью о поэзии Марины Цветаевой.

Он привел стихи Марины Цветаевой, написанные ею в двадцать лет.

Он торопился; погибла Цветаева, как погибли до нее все лучшие поэты России, погибли и ее книги, а для новой России — и не рождались. Он сам был немолод — торопился: ведь она кричала то, что хотелось крикнуть и ему, вот уже много лет:

Отказываюсь быть.
В Бедламе нелюдей
Отказываюсь жить.
С волками площадей
Отказываюсь выть.

Конечно, разъяснял он, это она о фашизме, о немецком.

О сталинщине пока что дозволялось говорить лишь Хрущеву. В закрытом докладе. На закрытом заседании. Закрытого съезда.

Но Россия научилась, давно научилась читать между строк…

«Литературной Москве» мы обязаны тем, что Россия потянулась к неведомому ей поэту, — вся читающая Россия, а не только тоненькая пленочка интеллигентной элиты, листавшая самиздат.

«Иду на вы!» — словно бы воскликнула заждавшаяся своего часа редколлегия, публикуя критические эссе и статьи, среди которых сильнее других — статья драматурга Александра Крона о разгроме театральной жизни страны». Статья обвиняла власть предержащую в «замазываниш существующих противоречий» под лозунгом консолидации. Лозунг был дейстаительно подлым, требующим объединяться с палачами.

Вот как пишет Александр Крон: «Глубочайшая неправда, что так называемая теория бесконфликтности рождена в среде творческих работников. С таким же успехом можно утверждать, что мысль о запрещении учения Дарвина родилась в среде биологов». Так прямо ЦК партии еще не обвинял никто… Это была новая высота, с бою взятая творческой интеллигенцией. Именно на этой высоте и родилась крылатая фраза, облетевшая Москву: Каждая установка вызывает остановку».

Александр Крон пишет о редакторе, который стал вроде караульного.

«Выглядит это так, будто у книги есть командир и комиссар». «Искусство знает только одну законную иерархию — это иерархия таланта».

Каково было услышать такое находящимся на вершине литературной иерархии, всем этим сурковым, фединым, Грибачевым, корнейчукам; по поводу последнего, к примеру, гуляла сердитая шуточка: «Когда хорошо напишет что-либо, подписывается полностью: Корней Чуковский. А как только слепит дрянь, так застыдится и выходит на люди в сокращении — Корнейчук».

Среди драматургов иерархия устанавливается несколько иначе, — не унимается Крон.

«Для этого существуют обзорные статьи. Подписывают эти статьи обычно никому неведомые люди, но это неважно, так как пишутся они от имени народа. «Народ знает и любит таких писателей, как…» «Не выполняют своего долга перед народом такие писатели, как…». «Народное признание получили такие пьесы, как…». «Народ отверг такие пьесы, как…». За этой магической формулой, полностью освобождающей от

аргументации, следует перечень фамилий или названий».

Читатель смеялся, а ведь ничто так не убивает, как смех.

Убивалось не что-либо безобидное, а сталинщина, которая умеет, как прижатая к земле бешеная собака, вдруг извернуться и укусить.

Крон знал это, как знала и вся редколлегия, и хотя Александр Крон тоже был знаменит и удостоен почестей, все равно он нашел в себе мужество сказать: «Иду на вы!»

«Если рассматривать драматургию как часть большой советской литературы, то нет серьезных оснований загонять ее в карцер», — заключил он.

Статья Александра Крона вызвала такую же панику, как рассказ Александра Яшина. Я случайно оказался на приеме у секретаря Московской организации С. П. Надежды Чертовой (и фамилию-то Бог дал руководителю литературы — Чертова!), когда к ней позвонили по поводу предстоящего обсуждения «Литературной Москвы». Звонил Лесючевский, руководитель писательского издательства. Палач — палачу.

На столе Чертовой лежали гранки третьего номера «Литературной Москвы», которому уж не суждено было увидеть свет. Я никогда не забуду, как она вскричала в телефон: «Обсуждение проведем на железной основе».

Литература, как известно, на железе не произрастает.

А лексика-то, заметим, какая у пестунов поэзии и прозы. С годами выработалась особая, погромная. Язык доносчиков и исполнителей приговоров! Язык — шило в мешке. Как ни прихорашивайся, выдает немедля.

Ужас Хрущева перед венгерским восстанием, его убеждение, убеждение невежды, что все беды от писателей: в Венгрии — от писательского клуба «Петефи», в России — от московских писателей, — этот ужас придавал силу и наглость всем чертовым и лесючевским, несть им числа…

«Литературная Москва» казалась им гремучей змеей, заползшей в их просторные, добротные квартиры. И ядовитей всех жалили, конечно, яшинские «Рычаги». Их склоняли на всех собраниях, на них натравили всех бездарей, всех современных булгариных и гречей; были сдвинуты все «рычаги».

Бог мой, как испугались маленького рассказа «номенклатурные» руководители России! Как забегали в ЦК, вспоминая уж отставленную было терминологию сталинщины: «Идеологическая диверсия!» Как, затрезвонили «вертушки» — спецтелефоны; забегали курьеры, словно война началась и нужно дать отпор немедля, сегодня — завтра будет поздно…

Рассказ Яшина имел ошеломляющий успех — у читающей

России. Он многим помог разогнуться, осознать происходящее. Иным позволил додумать все до конца. Это не так-то просто для людей, задавленных годами дезинформации.

Именно этот рассказ оказался ударным, несмотря на «смягчающие» вставки «соавтора» — эти оспины времени.

«Оспины» просто не заметили, — кто осудит поэта, который не хочет, чтобы его тут же, немедля потащили на Лубянку от шестерых детей и рано поседевшей жены Златы Константиновны, тоже поэта, и поэта талантливого, опоры дружного, по-крестьянски сердечного семейства? Власти принялись добивать эту семью и вскоре добили. Но к этому мы еще вернемся. Обязаны вернуться…

До рассказа «Рычаги» я не был знаком с Яшиным лично. Изуродованная цензурой поэма «Алена Фомина», за которую он получил Сталинскую премию, не вызывала никакого желания сближаться с ним. Прочтя «Рычаги», я подошел к нему в Союзе писателей, пожал руку, поздравил. Мы спустились в буфет, разговорились; я рассказал о своих заботах, как два года «пробивал» статью о том, как отучают думать на кафедрах марксизма, сколько же лет буду пробивать роман на ту же тему?! Мы стали друзьями, оказалось, что мы думаем об одном и чувствуем одинаково; позднее, когда меня исключали из партии за выступления против цензуры и сталинизма, его вызывали в высокие инстанции как свидетеля; он был свидетелем защиты.

Трагически сложилась судьба Александра Яшина, оказавшегося как бы во главе прорыва… Вологодский крестьянин, он был и похож на крестьянина, высокий, ширококостый, лицо лопатой, доброе и сильное.

Уж как его били после «Рычагов», как грозили, а он раскинет, бывало, локти на трибуне и, с усмешечкой: — Я думал, вы мне спасибо скажете, а вы… на тебе! Вроде Иванушки-дурачка. Только не выходило у него никак — под Иванушку-дурачка прикинуться. Усмешечка слишком откровенная, глаза с хитроватым крестьянским прищуром, пронзительно-умные.

И писать он продолжал, не отступая; что-то пробивалось в печать, большинство рассказов и стихов так и осталось в ящиках письменного стола: поздний Яшин, неуступчивый Яшин интересен и нов в каждой своей работе: в рассказах «Вологодская свадьба», «Угощаю рябиной» и др.

Жизнь его сложилась трагично, в дни оголтелой травли он оказался вдруг, на короткое время, вне семьи, увлекся поэтессой Вероникой Тушновой, которая не испугалась всей этой бряцающей стальной громады, подминавшей Яшина, и вступилась за него…

С ней покончили тут же. Не привыкшая к подлым выпадам, ударом из-за угла, она заболела и умерла.

Яшин умирал дольше, мучительнее. Дружная яшинская семья не могла перенести ухода отца. Даже на короткое время. Шестнадцатилетний сын Яшина застрелился в пустом кабинете отца. Это так потрясло Александра Яшина, что он и сам заболел и — больше уже не вышел из больницы.

Половина Союза писателей ходила к нему в раковый институт. Он держал, в последние свои часы, Злату Константиновну за руку, плакал и казнился…

7. Осень антисталинского года

Даниил Гранин. Рассказ «Собственное мнение»

Вслед за бесстрашной «Литературной Москвой», до разгрома которой оставались считанные месяцы, двинулся в наступление и журнал «Новый мир».

Константин Симонов, тогдашний редактор журнала, слов нет, никогда бы не начал первым. Но вокруг так забурлило, что промолчать он не мог, да и не хотел. Думаю, он тоже поверил в возможность перемен.

Тем более, что он симпатизировал, всю жизнь симпатизировал смельчакам — как правило, тайно. Когда Александра Яшина после «Рычагов» пытались удушить голодом, прислал он Злате Константиновне тысячу рублей. Ничего это не стоило ему, миллионеру, да только почему-то другие писатели-миллионщики не прислали ни гроша. Растроганно, со слезами на глазах рассказывала нам Злата Константиновна о симоновском даре, который помог выжить. Но это позднее.

А тогда, в конце лета, казалось, наступила новая эра: в одном и том же номере «Нового мира» увидел свет рассказ «Собственное мнение». Даниила Гранина и началась публикация романа Владимира Ду-динцева «Не хлебом единым».

Ранее появилась повесть «Ухабы» Владимира Тендрякова, наиболее художественно завершенное и, пожалуй, самое глубокое произведение антисталинской литературы.

А прошел всего-навсего один год надежд. Один-единственный год. Даже, как известно, не полный год; осень наступила не только в багрянце лесов, но и в крови венгерских повстанцев, которых, по убеждению Хрущева, как известно, взбунтовали поганцы — венгерские писатели — «Клуб Петефи»…

После расстрелов в Венгрии и советские протестанты-литераторы, едва родившись, оказались под ударом государственного кулака.

Кроме трех литературных произведений, названных мною, выходили и другие, достойные и упоминания, и анализа. В частности, повесть Л. Кабо «В трудном походе» — о школе, пытающейся вырваться из тенет лжи и догматизма. И другие той же направленности. Однако в трех первых антисталинская тенденция выразилась наиболее четко. И не имеет значения, упоминается там имя Сталина или нет, они обрушиваются на сталинщину — разяще, смело, под разными ракурсами.

Итак, Даниил Гранин: «Собственное мнение». Молодой ученый Ольховский дерзнул выступить против академика Строева, не менее влиятельного в технике, чем, скажем, академик Лысенко в биологии.

Ольховский предложил техническое изобретение, которое сэкономит огромное количество горючего. Однако принцип изобретения, как это нередко бывает, перечеркивает одну из классических работ, в данном случае работу академика Строева.

Исполняющий обязанности директора института согласен с Ольховским, даже внутренне воскликнул об Ольховском: «Молодец». Но и.о. директора знает, что недостаточно иметь собственное мнение, надо завоевать еще и положение. А он, Минаев, пока что и. о. директора. Вот утвердят, говорит он сам себе, тогда-то уж я, конечно, помогу Ольховскому… Пока же он ничего не предпринял, и Ольховский пожаловался в райком. Минаев тут же отписал в райком, что Ольховский — кляузник, к его жалобам прислушиваться не следует. Рукопись, которую Ольховский передал заместителю министра, тот… вернул тому же Минаеву. На его усмотрение.

Все как водится. На кого жалуешься, к тому твоя жалоба и возвращается… «Не плюй против ветра…» — самое распространенное ныне на Руси присловье.

… Прошло время. Минаев стал директором, а не и. о…. Но — ничего не изменилось. «Вначале следует укрепиться», — теперь считает он.

Выписан этот психологический рисунок карабкающегося вверх бюрократа от науки, впрочем, не только от науки, очень точно. Сколько раз мне приходилось слышать от своих университетских товарищей, пошедших в гору, именно эти слова. «Вначале следует укрепиться…», т. е. не идти против течения, пока не станешь сильным и неуязвимым. Однако кто в России неуязвим?..

Минаев не торопится поддержать Ольховского еще и потому, что тот резко выступил против инструктора горкома партии Локтева, туповатого чиновника, «с мертвенным, каким-то прошлогодним лицом». Окрестил парнишка отношение горкома к делу, как «трупное равнодушие к живой мысли»…

Минаев даже пожалел Ольховского. «В силу своей бездарности Локтев, — пишет автор, — не оставлял безнаказанным ни одного выступления против себя…» В глубине души Минаев остро завидовал безоглядной «свободе Ольховского», но — предал его и на этот раз…

… Вот как начали писать на Руси сразу после развенчания Сталина: инструкторы горкома, обкома партии — бездарности,

завистники, негодяи… А все ходят перед ними на цыпочках…

Когда это говорилось такое?! Ну, а повествование развивается своим чередом. Директор института Минаев, естественно, передал своему референту распоряжение «подготовить заключение» об Ольховском.

Референт, молодой парень, всецело на стороне Ольховского, однако бумагу он подготовил, какую от него ждали — гробящую Ольховского.

«Почему вы готовите такие ответы, ведь это расходится с вашим мнением? — бесстыже спросил его Минаев. — Почему вы поступаете, как Молчалин?»

О Молчалине вдруг вспомнили, который, как известно, угождает «всем людям, без изъятья. Швейцару, дворнику, во избежанье зла. Собаке дворника, чтоб ласкова была». Вот ведь как казнит и самого себя, и своего референта директор Минаев, становясь на наших глазах циником и наглецом.

Но референт под стать ему самому.

Он готов и не к таким ударам. — Я пишу так, как вы хотите, чтобы когда-нибудь писать так, как я считаю нужным, — и он твердо посмотрел в глаза Минаеву.

Та же самая, как видите, философия: буду смелым и принципиальным, «когда укреплюсь…»

И вот уже все против Ольховского, все против живой мысли, несмотря на то, что она крайне ценна. Для всех. Это же не еретическая мысль о переустройстве общества, а всего лишь мысль о переустройстве двигателя, об экономии, укрепляющей государство, пусть даже отсталое, ретроградное, но — именно это…

Все равно живая мысль, живой человек — угроза для инструктора горкома Локтева. Он и не собирается поддерживать Ольховского ни сейчас, ни позднее, «когда укрепится»… Парталпаратчик — могильщик без иллюзий и самообмана. Для него любая живая мысль — угроза; естественно, аппаратчик Локтев требует немедленного увольнения Ольховского. Изгнания его из города. На периферию.

И Минаеву вдруг показалось, что сместились в жизни все понятия. Важен не изобретатель, а власть. Она — основа жизни… Вот как описывает Даниил Гранин это новое ощущение жизни директором научного института Минаевым:

«По реке густо шел последний лед. Местами река была вся белая, как замерзшая. Льдины наползали на гранитные обломки, кружась, исчезали в пролетах. Перегибаясь через перила моста, Минаев смотрел вниз. Казалось, льдины стоят на месте, а движется мост. От черной воды тянуло холодом, искристые

длинные кристаллы льда звенели, ломаясь о гранит, и, мерцая, уходили под воду. Сделав над собой усилие, Минаев оттолкнулся от перил.

… Он почувствовал себя старым и навсегда усталым. Он вдруг увидел себя со стороны — обрюзгший, лысый мужчина, с отечным лицом, идет по мосту, стиснув в руке шляпу. Боже, как быстро он состарился! Когда же это случилось? Он, Володя Минаев, запевала школьного хора, секретарь факультетской ячейки… Ему вдруг стало страшно — неужели он уже старик?»

Потребовалось много лет и много унижений, чтоб ученый заставил себя застыть на этом «воззрении»: движется мост, а не река, не льдины…

С предельной резкостью Даниил Гранин описывает распад личности, глазами самого Минаева, который «помнил свое унизительное бессилие, когда главный конструктор, прихлебывая чай, выслушал его страстную речь и сказал, умышленно перевирая фамилию: «Послушайте, вы, Линяев, если вы сунетесь еще раз с этим абсурдом, я вас выкину с завода. Идите». Вместе с друзьями он еще пробовал сопротивляться, ходил, доказывал. Все было напрасно. Они могли убить на эту безнадежную борьбу три, пять… десять лет и ничего бы не добились. Их было трое. Сперва уволили с завода одного, потом другого. Очередь была за Минаевым. Тогда он сделал вид, что смирился. Он утешал себя: это временно. Надо пойти в обход, сперва добиться независимости, авторитета, а потом громить этих бюрократов. Стиснув зубы, он продвигался к своей цели. Его назначили заместителем начальника цеха. Он приучал себя терпеть и молчать. Во имя этого дня, когда он сможет сделать то, что надо.

… Сколько таких Ольховских осталось позади!.. Неустанно, как муравей, он возводил здание своего положения, стараясь сделать его еще крепче. Зачем? Чего он добился? Чем выше он забирался, тем меньше он становился самим собой».

Завершается рассказ на высокой разоблачительной ноте. Минаев предал Ольховского и в Москве, в министерстве, ибо академик Строев нужен был институту и по другим делам. Он может помочь что-то достать, пропихнуть.

Дело происходит в вагоне, в котором возвращается в Ленинград Минаев, снова — в какой уж раз! — предавший изобретателя Ольховского. Минаев смотрит в ночное стекло и видит лишь свое отражение в стекле.

«На фоне густой черноты ночи, — пишет автор, — двойное зеркальное стекло отразило грузную фигуру в полосатой пижаме, отечное лицо с папиросой в углу твердо сжатого рта и еще одну, более смутную фигуру всю в блестках дождя. Папиросный дым,

касаясь холодного стекла, стлался сизыми, льнущими завитками. Сквозь них, из черной глубины окна, там, за вагоном, на Минаева смотрел тот, молодой, в намокшей кепке, в потертом пиджачке студенческих времен. Струйки воды стекали по его бледным щекам, по тонкой цыплячьей шее. «Вот видишь, ты опять откладываешь, чепуховая ты личность. Просто жалко смотреть на тебя». — «Надо считаться с реальными обстоятельствами, легко фантазировать, не зная жизни, а я изучил ее». — «Ты обещал стать самим собой. Вот, мол, назначат директором, вот укреплюсь, а теперь…» — «Наивный мальчик! Как будто директор — это бог. Если бы я работал в министерстве…»

И был еще третий Минаев, который слушал, как старый ловко успокаивал молодого, уверенно доказывая неизбежность случившегося, обещая помочь Ольховскому, как только сложится нужное обстоятельство, и который знал, что никогда этого не будет. Он всегда будет хитрить с самим собой, вести эту бесконечную игру, не имея сил вырваться из плена собственного двоедушия. У него всегда будут оправдания. Он всегда будет стремиться стать честным завтра…»

Этот внутренний монолог, напоминающий разговор Ивана Карамазова с чертом, и венчает рассказ.

Даниил Гранин сорвал с «нового класса» последние покровы. Сказал еще раз о том, что так называемые технократы в СССР, на которых иные возлагают какие-то надежды, в большинстве своем нравственно выродились, и уже практически ничем не отличаются от душителей из партийного аппарата, разве что более изощренной системой самооправданий…

8. Шумная осень антисталинского года

Владимир Дудинцев. «Не хлебом единым»

Роман Владимира Дудинцева «Не хлебом единым» никого не оставил равнодушным. Вместе с Даниилом Граниным и другими Дудинцев предпринял, может быть, самую решительную попытку открыть общественному сознанию новые горизонты…

А потребность в этом была насущнейшая. В том же 1956 году в стране «победившего социализма» впервые произошли волнения и забастовки в Москве. Забастовали шоферы машин-кранов и кузнечный цех огромного завода «Шарикоподшипник».

Я прожил на Шарикоподшипниковской улице, возле завода, много лет, окончил там школу, оттуда ушел на войну. Естественно, я не мешкая приехал на суд, перед которым

предстали несколько парней-забастовщиков. Судили их, как легко было представить, не за забастовку (какие могут быть забастовки в рабоче-крестьянском государстве?!), а — за хулиганство; один из парней взял мастера, наглеца и вора, за грудки и потряс.

Я видел, как накален зал. В ответ на угрозу судьи вывести старого рабочего, подавшего с места реплику, зал вскричал как один человек: «Все уйдем!» В зале теснилось около тысячи рабочих, и, помню, милиционеров, которые жались по стенам, вдруг как ветром выдуло.

Судью после процесса вывели через заднюю дверь, когда все разошлись…

Люди тянулись к осмыслению бытия, увидев вдруг, что их «рабочее государство» враждебно рабочему человеку, как и при Сталине.

Легко в связи с этим понять, почему Владимир Дудинцев, несмотря на то, что книга его написана неровно, оказался в фокусе общественного внимания.

Дудинцев вряд ли, на мой взгляд, останется «на отмелях времен», как Солженицын или «Ухабы» Тендрякова, о которых речь впереди. Как и роман Веры Пановой «Кружилиха», ценный более всего образом Листопада, роман Дудинцева, несомненно, останется в истории русской общественной мысли. Останется, конечно, образом Дроздова, близким Листопаду.

Однако время уже иное, не расстрельное, можно было о листопадах потолковать всерьез.

Образ Дроздова — это сокрушительный удар по «сталинским соколам»… Их суровое разоблачение.

Образ Дроздова дан не только в авторском описании, но и в самоанализе, и в окружении образов-вещей, не менее выразительных, чем самоанализ.

Попробуем понять, рассматривая роман страницу за страницей, какими приемами автор создает этот образ, ставший нарицательным для нескольких поколений.

У Дроздова, человека отнюдь неглупого, есть своя теория, которая позволяет ему безбоязненно шагать вперед, участвовать в обсуждении вопросов, в которых он мало что понимает. «Трудности большой руководящей работы не пугали, а, наоборот, манили его. На этот счет у него была даже своя теория. Он считал, что нужно всегда испытывать трудности роста, тянуться вверх и немножко не соответствовать. Должность должна быть всегда чуть-чуть не по силам».

Уже на первых страницах автор бьет не по мелочам. «Культ некомпетентности» — это, пожалуй, основа основ, на которой стоит бюрократия, готовая по «призыву парши» руководить чем

угодно: сегодня баней, завтра культурой, послезавтра самолетостроением. Дудинцев берет, что называется, быка за рога.

Дроздов, конечно, малообразованный человек. В одной докладной записке он пишет «обеспеч» без мягкого знака, и автор это подчеркивает.

Дроздов убедил самого себя, и давно, что руководить — это почти что его родовое право, словно он родился не в крестьянской хате, а в боярских палатах. Он старался и внешне соответствовать этому своему убеждению. Сарказм автора не мешает читателю узнавать знакомые черты номенклатурной фигуры: «Дроздов, маленький, в кожаном глянцевом пальто шоколадного цвета, с воротником из мраморного каракуля, и в такой же мраморно-сизой ушанке».

Это уж почти памятник самому себе.

Однако на следующих страницах, едва автор оставляет Дроздова в кругу его семьи, памятник этот оживает во всей его неприглядной правде. Ложь стала образом существования дроздовской семьи, на все телефонные звонки домашние отвечают по его распоряжению, что «его нет дома».

С этой ноты и начинается самораскрытие героя — герой приказывает ложь считать правдой, значит, и быть по сему.

Мы еще не знаем на первых страницах романа, зачем существует в книге этот герой, но мы уже почти все знаем о нем. Дроздов пока немногословен; красноречивы образы-вещи. «Леонид Иванович (Дроздов) обошел свой громадный стол, на котором поблескивал отлитый из черного каслинского чугуна чернильный прибор, составленный из знаков гетманской власти. Тут стояли две булавы, массивная печать, возвышался бунчук… многозначительные и тяжелые вещи».

Это дает полнейшее представление о чувствах, которые хотел бы вызвать у подчиненных этот маленький человек.

Он вовсе не так уж прост, этот Дроздов. Он отнюдь не только иронически-великолепен. Он умеет снискать себе уважение в городе. Более того, заставить говорить о себе с восхищением. Он точно знает, кого народ ненавидит, и охотно издевается над ненавистным чиновником. Изобретательно издевается. К примеру, Бабашкин, начальник склада, заставлял всех идти к его конторе через огромную лужу, разлившуюся на дороге.

Дроздов заметил, как посетители брели к Бабашкину по колено в воде. И Дроздов приказал шоферу въехать в лужу и, открыв дверцу «газика», весело крикнул начальника склада Бабашкина. «Бабашкин потоптался поодаль и, нечего делать, подошел, как был, в своих желтых полуботиночках и стоял в луже

полчаса, выслушивая неторопливые указания Дроздова об учете топлива. На следующий день, естественно, у Бабашкина на складе был построен высокий деревянный тротуар…»

Весь город смеялся над Бабашкиным… Дроздов знал пути к сердцу простого человека, издревле живущего в надежде: «вот приедет барин, барин нас рассудит». Действительно, прикатил барин, рассудил…

«Страна рабов, страна господ»…

Как было, так и осталось. Владимир Дудинцев показывает это зримо, достоверно.

Жена Дроздова была намного моложе мужа, ей он внушал уважение к себе убедительно-тяжелыми разглагольствованиями, на которые трудно было возразить.

«Я принадлежу к числу производителей материальных ценностей. Главная духовная ценность в наше время — умение хорошо работать, создавать как можно больше нужных вещей. Мы работаем на базис», — горделиво объяснял он.

Уважение окружающих помогало ему самоутвердиться.

Но автор все чаще и чаще заводит нас в дом Дроздова, за дымовую завесу дешевой популярности, и мы снова ощущаем, сколь античеловечны его главные привычки и принципы. Например, теория (опять теория, не меньше!) самоизоляции. Дудинцев не щадит своего героя, считающего, скажем, что простых людей в дом звать нельзя. Вещи, заслуженно заработанные им вещи, вызовут у них чувство зависти…

А что ж ему, директору, от вознаграждения отказываться?!

Только после Дудинцева мы узнали: новый класс не только переродился, но и подвел под свое перерождение особую теорию «самоизоляции», нужную-де ради пользы дела.

Это уж был не Листопад, радостно вспоминающий сенокос, деревенскую родню…

Впрочем, Дроздов — человек неглупый, он в глубине души знает себе цену, и когда жена упрекает его в тщеславной рисовке, он говорит полушутливо-полусерьезно: «В коммунизм мне, конечно, нет хода. Я весь оброс. На мне чешуя, ракушки. Но как строитель коммунизма я приемлем, я — на высоте».

Хлебников сказал, что человечество делится на мир изобретателей и мир приобретателей.

Чтобы Россия не стала исключением, изобретателей, как известно, тут расстреливали. Даже гениальные конструкторы Королев и Туполев выжили случайно, и всю жизнь помнили, что в один прекрасный день, как говаривал Королев, возьмут их да и

«хлопнут без некролога».

Если Листопад Веры Пановой был неким странным исключением (Вера Панова не протягивала от него нитей, и без того ее едва не убили), то Владимир Дудинцев идет дальше, он ничего не боится, во всяком случае, так кажется вначале. Ведь не террор 37-го года в Москве, а 56-й год, время «позднего реабилитанса», как горьковато шутили москвичи. И автор бесстрашно прослеживает все нити, все связи и опосредствования, которые позволяют Дроздову широко шагать по служебной лестнице…

Рядом с ним, в столице, куда он, Дроздов, пришагал, существует невидимый град Китеж и китежане — высокодипломированные научные дармоеды и убийцы во главе со своим шефом Авдиевым, руководителем института.

Вряд ли бы «китежане» долго продержались, если бы их не поддерживал сам зам. министра Шутиков. А Шутикова — сам министр… Для Шутикова изобретатель — это нечто дикое, неестественное.

Изобретатель, который не только приносит свои бумаги, но еще чего-то добивается?! Вопреки китежанам?! По крайней мере, без их поддержки?! Шутиков такого просто не принимает всерьез.

А когда изобретателю Лопаткину случайно удалось пробиться к министру (помогла знакомая секретарша), Шутиков разглядывает Лопаткина, как некое чудо. «Лосось, — говорит он, вызванный министром. — Видели когда-нибудь, как лосось прыгает вверх через водопад? Нет?..»

Шутиков прекрасно понимает, что истина на стороне Лопаткина, однако подписывает, дает ход негодному проекту китежан, поскольку его представил сам Авдиев.

Само дело для него значения не имеет, а лишь то, кто за делом стоит, степень влиятельности тех, кому он поможет сейчас, а те, в свою очередь, когда-либо поддержат его.

Естественно, и Дроздов, назначенный в министерство начальником отдела, пришелся к месту — тут же схватывает ситуацию и вместе с остальными гробит изобретателя Лопаткина, как гробил его и раньше в своем маленьком городке Музге, где был воеводой.

… У Даниила Гранина угробили Ольховского. Здесь — очередь Лопаткина. Разные писатели, никак не связанные друг с другом, ни территориально, ни, казалось бы, жизненным опытом, разные по манере, по взглядам, вдруг описывают явления не просто близкие, но выбирают зорким писательским взглядом почти одних и тех же героев, схожие ситауции. Как же опротивела всем эта псевдосоциалистическая рутина, чиновничья

заскорузлость и мстительность, близкая по духу кровной поруке мафии!

Для мафии ведь не важна чья-то правота и неправота. Она стреляет ради выгоды или самосохранения. Она безжалостна к тем, кто нарушает ее законы, законы мафии.

Об этом, по сути, и говорит Владимир Дудинцев, объясняя, почему не только в литературе, но даже в технике, где изобретение может дать немедля миллионы прибыли, оно лежит без движения: что мафии до интересов государства или народного благосостояния! Она — мафия…

Дроздов, как самый развитый, придумывает даже теорию разумности «убийства изобретателей»: они-де мешают плановому развитию… Он жить не может без прогрессивных теорий!

«Если личность мешает, надо погасить личность», — говорят ныне психиатры из института Сербского…

Есть в книге и лирический сюжет. Он незатейлив. Надя, жена Дроздова, видя, как ее муж издевается над Лопаткиным, которого она знала еще по школе, где вместе преподавали, проявляет много мужества, чтобы помочь незадачливому изобретателю. Становится другом Лопаткина, а потом и его женой. Лирический сюжет здесь — чтобы вызвать дополнительный читательский интерес.

Самого автора, как мы уже видели, интересовала не лирика.

«Культ личности» не исчез, напротив, он проник во все поры. Во всех науках, на всех заводах и учреждениях — свой культ, убивающий мысль…

Автор тем самым дает ответ и на то, что происходит в России сейчас. Почему любая мысль, заранее не завизированная начальством, немедля объявляется инакомыслием?

Да такова структура любой бюрократической системы! Бесчеловечность сталинщины лишь придает ей возможность кровавых расправ.

Смерть изобретателя Бусько, героя как бы второстепенного, еще сильнее подчеркивает безнадежность поединка человеческой мысли и тупого, грохочущего, как танк, государства, подминающего все живое…

Лопаткин упрямее. Что ж!.. Тем хуже для него. И на него нашли управу, достоверность которой ни у кого не вызвала сомнений. Именно так расправился академик Лысенко со своими научными противниками: он их пересажал в тюрьмы, откуда они уж не вернулись…

Лопаткина обвинили в нарушении секретности (он привлек к осуществлению проекта Надю, которая не проходила официального «засекречивания»). Был арестован и получил

восемь лет тюрьмы…

Лопаткин исчез в Архипелаге ГУЛАГ, как и академик Николай Вавилов — жертва Лысенко, как тысячи и тысячи ученых и инженеров.

… Здесь, в конце третьей части, и завершается книга. Однако закончи ее автор тут, она никогда б не увидела свет: книга покушалась бы не только на «ушедший» нравственный мир сталинщины, но заодно и на теорию социалистического реализма — одну из главных теорий, придуманных дроздовыми от идеологии.

Издать «Горе от ума» на социалистическом материале цензура не позволила бы даже и в 1956 году. Горе от ума — подумать только! — в эпоху победившего социализма…

Автор, возможно, по совету Симонова, пишет еще одну часть, четвертую, внешне правдоподобную.

Внешне правдоподобную потому, что вполне мог существовать и такой следователь Бадьин, который не согласился с приговором, написал особое мнение, а потом — это уж более фантастично — боролся, еще в сталинское время боролся! за отмену приговора Лопаткину.

Мог существовать и ученый Галицкий из военного института, который построил машину Лопаткина, пока тот сидел в тюрьме.

Правда, ученый Галицкий, если и был такой, скорее всего мог вытребовать зэка Лопаткина в «шарашку», одну из шарашек, описанных Солженицыным, но такой поворот сюжета в 56-м году был еще невозможен.

И вот пришлось автору сотворять четвертую лживую часть, после чего Константин Симонов, пока еще главный редактор «Нового мира», ошеломленный откровениями XX съезда, рискнул издать Дудинцева. И хотя позднее он отмежевался от самого себя, дело было сделано. Каинова печать на лбу советской бюрократии стала видна всем, кто не закрывал глаз…

На защиту В. Дудинцева поднялись десятки писателей. Не только поборники свободы, как Константин Паустовский, рассказавший, как он во время путешествия на пароходе близко познакомился с современными бюрократами, этими «маклаками». Но даже такие быстро увядшие «прогрессисты», как поэт Сергей Михалков, который сказал с трибуны решительно, хоть и страшно заикаясь от волнения:

— Кто вз-з-зойдет на эту трибуну и скажет, что он против книги В. Дудинцева, тот сам Дроз-з-дов. Кто вз-з-зойдет, тот Дроз-з-здов…

9. Классика антисталинского года

Владимир Тендряков. «Ухабы»

Придумано много способов сделать уже вышедшую книгу как бы несуществующей; главные на Руси — изничтожить печатно или замолчать.

Часть книг, не самых опасных, как правило, шельмовали, «прорабатывали». Как Дудинцева. Но самые опасные — изымали из библиотек или замалчивали; хвалили в «Литературке» так, что отбивали у читателя желание даже раскрыть книгу, — утаивая то, ради чего книга написана…

О таких — лучших — книгах не ведали порой в русской глубинке даже учителя литературы.

Подобное произошло с повестью Владимира Тендрякова «Ухабы», хотя на Западе ее перевели почти сразу — в 1957 году.

Владимир Тендряков — теперь это, к счастью, многим известно — один из самых талантливых современных художников слова; один из самых стойких и честных писателей России; он был также и членом редколлегии сборника «Литературная Москва», не пошедшим ни на какие уступки…

В повести «Ухабы» Тендрякова действие разворачивается в городке, отрезанном затяжными дождями от большой земли; в дождь из магазинов исчезают соль и керосин, в Доме культуры перестают показывать кино, письма приходят с опозданием в два-три месяца: до станции железной дороги 50 километров размытого лесного проселка…

Шофер Вася Дергачев едет к чайной — наловить перед дальней поездкой «лещей». «Наловить лещей» — это взять попутных пассажиров. В такой глуши шофер — единственный владыка, царь крошечного государства — кузова автомашины. И каждый, кто попал в кузов, обязан платить дань.

«Лещей» сколько угодно. И все разные: директор МТС Княжев, у которого своя машина сломалась, старушка с корзиной, младший лейтенант, увозящий из родной деревни молодую жену, наконец, здоровущий парень, вокруг которого и начнет потом закручиваться сюжетная спираль.

Очарование тендряковской прозы охватывает читателя с первых же страниц. Вот устраивается в кузове баба с корзиной, полной яиц. Толкает бесцеремонно соседа:

— Эко растопорщился! Сам тощой, а места занял, как баба раскормленная. Сдвинься-ко, сдвинься, родимушко.

Лейтенант, естественно, пытается командовать — красоваться перед молодой женой:

— Наташа, вот здесь сядешь. Ноги сюда Протяни. Эй, красавицы, потеснитесь! Нет, нет, давай сядем так… чемоданы

поставим на попа».

Описание дороги воспринимается как символ российского бездорожья, российской беды.

«Дорога! Ох, дорога!

Глубокие колесные колеи, ни дать ни взять ущелья среди грязи, лужи-озерца с коварными ловушками под мутной водой, километры за километрами, измятые, истерзанные резиновыми скатами, — наглядное свидетельство бессильной ярости проходивших машин.

Дорога! Ох, дорога! — вечное несчастье Густобровского района. Поколение за поколением машины раньше срока старились на ней, гибли от колдобин, от засасывающей грязи».

Чудовищное бездорожье подкарауливает каждого… Страница за страницей посвящены ужасной дороге, и от этого ощущение символичности дороги, по которой движется Россия, становится уже не проходящим ощущением…

Дорога — каждый метр с боя…

Хотя нигде описание не выходит за рамки реалистического отображения, однако Тендряков заставляет нас задуматься не только об этой дороге, но и об исторических дорогах России…

В одном из пунктов шофер размечтался; он уже видел, как преодолеет вот тот камень, вот тот пригорок. Это обычный немудрящий литературный прием, сценический прием — розовые мечты шофера, уводящие читателя от мысли о возможном несчастье. А несчастье — вот оно, на Тыркиной горе машину перевернуло, она завалилась набок; каждый пассажир, которому автор посвятил в самом начале две-три фразы, начал мыкать горе в соответствии со своим характером.

Но как точно наметил их Тендряков, эти характеры, как угадал!

Лейтенант начинает кричать: «Кто вам доверил возить людей? Вы не шоф-фер! Вас к телеге нельзя допустить, не только к машине». Он еще долго что-то кричит, его пытаются утихомирить, и вдруг говорит старушка-крестьянка, у которой тоже все, что везла с собой, перебито-переломано: «А офицерик-то за свои чемоданы обиделся».

И в это время послышался из-под опрокинутой машины сдавленный стон.

Старуха первой расслышала стон и зачастила скороговоркой: «Святители! Угодники! Матерь божья! Да ведь тут парня пришибло! Вот те крест, пришибло! Детушка ты мой родимый, лежи, голубчик, не понужай себя… Люди добрые, да скореича идите!»

А дальше происходит то, что заставило меня, когда я

перечитывал повесть, вспомнить «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына. те страницы, на которых Солженицын описывает, как вышибли у него в военной школе все человеческое. «Нарос жир на сердце, как сало на свинье». За двадцать лет до Солженицына прочитали мы о подобном у Тендрякова.

Раненого, придавленного машиной парня хотят нести, и снова лейтенант подает начальственный голос: «Мы не должны никуда нести… Для суда важно, чтобы все оставалось на месте, как есть».

Как зорко увидел Тендряков это обесчеловечение армейской спесью.

Понесли носилки: постоял обесчещенный народом лейтенант, а потом, устыдясь, бросился за остальными, помогать нести.

И как сразу изменились к нему крестьянки. Они еще ругаются, скорее по инерции: «Проняло субчика». «Совесть заговорила». «Девка-то душевная ему попалась». «Этакие хлюсты всегда сливки снимают». Но уж ведут себя совсем иначе. «Старуха, со вздохом завязав пустую корзинку платком, поднялась, подошла к раскрытому чемодану.

— О-хо-хо! Добришко-то у них распотрошило. Собрать надо, родные. Тоже ведь, чай, на гнездышко свое копили. О-хо-хо!..

В повести нет ни одной лишней подробности: в самом начале описана проволока, которой закручен борт; казалось, к чему она, эта проволока; а именно за нее и зацепился сапогом парень, когда хотел выскочить из машины. Потому его и придавило. Лишь несколько строк посвящено плащу заготовителя, садящегося в машину, — оказалось, плащ-то и станет самым необходимым предметом — брезентом для носилок, на котором понесут парня.

Но вот нарастает драматизм, и повествование обретает глубину все большую.

Директор МТС Княжев нес носилки вместе со всеми, проявил и распорядительность, и мужество, и человечность, и вдруг он предстает перед нами совсем другим человеком…

Спасти придавленного парня может только трактор, который потащит в больницу по грязи сани с носилками. Люди идут к Княжеву, который уже сидит в своем кресле председателя МТС. Это самые важные страницы повести, напомним их:

«Княжев поднялся из-за стола. Он был в той же гимнастерке, в которой нес больного, мокрый и грязный плащ висел за спиной, на стене…

Николай Егорович, — заговорил Василий, — плохо дело. Надо срочно отправлять парня в густобровскую больницу на операцию. Фельдшерка побежала звонить хирургу.

Княжев сожалеюще причмокнул, но ничего не ответил…

Василий почувствовал неловкость не за себя, за Княжева. Тот хмурился, прятал глаза.

— Трактор дайте. Единственный выход, — решительно сказал за спиной Василия лейтенант.

— Трактор? М-да-а… Трактор-то, ребятки, не транспортная машина, а рабочая. Никак не могу распоряжаться государственным добром не по назначению.

— Николай Егорович! — Василий почувствовал, как кровь бросилась ему в лицо. — Человек же умирает! Не мне вам это рассказывать. Нужен трактор с прицепом. Ежели вы его не дадите, ведь умрет же…

… — Николай Егорович! — Василий вот-вот готов был расплакаться. — Трактор-то нужен не для кирпичей, не для лесу. Неужели думаете, что вас кто-то упрекнет, что вы дали трактор, чтобы спасти от смерти человека.

— … Не могу рисковать. Сорву график работ. Оставлю колхоз без машины. Нет, друзья, за это по головке не погладят…

Уже в спину Княжев бросил:

— Я помог на место доставить, свой гражданский долг выполнил…»

Итак, Княжев как личность человечен, надежен, как директор МТС — бездушный рычаг… Рычаг бесчеловечной системы — в лучших произведениях советской литературы эта тема возникает неизменно.

У Тендрякова она имеет интереснейшее продолжение. Шофер Василий и лейтенант решили жаловаться на бездушие Княжева. Кому жаловаться? Прежде всего, конечно, советской власти. Отыскали председателя сельсовета, чтобы он усовестил Княжева именем высокой власти… Он жил при сельсовете, в бревенчатой пристройке, вышел при первом же стуке.

— Эх, дорогие товарищи, — председатель скорбно покачал головой. — Ну, скажу, а он мне: в районе тоже, мол, советская власть, и крупнее тебя, сельсоветский фитиль, потому не чади тут… Николай Егорович здесь сила, мы все у него где-то пониже коленок путаемся…»

Тогда пошли искать милицию. Милиция ведь — это уж точно государство. Не должно оно позволить Княжеву добить человека.

Лейтенант горячо объясняет участковому, что Княжев, не давая трактора, убивает человека…

«— Так! — обрубил участковый горячую речь лейтенанта. — Объясняю пункт за пунктом. Требовать трактор прав мне не дано… Без письменного распоряжения мои действия будут незаконными…

Пошли, лейтенант, — сердито произнес Василий.

— Нет, обождите! (остановил их участковый. — Г. С.). Тут еще надо разобраться, раскрыть виновного. Я обязан задержать шофера, сесть и спокойненько, пункт за пунктом, нарисовать протокол…

Василий застыл в дверях, а лейтенант круто обернулся, тихо и внятно произнес:

— Нарисовать бы на твоей сытой физиономии. Протокол важен, а не человек… Пошли!..»

Милиция, как видим, готова только акт составить, но — спасать человека?!.

В общем, все приходят к выводу, что Княжевых не прошибешь. Автор, как бы незаметно для читателя, говорит уже не Княжев, а во множественном числе — Княжевы.

«— Таких Княжевых не уговаривать нужно! Я бы его, подлеца, под конвоем к прокурору! — негодует лейтенант.

— Мертвое дело. Не прошибешь. Давайте думать, как самим вывезти».

И тут впервые, единственный раз в повести, вступает в дело писательская оглядка, на демагогическую критику, на разбой официальной прессы. Автор, надо отдать ему справедливость, не изменив большой правде, тем не менее поспешил снять с себя будущие стереотипные наскоки демагогов: де, где парторганизация?! Не принял ее во внимание, обошел…

Лейтенант, обегав все село и нашумев, отыскал секретаря парторганизации и вообще поднял на ноги всех МТСовских коммунистов.

Раздобыли при помощи парторганизации трактор. Да только поздно. Не помогла парторганизация, словно ее и не было вовсе…

Повезли раздавленного парня на санях, прицепленных к трактору, да не довезли. Оттянула ему веки фельдшерица, увидала, что мертв уже.

… Прошло немало времени, пока добрался к ним пешком, по грязище хирург, вызванный из районной больницы. Выслушал о том, что произошло, и сказал о Княжеве, заклеймил его яростными словами автора:

Бюрократ!.. До убийцы выросший бюрократ!»

«Ухабы», на мой взгляд, — самое глубокое, самое беспощадное произведение советской литературы послесталинских лет. Его можно поставить рядом разве что с повестью «На Иртыше» Сергея Залыгина, о которой еще буду писать.

О чем оно? О том, что остались в СССР до убийц выросшие бюрократы? Да, но об этом есть у Дудинцева и у других.

У Тендрякова обнажен и более глубокий пласт. Появился

новый класс людей, который узурпировал народную собственность, спекулирует словом «народный», «государственный». «Никак не могу распоряжаться государственным добром не по назначению». Использует отнятую у народа, обобщенную собственность против народа — даже когда речь идет о жизни и смерти человека.

Так прямо, так художественно убедительно о смертельной вражде руководящего слоя простому человеку писатели еще не говорили…

Как поступили с опасным произведением оторопевшие руководители ЦК? По разработанным шаблонам, о которых говорил: хвалили, скрывая суть произведения, почти замалчивая. В «Литературке» позднее появились шуточные стихи: «Он едет, ширятся масштабы. И молят братья по перу: — Перевалив через «Ухабы», ты нам пришелся ко двору».

Тендрякова пытались даже выдвинуть на Ленинскую премию; при одном условии: чтобы он отмежевался от «Литературной Москвы»; мол, не имею я со всякими Казакевичами — Алигер ничего общего.

Владимир Тендряков не отмежевался; тогда-то его и перестали замечать. Надолго.

Сейчас Тендрякова, одного из самых талантливых народных писателей, не только на Западе плохо знают, но и в России многие начали забывать, хотя его иногда и переиздают, и изредка хвалят — испытанным способом…

Он никогда не мелькает в прессе, как другие. Не произносит речей на съездах. Даже подписи под «коллективным» писательским гневом от него не добьешься. Так ни разу и не добились! За что ж такого славить?!

10. Пора напрасных надежд

(Культурная жизнь после развенчания Сталина на XX съезде)

Как случается после долгой засухи, когда даже земля трескается, и вдруг выпадают обильные дожди, и горелая степь, почти пустыня, сразу, оживает, так ожила, поднялась неожиданная в своем разнообразии культурная жизнь России в годы развенчания Сталина. Вслед за прозой — театры, ансамбли, литература, живопись, скульптура — все заявило о себе, ярко, талантливо, умно, дерзко. Это действительно была пора надежд. Пора напрасных надежд. Тогда мы надеялись, что прямо и гневно разоблаченные злодеяния сталинщины не позволят

притаившимся палачам вернуться «на круги своя», на кровавые круги убийства людей и культуры.

Мы надеялись, что наступает новая эра: у человечества остались хоть крохи совести. «Совесть — когтистый зверь, скребущий сердце» — никогда столь часто не вспоминалась эта пушкинская строка, как в те дни. Просто диву даешься, как охотно, как упоенно утешаем мы себя подходящими к случаю цитатами, строчками стихов!..

А стихов стало много. Водопады, гейзеры молодой поэзии.

Но прошло два-три года — не более; восторженные и, казалось, искренние поэты вдруг пропали, как перекати-поле, сорванное ветром, через много лет стали жаловаться, как Евтушенко: «Мы карликовые березы… Мы умно продумали позы…» Поэтическая мысль потеряла четкость, расплывалась, как изображение на экране, когда механик, отвлеченный или испуганный чем-то, забывал о «фокусе».

К поэтам вернемся позднее, чтобы представить их не фрагментарно, а, как говорится, во весь рост. В движении…

— У театров — собачий век, — говаривал один из московских режиссеров. — Двенадцать лет — старость. Полвека может «царить» только МХАТ, ненужное существование которого поддерживают при помощи государственной клизмы…

Они взорвались петардами, неведомые доселе молодые театры, оглушая и радуя даже названиями пьес. «Голый король» — это было напечатано броско на всех афишных щитах и заборах. Так начинал свой первый сезон молодежный театр «Современник», который пробивался тяжело, как трава из-под асфальта, актеры работали кто где, а репетировали по ночам. Никто не знал, удастся ли им продержаться, позволят ли им мозолить глаза властям в самом центре Москвы на площади Маяковского, известной позднее своими крамольными сходками. Никто не верил, что они выживут, полуопальные, подозрительные, пасынки Министерства культуры.

И вдруг, как обухом по голове: «Голый король». Пьеса ленинградского драматурга Евгения Шварца по мотивам сказки Андерсена. Никогда, наверное, не могло прийти в голову миролюбивому сказочнику, веселому сказочнику Андерсену, с какой силой зазвучат его слова, расклеенные по заборам Москвы. «Голый король»…

Точнее Андерсена о Сталине в те дни сказать было невозможно. У подъезда театра «Современник» собирались толпы. Помню, как хохотали зрители, как визжали и хлопали студентки, как повторяли во всех университетских коридорах и квартирах слова хромого премьер-министра из пьесы: «Извините за прямоту,

вы гениальный человек, король!» А министр нежных чувств из той же пьесы, длинный, трепещущий, похожий на номенклатурного поэта Захарченко, главного редактора журнала «Техника — молодежи», прославившегося тем, что незадолго до крушения Никиты Хрущева, почти перед самым его падением, изумил всех своим документально-холуйским фильмом под названием: «Наш Никита Сергеевич», этот министр нежных чувств стал непременным персонажем всех студенческих «капустник в».

«Голый король» прошел, казалось, как очистительная гроза. «Смеясь, люди расстаются с прошлым», — говаривал когда-то Маркс.

Мы верили этому…

Толпы у театральных подъездов были такими, что приходилось вызывать конную милицию, и крупы коней теснили, отшвыривали восторженных театралов-либералов, чтобы они не забывали, где находятся…

Ленинградский театр комедии режиссера Николая Акимова поставил пьесу Д. Аля Л. Ракова «Опаснее врага». О номенклатурном идиоте-управляющем, который услышал, что в Москве предстоят реформы, будут изгонять дураков. Не дожидаясь письменных указаний сверху, в местном управлении срочно ищут своего дурака, чтобы поскорее уволить. И доложить. Главное — доложить!.. Занимается этим, конечно, начальник отдела кадров, военной выправки чиновник, который, принимая посетителей, по привычке говорит не «Войдите!», а «Введите!» И спешно, под хохот зала, запирает на ключ ящики своего стола, как то и полагается следователю.

Естественно, зав. кадрами немедля отыскал нужного начальнику дурака, не отвечающего высокому предназначению: им оказался водопроводчик. Водопроводчика и уволили, хотя он был нужен позарез: батареи не работали и отовсюду текла вода…

В те годы следователей на пенсии развелось, как крыс, и эта театральная крыса-следователь, написанная со знанием дела, была прекрасным дополнением к образу голого короля.

Время изменилось столь решительно, что и представить себе было трудно: совсем недавно, в 1954 г., пьесу смелого московского драматурга Леонида Зорина «Гости», о бюрократах-перерожденцах, прокляли, как контрреволюцию.

Как хохотал зритель, когда тот же Леонид Зорин представил позднее пьесу «Дион», в которой по сцене театра Вахтангова на Арбате расхаживал римский император Клавдий, лысый и тучный, очень похожий на Никиту Хрущева, умиляясь верности своих подданных: «Ах, вы мои лояльные!»

Выдвинулись драматурги, не боявшиеся касаться главных и

больных тем. Несколько лет подряд битком был набит большой зал Театра Красной Армии в Москве, где шла пьеса Александра Володина «Фабричная девчонка», героиня которой, простая работница Женька Шульженко, восстала против рутинной лжи, «показухи» всяческих «представителей» рабочих.

Такие пьесы убивали оголтелую фальшь, «производственных» романов, изображавших счастливый, мудрый, неизменно трезвый «его величество рабочий класс»…

В Ленинграде, несколько позднее, в Большом драматическом театре имени Горького поставили драму «Мещане». Сколько тысяч раз ее показывали все театры страны! Но вот это сделал режиссер Товстоногов, и зритель ахнул: главный герой, рабочий-машинист Нил, «буревестник революции», пролетарий Нил — будущее России — вдруг предстал у Товстоногова откровенным погромщиком.

Известная сентенция Нила: «Права не дают, права берут!» вполне отвечала официальной концепции большевизма.

Когда он произносил известные со школьной скамьи слова «права не дают, права берут», зал замирал: как же не разглядели его раньше, не поняли, что этот-то сверхположительный Нил затопчет все законы и, на основе «революционной совести», передушит треть России.

Современный опыт России высветил большевика Нила совсем иным светом…

У Товстоногова поставили и «Горе от ума» Грибоедова; грибоедовские стихи знает каждый советский школьник. Это — классика. Это — история России. И вдруг зашагал современный Фамусов, зловещий бюрократ сталинской эпохи, а над его головой, над сценой алел плакат с цитатой, да вовсе не из классиков марксизма. Это воскликнул в отчаянии Пушкин: «Догадал меня черт родиться в России с умом и талантом».

Позднее Хрущев, привезенный ленинградским руководством в театр, специально привезенный, чтобы придушить этот товстоноговский рассадник зла, пришел в ярость, прочитав, наверное, впервые в жизни пушкинские слова.

Сорвать плакат тут же!..

И Хрущев отбыл в Кремль, убежденный, что искоренил крамолу в Ленинграде раз и навсегда… До таких эстетических высот, как постижение режиссерской трактовки, он не мог подняться, тем более что в поездках по России он по вечерам, как правило, и лыка не вязал. Секретари обкомов накачивали его водкой так, что его пьяные откровения перед рабочими Мурманска и Братска становились легендой…

Бескультурье Хрущева на первых порах очень помогло

увядшей культуре подняться на рахитичные ножки и окрепнуть. Окрепнуть настолько, что начали появляться на свет не придушенные при рождении, совсем юные студенческие коллективы. Так выпестовался из недр Щукинского театрального училища молодежный театр, ставший затем одним из самых известных театров Москвы. Театр режиссера Любимова, знаменитый Театр на Таганке.

И как бывают театры актера — таким был старый МХАТ с его созвездием актерских талантов, так Театр на Таганке стал театром режиссера. И все мы шли «на Любимова», как во МХАТ шли на актеров — Качалова, Москвина или Кторова.

Начали любимовцы умеренно-крамольно, поставив «Добрый человек из Сезуана» Б. Брехта, — о падшей женщине, которая добрее всех и которая поэтому стала избранницей богов.

В те годы, когда любовные коллизии рассматривались как аполитичные, а потому вредные, спектакль казался многим даже смелым. Поставлен он был Любимовым так сердечно, так непритязательно просто, что заставил говорить о себе, и было решено студентов не рассылать по периферии, как это обычно делается, а превратить выпускной курс в театр. Студентам, насколько я помню, помог Константин Симонов, который торопился прослыть прогрессистом. Однако как только театр возник, он тут же показал, ради чего возник. Показал, что называется, зубы. Одним из следующих спектаклей был есенинский «Пугачев», спектакль о бунтарстве и во славу бунтарства. И начинался он с того, что на авансцене было сооружено лобное место, березовая плаха с воткнутым в нее топором палача, а по обе стороны от плахи стояли актеры в рубище и держали поминальные свечи. Эта сцена была и прологом, и эпилогом; весь спектакль с опоясанными цепью подмостками шел на фоне горящих свечей и топора, воткнутого в плаху, а на подмостках бился беглый каторжник Хлопуша, которого играл хриплоголосый, мрачный В. Высоцкий: и то, что бился в цепях не кто иной, а вольнолюбивый спивающийся Высоцкий, придавало спектаклю жуткую силу подлинности…

Так было на Руси, так осталось на Руси… Будет ли когда иначе?

Там же поставили и «Жизнь Галилея». Старый брехтовский Гали-леи, который тоже звучал до ужаса современно. Инквизиторы с разъевшимися харями сталинских чиновников расправлялись с инакомыслием. А методика расправ была такова, будто инквизиция в своем черном средневековом одеянии получала указания в Московском горкоме коммунистической партии…

Все эти восставшие театры выражали наше общее ощущение, наш страх, наш гнев, нашу нетерпимость — легко можно себе представить, как бушевали залы, особенно на Таганке, где зал был крошечным, неправдоподобно крошечным для Москвы, да только потому, видно, и терпели этот театр, что считали его как бы несуществующим в России, одурачиваемой миллионными тиражами журналов и кинокопий.

Однако одни лишь старые пьесы жизни, как принято называть их в театроведении, были недостаточным вместилищем наших страстей и наших надежд, и вот, как грибы после дождя, стали появляться сатирические ансамбли: «Синяя птичка» В. Драгунского, актера и детского писателя, затем ансамбль ленинградцев «Давайте не будем!» под руководством веселого и желчного драматурга Юлия Реста.

Я помню их скетчи, над которыми хохотали московские писатели. Немудрящее действо вызывало такую реакцию зала, словно представление шло в детском театре, где дети сами участвуют в происходящем. А действительно, было чему поразиться. Выступал, скажем, некий пожилой субъект. На приеме у врача. Историк по профессии. Здоровье у историка было отличным, и врач спрашивал удивленно, как ему, историку, удалось до старости сохранить железное здоровье.

Историк поведал, как это произошло. Душили они, историки, скажем, Достоевского. Потому что мракобес. И неверно отражал диалектику жизни. «И это было правильно», — убежденно заключал актер. А сейчас сказано Достоевского возносить, ибо — классик, гордость русской литературы. «И это тоже правильно!» — бросает историк в зал с вызовом. Мол, нате-ка, выкусите! Далее. «Вот удушили Бабеля, враг потому что. И вообще националист. «И это было правильно!» — с тем же выражением непогрешимой тупости подытоживает актер. Актер перечислял десятки фактов повседневного партийного ханжества, когда разные явления, а не только литературные искореняли, а потом восславляли — под неизменный твердокаменный рефрен: «И это было правильно!» А завершал он рассказ о своей беспринципной заячьей биографии словами, вызывавшими взрыв аплодисментов: «Что? Кто колебался?! Я не колебался! Если я колебался, то вместе с линией партии. А это значит — никто не колебался… «И это тоже правильно!» — завершал историк.

Еще один из номеров: редактор, работающий над рукописью. Ему позвонили, чтобы поторопился. Надо сдавать в набор. Он взял огромные овечьи ножницы и обрезал углы рукописи, так сказать, «закруглил» ее.

Следующий скетч назывался «Критический свисток». Стоит

этакая важная номенклатурная персона, а на трибуне критик поносит разных писателей. Он кроет последними словами Толстого, Достоевского, Чехова. За Чеховым он произносит вдруг: «Кочетов». Номенклатурная персона немедля свистит в тревожный милицейский свисток. Де, прекратить безобразие! Кочетова ругать нельзя.

Критик снова начинает свои рулады. Теперь он называет фальшивкой «Слово о полку Игореве», поносит весь XVII век, но как только доходит до Кочетова, снова — тр-р-р…

Кочетовская «каста неприкасаемых», естественно, от критики не распалась. И позднее ЦК выгораживал ее с той же милицейской крутизной.

Но то, что о существовании этой касты заговорили прямо, вызывало радость, больше, чем радость, — чувство раскрепощения.

Существует старая народно-хороводная песня — исполнители двумя шеренгами идут навстречу друг другу, приговаривая: «А мы просо сеяли, сеяли». Вторая шеренга: «А мы просо вытопчем, вытопчем». И тут, на сцене Центрального клуба литераторов, навстречу друг другу двинулись две шеренги. Писательская, плохо выровненная, которая восклицала: «А мы прозу сеяли, сеяли». И молодцеватая — критиков, идущая строевым шагом: «А мы прозу вытопчем, вытопчем…»

Да, то было время надежд и радости. Пугливой радости. И только, пожалуй, одна горькая нота омрачила те дни. Смерть критика Марка Щеглова.

Больной костным туберкулезом, на костылях, поразительной силы и воли человек, он стал бы, очевидно, самым значительным критиком современной России. Он погиб, в общем, оттого, что о нем не заботились. Властям он был не нужен, даже опасен. Кто этого не понимал, тому Алексей Сурков разъяснил обстоятельно…

Щеглова не имели права выпускать из-под врачебного контроля. Никогда. Однако именно ему, обруганному, «ненужному», не досталось путевки в Дом творчества писателей, и он был вынужден поехать отдыхать на юг, как говаривают в России, «дикарем», неорганизованным туристом. И там, вдали от врачей, заболев менингитом, умер…

Негодяи вздохнули с облегчением: Марк Щеглов не щадил авторитеты.

Я надеюсь, что статья Марка Щеглова о «Русском лесе» Леонова и другие его статьи будут изданы на Западе.

Если Аркадий Белинков, брошенный в тюрьму еще студентом, был в те годы гордостью советского литературоведения (его книгу

о Тынянове выдвигали даже на Ленинскую премию), то Марк Щеглов был гордостью и надеждой современной литературной критики…

Оттого, наверное, что думали — наступило жгущее время правды, боль, которую вызвала смерть Щеглова, жива во мне до сих пор, хотя мы не были с ним близкими друзьями.

Если меня спросят когда-либо: «Можно ли простить Алексея Суркова?», я отвечу: «Марк Щеглов!»

11. Каратели

Он был самым зловещим карателем той поры, бывший поэт Алексей Сурков, заявивший во всеуслышанье: «Этот ренессанс надо задавить…»

Александр Фадеев застрелился. Константин Симонов, того хуже, напечатал Дудинцева. Целый год пропадал затем, удалившись в Ташкент, в комфортабельное изгнание.

Алексей Сурков почувствовал: пришел его час…

Рывок Яшина и Дудинцева из рабочих колонн соцреализма, едва ль не массовый побег писателей «за рамки дозволенного», испугали правителей так, что надолго исчезли книги, содержащие критику «нового класса» — властительных бюрократов.

Венгерское восстание подлило масла в огонь…

Для борьбы с писателями — главной «заразой» — были брошены номенклатурные каратели, которых Никита Хрущев, как известно, окрестил «автоматчиками»…

Каратели-автоматчики по сигналу тревоги, по звонку из ЦК, кидались на «опасную» книгу, строптивую речь писателя-вольнодумца. На что прикажут.

Говоря словами Константина Паустовского об одном литературном герое, «они никогда не колеблются и ни в чем не ошибаются, потому что у них пустое сердце…»

Пустое сердце и возглавило облаву.

Нет, это не образ, не художественное преувеличение…

Кто-то разделил советскую интеллигенцию на либералов и консерваторов, по близкой ему аналогии. Вот уже двадцать лет стереотип этот не сходит на Западе со страниц газет и специальных исследований.

Даже двадцать лет назад такого разделения среди творческой интеллигенции уже не было.

Кровь лагерников достигла и писательского «особняка Ростовых» на улице Герцена — прозрели даже слепорожденные…

Остались не «либералы» и «консерваторы», а совестливые

души и продажные твари.

Даже Всеволод Кочетов, «консерватор из консерваторов», давший имя целому направлению мракобесия, окрещенному «кочетовщиной», сказал в 61-м году молодому писателю, возвращая ему рукопись: «Толкуете вы в повести о партмаксимуме. О выборности всерьез… Де, открыть все шлюзы… Мы уехали, дорогой, так далеко, что о возврате не может быть и речи… Ту станцию проехали».

Он просто продался, «консерватор» Кочетов, «прислонился к Поликарпову», как говаривали. Только «прислонился» не как Симонов, а — бесповоротно. Раз и навсегда. Потому и был переведен в 61-м году в Москву главным редактором журнала «Октябрь» вместе с «пригоршней» таких же, как он, «консерваторов», чтобы они стали противовесом «Новому миру».

Никаким противовесом кочетовцы, конечно, не стали по причине бездарности. Таланты в консерваторы не нанимаются. Разве что от страха!

Нет, повторю еще раз, после февраля 56-го года не делятся писатели России на «консерваторов» и «либералов». Потому, может быть, выдержки из стенограмм, в которых «консерватор» Сурков давил новоявленный «ренессанс», заслуживают внимания: Сурков — пустейшее сердце — был рупором ЦК и КГБ одновременно, разражаясь в силу этого заемными протокольными тирадами:

«На страницах печати появлялись иногда завуалированные, иногда и открытые призывы к отказу от социалистического реализма как основного творческого метода советской литературы. Если несколько лет тому назад замалчивался опыт таких, например, литераторов и деятелей искусств, как Мейерхольд, Таиров, Булгаков и Бабель (спасибо секретарю СП, подтвердил свою причастность к преступлению. — Г. С.), — то в недавнее время отдельные критики и литературоведы ударились в другую крайность, преувеличивая значение творческого опыта этих деятелей театра и литературы, огульно амнистируя их действительные ошибки и заблуждения (?! — Г. С.).

Были попытки канонизации творчества Б. Пастернака и некоторых близких ему по направлению современных поэтов. Марина Цветаева шумно возводилась в ранг едва не самого выдающегося русского поэта XX века».

Нет уж, он, секретарь Союза писателей СССР Алексей Сурков, не позволит тронуть табель о рангах!

Этак где вдруг окажешься!..

В те дни был запущен в стране первый спутник Земли. Алексей Сурков тотчас поставил и это лыко в строку:

«В Италии, — объявил он, — произошла одна любопытная беседа *с одним* итальянским литератором… (выделено мною. — Г. С.). Когда вы критиковали Дудинцева, — будто бы сказал Суркову сей аноним, — мне казалось, что вам не понравилась неприглядная правда, изображенная в книге. Но вот в межпланетном пространстве появился спутник, его появление никак не вязалось с той картиной состояния советского общества и советской науки, которую нарисовал Дудинцев. Спутник заставил меня усомниться».

Сталин прикрывал массовые расстрелы героическими полетами Валерия Чкалова и Валентины Гризодубовой. Сурков решил шагнуть дальше. Задымить сгоревшим небесным спутником погром на земле…

В России сурковское усердие вызвало брезгливую улыбку.

Кто не читал Дудинцева? Разве книга его о технической отсталости? Она — о перерождении власти, всех этих дроздовых, шутиковых, авдиевых, сурковых…

О крахе идей… Этим и только этим опасна книга новому классу, или «партийному дворянству», как костят на Руси привилегированное сословие.

Затравив насмерть талантливого Марка Щеглова, оклеветав Дудинцева, В. Каверина, Д. Гранина, Сурков попытался даже произведения Ильфа и Петрова — «12 стульев» и «Золотой теленок» — вычеркнуть из советской литературы, предотвратить их переиздание.

Помню, он назвал эти любимые несколькими поколениями книги «Путешествием Остапа Бендера по стране дураков».

Я не знаю, впрочем, ни одной талантливой книги, на которую не кидался бы в те годы овчаркой Алексей Сурков. Рвал в клочья писателей не за страх, а за совесть, мстил талантам за свое творческое бесплодие.

Неправленые, откровенные стенограммы 56-го года, с которыми мне в свое время удалось познакомиться, уж неоспоримо свидетельствуют о том, с кем мы имеем дело.

«У нас в русской литературе возникло очень деликатное явление, не возникающее ни в одной организации мира. Если взять московскую организацию, то в ней 40 с лишним процентов писателей, не русских по крови(!). При проверке выяснилось — 21 процент. — Г. С.). Тут в таких вещах, как литература, искусство, есть некоторые тонкости. Здесь не идет речь о расизме (!)… Это не для доклада, но эти вещи, о которых я хотел сказать и которые очень болезненно нами чувствуются…»

«Нами» — это Хрущевым, разумеется: на чьей телеге едешь, того песни поешь…

«…У нас часто из-за этого положения выветривается русский национальный элемент в языке, в образном строе. И особенно это отражается в том обстоятельстве, что не русские по крови люди целиком занимаются переводами на русский язык в области поэзии… (Бедные Ахматова, Заболоцкий — их-то за что?! — Г. С.) Я не такой умный и разносторонний человек, чтобы все найти (?!), но я могу сказать, что чувствую…

… У нас есть много разговоров между людьми, — продолжает Сурков, — что в США есть духовная жизнь, а у нас нет, хотя эти пошляки обывательские (?!) не знают, что в США отсюда и досюда есть границы более жесткие, чем у нас, что Говарда Фаста не запрещают, но ему создают такие условия существования, что его книги физически почти никто не читает». (Какой самобытный и образный язык у русского по крови. — Г. С.)

Но особенно самобытен и народен Сурков, когда отталкивает Михаила Шолохова, претендента на его. Суркова, роль пустого сердца:

«… Нужно… чтобы партия литературе верила, что литература может быть хорошим помощником партии, а что это не собрание мертвых душ, что это не собрание хвастунов, и чья бы корова мычала, а Михаила Александровича молчала, так как он сам залез в казну на 300 тысяч целковых…»

Не от себя говорит Алексей Сурков — это уж точно, коль грозится — ни много ни мало! — даже разогнать Союз писателей СССР, если он не утихнет.

«…Выступает Николай Б. и начинает Фадеева поносить и меня учить, как будто он в литературе Толстой, а я извозчик с Тверской улицы… Нам на следующем пленуме Союза писателей придется думать о том, как быть с Союзом писателей…»

Александр Твардовский назвал тогда Суркова гиеной в сиропе. IV Ненавидел его всю жизнь. Когда Твардовский умер, его семья просила Суркова не скорбеть над гробом…

Увы, все шло… по предсказанию покойного Юзовского. Выступал Сурков у гроба Твардовского. Протягивал к гробу свои белые пролетарские руки.

Несколько человек поднялись и вышли. Не вынес кощунства и Солженицын, сидевший в зале, возле вдовы Твардовского.

«…А вот вся почетная дюжина секретариата вывалила на сцену. В почетном карауле те самые мертвообрюзгшие, кто с улюлюканьем травили его. Это давно у нас так, это с Пушкина; именно в руки недругов попадает умерший поэт. И расторопно распоряжаются телом, вывертываются в бойких речах».

Есть ли какая-либо закономерность в том, что правофланговыми карателей-автоматчиков неизменно

становились то бывший поэт, то бездарные драматурги типа Софронова?..

Неужели власть даже и не пыталась опереться на таланты? Хватала тех, кто под рукой?

Ничего подобного! ЦК понимал, что бездарям никто не верит. Знал, в частности, что последователей Суркова в литинституте окрестили «сурковой массой».

И долгие годы искало мэтра, авторитет, талант, который помог бы набросить на литературу намордник…

Первый, кого после войны пытались приобщить к карателям, был… кто бы вы думали?.. Борис Пастернак. Это было вскоре после опубликования государственных пасквилей на Зощенко и Ахматову… В доме Пастернака появились тогда никому не известные вежливые мужчины с военной выправкой в штатском и от имени правительства попросили Бориса Леонидовича выступить против Анны Ахматовой, заклеймить позором ее «антинародную поэзию».

Борис Леонидович испуганно замахал руками:

— Что вы?! Что вы?! Мы с ней друзья! Старые!.. — Он еще долго что-то говорил, и тогда один из государственных мужей сказал, вставая, холодно и угрожающе:

Между прочим, ваши стихи тоже непонятны народу…

— Правильно! Правильно! — обрадованно вскричал Пастернак. — Это еще ваш Троцкий говорил!..

Больше Пастернака не трогали. Передали заботу о нем… все тому же безотказному Алексею Суркову, который вскоре и выступил с разгромной статьей, уличая Пастернака в чужеродности и процитировав, для пущей убедительности, известные пастернаковские строки:

В кашне, ладонью заслонясь,
Сквозь фортку крикну детворе:
«Какое, милые, у нас
Тысячелетье на дворе?..»

В тот день, когда появилась в «Правде» эта сурковская статья, пожалуй, впервые для нашего поколения обнажилось полное сращивание аппарата КГБ и Союза писателей СССР. У нас начало складываться убеждение, что это вообще одно и то же учреждение, только отделы разные.

Возьмите любой праздничный номер «Литературной газеты», взгляните на портреты литераторов, ставших, по выражению Галича, первачами. На чудовищно раздутую физиономию Софронова-Геринга. На высохшее мертвое лицо Федина.

Или вот, к примеру, плодовитый номенклатурный критик Борис Соловьев!

Лицо у Соловьева рыхлое, глаза рачьи, выпученно-бессмысленные, по краям толстых губ пена, которую он то и дело снимает уголком платка.

Соловьев — знаток Блока и всей запретной, любимой им поэзии 20-х годов. Это его отдушина… На отдыхе, развалясь на прибрежном песке, он декламирует забытых поэтов часами, обрызгивая пеной слушателей. «Я сегодня, гражданин, плохо спал, Душу я на керосин променял…» О, он прекрасно знает, что такое настоящая литература!.. И торопится донести властям на каждую книгу, в которой улавливает правду. Впервые он широко прослыл наемным убийцей еще в 48-м году, опубликовав статью «Поощрение натурализма», в которой он разжаловал русский критический реализм в опасный натурализм.

На сколько книг он донес с тех пор? Скольких писателей убил? Именно он в свое время настораживал власти: что таится за юным гладким лбом разведчика из «Звезды» Казакевича?

Естественно, Борис Соловьев был брошен на талантливые книги немедля. Вслед за Сурковым. А за ним и другие. Скажем, Дмитрий Еремин, «разоблачитель» яшинских «Рычагов», тихий, бездикий «неизвестный писатель», как его называли. Или, к примеру, Сытин, вежливенький, улыбчивый бородач, постоянный руководитель чего-нибудь. То он парторг Союза писателей, то зам. председателя комитета по кино.

О главной службе Сытина мы узнали только из статьи Анатолия Кузнецова, опубликованной в Англии. Сытин оказался руководителем доносчиков, «стукачей» в Союзе писателей. Он ведал внутренним сыском.

Остальные борцы с крамолой были такого же типа.

Название их грозно-панических статей в «Литературке» говорят сами за себя: «Смелость подлинная и мнимая», «Идти в ногу с эпохой», «Без четких позиций» и пр. Чем большую высоту набирала литература, тем чаще и оглушительнее звучали очереди карателей…

Но этого было недостаточно. Надо было задушить «новый ренессанс» по-сталински бесповоротно. Тем более, что поползли иронические слухи о подлинных истоках новых теорий в литературе, объявленных высотами марксистской мысли.

Вдруг чудодейственно сработал на прогресс… князь Святополк-Мирский.

Князь Святополк-Мирский — сын бывшего министра внутренних дел Святополка-Мирского, известного своей «либеральной весной» еще до 1905 года. Разумеется, сын царского

министра стал эмигрантом и на Западе издавал журнал «Версты», в котором сотрудничали Марина Цветаева, А. Ремизов и др. (Идея «Верст» — единение лучшего, что есть в эмигрантской и советской литературе; здесь перепечатывали Бабеля, Андрея Белого, Пастернака, Артема Веселого, Сельвинского, Тынянова.)

В 1932 году Святополк-Мирский решил вернуться в СССР, а спустя несколько лет, как водится, был арестован и пропал.

Святополк-Мирский много писал; среди прочего он сочинил теоретическую статью для первого издания «Литературной энциклопедии»… Позднее князь-идеолог был запрещен и изъят, как и «Литературная энциклопедия»…

После смерти Сталина Георгий Маленков, тогда фактичский глава правительства, произнес на очередном пленуме огромную речь обо всем: о сельском хозяйстве, о Корее, ну, и, конечно, о литературе. И тогда он родил это «золотое слово» марксисткой эстетики — о проблеме типического. «Типическое, — заявил он с трибуны, — это проблема политическая…» Новое слово тут же взяли на вооружение все «разносчики высоких идей», матерые философы Москвы и Ленинграда. «Правда», «Литературка» и другие органы печати начали публиковать статьи о мудрости ЦК, открывшего литературоведению кладезь, из которого теперь будут черпать целые поколения. Сотни аспирантов взялись за диссертации, посвященные новому достижению марксистской эстетики.

И вдруг произошел немыслимый еще год назад, при Сталине, скандал.

Выяснилось, что формулировка «типическое — проблема политическая» сочинена князем Святополком-Мирским и опубликована в старой «Литературной энциклопедии», признанной идейно-порочной и враждебной…

Обнаружилось вдруг ворованное донышко этой «бездонной мудрости» ЦК…

Вслед за скандальным плагиатом из статей князя прошел слух, что фальсифицирован и Ленин.

Авторитет Ленина еще не был подкошен — среди широкой публики — юбилейным славословием или книгой Василия Гроссмана «Все течет».

Распространился слух, что Ленина перевели с немецкого неверно. Многие десятилетия в сотнях книг, брошюр, статей приводились слова Ленина, сказанные им Кларе Цеткин: «Искусство принадлежит народу. Оно должно быть понятно этим массам и любимо ими».

И вдруг обнаружилась весьма существенная неточность, допущенная советскими редакторами. В первом издании

воспоминаний Клары Цеткин слова Ленина звучат совсем иначе: «Искусство принадлежит народу. Оно должно быть понято этими массами и любимо ими».

Значит, все было поставлено с ног на голову: не народ должен быть поднят до высот подлинного искусства, а искусство должно быть снижено до уровня ширпотреба…

Новость взбудоражила всех: о ней говорили на собраниях, запрашивались газеты.

Нет, ЦК не могли спасти полумеры — брань сурковых-ереминых. По известному опыту было решено: «чтоб зло пресечь, собрать все книги, да и сжечь»…

К тому и приступили.

29 августа 1957 года был создан Союз писателей Российской Федерации. Создавая его, Хрущев кричал: «Беспартийный Соболев нам ближе партийной Алигер». (!)

В решении ЦК поразительно полно отразилась и бюрократическое мышление руководителей партии: чтобы задушить Московскую организацию, решили сделать ее нижестоящей, создать над ней вышестоящую…

В вышестоящий орган кинули пригоршню доносчиков прошлых лет, не очень отбирая их, всех этих грибачевых-софроновых-алексеевых, и вышестоящий орган заработал…

Новая политика погромного секретариата СП Российской Федерации началась вот с чего: в СП срочно приняли 600 периферийных литчиновников — директоров областных издательств, редакторов партийной печати. В Москве членом СП, а затем и руководителем его стал политический редактор «Правды» Юрий Жуков, громивший все и вся.

Чиновников принимали скопом, «на вес», чтобы чаша весов прочно склонялась на сторону конформизма и сталинской практики. Чтобы Паустовский, Тендряков, Каверин и еще 150 писателей-прогрессистов никогда более не смогли завоевать не только большинства, но даже слабого одобрения…

Отталкивать чужих и выгораживать своих стало главным делом автоматчиков…

Секретариат СП РСФСР, конечно, не утвердил исключения разоблаченного провокатора Эльсберга из Союза писателей…

Цветет в Тбилиси алыча
Не для Лаврентий Палыча…

— помним, горланила в свое время улица. Теперь алыча цвела уж и не для Лаврентий Палыча, и не для Вячеслав Михалыча. Однако не изменилось ничего. Ровным счетом ничего!

Она цвела для других «номенклатурных» Змей-Горынычей, Сергеичей, Иванычей.

Но не для русской культуры. Не для России.

Несмотря на героизм, муки, жертвы литературы сопротивления, по-прежнему не для России!..

Эльсберга услали на полтора года в Ташкент, вслед за Симоновым, пока улягутся страсти; вперед вытолкали молодого поэта Федора Белкина. Грибачев и другие писали восторженные предисловия к его книгам. Его удостаивали чести печататься в новогодних номерах газет. В новогоднем номере «Литературной газеты» за 1959 год опубликовали, к примеру, такие его стихи:

…Душевные речи в труде повторимы.
Мы дальше стремимся путем Ильича.
Мы партии верим, дела ее зримы, —
Мы с партией вместе — плечо у плеча…

Я привел эту деревянную строфу потому, что она имела любопытное продолжение.

Федор Белкин, который, как цепной пес, бросался на Маргариту Алигер, на Эренбурга, да что там какой-то Эренбург, даже Пушкина назвал «придумкой столичной интеллигенции». Белкин до того разгулялся, что решил повторить все эти погромные идеи перед телекамерой.

И тут произошло осечка. Один старый следователь из Минска случайно, в московской гостинице, увидел выступление Федора Белкина. И ахнул…

Оказывается, он 15 лет искал Федора Белкина, начальника окружной гитлеровской жандармерии, лично, из револьвера расстрелявшего сотни партизан и евреев.

Открылось ддя всех вдруг поразительное единство указаний гитлеровских жандармов и хрущевских идейных установок.

12. Воскрешенный Бабель

В дни правительственного шельмования книг, вдохновленных антисталинским годом, в «Литературной газете» появилась необъяснимая, на первый взгляд, статья. «Литературке» было приказано вторично похоронить Бабеля.

Как известно, Бабель погиб в сталинских лагерях. Только-только официально реабилитирован, переиздан и вдруг — снова окрещен черным по белому… предателем. Лютова из «Конармии», прототипа автора, сравнили с Мечиком, погубившим

партизанский отряд. Хула эта позднее перекочевала из газет в «серьезные исследования». (В. Перцов. Писатель и новая действительность, изд. 2, дополн., Москва, 1961 стр. 102.)

Почему? В чем дело? Правая рука не ведала, что делает левая? Ведала… Оказалось, сталинская машина совершила грубейший просчет. Каратели шельмовали новую литературу: Дудинцева, Гранина, Александра Яшина и других. Возродили политику «выжженной земли».

И тут… заработала советская классика, в свое время вместе с авторами затоптанная, но вновь в годы развенчания Сталина воскресшая. Переизданная.

В 1957 году, после бесчисленных проволочек вышел в свет Исаак Бабель. Почти одновременно с ним — Андрей Платонов. Позднее других — Михаил Булгаков. «Крамолу» вытолкали в дверь, а она — в окно. Хватились литературные каратели, да поздно… Джинн, выпущенный из бутылки, помог духовно окрепнуть новым поколениям.

Воскрешенный Бабель вышел с предисловием Эренбурга… «В эпоху, когда рождались романы-реки, — писал Эренбург, — в эпоху инфляции слов он (Бабель) более всего боялся многословия. Он был реалистом в самом точном смысле слова. Новелла «Гедали» родилась из дневниковой записи: «Маленький еврей-философ. Невообразимая лавка — Диккенс, метлы и золотые туфли. Его философия: все говорят, что они воюют за правду, и все — грабят…»

Предисловие Эренбурга в 66-м году, при втором посмертном издании Бабеля, вырывали из готового тиража как контрреволюцию. Сжигали по акту в присутствии официальных лиц.

Появилось новое предисловие Лидии Поляк, профессора МГУ. С чего начала она свое предисловие — маленькая, болезненная, запуганная Лидия Поляк? С фразы: «Писать о Бабеле трудно!» Еще бы! «Главный вопрос Бабеля, главная тема, — мужественно признала все же в конце статьи Поляк, — имеет ли человек право на насилие во имя революции, имеет ли право на бесчеловечность во имя правды и человечности?»

Она приводит даже дневниковую запись 20-го года: «Буденновцы несут коммунизм, бабка плачет».

Рассказ «Гедали» — главный духовный нерв творчества Бабеля. Позднее те же вопросы поставит и Пастернак в «Докторе Живаго» — оправданна ли революция, если она оставляет за собой миллионы трупов, слезы и отчаяние десятков миллионов? Если нескончаемая резня уносит цвет нации, а к власти прорывается, по обыкновению, подлейший, по локти в крови…

Не будем развивать этой темы, достаточно очевидной; остановимся на том, что с предельной отчетливостью, возможно, не осознавал даже Бабель, мудрейший Бабель. Ибо существуют исторические горизонты, которые ограничивают взгляд современников.

«Летопись будничных злодеяний теснит меня неутомимо, как порок сердца», — пишет Бабель в рассказе «Путь в Броды», где буденновцы саблями рубят сопл, чужие соты, чтобы пограбить.

Жесток и злобен эскадронный Трунов, который стреляет в своего солдата. В «Письме», одном из рассказов, которым открывается сборник, крестьянский паренек-буденновец Курдюков, оставивший дома любимого коня, просит с деревенской учтивостью свою мать, чтобы коню мыла «беспременно передние ноги с мылом».

А затем с тем же лаконизмом сообщает, как они «кончали папашу», т. е. его, Курдюкова, родного отца, служившего у белых. А вообще, — философствует боец Красной армии Курдюков, — мы увидели, что «тыл никак не сочувствует фронту и в ем повсюду измена и полно жидов, как при старом режиме…»

В рассказе «Берестечко» заподозрили в измене старика, и вот казак «Кудря правой рукой вытащил кинжал и осторожно зарезал старика, не забрызгавшись».

Буденновец Матвей Павличенко охотно рассказывает о том, как он потоптал барина Никитинского: «Стрельбой, — я так выскажу, — от человека только отделаться можно: стрельба — это ему помилование… Но я, бывает, себя не жалею, я, бывает, врага час топчу или более часу, мне желательно жизнь узнать, какая она у нас есть…» («Жизнеописание Павличенки Матвея Родионыча»)…

Но, может быть, это стихийная жестокость очерствелых солдат, озверелость голытьбы? Увы, эти будничные злодеяния насаждаются революционным руководством, прославленными деятелями эпохи Буденный в рассказе «Комбриг два» говорит заслуженному комбригу Колесникову, чтоб выбил поляков из городишка. «А побежишь — расстреляю, — сказал командарм, улыбнулся и отвел глаза в сторону начальника особого отдела.

— Слушаю, — сказал начальник особого отдела».

Это вот буденновское «расстреляю» да «улыбнулся» пострашнее даже садизма одичалого буденновца.

Предвещают они России новое и неслыханное взаимоистребление; явственно проглядывает это и в той легкости, с которой произносит Буденный свое «расстреляю», и в спокойном «слушаю» неулыбчивого начальника особого отдела…

Комбриг Колесников уничтожил поляков. Он едет далее,

впереди бригады, и вот как пишет об этом Бабель: «…В тот вечер в посадке Колесникова я увидел властительное равнодушие татарского хана…»

Авторы предисловий и исследований о Бабеле пишут о контрастах быта и что сближение контрастов — один из главных творческих приемов Бабеля. Да, конечно! Но в этом только средство впечатляюще-ударно сказать о боли, которая теснит сердце.

Зрелище набирающих силу татарских ханов страшит Бабеля. Новоявленные ханы глумятся уж не только над врагом, но и над своими отцами и братьями — деревенскими мужиками.

Вот пришли, скажем, мужики (в рассказе «Начальник конзапаса», в котором автор не изменил даже подлинной фамилии героя), пришли жаловаться на судьбу. Отбирают у них коней, пахать не на чем. На крыльцо вышел начальник штаба. «Прикрыв воспаленные веки, — пишет Бабель, — он с видимым вниманием слушает мужичьи жалобы. Но внимание его не более как прием. Как всякий вышколенный и переутомившийся работник, он умеет в пустые минуты существования полностью прекратить мозговую работу. В эти немногие минуты блаженного бессмыслия начальник нашего штаба встряхивает изношенную машину…»

Так и на этот раз с мужиками…

В рассказе появляется Дьяков из «Дневника»: «Коммунист… хитрец, враль, живописнейшая фигура», — записал о нем в дневнике Бабель. Этот Дьяков и не вздумал вникать в смысл крестьянских жалоб: «…взметнув оперным плащом, исчез в здании штаба».

Новоявленные татарские ханы недолюбливают интеллигентов и не мешают бойцам презирать их и расправляться с ними. «Какой паршивенький!» — восклицает Савицкий, начдив шесть из рассказа «Мой первый гусь». «Шлют вас, не спросясь, — говорит он автору, — а тут режут за очки…»

Афонька Бида, застреливший своего смертельно раненного товарища, обращается к автору, который не смог застрелить человека: «Жалеете вы, очкастые, нашего брата, как кошка мышку…» (Смерть Долгушева»).

«Ты без врагов жить норовишь, — уличает интеллигента командир эскадрона Баулин. — Ты к этому все ладишь, без врагов?..»

Автору невмоготу. Вернувшись в редакцию «Красного кавалериста», он сидит, тоскует. «Смутными поэтическими мозгами переваривал я борьбу классов, когда ко мне подошел Галин (один из работников редакции. — Г. С.) в блистающих

бельмах.

— Галин, — сказал я, пораженный жалостью и одиночеством, — я болен, мне, видно, конец пришел, и я устал жить в нашей Конармии» («Вечер»).

Максим Горький защитил Бабеля, на которого кинулся с шашкой наголо Семен Буденный. «Исаак Бабель, — сказал Горький, — украсил своих героев «лучше, правдивее, чем Гоголь запорожцев». А писателю Всеволоду Вишневскому, бывшему буденновцу, не принявшему «Конармии» Бабеля, Горький отрезал так, что тому запечатлелось на всю жизнь, возможно, повернуло его жизнь: «Такие вещи, как Ваша «Первая конная» и «Конармия» Бабеля, нельзя критиковать с высоты коня».

Бабель, однако, не считал, что он «украсил своих героев», «что я видел у Буденного, то и дал, — демонстративно заявил он. — Я не умею придумывать… На моем щите вырезан девиз — подлинность».

Но в таком случае является ли это социалистическим реализмом? Не отцеженная, порой дико-звериная — «несбалансированная» подлинность.

И как в таком случае растолковать народу позицию Горького — родоначальника социалистического реализма?.. Критика была поставлена в трудное положение и объяснила это так: «Горьковские слова о том, что Бабель внутренне украсил бойцов, романтически идеализировал их, — остаются в силе. Эта романтическая идеализация выражается в том, что конармейцы при всех пороках выступают в ореоле борцов за всечеловеческую абстрактную справедливость, за некую неосмысленную правду жизни».

Прошло время. «Неосмысленная правда жизни» осмыслилась вполне. С горечью заметила Евгения Гинзбург в «Крутом маршруте», оглядывая в тюремной камере своих бывших «идейных противниц», теперь таких же зэчек, как она: «Как относительны все человеческие системы взглядов и как, наоборот, абсолютны те страшные муки, на которые люди обрекают друг друга».

…После «Конармии» Бабель опубликовал «Одесские рассказы», пьесу «Закат» и другие произведения. Когда читаешь все рассказы подряд, поражает нравственная общность многих героев конармии и одесских налетчиков.

Главарь одесских бандитов Фроим Грач сидит под дверью публичного дома, ждет будущего зятя (рассказ «Отец»). «Почтение, Грач, — сказал Иван Пятирубель, — какая-то женщина колотится до твоего помещения…» «Колотилась» дочь Фроима Грача — Баська. Ее надо было выдать замуж. Жених оказался в

публичном доме. Хозяйка публичного дома «придвинула стул Фроиму, и он погрузился в безмерное ожидание. Он ждал терпеливо, как мужик в канцелярии. За стеной стонала Катюша и заливалась смехом». Фроим Грач ждал до часу ночи, а потом пошел договариваться с Беней Криком — завидным женихом.

А вот, казалось бы, совсем другой эпизод. Из «Конармии». Рассказ «Вдова». Умирает полковой командир Шевелев, рядом его жена Саша. И Левка, кучер начдива. Он сидел рядом с умирающим, жевал мясо. «Кончив мясо, — пишет Бабель, — Левка облизал губы и потащил Сашку в ложбинку: «Саш! — сказал он, дрожа… все одно в грехах, как в репьях. Поддайся, Саш, — отслужу хучь кровью… Век его прошел, Саш…» А рядом слушает это еще не умерший командир.

Есть ли какая-либо разница в нравственном обличье буденновца и главаря одесских бандитов?

Одесские бандиты, надо сказать, не трогали голытьбу и грабили одесских богачей. «Подкладка у краденых кошельков из слез», — говаривали они.

А буденновцы?

Вот самое точное и авторитетное свидетельство, которое только может существовать. Высшая власть — Г. Орджоникидзе и М. Тухачевский — сообщает В. И. Ленину и главкому С. С. Каменеву: «Начиная с Воронежа, Конная армия не получала жалованья и не имела надлежащего продовольственного аппарата. Почему и приходилось заниматься самоснабжением, что при условии обычной скученности Конной армии, конечно, не могло пройти безболезненно для населения».

Вдумаемся в эти осторожные штабные фразы: «…приходилось заниматься самоснабжением…» и «…не могло пройти безболезненно для населения…»

Сколько за ними неизбежных, как сказали бы теперь, запрограммированных, «будничных злодеяний»: зверски порубленных стариков, поджогов, насилий над русским и украинским селянством, над обездоленными еврейскими местечками, вырезанными и белыми поляками, и красными казаками…

Основа заложена, а дальше уж как камень с горы…

Зверское самоуправство «ханов», привыкших, как мы видели, самолично казнить и миловать. И пример конникам, и стимул.

Невидимый штандарт, реявший над войсками, — призыв к «экспроприации экспроприаторов», непонятные слова которого политработники переводили точно: «Грабь награбленное!»

К конармейцам, как известно, то и дело присоединялась «вольница» Махно и других атаманов. Бандиты и полубандиты то

примыкали к красным, то уходили от них с легкостью: расхождения были политические, атаманские, а не нравственные… Что касается нравственности, то, как сказал Афонька Бида после того как на Волыни порубили ульи, как людей: «Нехай пчела перетерпит. И для нее, небось, ковыряемся…»

«Неистребима людская жестокость», — жаловался И. Бабель 66. Долго еще в искусстве, и даже в кино, контролируемом государством с особой тщательностью, сочилась крестьянская тоска: «Белые пришли — грабят, красные пришли — тоже, понимаешь… Куда бедному крестьянину податься?..

…Нельзя не заметить и известного сходства-различия между красными конниками Буденного и одесскими ворами, описанными Бабелем.

Одесские налетчики смелы. Смелы и конармейцы: но одесские налетчики к тому же талантливы, блестяще изобретательны. Вспомните свадьбу в рассказе «Король». Налетчики гуляют на свадьбе, а новый пристав — новая метла, которая, как известно, чисто метет, — решил устроить облаву и поймать сразу всех одесских воров.

Полицейские, направившиеся ловить сподвижников Бени Крика, отошли шагов на пятнадцать от своего участка, и тут участок загорелся. Так задумал Беня.

«Городовые, тряся задами, бегали по задымленным лестницам и выкидывали из окон сундучки. (…) Пожарные были исполнены рвения, но в ближайшем кране не оказалось воды. Пристав — та самая метла, что чисто метет, — стоял на противоположном тротуаре и покусывал усы, лезшие ему в рот. Новая метла стояла без движения.

Беня, проходя мимо пристава, отдал ему честь по-военному.

— Доброго здоровьичка, ваше высокоблагородие, — сказал он сочувственно. — Что вы скажете на это несчастье? Это же кошмар… — Он уставился на горящее здание, покачал головой и почмокал губами. — Ай-ай-ай…»

Картинные налетчики Бабеля, между тем, просто старомодны, наивны со своим «воровским кодексом», «воровской честью» или, скажем, непримиримостью к доносчикам, на которых они не жалели пули.

Одноглазый Фроим Грач, истинный глава сорока тысяч одесских воров, не мог и представить себе, что его застрелят просто так, без суда и следствия, когда он придет в ЧК для переговоров.

Усадят уважительно, угостят коньяком, чтоб был разговорчивее, а потом отведут на черный двор… Что мотив

убийства может быть таков: «…Мы — государственная власть… Зачем нужен этот человек в будущем обществе?»

Смущен и герой Бабеля одессит Боровой, чекист, знавший, что Фроим Грач — это «эпопея, второго такого нет…» Смущен, видно, как и автор… Понадобилось полвека — лишь у следующих поколений узников ЧК — КГБ могло созреть четкое представление о подлинных мотивах превентивного убийства: «Оказывается, при фашистах мафия прекратила существование. Впрочем, так оно и должно быть… Личная то ли диктатура, диктатура ли то административно-партийной олигархии, она считает организованную преступность своей прерогативой и не терпит конкуренции».

Как видим, если налетчики Бабеля по своему нравственному облику и близки казакам-буденновцам, убить и реквизировать — дело буднее для тех и для других, — то уж с государственной властью их и сравнивать нельзя. Тут они — просто рыцари чести…

В сборнике Бабеля издания 1936 года опубликованы рассказы «У батьки нашего Махно» и «Иван-да-Марья», которые в послевоенных изданиях опущены. Почему?

У батьки нашего Махно насилуют женщину. Шестеро конников. «Мальчонок Кикин», державший несчастную женщину за голову, успокаивает ее: шесть — это ничего, бывает, что и по двадцать насильничают.

Все просил он, «мальчонок», чтоб и его допустили: некоторые уже и по второму разу приступили. А допустили — отказался. «Нет, говорю, Матвей Васильевич, не желаю я опосля Васьки ходить, всю жизнь плакаться».

Мастерский и по выбору рассказчика, наивно-дурашливого «мальчонка», и по языковой структуре, страшный обыденностью происшедшего, рассказ этот единственный из всего «военного цикла» Бабеля — забыли, похоронили, доподлинно подтверждая тем самым, что описанное в нем происходило не только у батьки нашего Махно…

Одесские рассказы пронизаны, по счастливому выражению И. Смирина, иронической патетикой. Это — подходы к правде: вся проза Бабеля пронизана иронической патетикой.

Это — глубокая правда, если, разумеется, не упускать из виду сказанного в начале главы: «Конармия» для читателя пятидесятых годов была иной, чем, возможно, и для самого автора, которому импонировала сила легендарных конников («Мы красная кавалерия, и про нас Былинники речистые ведут рассказ», — четверть века пела Россия горделиво); ярость разбуженной стихии и страшила, и влекла к себе писателя, а исторические горизонты

застилал горький дым революционных иллюзий и узаконенных, во имя светлого будущего, расправ…

Иллюзии развеивались, страх — крепчал. Думаю, и это, а не только преодоление литературных традиций начала века, традиций Белого и Ремизова, было причиной переделок ранних рассказов. Буденновцы рубили не саблями, а подметными письмами; пришлось, чтоб отсрочить гибель, даже восславить на 1-м съезде писателей Иосифа Сталина, заклятого врага мудреца Гедали…

И тем не менее совершенно очевидно: Бабель, как и Блок, принял революцию, но отшатнулся от нее, когда взглянул в глаза ее.

Оба крупнейших художника России не смогли вынести ее «будничных злодеяний», и один умер, а другой замолчал на годы.

Да, у Бабеля уплотненная, стреляющая фраза, короткие рассказы обладают ударной силой. Можно поистине часами говорить о его лексике, его ритмике, о сленге, о языке бабелевских героев — сплаве лексических стереотипов революции, канцелярских или «исторически-возвышенных», и — народной деревенской образности и сочности речений; но обратимся к главному. Два великих и совершенно разных художника, принявшие революцию, в ужасе отпрянули от нее, едва ощутили на себе и на окружающих ее дыхание.

Блок и Бабель. Две судьбы. Два приговора революции «будничных злодеяний…»

…И еще одно обстоятельство, упустить которое значит, на мой взгляд, упустить Бабеля, не понять его.

Пронзительная жалость к крестьянину (в России простая женщина редко скажет «я его люблю», а — «я его жалею»), жалость к мужику, над которым глумится напившаяся кровью орда, жалость к обездоленной интеллигенции, к вырезанным наполовину, обворованным польским евреям, эта любовь-жалость к измученному войной и грабежами люду становится сквозным и эмоциональным мотивом всего творчества Бабеля.

Именно эта пронзительная любовь-жалость и заставила его обратиться к теме уничтожения крестьянства, ставшей роковой для Бабеля: более четверти века НКВД-МГБ скрывало от читателя гениальную прозу Бабеля, которая ныне сделала писателя родоначальником бабелевского направления в литературе о крестьянстве, направления, которое в русской прозе выжило, прорвалось после войны «Рычагами» Яшина.

А позднее — и не только «Рычагами…» Но этот разговор еще впереди.

Пока же отмечу, что политика выжженной земли и в этот раз,

в пятьдесят седьмом погромном году, не привела к успеху, хоть и зашептались в Союзе писателей, озираясь, — сколь несчастливы для России годы, завершающиеся семеркой: 7-й, 17-й, 27-й, 37-й, 47-й, наконец, 57-й…

Какая-то зловещая семириада!..

Одно утешало: зазвучал Бабель. И чем неистовее глумились над новыми талантами каратели, тем сильнее звучал он, воскрешенный классик, тем современнее.

ЧАСТЬ 3
Десятилетие Солженицина

1. Два года полуоткрытых дверей — 1961–1962 гг

(На подступах к Солженицыну)

В самом начале шестидесятых годов стала «пробиваться» сквозь цензурные препоны новая литература, которая, кроме собственного значения, имела еще и то, что она подготовила приход Солженицына, создала общественную атмосферу, благоприятствующую Солженицыну, расшатывая торжествующие догмы и нетерпимость.

Говоря об этой литературе, мы обязаны прежде всего познакомиться с «Тарусскими страницами».

«Тарусские страницы» были изъяты, молодежь не знала о них. Почему изъяты? Чем был опасен властям этот талантливый литературно-художественный иллюстрированный сборник, подготовленный в Тарусе, неподалеку от Москвы?

Главным редактором, создателем, что называется, душой его был Константин Георгиевич Паустовский, никому не прощавший предательства, трусости, соглашательства. Порой издевавшийся над стукачами открыто: однажды он тихо, но так, чтобы окружающие слышали, как бы спросил прозаика Льва Никулина: «Каин, где Авель? Никулин, где Бабель?»

Паустовский не только иронизировал, гневался, издевался над подлецами; у него была и заранее намеченная положительная программа, к осуществлению которой он приступил при первой же возможности.

«Тарусские страницы» были не просто книгой с березками на суперобложке. «Литературную Москву» запретили. «Тарусские страницы» стали контратакой Паустовского, прорывом новой цензурной блокады.

Сборник был задуман осенью 58-го года в Доме творчества в Ялте, когда Константин Паустовский понял, что бездействие — смерти подобно… Нельзя сказать, что раньше он этого не понимал. Но тут уж допекло.

Эта ялтинская осень запечатлелась мне на всю жизнь. Спала жара. Запах нагретой хвои на горе умиротворял. В Москве шли дожди, думать о ней не хотелось. Из курортной полудремы вывел знакомый насмешливый голос Паустовского.

Он дал телеграмму о приезде, мы ждали его, он вошел в Дом творчества, оглядел красные и синие портьеры из бархата и сказал, ни к кому не обращаясь: «Веселый дом второго разряда!»…

Вечером, когда узнали о предстоящем появлении прозаика Василия Смирнова, одного из душителей «Литературной Москвы», Паустовский произнес на всю столовую, с веселым остервенением: «Взорвать колодцы и подняться в горы!»

Через несколько дней радио принесло весть о запуске спутника с собакой. И что собака не вернется — сгорит в «плотных слоях атмосферы».

Мы поднимались в гору. От моря. Грузный, задыхающийся Илья Сельвинский шел перед нами, спиной вперед (так, — пояснил он, — инфарктнику легче). Паустовский остановился, поглядел на небо, сказал: «Жалко собаку. Лучше бы весь секретариат Союза усадили в ракету»… До вершины молчали. У Дома сказал взмокшему Сельвин-скому: «Тогда б не пришлось тебе на склоне лет пятиться».

Он вовсе не был одинок в своей ярости, своей решимости что-то предпринять. Даже угомонившийся Илья Сельвинский устроил вдруг авторский вечер крамольных стихов, случайно напечатанных, а чаще — так и не увидевших света. Он читал и глотал валидол. Глотал и читал…

Мы долго его не отпускали, радостно удивленные тем, что Илья Сельвинский не изменил своей бунтарской молодости: пленен, но — не убит…

Сельвинский показал рукой на сердце и продекламировал на прощанье стихи «К моему юбилею», так и оставшиеся в его бумагах, до читателя не дошедшие:

Был удав моим председателем,
Был зайчишка моим издателем,
Ну, а критиком был медведь…
Чтобы быть советским писателем,
Бо-ольшое здоровье надо иметь!..

Запах нагретой хвои, мужество больного Сельвинского, долгие наши рукоплескания вызвали «приступ искренности» даже у номенклатурного поэта Михаила Дудина, будущего руководителя ленинградских писателей. Он стал читать свои стихи 56-го года о подземном лесном пожаре. Прошел невидимый огонь. Сжег корни. Лес стоит — мертвый. Только внешне — зеленый, живой… «А на какой почве мы стоим, а?» — вырвалось у него.

Девяностолетняя, властная, резкая на язык Ольга Форш смотрела на него изумленно. Такого Дудина она не знала.

Александр Яшин шагнул к нему порывисто, пожал руку…

О, как разойдутся их пути! И как скоро!..

Пока что царило призрачное «равновесие сил».

Около двух ночи кто-то дико, истошно закричал. Я выскочил на лестницу босой, застегивая на бегу пижаму. Думал, случилось несчастье.

Заходился в крике прозаик Василий Смирнов, с которым мне позднее пришлось схватываться не раз. Невысокий, костлявый, с бескровным выморочным лицом, он размахивал руками перед носом Александра Яшина и повторял в исступлении:

— Жидам продался! Жидам продался!..

Он пришел в себя, лишь увидев вокруг толпищу полуодетых людей.

Два дня назад, когда переводчик Шолом-Алейхема старик Шамбадал, похожий на одного из шолом-алейхемовских героев, маленький, тонкошеий, восторженный, читал в фойе свои новые работы, Василий Смирнов демонстративно обошел стороной аудиторию, внимавшую Шолом-Алейхему. Точнее, не обошел, а облез, карабкаясь с этажа на этаж, по лестничным перилам. Чтоб, значит, к «жидовствующим» ни ногой…

Все посмеялись над психоватым «железным канцлером», как его окрестили.

После этой ночи смеха поубавилось…

Утром меня окликнул Паустовский.

— Слышали? Какая самобытная интерпретация яшинских «рычагов», — саркастически заметил он. — Этак ведь и в голову не придет… — Он помолчал, сказал изменившимся голосом, хрипло:

— Отравители колодцев!..

Мы спустились вниз, в город. Паустовский говорил, что писателей, видно, ждут лихие времена. Смирнов днюет и ночует в Отделе культуры ЦК.

… — Что у Хрущева на уме, то у железного канцлера на языке… Ся-дет такой князем на Пугивле… Журналы блокированы… Нужен прорыв. Нужен свой голос.

…На этот раз прорыв был продуман Константином Паустовским всесторонне, с учетом психологии хозяев жизни — партийной бюрократии. Поэтому в «Тарусских страницах» немало «телевизионных заставок», как я их называю, подчеркнуто ортодоксальных, отвлекающих внимание власть имущих. К примеру, вступление, составленное в духе всех передовых «Правды», вместе взятых: «Величавая программа построения

коммунизма, открытая перед человечеством в новой программе КПСС…» и так далее и т. п.

Кроме сей величавой передовой в книге немало производственных очерков, набранных крупным шрифтом, бросающихся в глаза. Так сказать, специально для «ока государева», которое мелкий шрифт не любит… Паустовский пишет, допустим, что вот в городе Тарусе, хотя зубоскалы и любят иронизировать над «райцентрами», живет… кто бы вы думали?

Хитрый человек Паустовский, он гордится прежде всего печником, слесарем и столяром. Печник кладет печи по своему способу — виртуозно и быстро, слесарь так ловок, что даже склепал проволокой сломанный зубной протез одному старику, а столяр заслуживает просто гимна: любит делать скворечники и птичьи клетки.

А затем, как бы между прочим, Паустовский сообщает, что в Тарусе, незадолго до смерти, жил поэт Николай Заболоцкий, жили и работали известные всей России художники Поленов, Крымов и Борисов-Мусатов.

Здесь прошло детство Марины Цветаевой, посвятившей Тарусе свои стихи; многие из них впервые и печатаются здесь же в «Тарус-ских страницах», как и повесть «Кирилловны», в которой поэтесса молит судьбу: «Я бы хотела лежать на тарусском хлыстовском кладбище, под кустом бузины… Париж, май 1934 г.».

Но все это мелким шрифтом. А крупным — про печника, плотника и слесаря.

…В какие же условия поставлен один из самых крупных художников России, если он вынужден идти на копеечную хитрость, чтоб вынести на люди детище свое!..

Все значительное, ради чего задуманы «Тарусские страницы», все до последней строки набрано мелким шрифтом…

К. Паустовский вернул советскому читателю Ивана Бунина, которого, после его эмиграции, практически не знали. До нас доходили лишь тощенькие книжонки, выходившие время от времени, чтобы иллюстрировать нищету деревни — в царское время! — или трагедию личности в «Человеке из Сан-Франциско», вот и все. Иные думали, что двумя-тремя рассказами он и исчерпывается.

В очерке Паустовского впервые предстает перед нами Бунин-человек и Бунин-писатель.

Значение этого очерка огромно. Он вышел в 61-м году; отворачиваться от Бунина отныне стало непристойно — даже для чиновников; и то потребовалось еще 5–7 лет, чтобы девятитомное

собрание сочинений Бунина наконец пробилось на книжные прилавки. (Он вышел в ГИХЛе лишь в 65 — 67-м гг.)

Сколько нужно было благоприятных обстоятельств, сколько настойчивых и доброжелательных рук, чтобы доказать властям то, что, казалось бы, и доказывать не надо.

И первый, кому удалось пробить цензурный бетон, — Константин Георгиевич Паустовский.

Паустовский опубликовал здесь и прекрасный очерк о Юрии Карловиче Олеше, и даже те, кто не видел Олешу, сразу начинали ощущать его как своего давнего знакомого — этого неугомонного человека, немного старомодного, похожего на мудрую птицу. Очерк столь ярок и поэтичен, что я позволю себе привести несколько строк, чтобы напомнить и о времени, горестном времени падения Одессы во время второй мировой войны, и о Юрии Олеше.

Константин Паустовский с трудом добрался до Лондонской гостиницы в Одессе, совершенно пустой: «Интурист» эвакуировали, как и все, что представляло для государства хоть какую-то ценность.

— Неужели в гостинице нет ни души? — спросил Паустовский старика-сторожа в лиловых подтяжках.

— Как нет?! — возмущенно воскликнул старик. — А Юрия Карловича Олешу вы не считаете?!

— Он здесь?

Безусловно. Где же ему быть, скажите, как не в Одессе.

Мне посчастливилось застать Олешу в живых. Я помню этого высокого, очень худого человека с лицом прирученного льва.

Я увидел Олешу в минуту его тихого восторга, о котором он любил рассказывать: после многолетнего перерыва переиздали, наконец, его «Три толстяка».

«— Я стоял у кассы и, как музыку, слушал звон «Континенталя». Люди подходили и все время говорили: «87 копеек!», «87 копеек!», «87 копеек!»

И вдруг слышу крик продавца:

— Касса. Олешу больше не выбивать!..»

Я счастлив, что случайно не сгинул, как многое другое, блистательный очерк покойного прозаика Бориса Ямпольского, в котором воспроизведен этот рассказ Ю. Олеши.

В этот очерк вкралась лишь одна неточность. Застенчивый и гордый Ю. Олеша не позволил себе торчать у кассы.

Олеша стоял с закрытыми глазами далеко от нее, у дверей Лавки писателей на Кузнецком Мосту, покачиваясь, словно от ветра. Никакая касса его словно и не интересовала.

Я задержался на мгновение возле Ю. Олеши, подумав, что

ему плохо. Но лицо его с запалыми щеками землистого оттенка было отнюдь не страдальческим. А каким-то вдохновенно-мечтательным. Он стоял и слушал, как там, в противоположном конце магазина, непрерывно восклицали молодыми и старыми голосами это «восемьдесят семь копеек…»

Много лет Юрий Олеша — крупнейший талант России — действительно жил жизнью нищего, его кормили из доброты официантки московского кафе «Националы», денег у него не было никогда, а пил он все больше.

Олешу можно было застать в «Национале» почти всегда. Мы туда тоже зачастили: «Националь» — это, как известно, центральное московское кафе для иностранцев, и Борис Ямпольский, услышав наши рискованные споры в клубе писателей, как-то сказал нам: «Ребята, если вы хотите сидеть в хорошем кафе и в это время говорить что угодно, идите в кафе «Националь». Им ведает иностранный отдел КГБ, которого разговоры советских людей не интересуют. Там все столы с микрофонами, но на вас никто не обратит внимания: вы проходите по другому отделу…»

Мы посмеялись, помнится, не очень веря в такое «разделение труда», а потом нет-нет, да и заглядывали в кафе «Националь». Ю. Олеша неизменно подсаживался — потолковать и пропустить шкалик-другой.

После смерти Юрия Олеши Союз писателей пытался вернуть долг Ю. Олеши официанткам «Националя». Они обиделись. «Мы что, не знаем, кто такой Юрий Олеша?!» — воскликнула одна из них.

Константин Паустовский, хотя это запрещалось категорически, сумел все же намекнуть в своем очерке на то, как жил Юрий Олеша много лет: «Он умер недавно, и никак нельзя забыть прекрасное его лицо — лицо человека, задумавшегося перед нами. И нельзя забыть маленькую красную розу в петлице его старенького пиджака. *Этот пиджак я видел на нем много лет*». (Подчеркнуто мною. — Г. С.)

…Здесь же, в «Тарусских страницах», напечатаны и вдохновенные очерки Паустовского о Блоке и Луговском, — даже их он не смог опубликовать в казенной печати.

С «Тарусских страниц» начались многие биографии поэтов и прозаиков, в том числе Булата Окуджавы. Здесь первые шаги Булата — повесть «Будь здоров, школяр.» — пронзительная правда о войне, увиденная глазами восемнадцатилетнего.

Мальчишески игривый, как бы наивный запев. Он задает тон повести о школяре, которого затолкали на войну, не подготовленного к ней ни морально, ни физически, и который

случайно уцелел на ней. Это была крайне важная веха в жизни Булата Окуджавы. Повесть помогла ему стать в какой-то мере известным, открыла для него новые возможности, новые аудитории, остальное он уже сделал сам своими песнями… Кто знает, удалось бы ему так быстро выйти вперед — без этой, как бы легализовавшей его, публикации, которая дала ему право на внимание и сценические площадки? Во всяком случае, Константин Паустовский сделал все, что мог.

В «Тарусских страницах» впервые пробился к широкому читателю и Юрий Казаков. Здесь напечатаны три его рассказа. Юрий Казаков — знаток русской природы — близок по теме и стилистике Паустовскому и в какой-то мере — Пришвину.

Казаков много раз переиздан; вряд ли и он стал бы столь широко известен, если бы не Константин Паустовский.

Но сильнее всего прозвучала тогда проза Бориса Балтера, о котором читатель также узнал впервые. Это повесть «Трое из одного города»; затем ее переиздали, с некоторыми дополнениями, в «Юности», как бы подтвердив тем самым, что публикация в крамольных «Тарусских страницах» была не ошибкой времени.

«Трое из одного города» — поэтическое повествование о мальчишках-романтиках из приморского города. Они кончают школу и собираются в армию. Время — предвоенное, грозовое. 39 — 40-е годы. Интонация рассказа — доверительная, словно рассказывает твой сосед, товарищ по школе: «Мы — это Витька Аникин, Сашка Кригер и я».

Ребят, еще школьников, вербуют в армию; родители — против… Даже сосед-рабочий, к которому они пришли жаловаться на родителей, говорит вдруг: «А куда вас несет? Учились. 10 классов — это поболе гимназии. А кто раньше с полной гимназией в офицеры шел? Дураки одни шли».

Мальчишки негодуют. Они разделяют все предрассудки своего времени.

— Витька, почему ты до сих пор не повесился? — спросил Сашка.

— Чего мне вешаться?

— Имея такого папу, можно пять раз повеситься, два раза утопиться. — Твоя мама не лучше!

— Моя мама — другая опера. Моя мама — выходец из мелкобуржуазной среды. Ей простительно. У нее отсталая психология…

У мальчишек — свои привязанности и свои враги. Нет, не личные. Личных врагов они еще не имели. Одним из таких врагов был жестянщик.

«Жестянщик был нашим личным врагом. Почему — мы не знали. Он ничего плохого нам не сделал, и мы никогда не сказали с ним ни одного слова. Но все равно он был нашим врагом, мы это чувствовали и презирали Жестянщика за его двойную жизнь». Дело в том, что Жестянщик, знакомясь с молодыми курортницами, выдавал себя за капитана дальнего плавания. Особенно его презирал Витька. Как только мальчишки встречали Жестянщика с какой-либо женщиной, Витька не мог удержаться, чтобы не сказать:

— Есть же паразиты. В городе примуса негде починить, а они гуляют…

И однажды Витька решился предотвратить обман, спасти женщину.

Как смеялась над наивным Витькой «спасенная»! Нельзя без улыбки читать эти строки. Чистота столкнулась с жизнью…

Юнцам свойственна нетерпимость ко всему, что не столь кристально чисто, как они сами. Увы, они нетерпимы и к тем, кто думает иначе, чем они, — эпоха сыграла с ними злую шутку… Вот разговаривают они, скажем о мертворожденной конституции, в которую они свято верят. По конституции право избирать имеют все. Витька не согласен с ее либерализмом.

Почему разрешают избирать всем? «Таких, как Жестянщик, надо в море топить, а не права им давать», — сказал Витька.

Нетерпимость приведет это поколение ко многим бедам, но об этом не говорится в прозрачной и светлой повести Балтера. Она лишь свидетельствует о том, сколь чистыми и наивными пошли его однолетки на истребительную войну с которой мало кто вернулся.

Вслед за Балтером в «Тарусских страницах» выступил поэт Наум Коржавин. Фамилия его Мандель. Когда-то он был одним из самых талантливых студентов Литературного института. Его авторитет был столь непререкаем, что местные юмористы изобрели даже новую единицу поэзии: «одна мандель». Стихи всех поэтов оценивались по этой шкале поэзии: одна мандель, две мандели, полмандели… Иногда стихи самого Манделя оценивались в четверть мандели.

Уже тогда существовал исторический цикл Манделя, конечно, неопубликованный, в котором поэт написал о московском правителе Иване Калите:

Был ты видом довольно противен,
Сердцем подл. Да не в этом суть.
Исторически прогрессивен
Оказался твой жизненный путь.

Манделя отправили в ссылку прямо со студенческой скамьи.

Он был счастливым и редким исключением: среди ортодоксальной и законопослушной писательской молодежи он, как и Аркадий Белинков, прозрел еще в годы сталинщины. Его автобиография, опубликованная ныне на Западе, отражает это подробно и точно.

Хотя стихи Коржавина знали и ранее, это, по сути, его первый выход к широкому читателю.

Появились новые произведения тогда уже известных поэтов Давида Самойлова, Бориса Слуцкого, Владимира Корнилова. И, конечно, новые стихи Николая Заболоцкого, загубленного большого поэта, дерзнувшего сказать здесь и такое:

Соединив безумие с умом,
Среди пустынных смыслов мы построим дом…

В «Тарусских страницах» впервые представлен читателю прозаик Владимир Максимов.

Сколько подлинных талантов, влюбленных в жизнь и в Россию, поднялись словно бы с ладони Константина Паустовского!

И что же их ждало? Какова их судьба?

«Тарусские страницы» опубликовали, скажем, маленькую повесть Владимира Максимова «Мы обживаем землю».

Владимира Максимова, как известно, вытолкали в эмиграцию. Что произошло?!

С чем он пришел к Паустовскому, Владимир Максимов, молодой писатель? Может быть, он любил Россию и людей ее лишь абстрактно, а на самом деле пришел в литературу измученным и обозленным?

Повесть «Мы обживаем землю» беспощадно правдива. Владимир Максимов правдив прежде всего к самому себе, бескомпромиссно правдив. Не всякий писатель решится так казнить героя повести — самого себя — за нравственную слепоту…

Он нанимается в экспедицию, маленькую экспедицию, которая движется по таежной реке, с ее валунами и перекатами. В экспедиции, кроме него, еще двое рабочих. Димка, паренек из амнистированных, который «просыпается лишь затем, чтобы отхлебнуть из фляжки», и Тихон, мужичок из-под Вологды, молчун, занятый лишь своим вещевым мешком.

Спустя несколько дней герой повести пишет письмо своему

воспитателю из детдома, которого продолжает любить. О своих товарищах по работе он пишет: «А люди! Господи, я плевал на героев, героев выдумывают плохие писатели, но хотя бы одна уважающая себя особь! Язык не поворачивается сказать о таких: «Борются за существование». Они не борются, они просто-напросто копошатся в собственной грязи, посильно оттирая ближнего своего от корыта бытия».

С такими мыслями и чувствами герой отплывает по таежной реке под руководством местного жителя Колпакова, который нанимает еще цыгана (мора по-таежному) и его жену на сносях.

Далее происходят события простые и трагические. Завязывается любовь Димки и Христины, жены цыгана; цыган случайно слышит разговор влюбленных и, когда лодка переворачивается, он не выплывает. Остается на дне таежной реки. Хотя пловец он превосходный…

Димка, да и автор, понимают, что цыган покончил жизнь самоубийством.

Димка, который был в той же лодке, выплыл; увы, и он вскоре умер; застудила его ледяная река.

Экспедиция больше не может двигаться, нет гребцов, нет припасов. Колпаков и автор оставили Тихона и беременную Христину в землянке, а сами побрели по тайге за помощью. Колпаков не дошел.

Когда поднятые по тревоге люди приходят за Христиной и Тихоном, то узнают, что Тихон, почувствовав приближение смерти, уполз в тайгу — идти он уже не мог, сказал Христине: «Я уйду, а то развоняюсь я тут, как помру, а ты слабая будешь, не вытащишь…»

Словом, выяснилось, что каждый, пошедший в эту экспедицию, — человек цельный, гордый, жизнелюбивый и преданный своим случайным товарищам — и все переворачивается в душе молодого Максимова: люди-то оказались совсем иными, чем представлялось ему с первого взгляда…

Вот с чего начал Владимир Максимов! Открыл для себя, как прекрасны люди, которых порой трудно распознать в будничной суете.

«Мы обживаем землю» — заявка на большую прозу. В большой прозе Максимова далеко не все ровно. Я еще буду говорить о ней. Тут я хочу лишь сказать, что он ушел в изгнание, чтобы сохранить чувство внутренней свободы. Без этого, по убеждению Константина Паустовского, писателя не существует.

Верным себе оказался и поэт Владимир Корнилов. Он не солгал ни единым словом, ни единой строкой — ни в прозе, ни в

стихах — речь об этом еще впереди.

Булат Окуджава. Вся страна пела его песни. За это власть пыталась доконать его, как Александра Галича.

Юрий Казаков, любимец Паустовского, спился — и замолчал на годы…

Судьба Бориса Балтера еще страшнее: израненный герой войны, бывший командир полка, он не выдержал придирок, травли фильма, поставленного по его книге «Трое из одного города», и умер после двух инфарктов.

Отчего не щадили его, зверствовали в райкомах и горкомах? Он подписал письмо, протестующее против практики закрытых политических процессов в России. Он хотел суда по справедливости — только и всего — и был убит!

Наум Коржавин (Мандель) не подписывал и письма протеста. Его стихи были найдены в столах арестованных студентов, не желавших повторения сталинщины. Этого было вполне достаточно, чтобы вытолкать его из России.

Чем талантливей автор «Тарусских страниц», тем круче с ним расправлялись.

Если мы вспомним судьбы остальных, отнюдь не начинающих авторов «Тарусских страниц» — Марины Цветаевой, Николая Заболоцкого и других, — то судьбу русской литературы советского периода можно постичь без особых усилий. Кто любил Россию, для кого она была дороже жизни — того и добивали тюрьмой или изгнанием.

«Тарусские страницы» помогли создать редкую в России обстановку некоторой терпимости властей к правде; но не только они одни. Прямыми «тематическими мостками» к Солженицыну стала повесть Вениамина Каверина «Семь пар нечистых».

Как известно, Александра Солженицына впервые напечатали в «Новом мире» в том же году. Спустя 9 месяцев.

В повести «Семь пар нечистых» поражает достоверность лагерных деталей — до Солженицына так мало знали об этом.

Вот грузят заключенных. Пересчитывают, поставив на одно колено. В трюме, по обыкновению, хозяйничают уголовники. Бандит Алемасов, «пахан» уголовников, решил захватить пароход «Онега» и угнать его в Норвегию.

Все подготовлено для захвата парохода. Банда терроризировала зэков-бытовиков, политических.

И вдруг над «Онегой», идущей по Кольскому заливу, пронесся самолет с черными крестами. Убил часового, и тот свалился в трюм Так зэки узнали о том, что началась война.

Война, решил Алемасов, облегчит захват судна. А все произошло наоборот. Даже у тех, кто сочувствовал Алемасову,

пробудилось, окрепло чувство тревоги за Россию. Захват судна стал невозможным. Когда зэки стали выгружаться в районе, к которому подходили гитлеровцы, они с ходу вступили в бой, застрелив бандита Алемасова…

Повесть «Семь пар нечистых» перекликается с повестью Казакевича «Двое в степи». Пятнадцать лет понадобилось для того, чтобы снова пробилась к людям тема Казакевича, вызвавшая ярость Сталина: осуждают патриотов России.

Тема эта появилась и у Твардовского, и у Ольги Берггольц, и у Галины Николаевой.

Откликнулись на нее, не могли не откликнуться, и литераторы «от палаческой гильдии» — А. Чаковский, например, в своей книге «Год жизни» пишет: «Когда-то Хомяков был начальником строительства… Его судили. И вот уже давно кончился этот срок, а человек все время чувствует себя свободным «до поры, до времени». И ничего путного из него уже не получится…»

Александр Чаковский невольно выдает мысли испуганных палачей, захвативших места преданных ими людей. Так же пытается, как говорится, набросить тень на плетень и серый, бездарный Михаил Алексеев, один из руководителей Союза писателей, «оплот режима».

Но попытки обратить реку вспять ни к чему не привели. Возвращались бывшие зэки, среди них — таланты, писавшие о пережитом. Выходили книги давно известных писателей, которые заставляли людей думать…

Среди таких книг была и повесть Павла Нилина «Жестокость», прорвавшаяся в печать вскоре после XX съезда партии.

Герой Павла Нилина, работник угрозыска Венька Малышев твердо убежден, что советской власти обман не нужен. Он дает возможность бежать из заключения крестьянину Лазарю Баукину. Веня поверил в невиновность Баукина.

Лазарь Баукин и его односельчане повязали главаря банды Воронцова, как Баукин и обещал Вене Малышеву, и привезли в город. А начальник угрозыска приказал расстрелять и атамана-бандита, и Лазаря Баукина, и других крестьян, чтобы присвоить себе, а заодно и Вене, заслугу поимки опасного бандита.

Еще до этой трагедии Веня Малышев спорит с партийным журналистом «при органах» Узелковым, который совестливость относит к категории чуждой большевикам «христианской морали». Спор этот перекликается с темой «Гедали» Исаака Бабеля и многих других рассказов. И немудрено: спор этот о судьбе России, о погибели Русской земли, поверившей, путь

ненадолго, Смердяковым и смердяковской морали: мол, коль бога нет, то все дозволено.

После расстрела Лазаря Баукина и его односельчан Веня Малышев кончает жизнь самоубийством.

…Художественные образы П. Нилина, основанные на подлинных наблюдениях, несут в себе, однако, гораздо большую нагрузку, чем это может показаться с первого взгляда.

Галина Николаева в своих книгах винит в произволе «органы». Вениамин Каверин обрушивается на доносчиков, в кляузах которых, убедительно пишет он, «было все — и расчет на невежество, и мнимая правдивость подробностей, и страшная логика кривды, почти непонятная, но бьющая в самое сердце».

Приближается к глубинной — нилинской правде, пожалуй, лишь писатель Валентин Овечкин, который пытался умереть как Веня Малышев, выстрелив себе в висок из охотничьего ружья.

В нашумевшей очерковой повести «Трудная весна» есть у него партийный работник Холодов. Из «органов» он, а теперь — партийный секретарь, да все по привычке доносы пишет. «Как волка ни корми, он все в лес смотрит», — пишет Валентин Овечкин.

Откуда эта укоренившаяся привычка писать доносы, ставшая второй натурой холодовых?.. Как мог привыкнуть такой Холодов к праву на оговор?

Ответы на эти жгучие вопросы и дает повесть Павла Нилина «Жестокость». Дело в том, что действие повести происходит в начале двадцатых годов, при жизни Ленина.

Сталина как организатора террора еще не было. И хотя Нилин писать открыто об этом не мог, не мог поступить так, как, скажем, Василий Гроссман в своей самиздатовской, вышедшей за рубежом повести «Все течет», — тем не менее само время действия нилинской повести подтверждает: честные люди, попавшие в «органы», вынуждены были стреляться и в начале двадцатых годов, при Ленине, и в тридцатых — сороковых — в дни сталинского террора.

Необходимо напомнить о высоком уровне мастерства, достигнутом литературой в эти годы. Именно тогда появились рассказы Василия Аксенова «На полпути к луне», Владимира Тендрякове «Тройка, семерка, туз» и «Вологодская свадьба» Александра Яшина.

Авторы этих и некоторых других произведений зачерпнули из глубин современного языка, крестьянского или полублатного, заполонившего города; приучили читателя-пуриста не чураться городского сленга, на котором говорит почти вся молодая Россия. И тем самым невольно приблизили читателя к восприятию

солженицынской прозы, подготовили его — и своей глубиной, и новым ракурсом привычных тем.

Путь Солженицыну был открыт. Впереди его ждали тысячи случайностей, решавших, быть или не быть Солженицыну. Но эти случайности были административного, чиновного порядка. Литература свою роль выполнила. Остается ответить на крайне важный для истории современной культуры вопрос. Чем объяснить, что именно эти два года стали для литературы сопротивления годами «полураскрытых дверей»?

В марте 63-го года Хрущев снова захлопнет тяжелую дверь, грубо обругав приглашенных к нему писателей.

В чем причина двухлетнего благодушия властей?

Во-первых, прошел испуг правителей перед солдатом-правдоискателем, вернувшимся с войны.

Во-вторых, начал гаснуть давний страх перед писателем-бунтарем. Взвился советский спутник, затем — ракета с человеком. Что по сравнению с баллистической ракетой какие-то московские бунтари с улицы Герцена? Понадобится — в мешок их да в воду. Появилось у советских властей на короткое время воистину «космическое благодушие».

В речи, обращенной к писателям, Хрущев проявил себя почти либералом. На холуйский возглас Вадима Кожевникова в ЦК: «Руководите нами!» — Хрущев ответил писателям еще в мае 59-го года: «…вы знаете, нелегко сразу разобраться в том, что печатать, а что не печатать… Поэтому, товарищи, не взваливайте на плечи правительства решение таких вопросов, решайте их сами, по-товарищески…»

Почти никто не использовал этой редчайшей возможности, этой направдоподобной щели к духовной свободе, существовавшей более двух лет. Кроме редактора «Нового мира» Александра Твардовского.

Как видим, многим, очень многим компонентам — литературным, политическим и даже космическим — мы обязаны большому, сложному явлению Солженицына — голосу погубленных поколений, голосу погубленной России, которому нельзя не внимать.

2. Солженицын бессмертный и смертный…

Когда Солженицын ступил на землю Запада, я, увидев по телевизору его измученно-отрешенное жесткое лицо с всклокоченной ветром бородой, похолодел. «Это не он! — сказал я окружавшим меня людям. — Смотрите, он даже внешне не похож на Солженицына!.. Александру Солженицыну сейчас на

Лубянке горящими папиросами грудь прижигают, глумятся над ним, а привезли двойника, агента… Этот пооораторствует месяц-другой, до приезда жены Солженицына, скомпрометирует настоящего Солженицына и своими речами, и своей немотой, а затем пропадет, и советское правительство тут будет как бы ни при чем…»

Я всполошил тогда своими телефонными звонками несколько европейских столиц, крича в трубку: «Это не он! Это не он! Настоящий остался на Лубянке!»

К великому счастью, я ошибся. Приезд жены Солженицына развеял мои тревоги.

Однако когда я познакомился не только с Солженицыным — крупнейшим художником современности, не только с Солженицыным — «огнепальным Аввакумом» XX века, проклявшим и победившим атомное государство, но и с философом Солженицыным, футурологом Солженицыным, у меня опять появилось чувство: «Не он…» Словно бы подменили автора «В круге первом», хотя, несомненно, на подмену КГБ не пошел. Не решилось или не получило санкции…

Почему же ко мне возвращается порой это странное чувство? «Не он…»

Произведениям Александра Солженицына посвящены, как известно, горы исследований: библиография, составленная Д. Фини (АННАРБОР, 1973), насчитывает 2465 ссылок.

Ныне, по-видимому, количество работ удвоилось. Останавливаться на них или вступать с некоторыми исследователями в полемику здесь нецелесообразно, моя задача иная: Время Солженицына. Сдвиг в литературе и общественном сознании России, вызванный явлением Солженицына, бросившего вызов атомному государству…

Чтобы не повторять известного, я попытаюсь сосредоточить внимание на личности писателя, в той последовательности, в какой она мне открывалась. Личности фанатично-одержимой, поднявшейся над могилами миллионов и психологически уходящей своими более глубокими корнями скорее всего в русский раскол, который сжигал себя в скитах — ради истинной веры…

…Впервые я увидел Александра Исаевича в конце 1961 года. Я принес в отдел прозы «Нового мира» очередную рукопись, к оторую мне дали на рецензирование. В отделе прозы, не во второй комнате, у начальника отдела, а в проходной, где задерживаются начинающие, сидел в углу, на скрипящем стуле, неизвестный мне автор. В руках он держал дешевую картонную папку. Напротив него располагалась за своим рабочим столом

редактор Анна Самойловна Берзер, маленькая худенькая женщина, которую мы некогда называли между собой лакмусовой бумажкой: в лихие времена ее из журнала выгоняли, в либеральные — немедля возвращали. Автор не постукивал нервно пальцами по папке, опущенной им на колени, не проявлял нетерпения. Это был автор, уже получивший ответ. Автор, которого поздравили с успехом, во всяком случае, обнадежили… Безбородое свежее немолодое лицо его светилось. Нет, не радостью. Но — глубоко выстраданным удовлетворением. Лицо казалось беззащитным, открытым, чуть извиняющимся за свое вторжение. «У него мягкое лицо», — сказала в те дни Анна Ахматова.

Мягкое лицо. Кепочка и дешевый серый костюм «из сельмага». Таким он оставался еще в 1967 году, когда я впервые говорил с ним возле одного из писательских домов, куда Солженицын приехал, чтобы лично, минуя почту, вручить писателям свое обращение к съезду писателей, открытому дня три-четыре спустя.

Дул ветер, взметая полы его дешевого пиджака, теребил бумажные неглаженые брюки. Он был уже всемирно знаменит. Давно были напечатаны эпохальные «Один день…», «Матренин двор», который способствовал его признанию в среде писателей больше, чем «Один день…». «Там работала тема, неведомая раньше, ужасная, как взрыв у твоих ног», — говорили перетрусившие «маститые», а тут ясно — пришел огромный талант…» Он был признан всеми, однако внешне продолжал оставаться чуть сгорбленным сельским учителем из подмосковного городка.

«Он живет на семьдесят пять копеек в день», — сказал мне в те дни о нем Лев Копелев.

Когда начало меняться его лицо? Когда он начал отращивать бороду, для того, возможно, чтобы лицо не казалось столь мягким и беззащитным?

Когда оно и в самом деле обрело, даже внешне, непреклонность, суровую жесткость? Думаю, после съезда писателей, который предал Солженицына, когда письмо его не было там прочтено и он понял, что предстоит, возможно, лагерная жизнь: один на один с произволом, с изощренной подлостью тюремщиков, один на один с атомным государством…

Он его словно предвидел, этот свой второй восьмилетний срок. Именно в те дни и начали оголтело врать о Солженицыне и официальные лекторы, и чиновники из Союза писателей. Не помню, в каком году, в этом или, скорее, в последующем, на одном из заводов в Рязани лектор из Москвы так представил

рабочим Солженицына, столь живописал его (ну, конечно, «предательство за доллары, клевета на рабочее государство, продажность» и пр.), что молодые рабочие, подвыпив для храбрости, двинулись громить Солженицына. Они пришли в его домик на тихой улице Рязани. Солженицына не было. Их встретили вежливые старушки. Все в доме — и реденькие занавески на окнах, и убогая мебель — говорило о такой отчаянной бедности, что молодые парни, оторопев, оглядевшись растерянно и недоуменно, тихо ушли…

Примерно в семидесятом году я увидел, что напротив подъезда Льва Копелева (я жил в том же доме) остановилась машина с буквами МОЦ перед номером — буквами дежурных машин КГБ. Подобные машины — они именуются «подвижный патруль» — нередко стояли возле нашего дома, «оберегая» писателей от иностранных корреспондентов, фотографируя входящих и выходящих, — предостерегая от общений, и мы примерно знали их номера, вернее, служебные буквы перед номерами, отличали эти черные «Волги» от случайных машин, но эта черная «Волга» с буквами МОЦ перед номером была оснащена дополнительной антенной, а в «Волге» находилось четыре человека, которые не вышли из машины, сидели напряженные, неподвижные, как манекены. Я решил, что у Льва Копелева очередные иностранцы (Лев Копелев — литературовед, германист, жена его Р. Орлова — специалист по американской литературе). Иностранцы, как правило, были профессорами американских или немецких университетов, навещали их и докторанты из Штатов, Англии, Германии — молодые, откровенные ребята, разговор бывал достаточно непринужденным. Я торопливо зашагал к Копелеву, чтобы предупредить о подслушивании. Обычно в этом доме не спрашивают, кто пришел, открывают сразу. На этот раз не тотчас спросили: «Кто?» Я назвал себя, дверь открыли, и я, войдя в рабочий кабинет Копелева, заставленный книгами от пола до потолка, увидел Александра Исаевича. Он сидел в углу, что-то отмечая в блокноте.

Говорили, если не ошибаюсь, о Генрихе Белле, о его предстоящем приезде в Москву. Я кивнул в сторону окна, Лев Копелев сказал благодушно, с усмешкой: «Мы старые зэки…» И тут же оживленно и громче: «Хотите свежий анекдот?.. Одна прелестница…»

Хохотал я один. Как нанятый. Поглядывая в направлении окна, словно это было не огромное окно в писательском доме, а тюремный глазок, к которому с другой стороны припал надзиратель. Александр Исаевич чуть улыбнулся, одними губами,

скорее басовитой старательности Льва Копелева, чем анекдоту, и снова поджал их в непримиримо-жесткой солженицынской складке.

Таких встреч, случайных, у Льва Копелева или на Аэропортовской улице, возле писательских домов, было несколько. Я попытался вспомнить, о чем говорили. И вдруг с неожиданной предметной отчетливостью вспомнил: он никогда не рассказывал.

Я не был с ним настолько близок, чтобы задавать ему вопросы. Расспрашивал он. Особенно запечатлелась мне встреча возле метро. Наверное, Солженицын опять шел к Копелеву. В то утро меня исключили из партии, в которую я вступил на войне. Окончательно. На самом «верху», в Комитете, которым ведал член Политбюро ЦК КПСС А. Пельше, сухонький белолицый латыш, сохранивший свою жизнь в годы сталинщины ценой утраты всего человеческого. Он походил на тугоухого старичка, который слышит, лишь вставив в ухо слуховой аппаратик. Хочет внимать говорящему — вставит аппаратик, не хочет — вынет. Меня исключали из партии и издевались надо мной все утро, всем Комитетом, за выступление в Союзе писателей, в котором, среди прочего, я высказался одобрительно о Солженицыне. Когда я говорил о Солженицыне как о великом писателе, властительный старичок слушал меня, словно бы вынув свой аппаратик. Светлые прозрачно-голубые глаза отрешенно скользили по огромным окнам кабинета. Остальные члены Комитета вытянулись, напряглись, как гончие, рвущие поводки. О Солженицыне была дана твердая установка. Двух мнений тут не могло быть. Коли член партии пренебрегает даже этим… Моя участь была решена. Впрочем, она была решена заранее. Человек, которого исключали из партии до меня, но в последний момент простили, прошелестел в коридоре мимо меня, прошептав белыми губами: «Тебя сейчас будут убивать!»

…Солженицын выслушал меня внимательно, задал несколько вопросов, связанных с моей судьбой; он не был сентиментален, как иные старики-писатели, обнимавшие меня и слушавшие со слезами на глазах. Он коснулся моего плеча, сказав несколько слов, смысл которых был: «Держись!» Я отчетливо помню и его лицо, и свои чувства, и свои мысли в эту минуту. Александр Исаевич держался прямо, как строевой офицер, словно никогда не было у него сутулости сельского учителя или, скорее, бухгалтера. Наперекор всем ветрам он выпрямился и расправил плечи. Была поздняя осень 1968 года. Мы только что оплакали «социализм с человеческим лицом».

На Солженицыне было новое пальто с меховым воротником.

Мех показался мне дорогам. Пальто — барским. Я, помню, сказал себе мысленно: «Барин…» Слово это было для меня отчуждающим. Но в чувствах не было осуждения. Была радость. Как его сейчас травят, поносят! Во всех газетах. На всех собраниях. За одно слово в его поддержку выгоняют с работы, лишают куска хлеба. У меня болели суставы, словно меня вздергивали на дыбе. Только за то, что я сказал сановным негодяям: «Мы все умрем, и я, и вы, сгинем бесследно, а он — останется. Как Россия..» Не только его пытаются умертвить, все вокруг него пытаются превратить в мертвую зону, а он — прекрасно выглядит. Свеж. Почти выхолен. Борода густа и аккуратно подстрижена. Белое лицо над дорогим воротником кажется барственно властным… Наперекор всему!.. Я простился с ним по-прежнему разбитый, у меня болели даже мышцы, словно меня и в самом деле только что исхлестали, а на душе было удовлетворение, тихая радость: «Не одолеть им его, не сломать». Как всегда, я не задавал вопросов. Столько вокруг Солженицына кружилось народа, порой достойного, порой подозрительного, что он, думаю, был откровенен и словоохотлив только со своими старыми тюремными друзьями.

Запомнился мне также сбивчивый рассказ жены. Она однажды вернулась домой взволнованная. Видела в метро Солженицына и Копелева. Они говорили о чем-то тихо и одушевленно. Она огляделась: не подслушивает ли кто? Нет, они оторвались от «слухачей». Никого вокруг не было. Оба они не могли не обратить на себя внимания. Оба высокие, плечистые, распрямленные, бородатые, как патриархи.

…Как известно, Лев Копелев был прототипом Льва Рубина в «Круге первом». Бывший зэк Копелев умел работать в шуме и в гомоне. Склонившись над рукописью, он включал приемник, стоявший у окна. «Музыка отрезает от меня грохот самосвалов», — объяснял он.

Живая память об этом недюжинном человеке позволила мне, возможно, иметь суждение о соотношении документализма и вымысла в прозе Солженицына. Характер, направленность вымысла или, в данном случае, домысла свидетельствует о личности автора, намой взгляд, объемнее, полнее биографических данных или воспоминаний современников.

Чтобы постичь человека, столь противоречиво-сложного, как А. Солженицын, я попытаюсь рассказать не только об «озвенелом зэке» с дорогим воротником, который чувствовал себя в часы оголтелой травли, как моряк в шторм. Всех вокруг тошнит. Многие на грани обморока. А моряк только встал устойчивее… Но, более всего — о принципах типизации, воплотивших в себе

особенности личности писателя.

Эта тема огромна. Думаю, она будет исследована заново — после выхода биографических книг Л. Копелева «Хранить вечно» и Д. Панина «Записки Сологдина», которые дали возможность скрупулезно, с научным тщанием проследить, насколько вымысел соответствует правде. Биографии вымышленных героев — биографиям прототипов. Приближал ли вымысел правдоподобие к правде? Или уводил от нее?

Сологдин, к примеру, далеко не тот реальный Дмитрий Панин, католик и одержимый реформатор, с которым тоже свела меня судьба.

Солженицын безоглядно трансформирует жизнь в соответствии со своим нравственным и религиозным мироощущением. Никогда не остается в плену правдоподобия. Если надо, он «лепит» своего героя из трех — пяти окружавших его прототипов. Так был создан, скажем, Руська Доронин, который пошел в «стукачи», чтобы выяснить, кто в «шарашке» «стучит…» И выяснил, как вы помните, — в день, когда выдавали деньги и всем «стукачам» переводили по 147 рублей… В образе Доронина объединены, по рассказу самого Руськи — П. Герценберга, три человека, три узника. Внешний облик Доронина напоминает зэка по фамилии Гусев. Любовные истории героя пережил зэк Витковский. Однако характер Доронина, его поступки и приключения, собственно Руську Солженицына «взял» у Переца Герценберга, который сидел вместе с Солженицыным с 1948 по 1951 год.

Жена Переца Таня, бывший доцент Рижского университета, вспоминает, что Солженицын советовал им эмигрировать в Израиль: «Был бы я евреем, я стал бы сионистом», — сказал он ей.

Этот разговор происходил в мае 1966 года. Он крайне важен для, понимания мироощущения Александра Солженицына, когда оно еще не было отчетливо выражено: уже тогда он националистам сочувствовал, националистов одобрял…

Знаменательный разговор!

На Руське-Герценберге и кончается известная схожесть героев и прототипов, которую я мог наблюдать, ощутить вживе. Однако как только правдоподобие не соответствует замыслу Солженицына, оно отметается им начисто, с решительностью человека, твердо знающего, зачем он взялся за перо…

Главный герой почти всего творчества Солженицына — Иван Денисович. Народный характер, несущий на себе все тяготы, определяющий судьбу России. В лагерях Иванов Денисовичей было — не счесть. Если Гюстав Флобер мог сказать, что его Эмма (из «Госпожи Бовари») плачет в двадцати городах Франции, то

Александр Солженицын имел бы право заявить, что его Иван Денисович несет свой крест в каждом лагере России, даже если этот лагерь не огорожен пулеметами и просто называется такой-то деревней.

Однако откуда в «шарашке», привилегированным лагере для ученых и инженеров, мог взяться такой Иван Денисович? Тем не менее «В круге первом» появляется мужик Спиридон, дворник, пятидесятилетний русский человек, как подчеркивает Солженицын, скажем, в главе «Князь-предатель». Когда Рубин и другие эрудиты нервно-весело судят князя Ольговича Игоря Святославича, мужик Спиридон «улыбается лукаво…»

На самом деле, как сказал мне Рубин-Копелев, не было никакого Спиридона-совести, Спиридона-судьбы. Был дворник, по имени, кажется, Родион. Стукач и доносчик, как почти все дворники на Руси с давних времен. Но это не отвечало замыслу Александра Солженицына. И вот появился Спиридон — народный характер, вымышленный Солженицыным. Идеализирует ли Солженицын народ? — невольно спрашиваешь себя. — Народ, который сейчас страшно пьет, чтобы не думать о жизни. И голосует на выборах за кого угодно…

Народ, который вот уже много веков бедует под ураганными ветрами всевозможных нашествий, которого нескончаемо давит сплошное, фигурально выражаясь, татаро-монгольское иго, и этот народ в массе своей остается добрым народом, отзывчивым народом, такой народ не нуждается в идеализации.

Герой прозы Солженицына — сам Солженицын. Не бросит ли это новый и резкий свет на личность автора?

Александр Солженицын, как справедливо заметил профессор Жекулин, словно бы и Родион Немов («Олень и шалашовка»), и Глеб Нержин из «Круга», и Олег Костоглотов из «Ракового корпуса», и Алекс Кориэл из «Свечи на ветру». И… Иван Денисович Шухов… Конечно, умению жить уверенный и резкий Костоглотов выучился у простого крестьянина Ивана Денисовича Шухова. Он словно вобрал в себя его качества. Переход от ищущего, сомневающегося Нержина к куда более уверенному Костоглогову, «озвенелому зэку», был возможен лишь тогда, когда Иван Денисович стал «вторым я» и писателя Солженицына.

Наконец, образ рассказчика в «Матренином дворе» представляет собой вместе с тем и бегло набросанный эскиз Костоглотова в первые дни его возврата в жизнь, когда рассказчика-героя потянуло в «кондовую Россию», в которой Солженицыну поначалу «хотелось затесаться» и «затеряться».

Не является ли это ответом на многие наши недоумения, которые вызывали столь резкие возражения и большой западной

прессы, и православных священников, и еврейских националистов, и еврейских социал-демократов, не говоря уже о деятелях андроповского разлива?..

Эгоцентричность прозы оказалась лишь одной из сторон мироощущения Солженицына. Куда бы ни обратил он взор свой. Фигурально выражаясь, он возвращается к системе Птолемея…

«Сумеем ли и посмеем ли описать всю мерзость, в которой мы жили (недалекую, впрочем, и от сегодняшней)? И если мерзость эту не полностью показывать, выходит сразу ложь. Оттого и считаю я, что в тридцатые, сороковые и пятидесятые годы литературы у нас не было. Потому что без всей правды — не литература».

Стало быть, не было ни Казакевича, ни В. Некрасова, ни Яшина, ни Тендрякова, ни Нилина, ни Паустовского, ни Бабеля, ни Зощенко, ни Пастернака, ни Николая Заболоцкого…

Увы, Солженицына тогда не было. Ни как писателя, ни как читателя: в окопах да в ГУЛАГе много не почитаешь.

Александр Исаевич вместе с водой выплеснул ребенка. Это наложило, не могло не наложить особого отпечатка на интереснейшую книгу «Бодался теленок с дубом», созданную рукой литературного Птолемея, вообразившего себя в центре мироздания.

В оправдание Солженицыну нельзя не сказать, что воды в литературе было действительно много.

И все же… начинать литературное летосчисление с 1962 года?! С выхода «Одного дня…»?!. И тогда лишь заметить краем глаза, к примеру, «живые имена» печальников деревни с их творениями преимущественно послесолженицынского периода?!

В «Теленке…», как никогда, пожалуй, выкристаллизовалась главная особенность творческого лица Солженицына, родная стихия которого — проза.

Публицист Солженицын утверждает, прозаик Солженицын сплошь да рядом — опровергает. С убедительностью несоизмеримой.

Клеймит Солженицын, к примеру, последнюю эмиграцию: де, оставили Россию в беде, «чужие России люди». В открытых письмах, выступлениях, репликах, запечатленных репортерами. Публицист неистовствует.

А прозаик, со свойственной ему бесстрашной открытостью, рассказывает нам, в данном случае в «Теленке…», как в лефортовской камере, еще не зная, что на другой день его выбросят из России, он тосковал-сетовал ночью: почему не уехал в эмиграцию в 70-м году, когда звали через Стокгольм?.. Зачем сам себя привел в тюрьму? Ведь «открыт мне был путь в

старосветский писательский удел, как и мои предшественники могли… Но всей той жизни, теперь непроглядываемой, я велел не состояться, всей главной работе моей жизни — не написаться, а сам я еще три года побездомничал и пришел околевать в тюрьму. И я пожалел. Пожалел, что в 70-м году не поехал».

Почти вся интеллектуальная часть эмиграции семидесятых — это люди, вырвавшиеся из тюрьмы или от угрозы тюрьмы или «дурдома». От гнусных допросов следователей ГБ или партследователей, хрен редьки не слаще! От многолетнего шельмования и дискриминации, от страха за участь детей, которым мстили за инакомыслие родителей. От невозможности высказать, написать, сделать главную работу своей жизни.

Почти каждый диссидент этой эмиграции уходил из своего Лефортова, куда более безнадежного, чем лефортовская ночь Солженицына: Александра Солженицына охранял мир и — охранил. Рядовых диссидентов стреляют, давят, морят голодом, сводят с ума чаще всего ч полной глухой немоте.

Благословен бегущий с каторги!

Благословенна исповедальная проза Солженицына, пусть даже вкрапления ее в его мемуарах и речах, которые порой, как бы мимоходом, опровергают или уточняют Солженицына — публициста и футуролога.

Однако и «тюремная» проза Солженицына, как известно, вызывает ныне кривотолки, нападки — и Запада, и Востока, — и наладки, на первый взгляд серьезные.

В самом деле, между жанрами нет глухих переборок. Писатель — не подводная лодка, разделенная на отсеки. Публицист Солженицын, футуролог Солженицын (о чем разговор впереди) — не привел ли он и свою большую прозу к националистическому крену, возможно, сам того не замечая?

Россия — страна многонациональная. Недалек от истины воинствующий националист И. Шафаревич, сказавший, что «в смутную эпоху классовая ненависть, вероятно, не сможет больше стать той спичкой, которая подожжет наш дом. Но национальная — вполне может. По подземным толчкам, которые слышатся сейчас, можно судить, какой разрушительной силой она способна стать, вырвавшись наружу».

Потому изо всех нынешних претензий и вопросов к Солженицыну-писателю я выбрал эту: не шовинист ли бессмертный Солженицын? Автор «Одного дня…», «Ракового корпуса», «Круга…», «Архипелага…». Не антисемит ли? Если шовинист, то он бессмертный поджигатель, бессмертный стравливатель, — мне, автору «Заложников», книги о государственном шовинизме в России, исследователю «дружбы

народов» в советском государстве, негоже уходить от этого вопроса… тем более что мне и не дают от него уйти: не было еще у меня ни одного публичного выступления или лекции, на которой мне бы его не задавали…

Если большая проза Солженицына — проза разобщителя, проза, хоть в малой степени, стравливателя, то мы все ошиблись в Солженицыне, тогда уж он воистину — «не он!».

…Когда Солженицын был в России и его жизни угрожала опасность, я считал своим человеческим и писательским долгом ограждать его от хулы и напраслины, даже если бы мне и хотелось его в чем-либо упрекнуть. Когда человек стоит на железнодорожных рельсах и мчится поезд, который вот-вот задавит его, глупо говорить человеку, что у него, скажем, одна штанина выше другой или рубашка задралась… Надо стаскивать человека с рельсов, спасать его.

Теперь Солженицыну, слава Богу, ничто не угрожает. Теперь обо всем, связанном с ним, можно говорить спокойно.

…Есть такое понятие в художественном творчестве, которое известно профессионалам и знания которого нельзя требовать от каждого. Понятие это — впечатляющая сила произведения.

Впечатляющая сила, скажем, второй части «Архипелага ГУЛАГ» не оставляет двух мнений. Евреи-палачи написаны выпукло, с разящей силой, даже портреты их представлены для усиления впечатления, а евреи-жертвы, о которых тоже сказано, упомянуты то тут, то там, бухгалтерский баланс сходится, а вот впечатляющая сила различна.

И вот уже поднялись во всех частях земного шара, и в России, и во Франции примолкшие было голоса юдофобов или просто обывателей — «такальщиков». «Все, все от евреев. И революция, и все…» А с другой стороны пополз неостановимый слух о злостном антисемитизме Солженицына; о Солженицыне — поистине «советском человеке», который из тюрьмы вырвался, да только тюрьму унес в себе… И закрывать глаза на такие суждения глупо, а иной раз — преступно…

Никакими «обеляющими» анализами и подсчетами положительного-отрицательного количества героев по национальному происхождению, как это попытался сделать недавно в статье «Кольцо обид» ученый-кибернетик Р. Рутман, никакими литературно-математическими выкладками клеветы на писателя не развеешь, ибо подход этот, благородный по замыслу, не учитывает главного компонента художественного творчества — впечатляющей силы произведения, а он-то все и определяет.

И в самом деле, А. Солженицын оставил без внимания — словно этого не было никогда, — следующее. Октябрьская

революция, только сам ее кратковременный акт, унесла в могилу 600 тысяч евреев, главным образом коммерсантов, больших и маленьких, однако все равно подлежащих экспроприации. 600 тысяч — это десять процентов еврейского населения России в то время (всего было около шести миллионов). Затем были умерщвлены или заточены в тюрьмы почти все раввины-хаббатники и раввины прочих религиозных ответвлений, коих в еврейской религии всегда было немало. Взяли, как известно, даже Любавичевского ребе, и только бурный протест Америки вызволил его из тюрьмы (в обмен на что-то или кого-то, уже не помню).

В двадцатые годы были схвачены все бундовцы, затем сионисты и прочие полуорганизованные в профсоюзы евреи-рабочие и ремесленники — число схваченных и умерщвленных, в процентном отношении, огромно.

Были запрещены — постановлением советского правительства два языка: старославянский и иврит как языки реакционные, «языки церковников…»

Священнослужителей, как и народ, били на равных. Я, к примеру, писал в армейских анкетах о том, что мой дед по матери «резал кур и был за то лишен избирательных прав». Как хохотали командиры эскадрилий и начальники строевых отделов, доходя до этого места. «Ха-ха, резал кур…» А уж как было смешно, когда всю семью деда выкинули по этой причине из квартиры, всех — деда, бабку, шестерых дочек, их мужей, внуков.

Точно так же, как за пятнадцать лет до этого, в 1914 году, вышвырнули прадеда — бывшего николаевского солдата — и всю огромную семью прадеда из его дома на Виленщине, на основе указа Николая Николаевича, наместника царя, распорядившегося выселить всех евреев из прифронтовой полосы (в 400 км) как «потенциальных немецких шпионов»…

А прадед мой пролил кровь за Россию еще во время первой обороны Севастополя, имел награды и как николаевский солдат, отслуживший царю и Отечеству 25 лет, получил даже клочок земли под Вильно, тот самый, с которого его и вышвырнули, окруженного конвоем казаков…

Кольцо обид!.. Кольцо обид!.. Вырвемся из этого кольца, продолжим спокойно.

Имел право Солженицын-писатель написать так, как он написал? Имел! У каждого писателя есть, по выражению Толстого, своя больная мысль, есть она и у Солженицына, которому страдания русского народа и русской церкви ближе, больнее, чем страдания еврейского народа и еврейских священнослужителей.

Я, например, в России выступал в защиту моих друзей, не выделяя их по национальности, даже мысленно не выделяя. Среди них были и русские — их было большинство, и евреи, и литовцы. Я выступал против преследования крымских татар как народа.

Но написал я роман-документ «Заложники» — о нарастании в России государственного антисемитизма, о горькой судьбе русского еврейства, ибо это, видимо, было моей больной мыслью.

Значит ли то, что я не написал книги об истреблении крымских татар, хотя проклинал их палачей, — значит ли это, что я в душе — татарофоб или «с татарофобским душком», как теперь любят говорить, заменяя слово «татарофобский» любым другим?

Отнюдь не значит. Видит Бог, трагедия крымских татар — и моя трагедия. Но больная мысль (применяя все то же мудрое выражение Толстого) — одна. Одна, естественно, в какой-то определенный исторический отрезок времени, когда писатель вынашивает то или иное произведение, живет им.

Почему же я — не татарофоб, а Солженицын-романист — антисемит на все времена?

Солженицын, автор романов «В круге первом» или «Архипелаг ГУЛАГ», не виноват, что рядом с ним не существовали другие Солженицыны, которые о страданиях и жертвах других народов могли бы написать с такой же впечатляющей силой и тем уравновесить общественный резонанс.

Однако сегодня он один, и это, именно это вызвало крен общественной мысли, и, так сказать, кружение сердца — исстрадавшегося, исполосованного еврейского сердца…

Писатель вправе писать о главной своей боли, он не универсальный магазин, где выставлено все.

И не надо Солженицына защищать, надо объяснить его право сказать то, что он сказал. Это святое право писателя!.. Тем более сталкивать его с Горьким, как это сделал тот же Р. Рутман, находя несовместимыми точки зрения Солженицына и Максима Горького на вековые обиды еврейского народа.

Ныне модно — на Западе — плевать на Горького. Кстати говоря, в какой-то мере он заслужил это, сформулировав во времена сталинского террора свои крылатые наставления: «Если враг не сдается, его уничтожают». Он поддерживал сталинщину и был уничтожен ею (см. воспоминания художника Ю. Анненкова, воспроизведшего факты отравления Горького Сталиным, известные в России многим).

Но бессмысленно, неумно размещать Солженицына и Горького на различных чашах весов, как бы Солженицын ни относился к трагедии Горького.

Дело в том, что Горький на этой чаше весов не один. Рядом с ним, на той же чаше весов, Короленко. А за ним стоят рядом — Герцен и Щедрин, который написал самые прозорливые слова о трагедии еврейского народа: «Даже поднятие уровня образованности, — пишет он в «Неоконченных беседах», — как показывает антисемитское движение в Германии, не приносит в этом вопросе осязательных улучшений». Что же нужно? «… чтобы человечество окончательно очеловечилось. А когда это произойдет?»

И ведь написал это Щедрин чуть ли не за столетие до газовых печей и Освенцима…

Потому нецелесообразно, мягко говоря, огород городить — выстраивать, «защищая Солженицына», новую теорию о правоте Солженицына и неправоте Горького в национальном вопросе.

Не с Горьким, в таком случае, пытаются столкнуть Солженицына. Не только и не столько с Горьким. А со всей общественно-чуткой русской классикой XIX и XX веков; прежде всего с Короленко, Герценом, Салтыковым-Щедриным…

Если мы хотим для России, многонациональной России, светлого будущего, мы должны сейчас додумывать все вопросы до конца. Иначе кровопролитие не будет остановлено. Никогда.

Существует два Солженицына. Александр Солженицын бессмертный. Автор «Одного дня…», «Матренина двора», «Круга…», «Ракового корпуса», «Архипелага ГУЛАГ». Вызвавший сдвиг в литературе и общественном сознании. Давший толчок целому направлению в искусстве — словом, породивший время Солженицына.

И Александр Солженицын — болезненно-субъективный, остервенелый от боли за попавшую в тупик Россию. Солженицын смертный…

Солженицын бессмертный не противостоит ни Щедрину, ни Короленко, печальникам и борцам земли Русской. Он — рядом с ними.

Солженицын смертный…

Эгоцентричность прозы Солженицына, явление самобытное, справедливо осознанное как достоинство, оказалось, как видим, лишь одной из сторон восславленной личности. Дало себя знасть и в эмоциональной футурологии, и в «огнепальной» публицистике, не идущей в своих размышлениях до конца.

Но об этом в своем месте.

3. Фронт военный и фронт тюремный

Литература — дело партизанское. Где отпор — там фронт…

Он возник из-за панического противодействия властей, самиздат отвергнутых рукописей. Задолго до Солженицына.

Года через два после смерти Сталина, помню, пришла в журнал «Новый мир» рукопись бывшего чекиста. Мне дали пробежать несколько страничек: «Ежов в Свердловске…»

«Железный нарком» Ежов, сообщалось в рукописи, прибыв в Свердловск, собрал работников госбезопасности. Свердловск не выполнил ежовской разверстки, плохо искоренял «врагов народа», и нарком стучал по трибуне кулаком.

Едва он сел на свое место, к трибуне пробился парень в гимнастерке. Лицо простое, крестьянское. Работник органов. В руках он нес чемоданчик. Не выпуская из рук чемоданчика, он произнес в микрофон твердым, низким от волнения баском, что в Свердловске уничтожают верных Родине людей, патриотов.

И начал рассказывать о пытках… Договорить ему не дали. Вывернув руки назад, стащили с трибуны и тут же во дворе застрелили.

Тогда в зале поднялся второй паренек, тоже с чемоданчиком (ребята готовились к тюрьме), и сказал, что он разделяет взгляды своего товарища и может подтвердить, что уничтожают ленинцев.

Его застрелили в том же дворе через десять минут.

Больше никто не протестовал…

История Веньки Малышева, рассказанная Павлом Нилиным в повести «Жестокость», немедля получила, как видим, документальное подтверждение, хотя Павел Нилин не мог знать этой непошедшей рукописи: «Новый мир» не был «Новьм миром» Твардовского. Главным только что стал К. Симонов… Рукопись отправили обратно, куда-то в провинцию, как впоследствии и сотни и тысячи произведений — документов «тюремной прозы», от которых уже и не знали, как избавиться.

Рукописи профессионалов возвращались не всегда. Уходили «на консультацию». Приходили порой без некоторых страниц. К примеру, из моей рукописи исчезла главка о ханжеском призыве вождя: «Нам Гоголи и Щедрины нужны!» Перекочевала, видно, в «седьмую» комнату милиции: в России еще не было копировальных аппаратов. Впрочем, будь и они, — чего стесняться в своем отечестве!»

«Терялись» страницы и у моих друзей.

Страшнее всех пострадал, однако, Василий Гроссман.

Вот как, по рассказу Гроссмана, был конфискован его сталинградский роман, о котором «донес» в ЦК Вадим Кожевников, в то время главный редактор журнала «Знамя».

Явились на квартиру писателя на Беговой улице среди бела дня два человека и сообщили будничным тоном

водопроводчиков, которые пришли чинить прохудившийся кран: «Нам поручено извлечь роман».

Дознание в КГБ велось точь-в-точь, как и двадцать лет спустя, когда искали «Архипелаг». Бросили на следовательский «конвейер» больную женщину-машинистку. «Конвейер» — это когда следователи меняются, а подследственный — нет.

Несчастного человека, вовсе еще ни в чем не обвиненного, истязают все подряд, весь следовательский отдел попеременно, — и двадцать часов, и сорок. Вплоть до обморока, сумасшествия, смерти или признания…

Вырвали на конвейере признание и у машинистки Василия Гроссмана. «Сколько печатали экземпляров? Кто помогал?»

Затем опергруппы КГБ провели широкую операцию: в разных областях СССР были проведены обыски — у родных, друзей, знакомых Гроссмана — и извлечены все экземпляры рукописи, черновики, записные книжки, даже ленты пишущих машинок.

Вызвали в ГБ Василия Гроссмана, спросили со скрытой издевкой: «Ну, как? Все у нас? «Все», — глухо ответил Гроссман. «Нехорошо быть неискренним перед органами», — усмехнулся тучный гебист и достал последний, семнадцатый экземпляр, который хранился у двоюродного брата писателя в дальнем городе.

Секретарь ЦК КПСС Суслов согласился принять убитого горем писателя. «Нет, — сказал он вежливо, почти благодушно, угощая писателя чаем, — это не то, что мы ждем от вас. Такую книгу можно будет издать, думаю, годиков через двести — триста… Мы не можем сейчас вступать в дискуссии, нужна или не нужна была Октябрьская революция».

Писатели избегали Василия Гроссмана, как прокаженного.

Как страшился талантливый прозаик Борис Ямпольский, потерявший всех друзей в тридцать седьмом году, переступить порог своего «поднадзорного» соседа! Но — преодолел свой страх, единственный из немногих пришел и, тщательно затем закодировав свои записи, оставил последующим поколениям предсмертные слова Василия Гроссмана: «Меня задушили в подворотне».

И все-таки он не дал придушить себя в гебистской «подворотне». Вопреки повальным обыскам, у друзей и редакторов остались отдельные главы, черновики, которые попали на Запад, но главное — он успел, буквально за несколько дней до смерти, завершить повесть «Все течет», о которой речь впереди, — ударил своих убийц из-под крышки гроба.

Биолог Жорес Медведев не ждал, когда за рукописью приедут. Человек науки и точного расчета — недаром ему

позднее была уготована властями калужская психушка, — он развез рукопись сам. И быстро. По квартирам ученых, редакциям, друзьям. Его рукопись о разгроме биологической науки, о многолетнем палачестве Лысенко стада первой рукописью, широко разошедшейся по стране.

Высочайшее одобрение (Хрущевым) солженицынской темы и успех «метода Жореса», который обошелся вообще без печатного станка, совпали по времени и вызвали последствия необратамые.

Широко известны радостные восклицания Александра Твардовского, Григория Бакланова и других писателей: «Теперь нельзя писал» по-старому!», не очень пугали ЦК — КГБ: печатной литературе всегда можно свернуть шею, как куренку.

«Свернули шею» — изругали-«проработали», изъяли из библиотек честную, мужественную книгу историка А. Некрича «1941».

Под ней мог подписаться любой фронтовик, начавший войну первые дни и отступавший затем до Москвы или Сталинграда.

Книгу «обсудили» в инстанциях. Это «обсуждение» попало в самиздат. Разошлось по России, возможно, большим тиражом, чем сама книга.

В спор с государственным враньем включались все новые авторы, среди них несколько позднее генерал Григоренко.

Москвичи в те годы таскали рукописи в авоськах и хозяйственных сумках: самиздат весом и объемен. Его читали и те, кто, по обыкновению, редко раскрывал книги: писатели и историки стали, неожиданно для самих себя. Верховным судом, вскрывавшим преступления, не слыханные в истории. В том числе, преступления Верховного суда государства… Не успели одолеть еще толстущий том историка Роя Медведева о злодеяниях И. Сталина — загуляла по рукам рукопись писателя Марка Поповского о судьбе академика Николая Вавилова, уничтоженного по навету Лысенко и «лысенковцев». Марк Поповский уличил «лысенковцев» в кровавой лжи — всех до единого. Представил копии подписанных ими доносов… Позднее появились блистательные эссе знатока Востока Григория Померанца, затем рукопись повести «Квартира № 13» талантливой Анны Вальцевой; стоило этой повести, сокращенной, почти погубленной, увидеть свет в журнале «Москва», как из него тут же изгнали главного редактора, прозаика Николая Атарова. Посадили, вместо профессионального писателя, армейского полковника из Политуправления, который ввел в литературоведение две новых научных категории: «Рукопись ай-ай-ай!» и «Рукопись не ай-ай-ай!».

Полковник забил тревогу: кругом было сплошное «не ай-ай-

ай!». Особенно когда по стране загуляли запретные романы Солженицына, а вскоре — «Воспоминания» Надежды Мандельштам. Их читали по ночам, в поездах, на работе, прикрыв странички рукописи официальными бумагами.

Ох, как встревожила власти Ниагара самиздата! Возле писательского дома задержали жену знаменитого драматурга, несшую тяжелый сверток. В нем оказалось белье из прачечной. Молодцы в шляпах, обыскивавшие «подозрительных», были отозваны. Их место заняли другие.

Самиздат затопил и журналы. Журнал был необходим самиздатчикам — пусть и уверенным, что их никогда не напечатают, — только как вокзал: из редакции рукопись ведь могла попасть куда угодно. Журнальная отметка гарантировала алиби.

Водопад самиздата решили запрудить по всем правилам щедринского города Глупова: завалить навозом. К этому и приступили — 10 февраля 1966 года.

Процесс Даниэля и Синявского известен на Западе во всех деталях. По счастью, в это время не было ни девальвации доллара, ни подорожания бензина, — сенсацией стала Россия, которой снова, как во времена Сталина, забивали кляпом рот.

Любопытно, как восприняли беду полностью дезинформированные советские писатели, которых не пускали на открытый процесс: только самых «проверенных» пускали, да и то лишь на одно заседание, чтобы ни у кого не могла сложиться цельная картина.

Однако «проверенные» собирались затем в писательском клубе, за ресторанными столиками и, окруженные толпой писателей непроверенных и даже подозрительных, пытались восстановить общую картину.

Реплики звучали порой самые неожиданные.

— Бегуны, — презрительно отозвался о писателях-подсудимых толстый благополучный критик Ш. — Подкоп вырыли под «запреткой» и на карачках на Запад…

Старый писатель, прихлебывавший кофе, обронил вдруг:

— А как бежать другим способом?

Синявского недолюбливали — это усложняло дело. Русь охотно прощает запой, невежество, даже честную глупость, но только не двуличие. А Синявский в одно и то же время печатал статьи и за, и против соцреализма. За — в России, против — вдалеке…

— Кто его принуждал сидеть между двух стульев? — раздраженно говорил прямой и бескомпромиссный А. Яшин. — Занимался бы Гоголем, Чеховым, а там мочился бы на

соцреализм… Это хоть можно понять. А так? Тьфу! С этим я соглашался. Но только с этим.

Говорил себе со вздохом, что традиция русской классики, видно, не готовит к восприятию иронически-гротескной манеры Синявского.

«Объелись овсянкой соцреализма», — повторял я, когда слышал отзвуки осуждения Синявского-прозаика в устах знакомых.

Всю прозу Синявского, книгу за книгой, я смог прочитать лишь на Западе. И похолодел.

Я увидел, что проза Синявского — это, за редким исключением, реминисценции из Орвелла, Рэя Бредбери, Кафки, Гоголя, Щедрина, Грибоедова, Достоевского, Булгакова, Замятина, Ильфа и Петрова, Солженицына… и так вплоть до Дудинцева, драматургов Розова, Ю. Роста, газетного поэта Ошанина, и анекдотного «изюма».

Каждая из этих реминисценций, окрашенная иронией Терца, несомненно, имела бы право на существование. Иронично-фантастическая проза — кто бы не радовался ей?! Но густой, возможно, принципиально густой лапшевник из, на мой взгляд, навеянных книгами мыслей, пусть даже с ироничной приправой, дал новое качество, которое в литературе не имеет права на существование, — вторичность.

Сила литературоведа Синявского обернулась слабостью Синявского-прозаика.

В Москве старые писатели говаривали о плагиате. Повторяли давнюю фразу Юрия Олеши: «Конокрад! На чужих конях въезжает в литературу».

Плагиат?.. Нет, конечно! Это именно вторичность, та вторичность, которая отличает Леонова от Достоевского, Чирикова от Чехова, Абрама Терца… от Булгакова…

Имеют ли, в таком случае, отношение к Синявскому слова Осипа Мандельштама из «Четвертой прозы», приведенные Синявским в одной из книг как эпиграф: «Все произведения мировой литературы я делю на разрешенные и неразрешенные. Первые — это мразь, вторые — ворованный воздух».

«Ворованный воздух» Мандельштама — это его «город, знакомый до слез, до прожилок, до детских припухлых желез»…

Только прошептать можно было, только записать украдкой: «Ты вернулся сюда — так глотай же скорей Рыбий жир ленинградских ночных фонарей… И всю ночь напролет жду гостей дорогих, шевеля кандалами цепочек дверных…»

«Ворованный воздух» Мандельштама — это воздух его жизни. «Ворованный воздух» А. Синявского — уж слишком часто! —

заемный «воздух литературы».

Разный, совсем разный «ворованный воздух» у поэта Мандельштама и книжника Синявского.

Синявский знал об этом.

«Уж если чтение книг — наподобие кражи, то как же не быть немножечко в романтическом духе».

«Познание всегда агрессивно и предполагает захват». Эта прокламированная позднее «вторичность», несомненно, ослабила для России воздействие прозы Андрея Синявского, рвущего, с болью и злостью, в тоске и яростном смехе, с подлой и лживой советской действительностью.

Я намеренно не вступаю здесь в полемику с авторами величальных статей о прозе Синявского, изданных на Западе: моя задача совсем иная, я хочу понять, почему его проза, внимание к которой было подогрето скандальным процессом, не вызвала у московских писателей большого интереса.

Но раздумья мои о прозе Синявского — поздние, нынешние. В те дни волновало совсем иное. Судьба писателей Синявского и Даниэля, особенно когда мы достали наконец полный текст обвинительного заключения. Цинизм «заключения» возмутил всех. Власти обличали, скажем, рассказ Даниэля «Руки», как призывающий к возмездию за насилие, которое советская впасть «якобы чинила над народом…»

Якобы?! Шестьсот писателей, значит, не умирали в лагерях, а якобы умирали?..

Писатели зашептались о храбрости Даниэля, который со скамьи подсудимых отважился заявить, что «страна накануне вторичного установления культа личности».

Даже талантливый Ярослав Смеляков, багроволицый, с остановившимися глазами, который трижды побывал в концлагере и о процессе не хотел даже слышать, вдруг трезвел: становилось ясно, что судят всех нас.

Официальный навоз унесло, поток самиздата рванулся дальше. Это было главным провалом сановных глуповцев, хотя тревожила их, по обыкновению, лишь видимая часть: бушующая западная пресса.

Писательский клуб заполнили неведомые мальчики со спортивным разворотом плеч, и обсуждение перенеслось на писательские квартиры. А в клубе постанывал лишь КГБшный журналист Аркадий Сахнин:

— Надо было их за валюту привлекать, а не за литературу.

Литература оказалась неподсудной.

Статья Синявского «О социалистическом реализме» была подхвачена самиздатом, как ветром. Во многих домах спорили о

главной мысли статьи: по своему герою, содержанию, духу социалистический реализм был, в сущности, русским классицизмом XVIII века, нацепившим комсомольский значок.

Статья была нашей общей радостью. Как и второе исследование Синявского — о поэме «Братская ГЭС» Евгения Евтушенко.

А. Синявский — исследователь и эссеист привлекал к себе внимание думающей России неизменно. Как и Ю. Даниэль — прозаик.

Юлий Даниэль — Николай Аржак, прикандаленный историей к Андрею Синявскому, также не обойден западными исследователями. День открытых убийств в книге Даниэля 61-го года, объявленный советским правительством, наряду с праздничными днями шахтера, строителя и пр., вызвал рассуждения исследователей о подпольном человеке, которому советская власть даровала день торжества.

Мы в России были потрясены, пожалуй, не этим. Подпольный человек торжествовал, на наших глазах десятки лет бесчинствовал в культуре, пропивал колхозы, убивал невинных… Люди из подполья Достоевского, портреты которых висели на всех перекрестках, загоняли в подполье нас. Мы были потрясены страшным будущим России, предсказанным поэтом. Скажем, его прозорливым, психологически точным описанием реакции на День открытых убийств в советских республиках. На законопослушной Украине «день» приняли как директиву. Заранее подготовили проскрипционные списки. В Средней Азии была резня. Все русских резали. В Прибалтике игнорировали, никого не убили.

Мы поняли сразу: пришел психолог-снайпер, бьющий без промаха.

Самое глубокое произведение Даниэля — «Искупление» — меня пронзило: «Они продолжают нас репрессировать. Тюрьмы и лагеря не закрыты! Это ложь! Это газетная ложь! Нет никакой разницы: мы в тюрьме или тюрьма в нас! Мы все заключенные! Правительство не в силах нас освободить! Нам нужна операция! Вырежьте, выпустите лагеря из себя! Вы думаете, что ЧК, НКВД, КГБ нас сажало? Нет, это мы сами…»

Поскольку о властях, о Ленине — здесь ни слова, прокурор лишь вскользь отметил сакраментальное место…

Суд надергивал цитаты, боясь углубляться, спорить… Общественный обвинитель Зоя Кедрина, бывшая начальница Синявского по Институту мировой литературы, перетрусившая насмерть, страшилась даже коснуться политических тем; пробормотав рекомендованное, она поставила в вину Даниэлю от

себя, критика — художественную яркость рассказа «Руки».

Спасибо Зое Кедриной! Не зря она приняла свой заслуженный позор: рассказ «Руки» тут же стал самым читаемым в Москве произведением. Он хлынул, по словам поэта, «летучим дождем брошюр».

Даниэль вошел в обиход сразу, «левых» поэтов-приспособленцев теперь иначе и не называли, как «эти… из Даниэля». Левый художник из книги «Говорит Москва», прибежавший с плакатом-призывом «Ко дню убийств», выполненным в прогрессивно-«левой» манере, стал нарицательным образом целой плеяды прославленных хитроумцев от поэзии, о которых еще будем говорить.

Как ни точна и ни прозорлива проза Даниэля, все же, на мой взгляд, своей художественной высоты, своего полного самовыражения он достиг в поздних «Стихах из неволи».

Проза была написана человеком беспощадным и удачливым. Стихи создавало страдание, умудренное застенком, зажавшее «зубами крик».

Вся лагерная литература, начиная от Солженицына, не говорит об охранниках, а скорее плюет в их сторону. «Попка», «вертухай» — иными словами не удостаивают. Да и что, кажется, можно сказать о людях, натасканных, как овчарки. «Шаг в сторону…» — и тебя нет. Убийцы!

Но вот бросил взгляд на своего убийцу зэк Юлий Даниэль и увидел, что людей от него, поэта, охраняет

Нет, не робот, не мрачный тупица…
Не убийца, влюбленный в свинец,
А тщедушный, очкастый, зеленый
В сапогах и пилотке юнец.
Эй, на вышке! Мальчишка на вышке!
Как с тобою случилась беда?
Ты ж заглядывал в добрые книжки
Перед тем, как пригнали сюда.
Это ж дело хорошего вкуса:
Отвергать откровенное зло.
Слушай, парень, с какого ты курса?
Как на вышку тебя занесло?

Что это? Стихи об обманутом поколении? Страдание поэта и прозаика Эммануила Казакевича, у которого лейтенант Огарков из повести «Двое в степи» все подписал, не задумываясь? Даже смертный приговор самому себе…

Горькая тема поэта, выпавшая из его перебитых рук,

подхвачена другим поэтом… через двадцать лет.

Однако за двадцать тоталитарных лет много воды утекло. «Очкастый, зеленый юнец» — Огарков Даниэля — несет службу своего конвойного Джурабаева.

Вот где он оказался, честнейший Огарков, спустя четверть века государственного ханжества. На вышке. Откуда можно безнаказанно пристрелить любого.

«А если я на проволоку, — с болью, снова и снова, «зажав зубами крик», спрашивает его поэт. — Если:

Я на «запретку»? Если захочу,
Чтоб вы пропали, сгинули, исчезли?
Тебе услуга будет по плечу?
Решайся, ну! Тебе ведь тоже тошно
В мордовской Богом проклятой дыре.
Ведь ты получишь отпуск — это точно.
В Москву поедешь — к маме и сестре.
.
И ты не вспомнишь, как я вверх ногами
На проволоке нотою повис.

Крестьянина из глуши, едва научившегося писать, немудрено порой убедить в чем угодно. Но куда и за кем пошли ребята, которые заглядывали в «добрые книжки»?

Новая тема, опаснее гриба атомного разрыва, поднялась над Россией. За кем пойдет поколение огарковых новых десятилетий? В кого будет стрелять? Кого давить танками? Мир жаждет дружить с ними. А — они? На вышке? На той вышке, о которой так любил говорить в своих речах Фадеев. Мы «на вышке»… На вышке истории, на вышке времени, на вышке единственного правильного учения…» Неужели так они и будут смотреть на мир со своей вышки, сквозь прорезь прицела?

Или куда хуже! Откроется цинизм, опустошенность оборотней, которые, от скуки или тайной привязанности, мурлычут романсы добитых ими поэтов.

Не правнуки, не потомки —
Дождавшись сановного знака,
Сегодняшние подонки
Цитируют Пастернака…

Даниэля куда больше собственной судьбы, как видим, тревожит судьба «мальчишки на вышке», принявшего свое

палачество как неизбежное; мальчишки, которого принуждают расстреливать мир, не верящий, что такое возможно…

Поэт мало озабочен собой, своей тяжкой судьбой (о том, как пришлось мыкать горе самому Даниэлю, мы достоверно узнали из книги А. Марченко «Мои показания»). Поэт несчастен, видя, как мальчишки в сапогах гонят назад прибывших издалека «плачущих женщин», за плечами которых «рюкзаки с нерастраченной страстью, рюкзаки с многолетней тоской».

Он в отчаянии и от всеобщей злобы, и от омрачающего ум лагерного сленга.

> Человеку — конец. Человечности — тоже хана.
> Кроме миски баланды, не будет уже ни хрена…

Как не впасть в отчаяние, когда последний оплот России, только и спасавший некогда Тургенева от безысходности, когда сам великий русский язык начинает служить карателям, как мальчишка на вышке.

> …этот ублюдочный слог
> В каждом доме живет, он обыденным сделаться смог.
> Ну, так что ж ты, Филолог? Давай, отвечай, говори,
> С кем словечко прижил. Как помог ему влезть
> в словари?

Стихи Даниэля и о новом лагерно-солдатском сленге, и о «прогнившем ворохе» пословиц старых и поговорок про «плеть и обух», про «лоб и стену» — о языке отчаяния и рабства — еще ждут своего исследователя.

Для судебного процесса над мыслью правительство СССР отобрало самого интеллигентного судью — от Минска до Владивостока — благообразного, белолицего Л. Смирнова; стилистические «улики» представил суду крупнейший стилист СССР, утонченный интеллигент, академик В. В. Виноградов, оговоривший, правда, что его интеллигентное имя не будет упоминаться на процессе. Утонченная Зоя Кедрина, обвинитель от народа, гордилась своей голубой кровью и образованностью предков.

Все «культурные резервы» подтянули. А провели процесс, как сапожники…

Юлия Даниэля упрятали, во второй половине срока, во Владимирский изолятор.

Во Владимир запирают лишь тех, кого боятся. Кто опасен

даже в лагере, где вокруг мыслящего и смелого человека десятки, порой сотни душ, взыскующих правды.

Да и как им не бояться, тюремщикам, поэта Юлия Даниэля, который поклялся в Мордовии, в лагере Озерном, в 1968 году, когда «мальчишки на вышке» начали давить танковыми гусеницами мир:

…Мы не посмеем теперь солгать
Тетрадочному листу.
Розовым цветом скруглять углы
Больше невмоготу.
Нам — не идиллия, не пастораль,
Не бессловесный гимн —
Обречены мы запомнить все
И рассказать другим.

Невольно возникают в памяти строфы фронтовика Семена Гудзенко, не шутившего со смертью: «Мы не от старости умрем, От старых ран умрем». Он написал эти строки и действительно умер вскоре от старых ран… Возникают снова и снова в памяти его стихи-клятвы:

…Продолжается битва в дыму и пальбе,
Можешь мертвым в сражении лечь,
Но не смеешь
Ни строчки оставить себе,
Ни удара сердца сберечь.

(Сталинград, 43 г.)

Сошлись, как видим, в России две струи поэзии последней четверти века: фронтовой и тюремной. Легли рядышком стихи пехотинца Гудзенко и зэка Даниэля.

Поколение разметали, распылили; одних восславили как доблестных защитников Родины, других опозорили как ее врагов; а чувства и мысли тех и других схожи, порой буквально.

Десятилетие Солженицына, фронтовика и зэка одновременно, приняло под свои стяги оба фронта, на которые ушло наше поколение, — фронт военный и фронт тюремный.

4. Двухлетний ренессанс. Евгения Гинзбург. Варлам Шаламов

На процессе «обожглись». Писателей за рукописи, попавшие в самиздат, перестали даже вызывать куда следует.

Каратели поутихли, и мы впервые ощутили вкус полузабытого слова «воля».

Два года полуволи. Семьсот тридцать суток.

Этого оказалось достаточно. Джинн был выпущен из бутылки. Джинн к тому же умудренный: «Клеймите за то, что писатели издаются под псевдонимами? Переправляют рукописи на Запад?.. Тайно? Обзываете «перевертышами», трусами?! Хорошо! Будем писать под своими фамилиями, явно! И давать читать другим! Всем, кто захочет!»

Атомное, устрашившее и мир и самое себя государство не было готово к этому массовому тактико-психологическому перевороту в сознании подданных.

Появились вдруг и чтецы-декламаторы, и авторы трактатов и открытых писем, украсивших бы любой литературный журнал. И даже не очень маскировавшиеся распространители самиздата. В Москве жил, к примеру, математик Юлиус Телесин. Теперь он вне России, я могу назвать его имя. Он являлся к друзьям, по обыкновению «шурша листами», которые он переносил под подкладкой пальто или куртки. В отличие от Гамлета, принца Датского, Юлиуса Телесина называли «принц самиздатский».

В своих записках, подготовленных уже после выезда из СССР, он, в частности, отметил эту любопытную сторону дела — растерянность карательного аппарата.

«Когда перед началом очередного обыска у меня дома, — пишет Телесин, — следователь обратился ко мне с предложением «выдать добровольно самиздат», я ответил, что если бы речь шла об оружии или наркотиках, то я бы понял, чего от меня хотят, точный же юридический смысл понятия «самиздат» мне неизвестен, и я просто не знаю, что именно его интересует».

Следователь, по рассказу Телесина, не нашел, что ответить.

«По-видимому, и для судебных работников пришло время уточнить это емкое понятие, — сообщает далее Телесин. — Недаром на первом «чисто самиздатском» показательном процессе И. Бурмистровича в мае 1969 года судья Лаврова почти каждому свидетелю задавала вопрос: что он, свидетель, понимает под самиздатом? Бурмистровича обвинили в том, что он распространяет произведения, «порочащие советский государственный и общественный строй», выбрали именно его, потому что проследили: он дает читать произведения Даниэля и Синявского, т. е. произведения клейменые. Официально приговором суда причисленные к «порочащим».

Суд в СССР, как известно, в отличие от английского, не

руководствовался «прецедентным правом». А тут впервые, возможно, в советской юридической практике прибегли к «прецеденту» как к основаник) для новой серии процессов: в Уголовном кодексе РСФСР понятия «самиздат» нет.

Теоретическая мысль советской юстиции более полувека озабоченная лишь тем, как оправдать произвол карательных инстанций, пребывала в состоянии летаргии. Или после проработок в ЦК. — истерии.

Генерал-майор А. Малыгин в журнале «Молодой коммунист» № 1 за 1969 г. заявил, что «так называемый самиздат» рожден при прямом подстрекательстве западных разведок.

Страшновато звучит! Лет на десять со строгой изоляцией.

Однако на суде над Бурмистровичем о западных разведках и не вспоминали.

Обмишурились и на этот раз.

Пока юридические малыгины и топтыгины раскачивались, а раскачивались они более десяти лет примерно с 63-го до 73-го года, когда СССР решил для удушения самиздата присоединиться к Международной издательской конвенции, пока суды вопрошали, что такое самиздат, пока писателей только запугивали или травили во внесудебном порядке, — литература самиздата совершила свой рекордный взлет. Пишущие машинки застрекотали во многих домах. В портфелях и хозяйственных сумках поплыла по стране и так называемая «тюремная проза», лучшие рукописи которой окажутся произведениями, далеко выходящими за рамки «тюремного жанра», литература поднялась с такой же стремительностью, как и в 56-м году после антисталинского съезда. Только в отличие от 56-го года, года надежд, тюремная проза, клейменая каторжная проза не стала ждать казенного напечатания. Тут же стала самиздатом.

Здесь уместно замечание, существенное для исследователей этой темы: самиздат по очередности появления в СССР делится на две неравные части. Самиздат авторов, скажем, А. Солженицына и В. Гроссмана, который широко распространялся по стране и лишь затем уходил за границу. Магия славных имен действовала безотказно.

И самиздат никому неизвестных или молодых писателей, который вначале печатался за границей, а затем в случае успеха за рубежом приходил в СССР. Так пришел Андрей Амальрик.

Амальрика вскормил, ободрил самиздат известных писателей, хотя «писательский самиздат» появился на Западе, за немногим исключением, позже книг Амальрика. Синявский, Даниэль и Тарсис, как известно, так же не существовали в СССР, как самиздат до публикации на Западе.

Потоки были встречными, взаимно обогащающимися.

Но бывало и хуже; Запад долгие годы игнорировал самобытную рукопись, повесть В. Ерофеева «Москва — Петушки», которую Россия читает уже много лет и к которой еще вернемся. Быть может повесть «Москва — Петушки» была трудна для перевода? Или с ней, было трудно согласиться?

Самой талантливой книгой о Гулаге, кроме «тюремной прозы» Солженицына, по моему убеждению, является книга Евгении Семеновны Гинзбург-Аксеновой «Крутой маршрут» о женских лагерях.

Я познакомился с Евгенией Семеновной при обстоятельствах не совсем обычных. Я занимал выборную «малономенклатурную» должность. Ревизовал вместе с несколькими писателями правление жилищного кооператива «Советский писатель».

Мне сказали, что Е. Гинзбург после 17-ти лет лагерей и ссылок оказалась во Львове, бедствует. Похоронила мужа и теперь совсем одна. А в Москве ей жить негде.

На очередном заседании Правления я предложил выделить Е. Гинзбург квартиру в писательском доме. В успехе не сомневался: не было писателя, который бы не прочитал рукописи Е. Гинзбург.

И вдруг поднимается немолодой, с одышкой писатель Михаил З., по специальности «комсомолец-романтик», и высказывает официальную точку зрения: Е. Гинзбург — не член Союза писателей. И не может быть, так как книги ее не напечатаны. И поэтому давать Е. Гинзбург квартиру нельзя.

Наступила тишина. Я сказал:

— Сидеть в тюрьме все эти годы должен был ты, романтик, а не Евгения Семеновна. По ошибке она сидела вместо тебя. И вот благодарность!

Засмеялись. Закричали, закашлялись: «Голосовать!!!» И дали квартиру Е. Гинзбург — единогласно. Упорствовал один — пунцовый романтик.

На другой день ко мне домой постучала широкоскулая большеглазая женщина с черными цыганскими волосами и сказала прямо с порога:

— Мама я… Василия Аксенова… Ну да, Евгения Семеновна…

Мы подружились. Я мог бы рассказывать о Евгении Гинзбург часами. О ее горьком остроумии, не изменявшем ей ни в дни тревог, ни в минуты радости, когда она, скажем, говорила мне, зардевшись, как девушка:

— Гриша, да ты меня не осудишь? Замуж я выхожу… Все-таки в третий раз. Да и невеста я в годах, шестьдесят четыре скоро.

Не говори, замужество — дело великое! Моя подруга-однокамерница, та, с которой я в Ярославле сидела, померла, так

неделю пролежала на полу, пока хватились. А в замужестве помрешь, сразу похоронят!..

Поселившись в писательском доме, Евгения Семеновна слепо уверовала в мою организационную удаль, которой я лишен начисто и все намекала, чтоб я построил еще и эскалатор в метро «Аэропорт». Для стариков-писателей и зэков, для которых лестницы — мука.

— Передохнем мы, битые-травленные, без эскалатора. Сердчишки у нас на исходе.

Семь лет прожили мы с Евгенией Семеновной по соседству, горевали вместе, смеялись, отправляли посылки ее дочке в Сибирь где «в магазинах ну хоть шаром покати». О чем только не было говорено-переговорено с ней, мудрой, неунывающей Евгенией Семеновной во время долгих ночных прогулок по Аэропортовским улицам, вдали от писательских домов, нашпигованных микрофонами.

— Страхи преодолеваю, — рассказывала с полуулыбкой. — В запертой комнате одна — не могу. Вчера случайно захлопнули снаружи, ключ унесли, так я, не поверишь, об дверь колотилась, кричала. Как в Ярославском карцере. Утром упражнялась: погнала мужа за хлебом, ключ ему в карман сунула, захлопнулась, сижу-дрожу преодолеваю…

Ее акающий казанский говорок до сих пор словно звучит в нашей квартире, где бы мы ни жили. Народные говоры, народная этимология — ее стихия.

— В том, значит, кошмарном лагере, — вспоминала как-то, — деревенская тетка-дневальная не слыхала отродясь такого слова — «кошмар»… Услыхала от интеллигенток, обогатилась. Причитала теперь в страшные минуты: — Дак эт-то што? Дак это кошма! Кошма-а!..

«Крутой маршрут» отражает это ее чувство народной речи в полной мере.

«— Эй девка! Что разошлась-то, а? — спрашивает ее, остановив машину, солдатик-шофер, когда она плачет и бьется в «черном вороне», увозящем ее из Лефортово после страшного приговора: десять лет «тюрзака» (тюремного заключения — Г. С.) — Так реветь станешь, личность у тебя распухнет, отекет… Парни-то и глядеть не станут!

— Я не девка вовсе. Я мать. Дети у меня. Ты пойми, товарищ, ведь ничего, ну ровно ничего плохого не сделала… А они… Десять лет!.. Разбойники!..

— Вот еще на мою голову горласта бабенка попалась! Молчи, говорю! Знамо дело, не виновата. Кабы виновата была — али десять дали? Нынче вот, знаешь, сколько за день-то в расход?

Семьдесят!.. Одних баб, почитай, только и оставляли… Трех даве увез.

Я моментально замолкаю, сраженная статистикой одного дня…»

Евгению Гинзбург ободряют стихи. Помогают выжить. Она читает их в камере. В вагоне. На пересылках. Звучат и Пушкин, и Блок, и Сельвинский, и Пастернак, который то и дело возвращается к ней, чудом избежавшей расстрела в Лефортово: «Каторга, какая благодать!..»

Ссылок, литературных ассоциаций много. Может быть, не меньше, чем у Синявского.

У Евгении Гинзбург — психический уклад женского лагеря, быт — подлинная, неповторимая жизнь, если этот ад можно назвать жизнью. Характеры своеобычны. Каждое наблюдение выстрадано свое, кровное: наблюдение ее зорких глаз.

Литературные ассоциации Е. Гинзбург — стихия, обогащающая главного героя. Литература здесь — внутренняя свобода. Максимально подчеркнутая внутренняя свобода, о которой она говорит и в собственных тюремных стихах: «Есть у меня вот такое, что вы не в силах отнять».

«Крутой маршрут» — проза поэта-гуманиста. Проза мастера, авторское предисловие которого может, правда, насторожить, если не знать широко известного в Москве выражения профессора-востоковеда М. Занда, выражения-ключа к многим смелым и как бы противоречивым рукописям из СССР: «Надо уметь танцевать по эту сторону решетки. На Востоке это привилегия мудрецов».

Нелегко «танцевать по эту сторону решетки» автору, запечатлевшему для многих поколений многоголосицу седьмого вагона — едут матери и сестры в лагеря, мечтают, вспоминают детей, и вдруг время словно булгаковский Воланд приоткрывает будущее мечтателей. Двуплановое восприятие бросает свой зловещий, свой безысходно-смертоносный свет. Мы узнаем, что маршрут седьмого вагона для большинства — последний маршрут… А смертники шутят, поют, читают стихи… Ужас — шутка, ужас — смех. Пожалуй, это не прием, не «психологические волны», хотя многим и покажутся приемом… Это — стихия, неунывающий характер Евгении Семеновны, которая, ожидая расстрела, закручивает локоны на палец, пудрит нос зубным порошком, да еще отмечает про себя, усмехнувшись горько своим привычным жестам: «Ничего удивительного. Шарлотта Корде тоже прихорашивалась перед гильотиной».

С первых строк звучит в книге оголенная правда фронтовой прозы: «Я не подписала лживых обвинений, но скорее всего

потому, что меня не били. Мое следствие закончилось еще до начала широкого применения «особых методов». «Мысль о них (детях — Г. С.) лишала меня мужества». Е. Гинзбург беспощадна и к самой себе, и к зэкам-сталинисткам, и к эсеркам, отвергающим папиросы Евгении Семеновны, поскольку та не бывала в оппозиции. Атеистка, она говорит не тая, что поддерживала ее в смертельно опасные дни великая стойкость религиозных крестьянок: крестьянки отказались на Пасху работать, и тогда их разули и поставили в холодную воду, выступившую надо льдом озера.

«Они стояли босиком на льду и продолжали петь молитвы, а мы, побросав свои инструменты, метались от одного стрелка к другому, умоляя и уговаривая, рыдая и плача».

«Крутой маршрут» (ч. 1) издан за последние десять лет, наверное, во всех уголках земли. Кроме России.

По-видимому, нетрудно понять теперь, отчего был так взбешен тогдашний министр госбезопасности СССР Семичастный, который угрожал Е. Гинзбург в печати.

Быть бы Евгении Семеновне в беде, если б Семичастного не сняли: устроив облаву на сбежавшую дочь Сталина, он провалил многих своих разведчиков, не подготовленных для ловли дочерей Сталина.

Изгнание Семичастного спасло Е. Гинзбург.

Их всего-навсего трое, крупных литературных талантов, выживших в сталинских лагерях и описавших пережитое. Солженицын, Е. Гинзбург и В. Шаламов.

… Я видел Варлама Шаламова всего один раз: не помню, кого я искал, — заглянул в конференц-зал Союза писателей, где шло заседание. Быстро оглядел зал, трибуну. За трибуной, не касаясь ее, словно трибуны вообще не было или она была отвратительно грязной, стоял человек с неподвижным лицом. Сухой и какой-то замороженный, темный. Словно черное дерево, а не человек. В президиуме находился Илья Эренбург, измученный, взмокший, нервно подергивающийся, отчего его седые волосы встряхивались, как петушиный гребень, и тут же падали бессильно.

Эренбург пытался встать и тихо уйти, но человек, не прикасавшийся к трибуне, вдруг воскликнул властно и тяжело: «А вы сидите, Илья Григорьевич!» — и Эренбург вжался в стул, словно придавленный тяжелым морозным голосом.

Знай я тогда о Шаламове хоть что-нибудь, я бы бросил все суетные дела и остался, но Шаламов тогда еще был неведом мне: не отыскав взглядом нужного человека, я попятился из душного прокуренного зала к дверям.

Шаламов как мне рассказывали позднее говорил о расправе с писателями его поколения, говорил что-то угрожающе-неортодоксальное и Эренбург попытался «при сем» не присутствовать: лучшие главы из его книги «Люди, годы, жизнь» — о Мейерхольде, Таирове — цензура вырубала в те дни топором. Он отстаивал их в ЦК. Однако пришлось ему остаться. Вернувшиеся писатели-зэки открывали новую страницу истории литературы — Илья Эренбург не смел, да и не желал прекословить.

Так же, как необычен облик Варлама Шаламова, словно открытого из вечной мерзлоты, в которой заледенел, да так и не оттаял еще, так же необычны рассказы Шаламова. Они резко отличаются и по стилю, и по тональности и от прозы Евгении Гинзбург, и от книг Александра Солженицына, дополняя мир Солженицына своим шаламовским неулыбчивым миром глубинной лагерной России, в котором человек, по твердому убеждению Варлама Шаламова, хуже зверя, беспощаднее зверя, страшнее зверя.

Шаламов не озабочен сюжетной выстроенностью своих рассказов; сюжет хоть и заостряет повествование, но так или иначе трансформирует действительность. Шаламов небрежен порой даже в стиле.

Но никто и не ждал от Шаламова стилистической безупречности, от него ждали правды, и он от рассказа к рассказу приоткрывал такие страницы каторжной правды, что даже бывшие зэки, и не то видавшие, цепенели; шаламовская правда потому и потрясает: она написана художником, написана, как говаривали еще в XIX веке, с таким мастерством, что мастерства не видно…

О самом себе он говорит скупо, Варлам Тихонович Шаламов. Но — объемно.

«Я родился и провел детство в Вологде. Здесь в течение столетий отслаивалась царская ссылка — протестанты, бунтари, критики разные и… создали здесь особый нравственный климат, уровнем выше любого города России…» Только Вологда почему-то не подымала никогда мятежа против советской власти. Ярославль, Север — все вокруг полыхало огнем. Вологда притихла; в 1919 году начальник Северного фронта Кедров расстрелял двести заложников. Кедров был тот самый Шигалев, предсказанный Достоевским. В оправдание он предъявил письмо Ленина: «Прошу вас не проявлять слабости…» Этот давний расстрел едва не прикончил и самого Шаламова: в 1919 году в Вологде застрелили, как заложника, учителя химии. Из этой школы, где учился Шаламов. Шаламов не знал даже формулы

воды и лишь случайно, благодаря зэку-профессору, не поверившему что можно настолько не знать химии, получил «тройку» на экзамене и попал на фельдшерские курсы которые помогли ему выжить.

«Я был осужден в войну за заявление, что Бунин — русский классик…»

Это было второе или третье «осуждение» неукротимого вологжанина, самым глубоким произведением которого, на мой взгляд, является рассказ «Букинист».

В грузовике, трясущемся по колымской дороге, перекатываются в кузове, как деревянные поленья, два человека. Ударяются друг о друга. Двух зэков везут на те самые фельдшерские курсы, о которых только что упоминалось. Шаламов окрестил соседа Флемингом, ибо на фельдшерских курсах он один знал, кто такой Флеминг, открывший пенициллин.

Флеминг — бывший следователь ЧК — НКВД. Он рассказывает о процессах тридцатых годов. О подавлении воли знаменитых подсудимых химией. «Тайна процессов была тайной фармакологии».

Вот когда, оказывается, начались российские «психушки»!

Флеминг — следователь-эстет. Он горд тем, что прикасался к папкам «дела Гумилева»… «Я королевский пес? Государственный пес?..»

От него мы узнаем, что главным осведомителем «по художественной интеллигенции» в Союзе писателей был генерал-майор Игнатьев, автор нашумевшей в свое время книги «Пятьдесят лет в строю». «Сорок лет в советской разведке», — уточняет Флеминг.

Генерал Игнатьев, помню, садился на собраниях в Союзе писателей где-либо неподалеку от трибуны, чтоб все слышать, и аплодировал. медленно разводя руки в белых лайковых перчатках. Ах, как почтительны были с ним Сурков и Фадеев! Я по простоте душевной считал, что секретарям СП импонирует его породистость, которой им так не хватало, и эрудиция полиглота…

«Да, я здоров, — пишет Флеминг в своем последнем письме Шаламову, — но здорово ли общество, в котором я живу? Привет».

Шаламов стремительно разошелся по Руси, особенно в те два года, когда писателей за слово — не сажали; тогда он, как известно, печатался лишь за рубежом в «Новом журнале», может быть, это самый большой вклад журнала в русскую литературу сопротивления.

Спасти прозу Варлама Шаламова — значит спасти большую часть правды; хотя правда его жестока, порой невыносимо жестока. После рассказов Шаламова охватывает чувство безысходности: воистину он заморожен Архипелагом Гулаг на всю жизнь. Черное дерево обожженное молнией, которое видно уж не зазеленеет, но без которого нет и всей правды…

5. Паводок тюремного самиздата

Тюремная литература нигде так не обильна, как в России: лишь Россия выпестовала столько миллионов мечтателей, отрезвленных кулаком следователя. Только за последние годы паводок тюремного самиздата прибил к издательствам Запада, кроме книг А. Солженицына Е. Гинзбург и В. Шаламова, «Дневники» Эдуарда Кузнецова. «Мои показания» Анатолия Марченко, «Репортаж из заповедника имени Берия» Валентина Мороза, «Записки Сологдина» Дмитрия Панина, книги эсерки Катерины Олицкой, сиониста Абрама Шифрина и много других — целую библиотеку тюремной литературы.

Запад, как известно, едва замечал ее (как и другие книги о лагерях, изданные на русском языке ранее), пока не заявил о себе «Архипелаг Гулаг»…

И все же спрос на правду повысился.

Самой недюжинной книгой в этом тюремном потоке являются «Дневники» Эдуарда Кузнецова, философа и мученика, к которой вернемся в главах о национализме. Самой разочаровывающей для меня была книга Дмитрия Панина.

Она разочаровала меня назидательностью и пророчествами, которыми он почему-то не донимал ни меня, ни других в Москве, но решил донять Запад.

Это подлинная болезнь многих выдающихся в своем деле людей — считать, что столь же компетентны и во всем прочем. Во всех проблемах.

Известный ракетный конструктор Ф. дает безапелляционные советы по экономике и политике; моторостроитель Микулин мнит себя первооткрывателем в медицине и требует, чтобы все, желающие быть здоровыми, на ночь «заземлялись»; прикрепляйся к трубе и будь здоров! Сия известная психиатрам мания всезнания становится, увы, не смешной, когда овладевает диктаторами; назидательность и пророчества Д. Панина; хорошего инженера и мужественного человека, увековеченного А. Солженицыным в образе Сологдина из «Круга первого», не опасны; тем не менее вряд ли можно пройти мимо, по крайней мере, одного из его пророчеств и философских умозаключений, в

которых он смыкается со своими мучителями…

Д. Панин выводит из опыта своих страданий, опираясь, разумеется, на весь исторический опыт, что в бедах земли виноват «вредоносный слой». А именно — интеллигенция России. «Российская интеллигенция не только создала революционные партии и направляла их деятельность, но также формировала взгляды многих рядовых людей». Она подняла их против монархии и тем самым ввергла Россию в кровавый кошмар.

Не вступая с Д. Паниным в мировоззренческий спор, как лицо пристрастное, я сошлюсь на высказывание отнюдь не марксиста, а изгнанника, известного зарубежного философа Федора Степуна. Ф. Степун, анализируя причины революции, считает главным ее виновником русскую монархию. И по причине вот какой. Русская монархия не поставила самый образованный слой русского общества на службу народа, а загнала его в подполье: своей тупостью, расстрелами девятого января, распутинщиной она восстановила против себя почти всех.

Вряд ли стоит задерживаться на заблуждениях тюремной прозы — не в этом ее сила. Не будем здесь останавливаться и на форме произведений, на мастерстве или неумении авторов-мучеников. В тюремной прозе важнее «что», а не «как».

Попытаемся сравнить на основе документальных сопоставлений (а тюремная проза, за редким исключением, вся документальна!), попытаемся сравнить безнравственность страшного сталинского самовластия и нравственность сегодняшнего времени, когда, как официально объявлено, «восстановлены ленинские нормы». На пути к дальнейшему исследованию литературы оглядимся вокруг. Углубимся в документы.

Как трансформировались — за четверть века — судьи, режим, средства воспитания, дружба народов, веротерпимость, гласность? В чем нравственная новизна, если есть новизна? Изменилось ли общество, пробуждающееся от ужаса массового террора? Оздоровилось или стало грязнее, циничнее? Тюремная литература дает обильную пищу для размышлений.

Начнем сопоставление текстов с лиц судейских., как представителей советского закона.

Сталинщина

А. Солженицын: «Да не судья судит — судья только зарплату получает, судит инструкция. Инструкция 37-го года: десять, двадцать, расстрел… Инструкция 49-го: всем по двадцать пять

вкруговую. Машина штампует».

После «восстановления ленинских норм»:

Э. Кузнецов 1970 г.: «… прокурор потребовал нам с Дымшицем расстрела…» То, что приговор суда будет полнейшим образом отвечать пожеланиям прокурора, для меня несомненно — ведется крупная политическая игра, в которой наши судьбы в расчет совершенно не принимаются, мы даже не пешки, пешки, — это судьи и прокурор».

УБИЙСТВА В ЛАГЕРЯХ

Сталинщина

(В литературных свидетельствах, цитатах, думаю, не нуждается)

После «восстановления ленинских норм»:

Э. Кузнецов: «В конце лета 1964 г. на моих глазах был зверски убит Ромашов. Хотел упомянуть еще об Иване Кочубее и Томашуке Николае, которых солдаты убивали чуть ли не посередине поселка, да разве обо всех расскажешь»?

А. Марченко: Глава «Рассказ Ричардса» об убийстве литовских студентов. Офицер — раненому студенту, перед тем, как добить его; «Свободная Литва! Ползи, сейчас получишь свою независимость».

В. Мороз: «Граница голодания (по данным ЮНЕСКО) — 2400 калорий. Ниже — деградация умственная и физическая. В карцере, где я сижу (1967 г. пятьдесят лет советской власти. — Г. С.), «повышенная норма составляет 2020 калорий. А есть еще ниже — 1324».

КРИВАЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОРАЛИ

Сталинщина

Д. Панин: уголовников отсутствие курева толкает на донос.

Идут к «куму» (оперуполномоченному): «Начальник, уши опухли. Дай закурить! Хотим заложить контру. Ведет агитацию. Ругает порядки». — «Сейчас оформим протокольчик, а потом закурим».

После «восстановления ленинских норм»:

А. Марченко: (зэк Будровский, оклеветавший Марченко, везет плату за донос: конфеты, печенье. — Г. С.)

«Откуда у тебя?» — «Еще из Ашхабада, из тюрьмы… Мне следователь выписывал». «Что-то мне ни копейки не выписывал». — «Так, Толик, он говорит, кто хорошо себя ведет». «Отрядный не выдает посылок из дому, говорит, «надо заслужить». — «Заслужить — это известно, что значит…»

В. Мороз: «Майор Свердлов заявил (арестованному в 1957 г. Даниле Шумуку. — Г. С.): «Согласишься на сотрудничество с нами — тут же при тебе разорву ордер на арест и протоколы допросов…» Шумук снова поехал в Сибирь — отбывать десять лет каторги за то, что остался честным человеком».

ПЛОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОРАЛИ

После «восстановления ленинских норм»:

А. Марченко: «самодеятельный хор «полицаев» исполняет песни «Партия — наш рулевой», «Ленин всегда с тобой».

В зале хохот, улюлюканье, надзиратели орут: «В карцер за срыв мероприятия!» Один раз спели «Бухенвальдский набат», но начальству почему-то не понравилось».

В. Мороз: «Уполномоченный украинского КГБ в Мордовских лагерях капитан Круть заявил мне: «А какие у вас претензии к Сталину?.. В целом он заслуживает высокой оценки».

«Сталин был — так порядок был» — эти слова капитана Володина, сказанные им на допросе Масютко во Львове, дают больше, чем целые тома для уяснения генезиса КГБ и роли, исполняемой им теперь».

ДРУЖБА НАРОДОВ СССР

Сталинщина

Д. Панин: «Несколько раз чекисты делали неуклюжие попытки вызвать взаимную резню между заключенными разных национальностей. Ставка делалась на распрю между бандеровцами и магометанами (чеченцами, ингушами, татарами, азербайджанцами). Но план сразу удалось разгадать и обезвредить. Особенно старался устроить такую резню лейтенант Мочеховский».

После «восстановления ленинских норм»:

А. Марченко: «На охрану мордовских лагерей стараются пригнать солдат из нацменьшинства или из дальних республик (но только не из Прибалтики), таких, которые плохо знают русский язык».

Владимир Буковский, открытое письмо Председателю Совета Министров Косыгину:

«В апреле 1975 года в Уральском концлагере ВС 389 35 состоялась беседа зам. начальника учреждения ВС 389 капитана Шарикова с моим товарищем Чекалиным. Шариков недвусмысленно внушал Чекалину шовинистическое настроение, требовал от него, как от русского, порвать отношения с жидами, украинцами и т. п.

Я русский. И мне больно за свою страну, где официальные лица откровенно проповедуют шовинизм, где русификация возведена в ранг государственной политики… Мне больно, что Россия является тюрьмой народов в большем масштабе, чем это было 60 лет назад, а в тюрьме добровольных жителей не бывает» («Русская мысль» № 3086 от 15.1.1976 г.).

ГЛУМЛЕНИЕ НАД РЕЛИГИОЗНИКАМИ

Сталинщина

У Е. Гинзбург, как мы знаем, за празднование Пасхи — босыми ногами на лед…

После «восстановления ленинских норм»:

А. Марченко: «…когда религиозный обращается в тюрьме к врачу, ему говорят: «Вы зачем записываетесь, вы запишитесь к своему Богу на прием, пусть он вас и лечит».

В. Мороз: «Осетин Федор Бязров был вором. Потом стал иеговистом и перестал воровать. Воспитатель ему: «Лучше бы ты воровал».

«Лагеря — зеркало советского общества», по справедливому выражению Д. Панина.

Какие изменения произошли за четверть века в лагерях?

А. Марченко: «Вместо портрета Сталина у отрядного портреты Ленина и на противоположной стене, точно против портрета Ленина, глаза в глаза — портрет Хрущева».

Некоторые солдаты стыдятся своей службы. Даже домой не пишут, по свидетельству А. Марченко, что охраняют заключенных. Бывает разговоришься с таким и если он убежден, что ты его не продашь, то откровенно скажет все, что думает о лагерях и о своей службе: «Через год освобождаюсь и катись она к такой-то матери, эта служба».

Следователи о советской законности высказываются порой не менее откровенно, чем солдаты.

Начальник следственного изолятора майор Горшков — Э. Кузнецову: «Что вы все — закон да закон? Словно первый год замужем. Человек, вроде, неглупый, сами знаете: дух закона, а не буква…»

В. Мороз: «…за закрытыми дверями кабинетов у кагебистов как раз другая точка зрения на социалистическую законность. Когда Левко Лукьяненко спросил капитана Денисова, следователя львовского КГБ, для чего существует статья № 7, обеспечивающая каждой республике право свободного выхода из СССР, последний ответил: «Для заграницы».

ПОЛИТИЧЕСКИЕ И УГОЛОВНЫЕ

Сталинщина

У Солженицына, Гинзбург, Панина и др. уголовники — социально близкие. Политические — враги народа, над которыми

социально близкие вольны глумиться, как хотят.

У А. Солженицына: Уголовник: «Ну пошли мыться, господа фашисты!»

После «восстановления ленинских норм»:

А. Марченко: «Уголовники переходят в политический лагерь, можно сказать, добровольно. По уголовным лагерям ходит легенда, что у политических условия сносные, кормят лучше, работа легче…»

«Я видел двух бывших уголовников, ныне политических, одного по кличке Муса, другого — Мазай. У них на лбу, на щеках было вытатуировано: «Коммунисты — палачи», «Коммунисты пьют кровь народа». Позднее я встретил очень много зэков с подобными изречениями, наколотыми на лицах чаще всего крупными буквами через весь лоб: «Раб Хрущева», «Раб КПСС».

Уголовники помогают в тюрьме писателям — это уж вовсе небывальщина! У Данизля «перебита и неправильно срослась правая рука — фронтовое ранение. Надо же — нарочно поставить на самую каторжную работу. У начальства на то и был расчет: оглушить его этим адом, он, конечно, не выдержит и попросится на более легкую работу. И тогда его голыми руками возьмешь. Пусть напишет в лагерную газету… и пр».

«Даниэль никак не обращался к ним с просьбой об облегчении, а все наши зэки помогали ему, как могли… Наших бригадников стали вызывать в КГБ. (Большая часть бригады — уголовники. — Г. С.)

— Кто помогает Даниэлю работать?

— Все помогаем.

— Почему?

Один языкатый парень нашелся, что ответить:

— А в моральном кодексе у вас что написано?.. Человек человеку — друг товарищ и брат».

«Его (Даниэля — Г. С.) полюбили… все в лагере. Он невольно стал центром, вокруг которого объединялись разные разрозненные компании и землячества».

…Пожалуй, самая главная новизна времени — стремление «преступников» к гласности, а суда — к секретности и «затемнению» дела.

«Оборотни» — по любимой терминологии советской прессы, введенной после процесса над Синявским и Даниэлем, — это, как прояснило время, государственные инстанции. В этом убеждают и сборники документов: «Процесс цепной реакции» (о деле

Галанскова и Гинзбурга) и «Полдень» (о демонстарции на Красной площади и суде над демонстрантами), составленный Натальей Горбаневской.

Протестанты заговорили открыто, в подполье ушел режим. Эти особенности режима раскрываются все чаще. «Обжегшись» на процессе Синявского — Даниэля, власти стараются писателей более не судить, а высылать из страны (Галич, Максимов, В. Некрасов и др.), пугать отравленными папиросами (В. Войнович), убивать в подъездах писательских домов, которые-де полюбились хулиганам. В «Заложниках» я писал о том, как в подъезде собственного дома ударили железной трубой по голове дочь погубленного Сталиным артиста Михоэльса. За секунду до удара некто в шляпе с порыжелой лентой воскликнул: «Она!» Только что пришло сообщение о нападении на моего университетского товарища, в сталинские времена сидевшего в тюрьме.

За последние годы это уже вторая попытка расправы над ним без суда: «По телефону из Москвы Е. Боннер-Сахарова сообщила на Запад:… зверски избит неизвестными лицами Константин Богатырев, известный переводчик литературы — Райнер-Мария Рильке, Белля — член немецкого ПЭН-клуба. Константин Богатырев находится в больнице в критическом состоянии: пролом височной кости и другие повреждения». Из больницы Костя Богатырев уж не вышел…

«Кто сумасшедший?» — спрашивают братья Медведевы в одноименной книге: КГБ ведет себя по законам уголовного мира, как известно, сторонящегося гласности…

Иначе быть не могло: генеральная линия осталась прежней. Точнее и образней других это выразил Валентин Мороз в главе «Оргия на руинах личности»: «Сталин не признавал кибернетики. И все же ему принадлежит в этой области выдающаяся заслуга; он изобрел запрограммированного человека. Сталин — творец винтика…»

В 1946 году Виктор Некрасов выступил в «Окопах Сталинграда» против превращения людей в винтики. Спустя двадцать лет историк Валентин Мороз, загнанный в окопы другой войны, свидетельствует уж об оргии на руинах личности:

«Выросло поколение людей из страха, и на развалинах личности была воздвигнута империя винтиков… Винтик будет стрелять в кого угодно, а потом по команде бороться за мир… Пустой человек — вот главное обвинение против деспотии и неизбежное ее порождение». Это хуже чумы. «Чума убивает без разбора а деспотизм выбирает свои жертвы из цвета нации», — писал Степняк-Кравчинский.

Подцензурная литература поставила больной вопрос —

самиздат ответил на него даже из-за тюремной решетки — открыто…

Так начался новый процесс — взаимовлияния подцензурной литературы и самиздата, влияние не столько формы, сколько бесстрашной мысли. Влияние тем более бесспорное, что многие книги профессиональных писателей, широко известных на Руси, вдруг провалились, как пушкинский каменный гость, под землю и… явились миру запретным плодом — самиздатом или тамиздатом.

6. Известные писатели, отброшенные в самиздат: Василий Гроссман, Александр Бек, Лидия Чуковская

1. Василий Гроссман

Паводок тюремной прозы, позволивший сравнить нравственность, дней прошлых и нынешних, приоткрыл духовные низины, в которые низринуто советское общество: «лагеря — зеркало России».

Книги о сегодняшних лагерях как бы загрунтовали холст, на котором уже иначе смотрелись и картины профессионалов; стали фоном работ художников, своим творчеством вызвавших переворот в сознании поколений — даже старшего поколения, которое самиздат неизвестных имен и с места б не сдвинул; многие старые коммунисты и даже коммунисты-лагерники не хотели признаться самим себе в духовном банкротстве режима.

Они охотно подхватили государственное лопотание о «возврате к ленинским нормам». Их, впитавших почтение к авторитетам вместе с молоком матери, мог заставить трезво взглянуть на самих себя только признанный ими самими советский патриот, рыцарь без страха и упрека. Авторитет!

Такими авторитетами стали для многих старейшие писатели: Василий Гроссман, Александр Бек, Лидия Чуковская, — отброшенные властью в самиздат.

Пожалуй, успешнее всех выскреб иллюзии и ложь, укоренившиеся в широчайших кругах советской интеллигенции, Василий Гроссман.

Он знал, что умирает, и — торопился. Писал известное теперь всему миру «Все течет»… Конфискация романа «За правое дело» и циничные слова секретаря ЦК Суслова о том, что роман «можно будет опубликовать лет этак через двести — триста», не оставляли сомнения в том, что писателя решили уничтожить.

В. Гроссмана хоронили под охраной, словно он мог сбежать.

Так же, как позднее Илью Эренбурга и Корнея Чуковского. Охрана каждый раз была столь серьезной, что когда, например гроб с телом Корнея Чуковского опускали в могилу неподалеку от могилы Б. Пастернака и мы сняли шапки, я увидел вдруг с пригорка переделкинского кладбища людей, не успевших получить приказа снять шапки. Могилы и нас, обнаживших головы, окружали два плотных кольца шапок…

А рядом на шоссе стояли милицейские автобусы с подкреплением.

Василий Гроссман все же успел ответить своим убийцам выстрелом. (Так и говорили в Союзе писателей: «Приоткрыл крышку гроба и — врезал…»)

Каким он был человеком — Василий Семенович Гроссман, которого вот уже много лет советское руководство боится как огня?

Я видел его всего несколько раз: даже словом не перекинулся; в отличие от Константина Паустовского он не имел учеников. Жил одиноко, особенно в последние годы после конфискации романа…

Пожалуй, наиболее полное представление о нем как о человеке сложилось у меня на вечере, посвященном памяти Василия Гроссмана.

Был декабрь 1969 года. Со времени смерти Гроссмана прошло пять лет. Предстоящий вечер «засекретили». Никого не оповестили. Я узнал о нем случайно, как почти все заполнившие Малый зал клуба писателей.

В один и тот же час в Большом зале клуба началось выступление лучших актеров СССР, певцов и комедиантов. Все было сделано для того, чтобы отвлечь людей от Малого зала где какие-то старики о чем-то бубнят…

После студенистого выступления председателя полусекретного «вечера памяти» Константина Симонова взял слово генерал Ортенберг, главный редактор газеты «Красная звезда» во время войны. Он не заметил или не захотел замечать нервозности устроителей. Он говорил, что думал. С солдатской прямотой. «Василий Гроссман, — сказал он, — был до застенчивости скромен и — упорен до умопомрачения. Это было одно из самых нужных его качеств, как показало время». Нет, конечно, генерал не имел в виду повесть «Все течет». Может быть, он даже не знал о ней. Он рассказал, как Василий Гроссман, вернувшись из Сталинграда, где побывал и в окопах, и в штабах попросил у него, редактора, два или три месяца, чтобы написать о пережитом.

Это было неслыханно! Корреспондентам дают на очерк два-

три часа, большинство передает сведения по телефону. А тут… Генерал возмутился до глубины души. Но какой — то внутренний инстинкт заставил его преодолеть свое генеральское самолюбие и дать время.

Так появились в 1942 году очерки Василия Гроссмана «Народ бессмертен», которые задали тон фронтовой литературе. Нет, в них не было всей правды, ее, правду, конфисковывали и восемнадцать лет спустя. Однако фальшивое бодрячество полевых, подтасовки корнейчуков перестали наводнять газеты.

Как резко увеличивается осадка груженного корабля, так и у фронтовой литературы резко увеличилась «осадка в жизнь».

Военные очерки принесли Гроссману всероссийскую славу, — его любили и рафинированные интеллигенты, и семьи погибших, впервые из работ Гроссмана узнавшие об аде, унесшем их близких.

Величание Гроссмана отставным генералом вызвало легкую панику. Оно не было предусмотрено, величание… Константин Симонов немедля дал слово трупоедам.

Никогда еще трупоеды не разоблачали себя так, как в этот день, вспоминая, как Василий Гроссман относился к ним.

Евгений Долматовский назвал Гроссмана человеком желчным, неприятным, каменно-замкнутым.

А как ему было не замкнуться от негодяя и «ортодокса» Евгения Долматовского?.. Художник-карикатурист Борис Ефимов, брат уничтоженного журналиста Михаила Кольцова, смертельно запуганный, сломленный льстивый толстяк воскликнул с очевидной всем искренностью;

— С Гроссманом невозможно было работать! Он не выносил ни единого слова лжи…

Тут даже Симонов не удержался, пожевал губами, скрывая в усах улыбку.

Только в самом конце вечера был допущен к микрофону друг Василия Гроссмана: пришлось все же и другу дать слово. Чтоб не было скандала. Старый, с обвислыми багровыми от гнева щеками, битый-перебитый во всех погромах литературовед и критик Федор Левин сказал в лицо Долматовским устало и спокойно, что Василий Гроссман был надежным другом — в дружбе ненавязчивым, стеснительным; и он был обаятельным, остроумнейшим человеком, душой компании. Только перед смертью он стал молчаливым и замкнутым.

Президиум слушал Ф. Левина, поеживаясь от растерянности и испуга.

Федора Левина пытались расстрелять еще во время войны по ложному доносу поэта А. Коваленкова.

Во время космополитического погрома Федору Марковичу немедля вспомнили о том, что ему почему-то не понравилась книга А. Макаренко «Флаги на башнях»; «Вы убили Макаренко!» — вопили профессиональные палачи. Теперь они обмирали от страха, сидя за большим столом президиума: а ну как назовет каждого из них поименно!

Спустя несколько лет над гробом критика Федора Левина, выставленном в писательском клубе, судорожно рыдал юноша с бледным интеллигентным лицом. У Федора Марковича не было сына, и литературовед Е. Эткинд спросил шепотом, кто он, этот юноша. «Это сын военного следователя — того, который в свое время спас Левина от расстрела, — объяснили Эткинду. — Потом они всю жизнь дружили семьями».

Гордый добряк с обвислыми щеками мистера Пиквика и библейскими глазами никогда не боялся литературных сановников. Даже самых опасных завсегдатаев Лубянки. Он не сделал им уступки и здесь, в писательском клубе.

…Низкий добрый гудящий голос Федора Левина стал суше. Потерял доброту:

— Есть решение Правления Союза писателей издать собрание сочинений Гроссмана. Однако его не издают. Живые из года в год оттесняют мертвых. Недаром говорится, — Левин обвел нас своими мудрыми глазами, в которых стыла печаль, — недаром говорится: собаки боятся и мертвого льва.

Константин Симонов торопливо закрыл этот полусекретный «вечер памяти» не обращая внимания на чью-то поднятую руку и на то что список желающих выступить не был исчерпан: собаки боятся и мертвого льва.

В Москве воздвигнуто два мавзолея Ленина. Один — на Красной площади — гранитная опора сталинщины — не сходит со страниц газет. Второй известен только читателям самиздата: Василий Гроссман воздвиг свой мавзолей Ленина — усыпальницу Великому Злодейству в быту скромному непритязательному почти человечному… Расчетливо рукой мастера отработанные сюжетные ступени ведут его к вершине откуда и открываются кровавые горизонты.

Будем подыматься по сюжетным ступеням мавзолея воздвигнутого Василием Гроссманом.

Возвращается из лагеря герой повести «Все течет» Иван Григорьевич. В купе поезда еще трое. Два благополучных чиновника из столичных учреждений и подвыпивший прораб, откровенные рассказы которого вызывают у них гнев.

Благополучные чиновники с их своекорыстной «слепотой» и злобой — первая сюжетная ступенька — не что иное, как

своеобразная экспозиция образа Николая Андреевича, брата главного героя — серенького пугливого чиновника от науки, человека незлого, осторожного, которому тем не менее погром в науке оказался на руку; выдвигают на место уничтоженных талантов его серенького…

…«Да, да, в преклонении, в великом послушании прошла его жизнь, в страхе перед голодом, пыткой, сибирской каторгой. Но был и особенно подлый страх, — уличает его и вместе с ним все нынешнее чиновничество Василий Гроссман, — вместо зернистой икры получать кетовую. И этому икорному подлому страху служили его юношеские мечты времен военного коммунизма — лишь бы не сомневаться, лишь бы без оглядки голосовать, подписывать. Да, да, страх за свою шкуру питал его идейную силу».

Эта фраза убийственно точна. Когда я слышу шаманские заклинания или проклятия А. Чаковского и других чиновников от литературы на страницах «Правды» или во время их зарубежных вояжей, я неизменно вспоминаю Василия Гроссмана: «Страх за свою шкуру питал его идейную силу».

Обобщенный образ чиновничества — первые ступени сюжета — кажутся экспозицией-контрастом образа лагерника Ивана. Этого ждешь. Это и следует по всем канонам традиционной драматургии.

Однако Василий Гроссман рвет с канонами. Все задумано сложнее беспощаднее неожиданнее…

С главы 7-ой это становится уже очевидным. Глава открывается словами: «Кто виноват кто ответит?»

«А где вы были?!» — именно это кричали Хрущеву, Микояну и другим сановникам на всех собраниях, где они скороговоркой касались преступлений Сталина. Василий Гроссман и начинает исследование как бы с этого вскрика вырывавшегося из груди каждого.

Но странное дело, в этой главе о стукачах о наветах, в которой автор беспощадно выпотрашивает стукачей, выворачивая их наизнанку, как тряпичные куклы, он не выносит им приговора, почти жалеет иуд, пытается их понять…

А понять — простить. Во всяком случае снять часть вины. Откуда вдруг этакое всепрощение тем, кого не прощали ревущие от гнева собрания 56 года? Чего пытается добиться Василий Гроссман? Он хочет, чтоб люди подняли головы. Видели дальше… Нет не случайна эта как бы вставная главка о стукачах-жертвах обстоятельств, отвратительных жертвах, но — жертвах. Это — новая ступень сюжетного восхождения к истокам зла…

Новая ступень — это казалось бы совсем иная тема. Новый

ракурс. Новый социальный срез. Кладбище суровой школы — так названы главы об организованном Сталиным в 30-х годах голоде на Украине.

«Область спускала план — цифру кулаков… а сельсоветы уже списки составляли, — рассказывает женщина полюбившая Ивана. — Вот по этим спискам и брали… не в том беда, что, случалось, списки составляли жулики. Честных в активе больше было, чем жулья, а злодейство от тех и других было одинаковое. Главное, что все эти списки злодейские несправедливые были…»

К еретическому вражескому выводу с точки зрения официальной морали пришла простая женщина, сдающая комнату бывшему лагернику. Как и вся Россия, она начала думать:

«Почему я такая заледенелая была? Ведь как люди мучились, что с ними делали! А я говорила: это не люди, это кулачье… кто слово такое придумал: кулачье? Неужели Ленин? Какую муку принял! Чтоб их убить, надо было объявить: кулаки — не люди. Вот так же, как немцы говорили: жиды — не люди. Неправда это! Люди! Люди они! Вот что я понимать стала. Все люди!»

Устами «расколдовавшейся» женщины раскрывается механизм тотального обмана, страшного в своей всепроникающей простоте: режим лишь подтасовывает слова. Палаческая отмычка едина: сегодня одни — не люди, завтра — другие…

Другими в те годы были не только кулаки.

«…думали мы, что нет хуже кулацкой судьбы. Ошиблись! По деревенским топор ударил, как они стояли все, от мала до велика. Голодная казнь пришла…

Кто убийство массовое подписал? Я часто думаю — неужели Сталин? Я думаю, такого приказа, сколько Россия стоит, не было ни разу. Такого приказа не то что царь и татары, и немецкие оккупанты не подписывали. А приказ — убить голодом крестьян на Украине, на Дону, на Кубани, убить с малыми детьми. Указание было забрать и семенной фонд весь. Искали зерно, будто не хлеб это, а бомбы, пулеметы…

Вот тогда я поняла: первое дело для советской власти — план… А люди — ноль без палочки».

Я думаю, что в мировой литературе нет страниц столь ужасающих, столь пронзительно, до содрогания впечатляющих и столь необычных: даже в варварские эпохи так не поступали с врагами, ныне так обошлись со своими крестьянами, со своими вековыми кормильцами. Удивительно ли, что Россия вот уже десятки лет шарит в поисках хлеба по чужим закромам?

Исповедальная манера изложения и мучительное, на наших глазах, постижение истины женщиной, освобождающейся, вместе

со всей Россией, от сталинского наваждения, может быть, более всего свидетельствует об умении Василия Гроссмана держать руку на духовном пульсе России.

«Завыло село — увидело свою смерть. Всей деревней выли — не разумом, не душой, а как листья от ветра шумят, как солома скрипит… Мне один энкаведе сказал: «Знаешь, как в области ваши деревни называют: кладбище суровой школы». «Старики рассказывали: голод бывал при Николае — все же помогали и в долг давали, и в городах крестьянство просило Христа ради, кухни такие открывали и пожертвования студенты собирали. А при рабоче-крестьянском правительстве зернышка не дали, по всем дорогам заставы и войска, милиция, энкаведе; не пускают голодных из деревень, к городу не подойдешь… Нету вам кормильцы хлеба».

Мы поднялись в своем сюжетном восхождении на предпоследнюю ступень. Прошли по ней, холодея от ужаса, возможно впервые осознавая до конца, сколь антинароден режим, возникший под народными знаменами. И пожалуй, лишь тогда становится понятным, что наше как бы тематически разнородное, со «вставными» главами восхождение — целенаправленно.

Все написанное ранее — страшная экспозиция приговора, вынесенного автором главному виновнику Зла. Вселенского Зла, которое обрушилось на Россию, как океанские цунами на берег, смывая все живое.

«Ленин в споре не искал истины, он искал победы… Все его способности, его воля, его страсть были подчинены одной цели — захватить власть, — повествует Вас. Гроссман, исследователь Ленина. — Суть подобных людей в фантастической вере во всесилие хирургического ножа. Хирургический нож — великий теоретик философский лидер XX века».

Чтобы понять Ленина, надо знать историю России, убеждает Гроссман. С одной стороны, пророчества Гоголя, Чаадаева, Белинского, Достоевского… Россия — птица-тройка, перед которой расступаются все народы и государства.

Однако тот же Чаадаев гениально различил поразительную черту русской истории: «Факт постепенного закрепощения нашего крестьянства, представляющий собой не что иное, как строго логическое следствие нашей истории». Прогресс в своей основе есть прогресс человеческой свободы… Так ли в России?.. Факты истории подтверждают провиденье Чаадаева: отмена Юрьева дня. Петр 1 обращает так называемых «гулящих людей» в крепостных. Появляется государственное крепостное право, Екатерина II вводит крепостное право на Украине.

Словом если развитие Запада оплодотворялось ростом

свободы, то «развитие России оплодотворялось ростом рабства…»

Василий Гроссман приходит к выводу, вытекающему из привиденья Чаадаева и опыта XX века: «русская душа — тысячелетняя раба». «Что может дать миру тысячелетняя, раба пусть и ставшая всесильной?»

Стоило Василию Гроссману высказать такое, как на него тотчас обрушился карающий меч. Советский — в лице ЦК КПСС и ГБ, поначалу пытавшихся объявить «Все течет» фальшивкой. У вдовы Гроссмана не умолкал телефон: ЦК требовал от нее заявления для печати… Кто знает, устояла б она перед угрозами, если б не поэт С. Липкин, друг Василия Гроссмана, к которому она обратилась за советом по телефону. Поэт, зная, что он говорит не только вдове, но одновременно «слухачам» ГБ, воскликнул с жаром: «Как же мы можем соврать нашему правительству?! Ведь главы из книги читали в журнале «Знамя», помните?»

Вдова, вздохнув, согласилась, и ЦК запретил издание собрания сочинений Василия Гроссмана, подготовленного Гослитиздатом.

Сверкнул меч советский и в тот же час сверкнул… антисоветский, в Париже: Аркадий Столыпин уличал Василия Гроссмана в том, что он-де повторяет мысли «великого нытика Некрасова».

Вовсе не следует думать, что ЦК — КГБ разгневали лишь антиленинские страницы Гроссмана. Для советской политики танкового и атомного устрашения мира взгляд Чаадаева — Гроссмана «Россия — тысячелетняя раба» куда еретичнее, чем непочтительный взгляд на Ильича.

Сын министра Столыпина, пожалуй, прав, говоря о неточности гроссмановского образа Ильича — жениха, которого Россия предпочла другим. На самом деле Россия предпочла не Ильича, а правых эсеров. Однако Ильич Учредительное Собрание разогнал вместе с эсерами. А что ж на это Россия? Россия пошла за господином положения. Подчинилась страху и демагогии. Вековые традиции рабства победили.

Столыпин охотно готов признать вечными рабами эстонцев, латышей — кого угодно, но «русскую душу»? Извините!

Единство взглядов русских шовинистов, советских и антисоветских, представляет, по моему убеждению, самое неизученное и самое страшное для России обстоятельство, убивающее надежды; мы будем вынуждены еще к этому вернуться.

Мессианство XIX века, гипертрофированное вначале идеей «мирового пожара» («Мы на горе всем буржуям мировой пожар

раздуем…»), а затем сталинщиной с ее прививкой шовинизма народной толще, лишенной правосознания, стало реальной опасностью — Василий Гроссман отнюдь не преувеличивает, предупреждая: русская трагедия — «ленинский синтез несвободы с социализмом» — может стать трагедией всемирной.

«Эта сила государственного национализма и этот бешеный национализм людских масс, лишенных свободы и человеческого достоинства, стали главным рычагом, термоядерной боеголовкой нового порядка, определили рок XX века».

«Все течет» Василия Гроссмана стала основополагающей книгой интеллектуальной России.

II. Александр Бек

В 1943 году Александр Бек написал повесть «Волоколамское шоссе». Повез рукопись в редакцию. Время было военное, голодное. Жена вручила ему бидон — привезти из Москвы молока, твердила провожая: «Не забудь в электричке молочник». Александр Бек все время помнил про него. Молочник не забыл, а рукопись — оставил. На сиденье электрички. Так она и пропала, готовая рукопись.

Александр Бек снова отправился на фронт. Обошел порой облазил по-пластунски блиндажи и окопы своих героев; отыскал некоторых из них в госпиталях. Едва не погиб во время артобстрела: написал повесть заново…

Через десять лет он, прославленный автор «Волоколамского шоссе» и других книг, удачливый, казалось, писатель-лауреат переминался с ноги на ногу в дверях Дома Союзов, бывшего Дворянского собрания: в зале шелестел дремотно второй Съезд писателей СССР и Бек никак не мог решить, выступать ему на съезде или уйти подальше от греха…

Но вот не дали слова Константину Паустовскому — надежде московских писателей, и Александр Бек, который уж решил было промолчать, уйти тихо и верноподданно, закричал-захрипел своим бубнящим голосом, что это безобразие. Его почти неразборчивый голос прозвучал, однако, достаточно внятно. Как я уже упоминал, тридцать один московский писатель тут же вслед за Беком выразили свой протест, отказались от слова в пользу Паустовского…

Добрый, деликатный, рассеянный, как бы не от мира сего Бек в критические минуты проявлял и храбрость, и неудержимую напористость, казалось вовсе ему не свойственную. «Я из поколения тридцать седьмого года, — говаривал он. — Я устал

бояться…»

А боялся он до дрожи в руках. В 1969 году мне вдруг дали в Союзе писателей командировку в Заполярье, чтоб я написал что-либо ортодоксальное и тем заслужил прощение… Услышав об этом Бек примчался, благо жили рядом, и уже с порога зашумел, чтоб не ехал. Ни в коем случае!

«Затем и посылают, — убеждал он. — Чтобы убить. Убить в Москве сложнее, а там натравят уголовника он ударит по голове водопроводной трубой, обернутой газеткой, и все… Гриша, ты их не знаешь! Я их боюсь! Я их смертельно боюсь!..»

И вот этот, испуганный смертельно, на всю жизнь испуганный писатель, потерявший в 37-м году почти всех друзей, написал храбрую книгу, отстаивал затем каждую строчку, отказался выбросить эпизод, который просил снять сам Демичев, секретарь ЦК партии. А затем, когда увидел, что рукопись все равно обезобразят, выхолостят, передал ее в самиздат, понимая, что только таким путем она увидит свет неизуродованной…

Бек был неудовлетворен книгами, которые прославили его и хотел начать новый цикл эпиграфом, которым должны были стать слова Эммануила Казакевича: «Конец железного века. Победителей судят». Он искал бывших зэков, знавших наркома тяжелой промышленности Серго Орджоникидзе, единственного наркома тридцатых годов, который протестовал против террора и был убит. Цикла он написать не успел, успел создать первые страницы его. В № 11 журнала «Новый мир» за 1965 год появилось извещение о предстоящем выходе книги А. Бека «Новое назначение». Книга была набрана и… не вышла.

Почему?

Александр Бек, как всегда, держался «в рамках дозволенного»; многие эпизоды были написаны вполсилы, другие — заранее выхолощены из-за «недреманного ока» Главлита…

Чем же объяснить, что она не была напечатана, а рукопись разошлась по России с такой же стремительностью, как повесть Вас. Гроссмана, хотя рукопись, предназначенная для печати, как легко понять, не содержит, не могла содержать глубинного исследования причин русской трагедии?..

Главный герой книги — нарком танковой промышленности Онисимов, «человек без флокена» как называли его еще в студенческие годы.

«Флокен» — термин технический. Означает он нераспознаваемый порок стального литья. Сколь цельным человеком надо было быть, чтобы склонные к иронии студенты признали своего однокурсника человеком без флокена!.. Без единого порока, даже тайного!

И вот человека «без флокена», человека-легенду отстраняют с поста наркома. Назначают послом в Тишляндию…

Такова писательская манера Бека — начинать событийный ряд с конца. Читатель заинтригован: за что гонят человека «без флокена»?

Каков он, лично безупречный, бескорыстный герой сталинской эпохи, который никого не убивал, напротив написал мужественную докладную Сталину о том, что в промышленности вредителей нет, протестуя тем самым против арестов?

Ретроспективное раскрытие характера, спокойное, без патетики и нажима, убийственно.

Онисимов — бессребреник. Живет в пустой, неуютной квартире, обставленной казенной мебелью. Возле него — холодноватая жена: не до страстей им, ушедшим по горло в работу. Брак заключен скорее «не по любви, а, так сказать, по идейному духовному родству».

Вся жизнь отдана созданию промышленности, славе России и вдруг — отстраняют. Онисимов падает в обморок. «Сшибка» — позднее определит врач.

Что такое «сшибка»? Человек думает одно, а поступать вынужден иначе. Вопреки своему убеждению. Он насилует свою волю, придумывая оправдания. «Я — солдат партии…». Казнит себя и снова действует вопреки самому себе.

Онисимов не помнит года без «сшибок». Берия был его врагом Онисимов всегда чувствует тайный страх.

Со страхом входит он и на заседание Политбюро. Ждет ареста. Сталин поиграл с ним, как кошка с мышкой и, насладясь эффектом, назначил наркомом.

Нарком Онисимов вынужден поддерживать лжеизобретателей авантюристов, если этого хотел Сталин: «Я — солдат партии».

Сколько было таких «сшибок»! Мучительных, разрушающих личность. В конце концов Онисимов научился ускользать от опасных мыслей простейшим способом; «Не мое дело, меня это не касается, не мне судить». Погиб в тюрьме любимый брат Ваня, но «ученый» Онисимов и тогда остался тверд, как скала: не ему, Онисимову, судить.

Дома, в беседе с сыном, он ловит себя на том, что «не может, не умеет быть откровенным».

Коррозия души пошла дальше: он поддерживает выдвижение тихих и послушных, ибо он Онисимов, как и его кумир Сталин, «не терпел возражений». Возвышает проходимца за то лишь, что тот умеет держать язык за зубами: «аппарат не должен болтать».

Время вылепило характер, тог самый, «без флокена». Другим он и быть не мог в «железный век», и писатель окончательно

убеждает в этом документальным эпизодом

«…Из большого кабинета приглушенно донесся голос Зинаиды Гавриловны (жены Серго Орджоникидзе — Г. С.). И еше чей-то…

Серго быстро поднялся: «Извини пожалуйста».

И покинул комнату. Минуту-другую Онисимов просидел один, не прислушиваясь к голосам за дверью. Но вот Серго заговорил громко, возбужденно. Его собеседник отвечал спокойно, даже, пожалуй, с нарочитой медлительностью. Неужели Сталин? Разговор шел на грузинском языке. Онисимов ни слова не знал по-грузински и, к счастью, не мог оказаться в роли подслушивающего. Но все же надо было немедленно уйти, разговор за стеной становился как будто все более накаленным. Как уйти? Выход отсюда только через большой кабинет. Онисимов встал шагнул через порог.

Серго продолжал горячо говорить, почти кричал. Его бледность сменилась багровым, с нездоровой просинью, румянцем. Он потрясал обеими руками, в чем-то убеждал и упрекал Сталина. А тот, в неизменном костюме солдата, стоял, сложив руки на животе. Онисимов хотел молча пройти, но Сталин его остановил:

— Здравствуйте, товарищ Онисимов. Вам, кажется, довелось слышать, как мы тут беседуем?

— Простите, я не мог знать…

— Что же бывает… Но с кем вы все же согласны? С товарищем Серго или со мной?

— Товарищ Сталин, я ни слова не понимаю по-грузински.

Сталин пропустил мимо ушей эту фразу, словно она и не была сказана. Тяжело глядя из-под низкого лба на Онисимова, нисколько не повысив голоса, он еще медленнее повторил:

— Так с кем же вы все-таки согласны? С ним? Сталин выдержал паузу. Или со мной?

…Еще раз взглянуть на Серго Онисимов не посмел. Какая-то сила, подобная инстинкту, действующая быстрее мысли, принудила его…»

Он предал своего любимого Серго, Онисимов, «человек без флокена…» Он хотел выжить в годину террора, всего лишь…

Возможно тогда и стряслась самая губительная «сшибка»… Что по сравнению с ней остальные?..

Надо ли говорить, что секретарь ЦК партии по идеологии П. Де-мичев потребовал убрать именно эту сцену. Не только ее, но ее прежде всего…

Я встретился с Беком в тот же вечер. Как водится, мы ушли подальше от писательских домов, брели среди темных

новостроек, похожих на разрушения военных лет.

— Если это снять, чего же тогда… кашка… останется? — бубнил Бек приглушенным страдальческим голосом. — Зачем же я… кашка… написал?

Он часто повторял пустое слово «кашка». Как я понимаю сейчас, чтоб замедлить речь (слово — не воробей) и подумать. Он вставлял эту свою «кашку» в любой разговор, даже с домашними. Молодые писатели дружелюбно окрестили его «кашкой». «Кашка» сказал, — говорили, — «кашка» думает…

Бек не согласился выбросить все, что «рекомендовали». Нет, он не рвался прослыть крамольным. Он хотел, как всегда, остаться «в рамках дозволенного». Однако, в рамках дозволенного… «Ну хотя бы антисталинским XX съездом…»

Бек не мог вильнуть в сторону, попятиться назад, как пятятся политические деятели. В частностях он отступал, кроил-перекраивал, страдая, как и его герой от «сшибок». Но в главном… «Что я… кашка… проститутка что ли?»

Книга ушла в самиздат, а затем на Запад.

Я не знаю книги, в которой с такой объективностью и глубиной, предельно достоверной, выстраданной, давался бы портрет сталинской гвардии, лучших из «гвардейцев», поднявших на своих плечах промышленность СССР, в том числе атомную.

И в этом ее разоблачающая сила. Ее непреходящее значение.

Писатель не простил Онисимова, и те, кто решали, быть или не быть книге, поняли это. Не случайно, когда П. Демичев пообещал А. Беку издать книгу, вдруг вмешался Косыгин, Председатель Совета Министров: вмешался в литературный процесс, кажется, в первый раз в жизни…

Не простил Бек «сталинских соколов» — и это, конечно, было подлинной причиной гонений на книгу, а не жалобы вдовы Тевосяна, кричавшей на всех углах, что А. Бек вывел под фамилией Онисимова ее покойного мужа.

Неутомимость вдовы оказалась лишь удачным поводом. Не случайно, судьба книги не изменилась и тогда, когда истерзанный А. Бек вписал в книгу эпизодический образ наркома Тевосяна, изобразил его благородным, предупреждающим Онисимова о звонке к нему Берии…

Перелистываешь последнюю страницу книги и… невольно вспоминаешь посредственного биолога Николая Андреевича из повести «Все течет» Василия Гроссмана, слизняка, приспособленца, давно убедившего себя в разумном ходе истории, расчистившей место «для него, Николая Андреевича».

Все эти энтузиасты эпохи и волевые вожди, «горевшие на работе», да, им по сути были нужны моря крови, устрашившие

Россию: без страха она не терпела б их ни часу…

Нужно ли объяснять после этого, почему книга Александра Бека, лауреата всевозможных премий, известнейшего и любимого писателя России, я бы сказал, баловня эпохи, была отброшена и попала в самиздат.

Он умер от «сшибки», как и его герой. Однако в отличие от своего героя — не отступил.

Для этого требовалась от него, старого и больного человека, подлинная отвага, более того, жертвенный подвиг.

В моих словах нет преувеличения. Я провел большую часть войны на заполярном аэродроме Ваенга, откуда взлетали в бой летчики-торпедоносцы. Смертники… Я знаю, нет людей, не ведающих страха.

Но там, на войне, у людей не было выбора. Есть боевой приказ, который нельзя не выполнить.

Александру Беку никто приказа отдать не мог. Только он — сам себе…

От него мягкого, рассеянного, незащищенного в быту застенчивого человека, требовалась куда большая сила воли, чем от прославленных героев Советского Союза, портретами которых украшены все воинские подразделения Советской Армии. Он просто не мог иначе, честнейший Александр Альфредович Бек, имевший несчастье начать свой творческий путь в страшный год России, когда был застрелен по приказу Сталина Киров, а затем уж ни на час не прекращался кошмар массовых расстрелов.

Бек отстоял свою последнюю свою Главную книгу. Однако поплатился за это жизнью, как и Василий Гроссман: вскоре заболел раком и умер.

III. Лидия Корнеевна Чуковская

Повесть Лидии Корнеевны Чуковской «Спуск под воду» не вызвала в России такого общественного резонанса как книги Василия Гроссмана и Александра Бека. От того ли, что появилась позднее, когда из-за преследований круг читателей самиздата и тамиздата сузился. Или, скорее, благодаря особенностям темы, волнующей более всего интеллигенцию.

Эпиграфом повести Лидия Корнеевна выбрала фразу Толстого: «Нравственность человека видна в его отношении к слову».

Освещая свое повествование этой мыслью Толстого, Лидия Корнеевна как бы спускается под воду, в глубины внутреннего мира советского писателя, запуганного и развращенного

режимом. Сталинщина и слово художника — вот тема ее выстраданной книги.

Литвиновка — дом творчества под Москвой. Кто из писателей не знает о нем! Подлинное его название — Малеевка. Такие дома творчества есть и под Киевом, и под Ереваном, и в Крыму — всюду и всюду не только предупредительные сестры-хозяйки («ласковое притворство входит в их обязанности», — пишет Л. Чуковская), всюду — поразительное, единственное в своем роде, возможно уникальное, размежевание. Не по рангам или достатку, в этом не было б ничего уникального. Размежевание по воззрениям. Честный писатель не сядет рядом с Александром Чаковским. Продажное перо не осмелится разделить стол с Кавериным, обойдет стороной Лидию Корнеевну. Таково неписаное правило домов творчества писателей СССР. Теснятся друг к другу единомышленники… И частенько бывало какой-либо критик Шкерин сидит в углу. Пьет в одиночку. Появится на горизонте другой такой же, Шкерин бежит к нему навстречу, обнимает, как родимого, тянет к себе за руку.

Газетное величание, премии или, напротив, немилость в Домах творчества, как правило, силы не имели. Здесь давным-давно знали, кто есть кто…

Лидия Корнеевна любила Малеевку. Я не раз видел ее возле речки Вертушинки, седую, молчаливую, близорукую, почти никогда не улыбавшуюся. Близорукость ее однажды и подвела: Лидия Корнеевна оказалась за одним столом с людьми чужими и фальшивыми. Зашел разговор о Пастернаке; сосед-журналист естественно разделял официальную точку зрения на Пастернака:

— Мы с женой читали и смеялись — замечает он.

Что ответила ему Лидия Корнеевна, можно было предвидеть. После чего, пишет Лидия Корнеевна, «…они обращаются со мною так, будто я заряженное ружье; не задеть бы спуск».

Космополитическая кампания наэлектризовала атмосферу до предела. Помню, критик Шкерин обрушился даже на меню, где обнаружил нерусское название «цимес». Он кричал на повара все утро: де, поддался на «удочку», и тут же начал гулять по столам листочек, исписанный известным русским поэтом:

Съел критик цимес и не знает он;

Теперь он Шкерин или Шкеринсон?..

Шкрины выведены и в повести «Спуск под воду».

Автор знакомится с писателем Николаем Александровичем Билибиным, побывавшим в лагерях. Знакомство с пострадавшим Билибиным вызывает сны об Алеше, муже, которому когда-то дали десять лет тюрьмы без права переписки.

Никогда она не забывала Алешу, чувствовала себя виноватой.

Но в чем же виноватой?

«Сегодня я поняла в чем дело — пишет Лидия Корнеевна. — Я жива. Вот в чем».

Нахлынули давние воспоминания, к которым нельзя остаться равнодушным.

Несмотря на поток тюремной литературы, на книги Солженицына и Шаламова, тюремные страницы Лидии Корнеевны самобытны; тюрьма здесь в ином ракурсе. Всю ночь мерзнет Лидия Корнеевна в очереди женщин возле Большого дома. Среди толчеи молодая женщина-финка с мертвым младенцем. Младенцем умер только что, в очереди. Обезумевшая женщина никому не говорит, что ребенок умер, чтобы ее не вытолкали из очереди, пустили к окошку, за которым сидит некто, знающий где ее муж. Появляется развязный комендант — «он был загримирован тюремщиком. Ключи тяжело звякают у пояса. Кобура револьвера расстегнута».

Рассказчица старается вызубрить слова, которые надо будет быстро сказать там, у окошка. «Я по опыту знаю, — пишет Лидия Корнеевна, — чуть только я увижу лицо и глаза человека, сидящего за большим столом и перебирающего карточки с фамилиями арестованных, — чувство тщетности всякого слова неодолимо охватит меня».

Это чувство охватило ее и в этот раз. Быстро закрылось окошко. Перед глазами лишь кривая фанерная дверь с надписью: «Выход здесь».

Как потянулась обездоленная женщина к Билибину, бывшему зэку!.. Билибин все откровеннее с ней. Однажды она вернулась после прогулки, думая о нем, «чувствуя себя голодной, бодрой и почему-то не несчастной».

Билибин и сообщил, «опасливо покосившись на дверь и потом почему-то на потолок». Объяснил, что «десять лет без права переписки» — это расстрел. Значит, муж ее погиб давно.

Билибин рассказывает ей о своих тюремных друзьях, о том, как они подыхали в шахтах, замерзали на лесоповале; он помнит все, даже как заикался душевный друг его, похороненный на лагерном погосте.

Билибин заканчивает в Доме творчества роман. Он уже почти принят в журнале «Знамя». Рассказывает и пишет. Пишет и — рассказывает.

Наконец рукопись готова. Он приносит ее Лидии Корнеевне.

И тут-то становится ясным, что Билибин — это собирательный образ всех сломленных писателей-горемык, предавших своих товарищей. Бывшие зэки боялись сесть вторично. Поэтому каждый из них — и Ярослав Смеляков, и

Александр Рекемчук, и тихий Юра Смирнов, и уж конечно Василий Ажаев — все они не написали свой «Архипелаг Гулаг»… Сколько их было затем, сломленных рекемчуков, ставших «подручными партии» или запойными пьяницами! Писавших о лагерных муках, как о счастливом и здоровом труде на благо советского народа!

С подобной рукописью и знакомится Лидия Корнеевна.

«До сих пор мне случалось испытывать в жизни горе, — пишет она. — Но стыд я испытала впервые». Билибин вошел.

«Вы трус, — сказала я. — Нет хуже: вы лжесвидетель. — Он начал приподниматься. — Вы лжец. «Ты не чеченец ты старуха…» Прощайте! Почему у вас не хватило достоинства промолчать? Всего только промолчать?.. Неужели… из уважения к тем… кого вы засыпали землей… вы не смогли как-нибудь иначе зарабатывать себе хлеб с маслом? Чем-нибудь другим. Не лесом. Не шахтой. Не ребенком — тамошним не… заиканием вашего друга?..» Он вышел.

«От его двери до моей, я сосчитала однажды, — девятнадцать шагов.

Но теперь они превратились в девятнадцать километров. Не менее. В девятнадцать веков».

Лидия Корнеевна Чуковская поднялась в бой — за слово. Слово, которым были обмануты миллионы и которое продолжает быть страшным оружием, возможно, страшнее атомной бомбы и нервных газов.

Она заклеймила не только палачей, но, как видим, и жертвы, ставшие их пособниками. Она приравнивает их к палачам. Так же ненавидит их, как палачей. А презирает — больше.

Лидия Корнеевна — одна из немногих, кто удерживал слабых от компромисса с произволом. Не позволяя никому забыть вещую толстовскую истину: нравственность человека видна в его отношении к слову. Подлецы от этого, конечно, не переставали быть самими собой. Они таились. Не решались порой и голову поднять. Честные ощущали себя крепче, такое время пришло — десятилетие Солженицына. Оно наполняло прозу писателей особой силой. Повысило меру честности.

Писатели убедились воочию; государство иначе относится к тем, кто его не боится. Власть паразитирует на страхе. Живет людской трусостью.

«Они боятся только этого!» — воскликнул как-то Солженицын и показал свой увесистый кулак.

Сильнее зазвучал и голос Лидии Корнеевны. Честные ощущали себя крепче.

7. Мир современной русской фантастики и — трагический натурализм

Взлет и крушение фантастики — одна из самых неожиданных гримас Эзопа в подцензурной литературе.

…Реалистическую прозу отбросили от печатного станка. И вся она, от Солженицына до Бека, от Лидии Чуковской до новых имен, оказалась на Западе.

И тогда она обернулась фантастикой.

Литературу сопротивления в новом обличье распознали не сразу: к фантастике привыкли относиться как к «чтиву». Она годами выдавала тунгусский метеорит за корабль иных планет, уводила на Венеру. И — прекрасно.

В 1964 году «Литературная газета» написала, что фантастика в СССР — Золушка. Власть была не прочь открыть фантастике зеленую улицу. Отвлечь читателя от солженицынских тем.

Карателей подвело невежество. Фантасты не скрывали своих намерений.

Станислав Лем сообщил, что будущее занимает его лишь как ученого. «Как писателя меня волнует только настоящее, современность».

Братья Стругацкие были не менее откровенны: «Нас привлекает в фантастике прежде всего то, что в литературе она является идеальным и единственным пока орудием, позволяющим подобраться к одной из важнейших проблем сегодняшнего дня».

Если б они остались лишь теоретиками! Но они — не остались ими! Начиная с 1966 года, с участия в сборнике писателей-фантастов «Эллинский секрет», братья Стругацкие переходят от утопической научной фантастики к фантастике социальной и философской. Их аллегории и символика расшифровываются без труда. Над попранным человеком торжествует зло.

Поняла ли Россия Стругацких? Полюбила ли их? В 1966 году редакция журнала «Фантастика» провела анкету. Самыми популярными фантастами оказались польский писатель Лем, братья Борис и Аркадий Стругацкие и американский писатель Рэй Бредбери. Официально восславленный и отнюдь не бесталанный И. Ефремов был отставлен, вместе со своими описаниями коммунистического завтра, на одиннадцатое место.

Братья Стругацкие приняли эстафету безбоязненно: вся реалистическая тюремная литература прокляла «тройки» ОСО (особого совещания), засудившие миллионы, в том числе Евгению Гинзбург, Варлама Шаламова и многих других авторов,

рассмотренных мною или, по разным причинам, опущенных; кто из писателей не помнит этих механических судей с глазами мороженых судаков? И вдруг… в жанре фантастики снова «тройка». «Сказка о тройке» братьев Стругацких. Рукопись обошла многие журналы, и, наконец, была напечатана в провинциальной «Ангаре», после чего немедля изъята из обращения, а редакция «Ангары» разогнана «за политическую слепоту».

Повесть «Улитка на склоне», одно из философских произведений Стругацких, тоже была оттеснена в Сибирь. Она нашла убежище в журнале «Байкал», после чего была в свою очередь изъята из обращения, а редколлегия наказана и распущена.

Следующая книга — «Гадкие лебеди» — уже вообще была отброшена от всех печатных станков. Естественно, она оказалась в самиздате, а позднее вышла на Западе.

Опубликованную ранее повесть «Трудно быть богом» перевели на английский язык — к братьям Стругацким пришла мировая слава. И — государственная опала. К сожалению, эти обстоятельства были в России неразлучны, как сиамские близнецы.

Вот каких строк испугалось всесильное атомное государство:

«В приемной послышались шаги… и в комнате появилась Тройка в полном составе — все четверо. Председательствующий Лавр Федотович Вунюков, члены Хлебовводов и Фарфуркис и научный консультант Выбегалло.

Машина завертелась. Объявлено первое «дело»: старикашка Эдельвейс Петрович — изобретатель. С изобретателем расправились быстро. «Смерть ему!» — взревел Лавр Федотович.

В дальнейшем перед тройкой предстал Константин с другой планеты, затем птеродактиль Кузьма, ящер Лизка, который так и не вышел из озера, далее комиссия выехала в пункт Коровье вязло. На комиссию напали комары, и комендант был обвинен в подготовке террористического акта!»

Фантастика, как видите, чистая фантастика!

Еще более фантастичен Константин, представитель другой планеты. Он хочет мира, Константин, а заодно просит помочь ему уехать обратно. Словом, детанта он хочет, наивный Константин.

А что на это особая «тройка»? «Психологический разрыв не позволяет нам составить правильное представление о целях вашего прибытия сюда, мы не понимаем, зачем вам нужна дружба и сотрудничество с нами». Поэтому решение принимается воистину государственное: «Всякий корабль, появившийся в сфере достижения наших средств, будет уничтожаться без предупреждения».

Дела и далее вершатся в духе: «Смерть ему!»; положительные герои пытаются вмешаться в процесс мышления тройки при помощи специального прибора — реморализатора. Фантастика это, в конце концов, или не фантастика?!

«Не берет!» — горько произнес у меня над ухом Эдик… — Плохи дела, Саша… Нет у них морали, у этих канализаторов».

Окончательную характеристику современной «тройке» руководителей дает… белая грязная коза, которую приводит лесник Феофил.

«Это вот Хлебовводов, — сказала коза, — … профессии, как таковой, не имеет… За границей был… в сорока двух странах. Везде хвастался и хапал. Отличительная черта характера — высокая социальная живучесть и приспособляемость, основанные на принципиальной глупости и на неизменном стремлении быть ортодоксальнее ортодоксов…

— Расскажите что-нибудь, — попросил Хлебовводова Феофил.

— Ошибки были, — быстро сказал Хлебовводов. — Люди не ангелы. И на старуху бывает проруха. Конь о четырех ногах и то спотыкается. Кто не работает, тот не ест…

— Понял, понял, — сказал Феофил. — Будете еще ошибаться?

— Ни-ког-да! — твердо сказал Хлебовводов».

Думаю, столь научно-завершенных и лаконичных портретов «номенклатуры» в реалистических романах было немного. Коза «прыгнула» выше реалистов.

Со вторым членом «тройки» у нее и у лесника Феофила вообще разговор короток:

«— Как вы насчет лжесвидетельствования? — спросил Феофил.

— Боюсь, что этот термин несколько устарел, — сказал Фарфуркис. — Мы им не пользуемся.

— Как у него насчет лжесвидетельствования? — спросил Феофил козу.

— Никогда, — сказала коза. — Он всегда свято верит в то, о чем свидетельствует.

— Действительно, что такое ложь, — сказал Фарфуркис. — Ложь — это отрицание или искажение фактов. Но что есть факт?.. Можно ли вообще в условиях нашей невероятно усложнившейся действительности говорить о факте?»

Однако едва коза начала задавать свои вопросы самому председательствующему Лавру Вунюкову, как Хлебовводов воззвал к милиции.

Коза с бесовскими глазами, не ожидая появления милиции и прокурора, удалилась.

И поделом ей! Осудить руководящую «тройку»! Самого Лавра Вунюкова, говорящего языком Косыгина и других правительственных лиц: «Мы имеем заявить… Мы имеем подчеркнуть… Мы имеем уверить…» Самого председательствующего, который действует только от имени народа: «Народ нам скажет спасибо, если эти задачи мы станем выполнять еще более активно, чем раньше. Народ нам не простит, если эти задачи мы не станем выполнять еще более активно, чем раньше».

«Задерните штору! — предложил каменнолицый Лавр Федотович. — Народу это не нужно».

Конечно, народу не нужны такие произведения, и ЦК партии, как мы знаем, не пощадил сибирские редколлегии, не сразу сообразившие, почему вдруг всемирно известные писатели оказались со своими рукописями в Сибири.

Второе произведение, «Улитка на склоне», всполошило власти не менее прежнего. Невинный жанр фантастики отныне стал, в глазах политических руководителей, опаснейшим троянским конем.

В самом деле, давно не было в России фантастики столь прозрачной.

Над обрывом, у края таинственного леса, высится Управление. Лес — сама жизнь со всеми ее сложностями, а Управление — сказочно невежественное руководство лесом. «Невежество испражняется в лес. Невежество всегда на что-нибудь испражняется».

Отношения властей с населением предельно ясны. «Стоит нашим отрядам появиться вблизи деревни, как они бросают дома, все имущество и уходят», — жалуется Беатриса, чиновница из группы помощи местному населению. «Мы пытались одеть их по-человечески. Один умер, двое заболели…» «Я, например, предлагаю отлавливать их детей и организовывать специальные школы».

Сатирическим разоблачением повесть «Улитка на склоне», однако, не исчерпывается. Она глубже и… безнадежнее. Может быть, это самая грустная книга современности.

Главный герой произведения по фамилии Перец, естественно, только и мечтает о том, как вырваться из Управления, которое искореняет и отлавливает. Он отправляется к директору с тайной надеждой отпроситься. Ждет своей очереди, в которой происходит многозначительная перепалка:

«Секретарша сказала:

— Перец, ваша очередь.

— Как моя? — удивился Перец. — Я же четвертый.

— Внештатный сотрудник Перец, — повысив голос, сказала секретарша. — Ваша очередь.

— Рассуждает… — проворчал кто-то.

— Вот таких нам надо гнать… — громко сказали слева. — Раскаленной метлой…

— Чует кошка, — сказали в приемной.

— Сколько веревочке ни виться…

— И вот такого мы терпели!

— Извините, но это вы терпели. Я его в первый раз вижу.

— И я, между прочим, тоже не двадцатый…»

Эпизод поистине фантастический, фантасмагорический… как сама действительность, давшая тысячи и тысячи подобных. Шельмование Пастернака и Солженицына людьми, которые книг их и в руках не держали, а до этого рукоплескали любому убийству, любой передовой «Правды», даже если она призывала пролить «пуды крови» врагов народа, — была и такая передовая. От нескончаемого кошмара и алогизма происходящего люди… перестали размышлять.

«Я живу в мире, который кто-то придумал, — с ужасом говорит бедняга Перец, — не затруднившись объяснить его мне, а, может быть, и себе. Тоска по пониманию, — вдруг подумал Перец. — Вот чем я болен — тоской по пониманию».

Перец не выдерживает наконец этого механического существования — под бдительным оком чиновника по искоренению Доморощинера и — бежит, выпрыгнув из автомашины в болотную жижу. Он бредет по болоту, почти захлебываясь в жиже, и мечтает где-нибудь отыскать людей. «Для начала — просто добрых… Не надо полета высоких мыслей…»

И натыкается на колонию говорящих автоматов. Перец с такой резвостью кинулся от них, что случайно оказался… победителем соревнования по бегу, которое как раз в это время проводилось в Управлении. Его обнимают. Его моет в ванне добрая Алевтина, возлюбленная шоферов.

А далее… далее и начинается тот прыжок в безнадежность, который многое проясняет. И новое мироощущение прославленных авторов, и, возможно, мотивы «гневных протестов» братьев Стругацких против публикации их рукописей за рубежом…

Переца то ли как чемпиона по бегу, то ли по ошибке назначают… директором. Самым главным в этом душегубном Управлении. Интеллигент и нигилист Перец, заболевший тоской по пониманию, становится верховной властью… Он потрясен и долго не может осознать случившегося. Доморощинер с трудом затаскивает его в кабинет директора, уже несколько часов

пустующий: Доморощинеру необходима виза, он не может искоренять без руководящей визы… На директорском столе табель-календарь с пометками о бульдозерах и прочем.

«К черту бульдозеры, — подумал Перец, — все: никаких бульдозеров… никаких пилящих комбайнов искоренения… Взорву!»… Он представил себе Управление… и понял, что очень многое нужно взрывать. Слишком многое. «Взрывать и дурак умеет», — подумал он».

Перец долго возился, пока наконец отомкнул сейф. Директорский. Хранилище главных тайн. Распахнул тяжелую броневую дверцу. «Изнутри дверца оказалась оклеена неприличными картинками из фотожурналов для мужчин, а в сейфе почти ничего не было. Перец нашел там пенсне с расколотым левым стеклом…»

Да ведь это сатанинское пенсне Фагота-Коровьева из «Мастера и Маргариты» Булгакова! Оно блеснуло еще в «Сказке о тройке», где снежный человек, привратник зловещей «тройки», снимал его ногой. Там оно было еще не расколото, а здесь уже расколото, точь-в-точь, как у Булгакова, описавшего полномочного представителя нечистой силы.

Треснувшее пенсне Фагота становится и намеком, и… почти символом Управления. Правда, в сейфе был еще «парабеллум, хорошо вычищенный и ухоженный, с единственным патроном в стволе…» Это, видимо, для директоров, не отвечающих высокому назначению. Как запасной выход для болезненно совестливых…

Но Перец болел тоской по пониманию. А не приливами обостренной совестливости… Это уже другой Перец. «В общем, власть имеет свои преимущества», — подумал он. Тем более, Доморощинер уже все бумаги приготовил, а Алевтина, добрая Алевтина, которая мыла его в ванне, перепечатала их. Правда, Перец отказался подписывать рутинную переписку, а когда его умолили хоть что-нибудь подписать, не эти бумаги, так другие, продиктовал свой приказ № 1: «…сотрудникам группы искоренения самоискорениться в кратчайшие сроки…Пусть все побросаются с обрыва… или постреляются… Сегодня же! Ответственный Доморощинер…»

Алевтина, записавшая приказ директора, притихла и — одобрила. «А что? — сказала она. — Правильно. Это даже прогрессивнее… Миленький. Ты пойми: не нравится тебе директива — не надо. Но дай другую. Вот ты дал, и у меня больше к тебе никаких претензий…»

Доморощинер, тот просто в восторге. «Это гениально, — тихо сказал он, тесня Переца к столу, — это блестяще. Это наверняка войдет в историю…

Перец попятился от него, как от гигантской сколопендры, наткнулся на стол и повалил Тангейзера на Венеру».

…Вот что, оказывается, происходит в мире, когда власть берут в руки прогрессисты, и даже такие умные и милые, как Перец, поборники свободы, ненавидящие искоренителей. Все равно в начальственном багаже их ждет опознавательный знак булгаковского беса — Фагота-Коровьева, пенсне с расколотым стеклом; рутина засасывает их, как болото, и снова, снова! будет управлять зло, называющее себя на этот раз прогрессивным…

Время Солженицына, надувшее паруса многих писателей, не могло научить всех стойкости. Да и можно ли требовать от каждого писателя солженицынской лагерной закваски?!

Слабел и критический заряд фантастики Стругацких, пока еще высокий; но его все более разъедал скепсис и цинизм героев, за которыми угадывались авторы, похороненные Главлитом заживо и даже не вскрикнувшие, когда земля забивала им рты.

Повесть «Гадкие лебеди», пожалуй, безнадежнее других. Ее сюжет, как водится у Стругацких, фантастичен до невероятия: бургомистр начал облаву на очкариков. Еще у Бабеля начдив шесть Савицкий объявил автору, что «тут режут за очки». Преемственность «фантастики» соблюдена. Правда, у Стругацких очкарики обзываются еще и мокрецами, которые давно отловлены властью и помещены в специальный лепрозорий. Лепрозорий для очкариков-мокрецов — это шаг вперед. Вместе со временем.

Очкарики поднимают восстание, к ним присоединяются все дети города, удравшие в лепрозорий. Родители, естественно, кидаются «спасать» детей, их останавливает у ворот мощный голос из репродуктора: «Что вы можете дать детям? Поглядите на себя. Вы родили их на свет и калечите по своему образу и подобию».

Аргумент этот вряд ли убедил родителей.

Тем не менее очкарики побеждают. Старая власть бежит. Сперва гной (начальство), затем кровь (обыватель), который, разумеется, винит во всем мокрецов («Дети свихнулись от мокрецов»), а затем армия.

Словом, читатель приглашается авторами в мир откровенных социальных утопий, сказочно удачных переворотов, спасающих детей. Вспоминается почему-то мудрый доктор Айболит, исцелитель детей и зверюшек, который «ставит и ставит им градусники…»

Однако в сем мире утопической благодати и сказочных превращений существует живой, талантливый грешный человек, ценитель женщин и вина, известный поэт Виктор Банев, исполняющий свои рискованные стихи в молодежных клубах под

звуки банджо. Авторы относятся к нему добродушно-иронически. Тем не менее с ним мы и отправимся в путь по несчастной стране; вскоре станет ясно, почему именно с ним.

Книга начинается, как детектив: некоего «очкарика» пытаются смять и бросить в полицейский автомобиль. В конце концов смяли и увезли.

Виктору Баневу подобные сцены отвратительны. «Как это его в капкан занесло? — спрашивает он у своей возлюбленной Дианы.

— Бургомистр ставит, сволочь…

— А что мокрецы им сделали?..

— Надо же кого-то ненавидеть, — сказала Диана. — В одних местах ненавидят евреев, где-то негров, а у нас — мокрецов.

— Гнусно все это, — сказал Виктор. — Ну и государство. Куда ни поедешь — везде какая-нибудь дрянь…»

Виктор Банев пытается действовать: он взял капкан и, отправившись в полицию, потребовал расследования. Оказалось, что в городе царят удивительные законы. Поскольку не было заявления от потерпевшего, считается, что преступления вообще не было, — это уж прямой кивок в сторону «удивительного» Уголовного Кодекса РСФСР и «Научно-практических комментариев» к нему. Жизнь и фантастика снова идут обнявшись…

Хотя Виктор Банев еще «бунтует», ищет время от времени правду, многим он уже поступился.

Он становится циником (жить-то надо!), и когда Диана спрашивает его о «технологии» творчества, скажем, в какой момент он вставляет в свои книги «национальное сознание» (без подчеркивания своего национального сознания книга властям не нужна), Виктор Банев объясняет с усмешкой: «… Сначала я проникаюсь национальным самосознанием до глубины души: читаю речи Президента, зубрю наизусть богатырские саги, посещаю патриотические собрания. Потом, когда меня начинает рвать — не тошнить, а уже рвать, — я принимаюсь за дело…»

Разумеется, Виктор Банев пьет, пьет с кем угодно и когда угодно. И с прогрессистами, и с чинами безопасности… Поэта удостоил в конце концов своим вниманием сам Президент…

В фантастическом городе от Президента зависит все. «Страны, которые нравились Президенту, вели справедливые войны во имя своих наций и демократии. Страны, которые Президенту почему-либо не нравились, вели войны захватнические».

— Виктуар, — говорит Президент вызванному им Виктору Баневу, — вы хотите по-прежнему иметь кусок хлеба с маслом?

Тогда перестаньте бренчать!.. «Его превосходительство намекал на мои упражнения с банджо в молодежных клубах…»

Президент на этот раз милостиво отпустил Банева, но его тут же перехватывает бургомистр, который ему, популярному поэту, любимцу молодежи, по мнению властей, предлагает… выступить против очкариков. «Осуществление потребует некоторого напряжения совести», однако…

Некто опытный нашептывает Баневу: «Продаваться надо легко и дорого — чем честнее перо, тем дороже оно обходится власть имущим…»

Кто знает, может быть, и продался б Виктор Банев, как продались до него многие, но писательская тропка завела его в школу, где его попросили выступить перед детьми. Он мелет что-то привычное, и вдруг слышит в ответ (и читатель понимает: это не слова детей, это слова авторов, брошенные ими в лицо поколению, стоящему у власти или пресмыкающемуся перед властью):

«Вы сожрали себя, вы растратили себя на междоусобные драки, на вранье и борьбу с враньем, которую вы ведете, придумывая новое вранье».

«Вы просто никак не можете поверить, что вы уже мертвецы, что вы своими руками создали мир, который стал для вас надгробным памятником. Вы гнили в окопах, вы взрывались под танками, а кому от этого стало лучше?..»

Виктор Банев в панике: «А почему, собственно, они должны уважать меня за все это? Что я ходил на танки с саблей наголо? Так ведь надо быть идиотом, чтобы иметь правительство, которое довело армию до такого положения… Разрушить старый мир и на его костях построить новый — это очень старая идея. И ни разу она не привела к желаемым результатам… Жестокость жестокостью не уничтожишь».

С насилием нельзя покончить насилием — это генеральная идея века. Идея Пастернака. А теперь и идея Стругацких. Куда она ведет?

Виктора Банева — к отчаянию. Он даже «сочиняет» песню, принадлежащую Владимиру Высоцкому, самому популярному в эти годы барду России:

Сыт я по горло, до подбородка,
Даже от песен стал уставать.
Лечь бы на дно, как подводная лодка,
Чтоб не могли запеленговать.

Но это здесь, на земле. А там, в книжном мире социальных

утопий, — победа: очкарики захватили город. Уже знакомая нам по «Улитке на склоне» развязка, — Перец стал директором. Очков он, правда, не носил.

Тема исторической победы прогресса тут, в этой более ранней книге, сдобрена юмором; Банев рад. Его ужасает только то, что очкарики, суперы проклятые, ром и виски превратили в воду. «Основу подрывают, краеугольный камень, — негодует он. — Трезвенники, мать их…»

Вот уж этого он от прогресса не ожидал! «Еще один новый порядок. А чем порядок новее, тем хуже, это уже известно».

Неправомерно, конечно, отождествлять героев и их авторов. Однако у художественного повествования есть своя логика изображения, логика впечатляющего удара. В творческой жизни братьев Стругацких появилось уже несколько точек отсчета, позволяющих провести мысленную линию. Скажем, милый прогрессист Перец, совестливый поэт и жизнелюб Банев и — сами братья Стругацкие, талантливые люди, по праву обретшие мировую славу и уступившие настояниям своего Президента — не бренчать по молодежным клубам. Стоит ли, в самом деле, «бренчать», если в результате фантастических по кровавому размаху катаклизмов к власти все равно придет некто в сатанинских очках с треснувшим стеклом…

Если б этой дорогой пошли лишь братья Стругацкие!

Мировоззренческий поворот талантливых писателей отражает сегодняшний пессимистический взгляд огромной массы советской интеллигенции, запуганной «открытыми» судами и арестами инакомыслящих и потому пустившейся на благоразумные рассуждения: «Новое всегда хуже. Власть есть власть. Эти хоть не начнут массового террора…»

Сахаров и Юрий Орлов шли своей дорогой. Братья Стругацкие — своей; не будем преуменьшать их заслуг.

Спасибо им за то, что они успели сделать: после запрещения Солженицына, тюремной литературы и вообще реалистической литературы с остро-критическим зарядом фантастика, как видим, действительно взвалила на свои плечи опасный груз и — два года несла его самоотверженно: миллионы читателей, любителей фантастики, оказались, неожиданно для самих себя, в эпицентре социальных бурь, и Бог знает сколько миллионов читателей прозрело, размышляя над непривычно «земной» фантастикой братьев Стругацких.

Спасибо им, оправдавшим ожидания, даже самые оптимистические: оттого, что последние книги Стругацких были преданы в СССР анафеме, критическое начало их, язвительно разоблачающее, гневное, вышло вперед.

Таковы законы воздействия запретной литературы. Критический заряд ее усиливается. И чем больше и свирепей власти ее «отлавливают», тем сильнее.

* * *

В повести «Гадкие лебеди» Стругацких есть фраза о выпивке, в которой, как всегда, принимает участие поэт Виктор Банев. «Мы не будем напиваться… — говорит один из героев… — Мы просто выпьем. Как это делает сейчас половина нации. Другая половина напивается. Ну и Бог с ней…»

А мы сейчас познакомимся вот с этой, второй половиной нации: с той самой, которая напивается, напивается порой ежедневно. Не скажем: Бог с ней! Попытаемся понять, чем жива эта пьющая «в усмерть» половина Руси.

Сейчас Россия пьет страшно. Как никогда. Я уже приводил убийственные цифры, о которых сообщил заместитель министра внутренних дел, выступивший перед писателями Москвы.

И вот так случилось, что талантливый представитель этой зверски пьющей половины — Венедикт Ерофеев — написал книгу под названием «Москва — Петушки», которую автор назвал поэмой. Ею зачитываются. Вернее, зачитываются рукописью, гуляющей в самиздате.

«Москва — Петушки» — ироничная, трагичная, поэтичная, полная земных деталей проза — казалось бы, полная противоположность фантастике, а вместе с тем она совершенно фантастична, как жизнь в России.

Крамольны уж самые первые строки книги, в которых рассказано о том, что он, автор, пересекая Москву из конца в конец, никогда не видел Кремля, хотел взглянуть, но почему-то каждый раз оказывался вместо Кремля в ресторане Курского вокзала либо в пивной.

Да и сюжета в ней, внешнего сюжета, никакого: Веня работает возле аэропорта Шереметьево: «Разматывали барабан с кабелем и кабель укладывали под землю». Затем пили. На другой день «вчерашний кабель вытаскивали из-под земли и выбрасывали, потому что он уже весь мокрый был, конечно…»

Веня — бригадир, занят тем, что чертит графики выпивок. Сколько было выпито в день. «Интересные линии… У одного — Гималаи, Тироль, Бакинские промыслы или даже верх Кремлевской стены, которую я, впрочем, никогда не видел…»

Затем Веня Ерофеев едет в электропоезде из Москвы в Петушки и пьет — И «самостоятельно», и с соседями… Делится

опытом составления смесей под названием «Ханаанский бальзам», «Ландыш серебристый», «Слеза комсомолки». Но превыше всех ставится им коктейль «Сучий потрох», куда входят кроме жигулевского пива также шампунь «Садко — богатый гость», средство от перхоти и потливости ног и дезинсекталь для уничтожения мелких насекомых. Все это неделю настаивается им на табаке сигарных сортов и — подается к столу. Читатель тут хохочет, вспоминает прозу веселого аббата Рабле, в восторге звонит друзьям: «Читали «Москва — Петушки»?!»

Но эти страницы — только подход к теме. А затем в разговорах и размышлениях Вени — вся история России, где аксессуары пьянства, пожалуй, сродни фантастике братьев Стругацких, что и сближает эти книги, бесконечно далекие и по стилю, и по жанру, и по материалу…

В пьяных или как бы пьяных разговорах высмеиваются и принижаются все «святыни революции», ставшие штампами партийных докладов, стереотипы современного мышления, привычное бездушие и безучастие, вся травмированная временем психика несчастного народа. А уж тем более карьеризм, основа основ многих бед.

…Выгнали Веню за «пьяные графики» из бригадиров…

«И вот — я торжественно объявляю: до конца моих дней я не предприму ничего, чтобы повторить мой печальный опыт возвышения. Я остаюсь внизу и снизу плюю на всю вашу общественную лестницу. Да. На каждую ступеньку лестницы — по плевку. Чтобы по ней подыматься, надо быть пидорасом, выкованным из чистой стали с головы до пят. А я — не такой…» Если знать, что «выкованным из стали» Сталин назвал Дзержинского, то легко понять силу Вениных аналогий.

Сам плоть от плоти народной, как же он глумится над спившимся народом. «О, свобода и равенство! О, братство и иждивенчество!.. О, блаженнейшее время в жизни моего народа — время от открытия до закрытия магазинов».

Ни себя не жалеет прораб Веня Ерофеев, ни свой родной народ, с которым он встречается и на работе, и в винных магазинах, и в электричке.

Вот он вошел, выпив на площадке электрички, в вагон, наполненный народом. «Публика посмотрела на меня почти безучастно, — пишет Веня, — круглыми и как будто ничем не занятыми глазами.

Мне это нравится, что у народа моей страны глаза такие пустые и выпуклые. Это вселяет в меня чувство законной гордости. Можно себе представить, какие глаза там. Где все продается и покупается:… глубоко спрятанные, притаившиеся,

хищные и перепуганные глаза… Девальвация, безработица, пауперизм. Смотрят исподлобья, с неутихающей заботой и мукой — вот какие глаза в мире Чистогана…

Зато у моего народа — какие глаза! Они постоянно навыкате, но никакого напряжения в них. Полное отсутствие всякого смысла — но зато какая мощь! (Какая духовная мощь!) Эти глаза не продадут. Ничего не продадут и ничего не купят. Чтобы ни случилось с моей страной. В дни сомнений, во дни тягостных раздумий, в годину любых испытаний и бедствий (пародируется, как видим, и Тургенев! — Г. С.) — эти глаза не сморгнут. Им все божья роса…»

«Безнадега» и белая горячка доводят Веню до смерти; кажется Вене, что разбивают ему голову о Кремлевскую стену…

Сопоставление фантастики Стругацких и нарочито приземленной, на натуралистической подкладке, трагической и поэтичной прозы Ерофеева, может быть, отчетливее всего свидетельствует о том, что литературные формы, пусть даже находящиеся в противоположных жанровых «углах», наполняются ныне в России одним и тем же содержанием — гневным протестом против губителей земли русской, которые довели ее до бесхлебья и, что страшнее, порой до безмыслия.

И до отчаяния.

А также и о том свидетельствует, что жива та, вторая половина Руси, о которой интеллигентные герои Стругацких говорят: «Ну и Бог с ними!»

Жива она и размышляет — в тоске, гневе, отчаянии…

8. Жанр устных выступлений писателей. Последняя попытка вырваться из-под цензурного гнета

Цензурная петля затягивалась все туже. Затягивалась тихо. Без судебных процессов. Большинство произведений оставалось погребенным в письменных столах.

Время диктовало новую тактику прорыва цензурных заслонов — устные выступления. Они начались не сразу: еще тлели надежды на перемены. Ни умом, ни сердцем не верилось в безнаказанность злодейства, которого не видывал мир.

Однако время говорило о другом. Доносчик, профессор Московского университета Эльсберг, если и не наказанный, то, во всяком случае, казалось, отстраненный от печатных изданий, вдруг снова стал на страницах «Литературной газеты» учить писателей нравственности и гуманизму. Был возведен — в Институте мировой литературы им. Горького — в ранг главного теоретика…

Мой сосед по дому, старый критик, бывший зэк, брошенный в лагерь в свое время по доносу Эльсберга, сказал вечером, во время прогулки: если Эльсберг пишет о нравственности, то мне остается только умереть.

И умер. На следующее утро.

Человеческая совесть вытерпеть такое не могла. Совершенно неожиданно суждения и проклятия известных писателей, высказанные даже в узком кругу, в Малом зале или в одной из комнат Клуба литераторов, где чаще всего происходили непарадные заседания, — эти суждения и проклятия… становились самиздатом.

Началось, как мы уже знаем из предыдущих глав, с выступления Константина Георгиевича Паустовского, листочки с его речью по поводу романа В. Дудинцева «Не хлебом единым» разлетелись по Москве, а затем по всей стране, как прокламации.

Они еще не были строго запретной литературой, эти листочки: их читали в трамваях, на работе, в клубах и очередях за продуктами. Расхватывали, случалось, как расхватывают на Западе газеты с сенсационными вестями.

Дорожка свободного слова была намечена… И когда, спустя некоторое время, прославленный и уважаемый в России кинорежиссер Михаил Ромм высказал вдруг на одной из закрытых дискуссий все, что он думает о мракобесе Кочетове, только что назначенном ЦК партии редактором журнала «Октябрь», более того — разъяснил без эвфемизмов фашистский смысл литературных погромов, — речь Ромма разошлась по России, наверное, большим тиражом, чем газета «Правда». Спустя неделю после дискуссии я улетел в Иркутск. Там мне показали новинку — речь Михаила Ромма…

Немногие художники, кстати сказать, пережили такое потрясение, как Михаил Ромм — режиссер известных кинокартин о Ленине. Последняя его работа — документальная лента «Обыкновенный фашизм» — прорвалась на экран с трудом.

Она демонстрировалась под нервный смех зрителей… За Гитлером, обходившим картинные галереи, где фюрер красовался во всех позах, с вытянутой рукой пророка, анфас и в профиль, зрителю виделись свои, доморощенные фюреры — и Сталин, и Хрущев, только что отбушевавший в Манеже на художественной выставке… Никогда еще российский «социализм» не был представлен столь талантливо и зримо — зримо для миллионов! — родным братом гитлеризма. Естественно, каждое слово Михаила Ромма, оброненное им, тотчас становилось известным в России и само по себе поддерживало нравственный климат открытого и воинствующего неприятия подлости.

Из Киева ему протянул руку Виктор Некрасов. Именно в эти годы он публично исхлестал киевских градоначальников, намеревавшихся превратить Бабий Яр в место увеселений и отдыха.

Будоражили статьи и выступления о нравственности писателей Григория Медынского и Натальи Четуновой.

Вскоре в один ряд с ними встала писательница Ф. Вигдорова, маленькая, болезненно-застенчивая женщина. Метаморфоза, происшедшая с ней, разительна, — говорили в Союзе писателей. Толстущие книги ее, посвященные воспитанию комсомольцев, считались настолько ортодоксальными, что автора даже выдвинули в депутаты райсовета.

Ф. Вигдорова вся светилась румянцем, говоря о своих молодых героях или принимая избирателей.

Однако райком партии грубо просчитался: Вигдорова была совестлива не только в рамках, предписанных райкомом, т. е. она не только мирила семьи, заступалась за избиваемых жен и матерей, приходивших жаловаться, не только добивалась квартир рабочим семьям, живущим по восемь — двенадцать человек в одной комнатушке, — она бросила все дела и отправилась на процесс поэта Иосифа Бродского, обвиненного в тунеядстве.

Ф. Вигдорова защищала невинных и ранее. Когда ленинградский литературовед И. Серман и его жена писательница Р. Зернова в сталинское время были брошены в тюрьму, она воевала за их освобождение, рискуя жизнью.

Когда Вигдорова выступила в московской печати в защиту оболганного школьника, в высоких инстанциях ее даже спросили: «А кем он вам приходится?»

За чужого, полагали, с такой страстностью и упорством не заступаются.

«Он мне приходится… человеком», — ответила Вигдорова.

Нет, ей отнюдь не просто было записать процесс над поэтом И. Бродским, начавшийся в феврале 1964 года в Ленинграде, за два года до суда над Синявским и Даниэлем. Вот застенографированные выкрики судьи Савельевой в адрес Вигдоровой: «Прекратите записывать!» Вигдорова: «Товарищ судья, я прошу разрешить мне записывать». Судья: «Нет!» Вигдорова: «Я журналист, член Союза писателей, я пишу о воспитании молодежи, я прошу разрешить мне записывать». Судья: «Я не знаю, что вы там записываете! Прекратите!» Из публики: «Отнять у нее записи!»

Тем не менее Вигдорова застенографировала весь процесс, все реплики судьи, позволившие понять не только суть дела, но и обстановку полицейских зуботычин, сопровождавших заседания:

мир с изумлением узнал, что и в дни хрущевской «свободы», когда публиковался даже Александр Солженицын, правосудие разговаривало с поэтами так:

Судья: — Чем вы занимаетесь?

Бродский: — Пишу стихи. Перевожу. Я полагаю…

Судья: — Никаких «я полагаю»! Стойте как следует! Не прислоняйтесь к стенам! Смотрите на суд! Отвечайте суду как следует! (К Вигдоровой: «Сейчас же прекратите записывать! А то выведу из зала»…)

Это было первое надругательство советского правосудия над мыслью, в данном случае — поэтической, после смерти Сталина. Ф. Вигдорова, волей обстоятельств и собственной совести, была втянута в духовные бои молодежи. Позднее к ней приходил, ожидая ее поддержки и найдя ее, Александр Гинзбург, которого мир узнал, увы, тоже лишь после судебного процесса, вошедшего в историю сопротивления под названием «Процесс Гинзбурга — Галанскова».

С Ф. Вигдоровой, возможно, произошло то, что так ярко описал в своей последней книге Александр Бек. В человеке происходит «сшибка». Привитые взгляды говорят ему одно, а совесть — другое… От такой «сшибки» умер, как мы знаем, герой книги А. Бека металлург Онисимов. А вскоре и сам автор, А. Бек, прозревший свою скорую дорогу в раковый корпус.

Та же беда настигла Ф. Вигдорову. «Сшибка»… Она снова воочию увидела злую правду полицейского века, которому, думала, приходит конец. Глубоко нравственный человек, поверивший в глубине души в торжество правды и «трудного счастья» (так называлась одна из ее последних книг), Ф. Вигдорова испытала в зале суда такое потрясение, что после осуждения поэта Бродского, а позднее А. Гинзбурга и других, не могла жить. Ужас нового торжества «ленинских норм» унес ее в могилу буквально за два-три года.

За несколько дней до кончины Вигдоровой к ней приходил, казалось, окончательно очерствевший писатель, член партийного бюро. Его не пускали. Он сказал, что должен объяснить Ф. Вигдоровой что-то крайне важное. Он просил у Ф. Вигдоровой прощения, плакал: оказывается, он должен был «внести предложение» об изгнании Ф. Вигдоровой из Союза писателей.

Годами не появлялись книги К. Паустовского, В. Каверина, А. Бека, Виктора Некрасова или Степана Злобина. Но само присутствие таких людей на собраниях в Союзе писателей изменяло порой нравственный климат, в котором мы жили.

Степан Злобин — ученый-историк, автор исторических романов «Салават Юлаев», «остров Буян», «Степан Разин» и

других. Лучшие его книги — о бунтарях… След, оставленный им в душах писательской молодежи, огромен.

Больной туберкулезом, Степан Злобин потребовал в 1941-м, чтоб его взяли на фронт. Не взяли. Тогда он ушел сам, вместе с московским ополчением, брошенным без оружия — одна винтовка на троих — против немецких танков.

Танки переехали окопы ополченцев и ушли дальше — Степан оказался в плену.

За колючкой гитлеровского концлагеря Степан Злобин стал руководителем Сопротивления. Спас от расстрела сотни пойманных беглецов, — перекалывал их личные номера на номера умерших от голода.

Так же, как он спасал пленников, он спасал позднее «плененные писательские мозги», как он порой говаривал. Используя любую возможность.

В конце концов Степана Злобина перестали подпускать к трибуне, как и Паустовского: каждый раз Злобин бранил «руководящих писателей» «перегенералившимися генералами», «гнилыми пеньками», «держимордами»… Когда слова ему более не давали, он начал использовать для своего словесного «нокаута» все возможные двух-трехминутные процедурные сообщения, скажем, для отвода делегатов на какую либо конференцию.

Как-то, потребовав убрать из очередного списка кагебиста Василия Ардаматского, Степан Злобин повернулся к столу президиума: за столом восседали Леонид Соболев, Алексей Сурков и другие «вожди» Союза писателей, только что прибывшие из Кремля, где они уверяли Хрущева в своей верности «линии партии». Сказал им хрипловато и спокойно: «Вам, жадною толпой стоящим у трона, все равно какого, этого, конечно, не понять…»

Естественно, такое становилось на другой день известно всей Москве…

Студенческий Ленинград прислушивался к каждому слову профессора Е. Эткинда, занятия которого привлекли в свое время и поэта Иосифа Бродского.

Реплики ленинградского литературоведа А. Македонова на обсуждениях в Союзе писателей становились известны всем, как и реплики Степана Злобина. Да и могли ли они остаться втуне, если даже в ухтинском концлагере в сталинские времена больной, обмороженный зэк Македонов посмел так завершить свою лекцию о Чехове:

«Чехов умер в 1904 г. Свободным человеком. Если б он дожил до наших дней, он был бы вместе с нами. За лагерной «колючкой»…

Я был в Ухте в 1970 году. Там и сейчас старые люди вспоминают о Македонове…

Я отлично помню свое ощущение, когда умер в 1964 году Степан Злобин.

В октябре 65-го года в Союз писателей вдруг заявился весь аппарат ЦК и госбезопасности, занимавшийся «вопросами идеологии», во главе с секретарем ЦК Демичевым, от которого ничего хорошего не ждали. Преодолев опасения не вернуться домой, я публично обвинил их в проведении политики государственного шовинизма и произвола.

Резкость моих слов во многом определялась тем, что Степана Злобина уже не было. Если не он, то кто же? Я окрестил цензуру «особым совещанием в литературе» (ОСО) — сказал гонителям то, что тогда обычно позволял себе говорить лишь Степан Злобин.

… До появления публицистики Солженицына наши горькие и гневные выступления были, по сути, эпизодическими прорывами. Приход Солженицына дал начало новой волне, которая подняла и всех нас. Мы пытались затем защищать и его, а значит, обязаны были, вопреки всему, быть такими же бесстрашными, как и он… Намеки и речи «с подтекстом» были просто невозможны после того, как он сказал о советских правителях пушкинское: «Они любить умеют только мертвых…»

Прямо и гневно обрушился на карателей москвич Георгий Владимов, в столе которого ждала своего часа повесть «Верный Руслан».

> «… нация мы шептунов, подонков и стукачей, или же мы великий народ?..»

Удивительную силу обрел одаренный писатель-ленинградец Конецкий, бывший морской штурман! «…С презрением к самому себе должен заявить, что эта «цензура», это угнетение ею художественного сознания уже оказали на меня, на мой разум и творчество, вероятно, необратимое влияние. Внутренний цензор говорит знаменитое «не пройдет» еще до того, как приступаешь к работе…

В юбилейный год советской власти цензурный произвол и самодурство достигли апогея, что является кощунственным».

Десятки писателей сказали подобное.

До солженицынского письма на такое не решались.

Время разделило Союз писателей СССР на две смертельно враждующие группы — писателей и карателей.

9. Каратели

В Союзе писателей СССР суматоха. Бегают секретари, гардеробщики, литчиновники.

Начальник секретного отдела Союза писателей, однорукий худой гебист в отставке, оступился от усердия на деревянной лестнице и полетел с грохотом вниз. Заведующий отделом драматургии и театра Громов оттер привратника и распахнул пошире дверь.

К подъезду подкатили бесшумно две большие черные машины.

— Кого принесло? — спросил я своего товарища.

— А! — Он отмахнулся небрежно. — Чучело орла…

Я не люблю писателей холодных. Константин Федин поэтому никогда не был моим писателем. Однако, переступив впервые порог Союза писателей, я испытывал к нему уважение, какое испытывают к мастерам.

Я говорил недовольным: «Он — мастер!»

Я был удивлен, правда, силой презрения к нему, которого не скрывали писатели-старики. Почему-то они всегда начинали рассказ о нем с дороги в эвакуацию.

Константину Федину была предоставлена в вагоне, как классику, вторая полка, — вспоминали они. — Он укладывался на ней и начинал обсыпать себя порошком от клопов и прочих паразитов. Внизу сидели, тесно прижавшись друг к другу, писатели, не зачисленные в классики. Клопиный порошок густо сыпался на них, на жалкую еду военных лет, на детей. Федин на возгласы снизу не отвечал, словно там никого не было. Не снисходил…

Я относился к подобным рассказам чаще всего как к обычному недоброжелательству: преуспевающие писатели порой окружены им, как облаками. Так продолжалось до тех пор, пока я не узнал подробностей гибели Марины Цветаевой. Оказалось, перед самоубийством, в отчаянии и беде, Марина Цветаева добралась до татарского города Чистополя, где, фигурально выражаясь, раскинули свои шатры эвакуированные писатели поизвестнее. Она ходила к Федину и Асееву, просила их помочь; а вернувшись в свою забытую Богом Елабугу, накинула на себя петлю…

Тут-то я понял, что порошок, густо сыпавшийся на «нижесидящих» писателей, — не выдумка: Федин оградился им и от плачущей Марины Цветаевой…

Позднее он с такой же легкостью отвернулся от Бориса Пастернака, Александра Солженицына, Александра Твардовского, Синявского и Даниэля — от всех, на кого указывала державная рука. Он знал, как обращаться с тем, что беспокоит, вызывает зуд.

Достаточно обсыпать себя вонючим зельем, и ты в безопасности!..

Но не будем начинать с конца.

Константин Федин был не хуже других писателей 20-х годов, жаждущих признания и удачи. Да, он убил своего главного героя Андрея Старцева из романа «Города и годы», создавшего ему имя. Уничтожил русского интеллигента, как собаку: по убеждению автора, писатель обязан развенчать, а то и уничтожить героя, поставившего личное над общим!

Писатель Тренев заставляет Любовь Яровую, в своей пьесе, предать мужа — белого офицера. Маринист Борис Лавренев нажимает спусковой крючок винтовки, вложенной им в руки женщины, героини талантливой повести «41-й», и она убивает своего возлюбленного, поскольку и тот оказался — хуже не придумаешь! — инакомыслящим.

Этих «высот» держались, как мы помним, многие. И вполне искренне: резня называлась классовой борьбой.

Только Бабель — в тоске от безнравственности революции. Он, как и его Гедали, не в восторге от того, что герой-буденновец режет своего «папашу». Пусть и белого… «Летопись будничных злодеяний» теснит его сердце.

…«Летопись» двадцатых закономерно перешла в «летопись» тридцатых, когда сыновья отказывались от отцов и матерей, новоявленных «врагов народа»…

Думаю, она, эта нескончаемая кровавая летопись, теснила и сердце бывшего актера Константина Александровича Федина: человек не рождается волком… Однако Константин Александрович не желал расставаться с комфортом, он цеплялся за него скрюченными старческими пальцами; я помню вскрик Федина, когда ему сказали о новом распоряжении Литфонда СССР, по которому писательские дачи должны ремонтировать сами писатели. «Дайте нам умереть спокойно!» — вырвалось у него в испуге и гневе.

Когда в ЦК партии решили судить Даниэля и Синявского, Федин сказался больным. Брежнев с товарищами из Политбюро прибыли в поселок Переделкино, на дачу Федина. Переделкино было оцеплено.

Федин не перечил гостям. Конечно, он не против суда над писателями.

Константин Александрович снова обсыпал себя порошочком… Он обсыпал себя и когда надо было поддержать Паустовского, Тендрякова, Казакевича, Алигер, Бека. «Незамиренных горцев», как он иронически окрестил их.

А сколько было натрушено порошочка, когда потащили на лобное место Александра Солженицына!..

Тут не выдержали даже друзья Федина, знавшие его со времен «Серапионовых братьев» — литературного сообщества, которое, как известно, отвергало государственную опеку. «С кем мы? — демонстративно вопрошали «Серапионовы братья». — Мы с пустынником Серапионом…»

Давненько уж никто из них не клялся в верности Серапиону. Недостреленные «серапионы» жили с Фединым бок о бок и прощали ему многое. В тот час не простили и они.

«Мы знакомы 48 лет, Костя, — гневно написал ему Вениамин Каверин. — В молодости мы были друзьями. Мы вправе судить друг друга. Это больше, чем право, это долг…

Как случилось, что ты не только не поддержал — затоптал «Литературную Москву», альманах, который был необходим нашей литературе? Ведь накануне полуторатысячного собрания писателей в Доме киноактера ты поддерживал это издание. С уже написанной опасно-предательской речью в кармане, ты хвалил нашу работу…

Недаром на 75-летии Паустовского твое имя было встречено полным молчанием. Не буду удивлен, если теперь, после того как по твоему настоянию запрещен уже набранный в «Новом мире» роман Солженицына «Раковый корпус», первое же твое появление перед широкой аудиторией писателей будет встречено свистом и топотом ног… Нет сейчас ни одной редакции, ни одного литературного дома, где не говорили бы, что Марков и Воронков были за опубликование романа и что набор рассыпан только потому, что ты решительно высказался против…

Ты берешь на себя ответственность, не сознавая, по-видимому, всей ее огромности и значения… Ты становишься, может быть, сам того не подозревая, центром недоброжелательства, возмущения, недовольства в литературном кругу…»

Тут неточна, пожалуй, лишь одна фраза: «Сам того не подозревая»…

Константин Александрович «подозревал», как он любим: годами ощущал себя в пустоте, в окружении одних лишь государственных дам, вроде личного биографа Брайниной или главного редактора и цензора писательского издательства Карповой, которые разве что в доме Федина не ощущали на себе презрительных взглядов писателей.

Александр Твардовский, так же как и Каверин, пытавшийся спасти для широкого русского читателя Солженицына, завершил свое предельно сдержанное письмо к Федину словами, исполненными безнадежности: «…Кончаю свое послание, как уже сказал, без особых упований на благоприятный практический его

результат».

Когда Константин Федин пишет личные письма под копирку, первый экземпляр — адресату, второй — в ЦГАЛИ (Центральный государственный архив литературы и искусства), когда он этак примеряет себя к истории — это может вызвать лишь улыбку.

Когда он ограждает себя клопиным порошком от литературы, когда загоняет поэтов и писателей в петлю, — тут уж не до улыбки.

Мне пришлось быть невольным слушателем речей Федина. Видеть его много раз. Заслуживает внимания, пожалуй, лишь один эпизод.

У входа в дом творчества «Переделкино» столкнулись Константин Федин и моложавый порывистый Елизар Мальцев, добрейший, верноподданный Елизар Мальцев, удостоенный в свое время даже должности секретаря писательского парткома.

Елизар Мальцев — ученик Федина. К. Федин был в Литературном институте его наставником, его любовью, его самым большим авторитетом. И даже творцом его литературного псевдонима.

Фамилия Елизара Мальцева — Пупко. Как с такой фамилией выходить на писательскую дорогу?! Елизарий Пупко решил назваться Елизаром Большовым. Пришел за советом к своему любимому учителю — К. Федину. Федин взглянул на коренастого ученика и воскликнул добродушно:

— Ну какой же вы Большов?! Вы — Мальцев!

Так Елизарий Пупко стал Елизаром Мальцевым, известным в России прозаиком, благополучным автором романов о труде, сценариев, либретто оперы «От всего сердца», поставленной в Большом театре. И даже лауреатом Сталинской премии.

Твардовский его недолюбливал и никогда не печатал, хотя проза Елизара Мальцева была порой близка по своей «осадке в жизнь» новомирской.

Елизар Мальцев столкнулся со своим учителем Фединым у входа в Дом творчества в дни разгрома «Нового мира».

Константин Федин улыбнулся своему ученику. Мальцев преградил ему путь и резко спросил, понимает ли он, Федин, что творит.

— Вы не только «Новый мир» убили, вы убили целое направление в русской литературе!

У Федина дрожали губы…

…Я не знал в Союзе писателей СССР человека, которого бы ненавидели столь яро и единодушно. Его презирали и правые, и левые, и «болото», готовое ради корысти возлюбить все и вся. Даже коренников «палаческой гильдии» Грибачева и Софронова,

даже Кочетова и Суркова презирали меньше. Обыкновенные конвойные овчарки, не более того. Ринутся, на кого прикажут.

Константин Федин пошел в каратели не от нужды. Вряд ли кто-либо мог принудить его стать «генеральным опричником»… В ЦК партии поняли, что он готов на все.

Остается понять, казалось бы, непостижимое.

В кровавые сталинские времена Константин Федин не растерял славы порядочного человека. Он и в самом деле никогда не бывал ни штатным оратором проработочных кампаний, ни «литературным консультантом» НКВД, — словом, он брезгливо отстранился в свое время от когорты фадеевых — ермиловых.

Почему же в шестидесятые годы, когда не было уж ни Сталина, ни Молотова, а затем и Хрущева, почему он, Константин Александрович Федин, бывший «серапион», пустился во все тяжкие? Чем объяснить этот страшный распад личности?

Конечно, прежде всего, оскудением и утратой таланта. Последний многословный фединский роман «Костер» можно дочитать до конца, по меткому замечанию московского критика Л., только по приговору военного трибунала. Деликатный читатель «Нового мира» старался догорающий фединский «Костер» просто не замечать.

Утрата таланта — причина главная, типовая. Не случайно той же горькой дорогой, вниз ступень за ступенью, прошли и Леонид Леонов, о котором Максим Горький некогда неосмотрительно сказал, что «Леонов талантлив на всю жизнь», и Леонид Соболев, автор «Капитального ремонта», ч. 1, а второй части так и не создавший.

Генеральные каратели, как показал опыт, из бывших талантов и рекрутируются…

Однако есть ведь и обратные примеры.

Не стал коллаборационистом старейший прозаик Федор Гладков, друг Горького. Ему старость тоже таланта не прибавила. Он так и остался, в школьных учебниках, автором давнего романа «Цемент», а не поздних своих повестей. Тем не менее Федор Гладков не пожелал играть с палачами в их кровавые игры. До конца дней своих.

По-видимому, кроме типового, нужен еще и индивидуальный толчок в спину, который низвергает в омут.

Исследователи современной литературы в СССР, как правило, не касаются внутрисемейных писательских конфликтов, с их мотивациями, порой зыбкими, субъективными и спорными.

Однако кому не известно, как много значат в жизни писателя его тылы. Скажем, против чего возражает или на чем настаивает любимый им человек. Удерживает от бесчестных поступков: «Ты

не сделаешь этого!» или, напротив, подталкивает к ним: «Что завтра твои дети будут есть?!»

Нравственному крушению бесхарактерного, недоброго, самолюбивого Константина Федина в большой степени способствовала смерть его первой жены, Д., прямой, честной женщины. Об этом говорили мне и писатели, и их дети, жившие с Фединым десятки лет бок о бок.

Первая жена Федина, утверждали они, не простила б ему подлости. Она была человеком не просто честным, а человеком редкой храбрости: демонстративно, на людях, заговаривала со вдовами и детьми расстрелянных писателей, помогала им.

«Я никак не могла понять в свои восемь лет, почему мама так подолгу простаивает с Д., — рассказывала мне внучка убитого Сталиным писателя Бергельсона. — Д. окликала нас, мы задерживались иногда посреди двора. Мела поземка. Я коченела от холода. А мама, не давая мне удрать, говорила и говорила с Д. О пустяках. Ни о чем.

Только позднее я осознала героизм Д. Ведь здесь, в колодце писательского дома на Лаврушинском, нас видели изо всех окон… И те, кто шарахались от нас, как от чумы. И дворники-стукачи».

…Со смертью Д. Константин Федин перестал стыдиться своих поступков. Одно осталось: «Дайте умереть спокойно!»?

Тогда-то и пристало к нему это прозвище — «Чучело орла».

И в этот раз, в мой последний приход в Союз писателей, оно проплыло мимо меня — безжизненное, с остекленевшими, светлыми до пустоты глазами. Высохшее, словно мумифицированное лицо Константина Федина, с его некогда гордым профилем и хищновато-тонким носом, и в самом деле напоминало не орла, а чучело орла из школьного кабинета биологии.

… Сломленный, почти всегда нетрезвый и остроумный поэт Михаил Светлов, кормившийся переводами с языков народов СССР, однажды был остановлен в Клубе писателей бесталанным толстяком-туркменом, который начал упрекать Михаила Светлова в том, что тот «перевел его стих совсем-совсем неправильный».

— Будешь шуметь, — весело сказал подвыпивший Светлов, — я переведу тебя обратно.

Сколько их появилось в литературе, таких новоявленных «литературных баев», созданных талантливыми русскими поэтами-переводчиками.

Когда-то была нужда в акынах, славящих Сталина; поэты-переводчики «создали» Джамбула и Сулеймана Стальского… От современных джамбулов реже требуют славословия, чаще —

участия в травле талантов.

Богатейшие, в своих республиках, домовладельцы и хозяева бесчисленных отар, эти безымянные литературные баи в Москве, на писательских съездах, стали опорой любого мракобесия…

Тот же Михаил Светлов, имея в виду и эту «странность» культурно-национальной политики, придумал такую игру. Открывается, на любой странице, «Справочник Союза писателей», в котором перечислено около восьми тысяч фамилий. Играющий должен проглядеть фамилии писателей на странице и сказать, что эти писатели создали… Назовет — выиграл десятку. Не назовет — покупает Михаилу Светлову сто граммов.

Михаил Светлов от такой игры никогда не трезвел.

И немудрено! Вместе с Фединым и под его началом травили Солженицына, загнали в опалу, а затем в эмиграцию, а Твардовского довели до смерти… Абдумомунов, Шарипов, Мусрепов, Яшен, Кербабаев и т. д. и т. п. Что дали миру они, вознесенные в секретари, парторги, редакторы? Чем знамениты? В библиографических справочниках иногда можно отыскать тусклые названия их книжек, давно канувших в Лету.

Чудную игру придумал веселый циник Михаил Светлов. Беспроигрышную.

Даже если кто-либо из опричников вдруг прошумит книгой-однодневкой, как Корнейчук или Вадим Кожевников, все равно, как точно заметил Вениамин Каверин, «писатель, накидывающий петлю на шею другого писателя, — фигура, которая останется в истории литературы, независимо от того, что написал первый, в полной зависимости от того, что написал второй»…

ЧАСТЬ 4
Проза крестьянской беды

1. «Великая криница» И. Бабеля

Крестьянство несло на себе все беды России — в окопах и тюрьмах, дома и на высылке. Но его постигла особая беда — коллективизация, от которой Россия до сих пор не может оправиться.

Крестьянская беда породила свою литературу и свою антилитературу, от Шолохова и Бабаевского до позднейших «дымзавесчиков» типа Михаила Алексеева или Георгия Радова. Россия наводнена этой антилитературой. «Поднятая целина» или «Кавалер Золотой Звезды» выходили астрономическими тиражами; во многих советских библиотеках книги Шолохова и Бабаевского «учитывают» не экземплярами, а метрами. «У нас восемь метров Шолохова и полтора метра Бабаевского», — сказали мне в одной районной читальне.

У литературы крестьянской беды — судьба деревни. Ее уничтожали всеми способами. Она была развеяна по ветру.

Исчезло вдруг даже напечатанное, широко известное. В послевоенных изданиях И. Бабеля опущены рассказы «У батьки нашего Махно» и «Иван-да-Марья».

«Иван-да-Марья» более всего убеждает в целенаправленности этих изъятий… В рассказе повествуется о том, как с одобрения Ленина была организована экспедиция в Поволжье. Прибыл пароход менять товары на хлеб. «Торговля шла ходко. Со всех краев степи к берегу тянулись медленные потоки телег. По спинам сытых лошадей двигалось солнце».

Бабель не только отмечает солнце на спинах сытых лошадей, он включает в этот рассказ даже не свойственную его стилю журналистскую фразу. Чтоб никаких неясностей не оставалось: «По вычислениям ученых, этот уезд, при правильном в нем хозяйствовании, может прокормить всю Московскую область».

Потоки телег с хлебом, которые тянули сытые лошади, Бабель наблюдал в 1918 году. Ровно через три года — в 1921 году — начался страшный голод в Поволжье…

Изъятый рассказ стал дополнительной уликой, объясняющей, почему проза Бабеля последних лет не увидела света.

…Казалось, в подвалах НКВД пропало все. И вдруг лет пятнадцать назад были обнаружены и, как это ни странно, напечатаны страницы, которые позволяют теперь понять, какова

была литература крестьянской беды.

Даже простой читатель, рассеянно и изредка листающий советские издания, мог бы обратить внимание на странную суету вокруг имени Бабеля. Четверть века его замалчивали, затем дважды издали в Москве — воистину со скрежетом зубовным — и вдруг засуетились, давая «отпор» Максу Истмену, Глебу Струве и другим западным литературоведам, заметившим многолетнее молчание Исаака Бабеля… «Наш Бабель, наш! — всполошились советские журналы. — Это злодеи-советологи придумали, что Бабель, «разочаровавшись, якобы перестал писать и замолчал».

О, это протокольно-полицейское «якобы!»

Задержимся здесь. Казалось бы, прав Беляев, борец за Исаака Бабеля! Совершенно закономерно приводит он выдержку из книги Федора Левина, друга и исследователя И. Бабеля: «Может сложиться впечатление, что он (Бабель. — Г. С.) мало работал, мало писал. Однако это не так. Бабель трудился необычайно много и упорно, в письмах он не раз упоминал, что доработался до крайней усталости, до головных болей. Но он не все начатое заканчивал, оконченным работам давал «отлежаться».

Далее А. Беляев, борец за Исаака Бабеля, обстоятельно перечисляет произведения Бабеля последнего периода. «В 1927 г. Бабель заканчивает пьесу «Закат», по его сценариям в том же 1927 г. поставлены фильмы «Китайская мельница» и «Беня Крик», в 30-е годы он работает над романом о чекистах, пишет повесть «Великая конница»…»

Осведомленный, как видим, человек товарищ А. Беляев. Знает не только то, что появилось в печати, но и то, что могло бы появиться, но не появилось.

Почему же все-таки не появилось? До ареста Бабеля еще далеко, более десяти лет. Успел бы напечатать и о чекистах, и о «Великой коннице»…

«Бабель беспощаден к себе и своему творчеству, — установил А. Беляев… — В письме к Полонскому признавался: «…я не сдам рукописи ранее того дня, когда сочту, что она готова». — Эти слова, — с гордостью заключает А. Беляев, — как нельзя лучше характеризуют *саму суть* трудности судьбы Бабеля, художника самобытного, *творчество которого оказалось ограниченным одной или, точнее, двумя темами* (здесь и ранее выделено мною. — Г. С.). Исчерпав их до конца в новеллах о Конармии и в «Одесских рассказах», Бабель пережил острый творческий кризис…»

Но дело-то в том, что Исаак Бабель никогда не писал повести «Великая конница». Я бы посчитал слова эти типографской опечаткой, если бы А. Беляев не обосновал на этой «опечатке» своей концепции о творчестве Бабеля, «ограниченной» одной или

двумя темами».

Кровавая то опечатка! Была и третья тема, главная в творчестве Бабеля тридцатых родов. За нее писателя и убили, конфисковав при аресте его архив.

Она разработана в романе Бабеля «Великая Криница», которую А. Беляев перекрестил в «Великую конницу». Чтоб и следов не осталось. Тема эта — тема надругательства государства над деревней.

Выяснилось вдруг, что отдельные главки из книги «Великая Криница» или «Великая Старица», машинописные копии которых Исаак Бабель, видимо, давал читать друзьям, уцелели.

Об этом мы узнали лишь через двадцать семь лет после ареста Бабеля. В «Избранном» Бабеля, выпущенном в 1966 году с предисловием Ильи Эренбурга в городе Кемерове, глава из книги Бабеля «Великая Криница» под названием «Гапа Гужва» увидела свет. Изъятый НКВД, «залежавшийся» Бабель «прорывался» к читателю теми же путями, что и опальные братья Стругацкие, и другие писатели, пытавшиеся спастись от ока государева в журналах Сибири, Забайкалья, Кузбасса. Где подальше…

К «Гапе Гужва» мы еще вернемся. А здесь остановим свое внимание на одной из глав «Великой Криницы», которая называется «Колывушка». Понадобилось страшное ташкентское землетрясение, чтобы пробился к русскому читателю подлинный, менее усеченный Бабель.

Произошло это так. Сразу после ташкентского землетрясения, когда вся Россия разбирала осиротевших детей, когда шли в Ташкент подарки и пожертвования, решили сделать свой подарок и столичные писатели. Они выпустили в Ташкенте безгонорарный альманах «Звезда Востока». Для альманаха собирали лучшее. Не знаю кто, возможно, тот же Эренбург предложил альманаху «Колывушку» Бабеля. Властям было не до литературы: полгорода жило в палатках. Воду развозили в цистернах. Из-под развалин доставали трупы.

Характер моей книги, книги-отбора, книги — розыска подлинного, полузабытого, порой изруганного, отчасти изъятого — «залежавшегося», книги — исследования подтекста и аллюзий, — замысел такой книги не оставляет места для исчерпывающего анализа каждого отобранного произведения. В этом случае книга недопустимо разрослась бы, а круг ее читателей, соответственно, — сузился.

Однако в данном случае я не имею права на оглядку. «Великую Криницу» не просто замалчивают. Как видим, пытаются истребить даже память о ней.

Ташкентский альманах давно стал библиографической

редкостью. Широкому читателю он практически недоступен. Потому в анализе своем я буду цитировать его щедро, тем более что «Колывушка» Бабеля, занимающая всего-навсего три с половиной журнальных страницы, воистину сродни чуду воскресения из мертвых. О чем «Колывушка»?

Чужие врываются в крестьянский двор и — сокрушают его. По новой терминологии — раскулачивают. Женщин увозят, мужчин пытаются убить.

«Во двор Ивана Колывушки вступило четверо — уполномоченный РИКа Ивашко, Евдоким Назаренко, голова сельрады Житняк, председатель колхоза, только образовавшегося, и Андриян Моринец. Андриян двигался так, как если бы башня тронулась с места и пошла. Прижимая к бедру переламывающийся холстинный портфель, Ивашко пробежал мимо сараев и вскочил в хату. На потемневших прялках, у окна, сучили нитку жена Ивана и две его дочери. Повязанные косынками, с высокими тальмами и чистыми маленькими босыми ногами — они походили на монашек. Между полотенцами и дешевыми зеркалами висели фотографии прапорщиков, учительниц и горожан на даче. Иван вошел в хату вслед за гостями и снял шапку.

— Сколько податку платит? — вертясь, спросил Ивашко.

Голова Евдоким, сунув руки в карманы, наблюдал за тем, как летит колесо прялки…

— В этом господарстве, — сказал Евдоким, — все сдано, товарищ представник… В этом господарстве не может того быть, чтобы не сдано…

Беленые стены низким, теплым куполом сходились над гостями. Цветы в ламповых стеклах, плоские шкафы, натертые лавки — все отражало мучительную чистоту. Ивашко снялся со своего места и побежал с вихляющимся портфелем к выходу.

— Товарищ представник, — Колывушка ступил вслед за ним, — распоряжение будет мне или как?..

Веселый виконавец Тымыш мелькнул у ворот, — вслед за Ивашкой. Тымыш мерил длинными ногами грязь деревенской улицы… Иван поманил его и схватил за рукав. Виконавец, веселая жердь, перегнулся и открыл пасть, набитую малиновым языком и обсаженную жемчугами.

… — Тебя на высылку…

И журавлиными своими ногами Тымыш бросился догонять начальство».

В крестьянском мире неподвижно все: старинные фотографии, полотенца и дешевые зеркала, висящие на стене. Образ беленого купола усиливает неподвижность.

Неподвижность эта — предсмертная. Тональность — скорбная. Прялка — потемневшая; женщины — как монашки. Купол обретает дополнительное значение — монастырского. Жизнь, придавленная куполом затворничества.

В этом контексте завершающее определение воистину гениально: «Мучительная чистота»… «Все вокруг: цветы, плоские шкафы, натертые лавки — все отражало мучительную чистоту…»

Два огромных усилия крестьянской жизни сплавились тут воедино: прежде всего, исконное напряжение крестьянского труда, двужильного, трехжильного. Тут напряжение предельное, порядок извечный. «В этом господарстве не может быть того, чтобы не сдано…»

И второе слагаемое налаженной трудовой крестьянской жизни — ощущение смертного часа. Вся материя — шкафы, лавки чувствуют свою гибель. Крестьянский мир застыл в мучительной и безысходной окаменелости.

Другая, начальствующая стихия — стихия разрушения. Уполномоченный РИКа Ивашко «побежал с вихляющимся портфелем», «вскочил в хату», «ерзал ногой, вдавливая ее в половицы»… «прижимал к бедру переламывающийся холстинный портфель»… Андриян Моринец — «нечеловечески громадный»… «двигался так, как если бы башня тронулась с места и пошла».

Все в этом стане кривое, нечеловеческое. Неправдоподобно-огромное или суетливое. Ивашка кричал, «болтая руками». «Тымыш мерил длинными ногами грязь».

«Во двор Колывушки вступило четверо». Вступают оккупанты. Передовые части вступают.

Но вот что странно: вступив, оккупанты почему-то не чувствуют уверенности. Хотя, казалось бы, за нимисила. Сила сталинских указаний.

Наметились неслыханные в советской литературе образы победителей — нелюди. «Курвы-нелюди», — через сорок лет скажет о них один из героев Галича.

Еще и полстраницы не прочтено, а поэтика первых строк не оставляет сомнений в позиции автора.

Начинается вторая страница прозы Бабеля, условно отделенная мною, для исследования структуры «Колывушки», от начальной. Я приведу ее с небольшими сокращениями, чтобы у читателя, которому негде познакомиться с «Колывушкой», могло сложиться собственное отношение, не навязанное.

«Во дворе Ивана стояла запряженная лошадь. Красные вожжи были брошены на мешки с пшеницей. У погнувшейся липы посреди двора стоял пень, в нем торчал топор. Иван потрогал рукой шапку, сдвинул ее и сел. Кобыла подтащила к нему

розвальни, высунула язык и сложила его трубочкой. Лошадь была жереба, живот ее оттягивался круто. Играя, она ухватила хозяина за ватное плечо и потрепала его. Иван смотрел себе под ноги. Истоптанный снег рябил вокруг пня. Сутулясь, Колывушка вытянул топор, подержал его в воздухе, на весу, и ударил лошадь по лбу. Одно ухо ее отскочило, другое прыгнуло и прижалось; кобыла застонала и понесла. Рузвальни перевернулись, пшеница витыми полосами разостлалась по снегу. Лошадь прыгала передними ногами и запрокидывала морду. У сарая она запуталась в зубьях бороны. Из-под кровавой, льющейся завесы вышли ее глаза. Жалуясь, она запела. Жеребенок повернулся в ней, жила вспухла на ее брюхе.

— Помиримось, — протягивая ей руку, сказал Иван, — помиримось, дочка…

…Ухо лошади повисло, глаза ее косили, кровавые кольца сияли вокруг них, шея образовала с мордой прямую линию. Верхняя губа ее запрокинулась в отчаянии. Она натянула шлею и двинулась, таща прыгавшую борону. Иван отвел за спину руку с топором. Удар пришелся между глаз, в рухнувшем животном еще раз повернулся жеребенок. Описав круг по двору, Иван подошел к сараю и выкатил на волю веялку. Он размахивался широко и медленно, разбивая машину, и поворачивал топор в тонком плетении колес и барабана. Жена в высокой тальме появилась на крыльце.

— Маты, — услышал Иван далекий голос, — маты, он все погубляет…

Дверь открылась; из дому, опираясь на палку, вышла старуха в холстинных штанах. Желтые волосы облегали дыры ее щек, рубаха висела, как саван, на плоском ее теле. Старуха ступила в снег мохнатыми чулками.

— Кат, — отнимая топор, сказала она сыну, — ты отца вспомнил?.. Ты братов, каторжников, вспомнил?..

Во двор набрались соседи. Мужики стояли полукругом и смотрели в сторону. Чужая баба рванулась и завизжала.

— Примись, стерво, — сказал ей муж. Иван стоял, опершись в стену. Дыхание его, гремя, разносилось по двору…

— Я человек, — сказал вдруг Иван окружившим его, — я есть человек, селянин… Неужто вы человека не бачили?..»

…Такова вторая часть повествования. Топор. Крушение дома, семьи, мира. Самоистребление. Чем вам, лучше никому.

Разрушению машины посвящены полторы строчки. А на лошадь — полстраницы.

Бабель — не садист. Почему так много о мучениях лошади?

Дело-то не только в лошади, хотя лошадь — опора в

хозяйстве. Лошадь здесь не хозяйственная сила, а живое, родное, неотделимое. Пока ее убивают, в ней ворочается жеребенок. «Помиримось, — говорит ей Иван, протягивая руку к лошади. — Помиримось, дочка».

Неслыханной мукой лошади отмерена мука Ивана Колывушки. «Дыхание его, гремя, разносилось по двору». До него доходит ужас свершенного: дочку убил…

Рушится семья патриархальная; правда, мать еще имеет власть. Да что в том? Бабель уже обнажил и глубинный смысл происшедшего: бунт Колывушки — бунт безумный, устрашивший еще Пушкина: «Не дай Бог увидеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный!»

Из ворот колывушкинского дома выплыли к вечеру сани. «Женщины сидели на тюках, как окоченевшие птицы… Воз проехал краем села и утонул в плоской снежной пустыне. Ветер мял снизу и стонал в этой пустыне, рассыпая голубые валы. Жестяное небо стояло за ними. Алмазная сеть, блестя, оплетала небо…» Жестяное небо над деревней.

Гениальная проза. Гениальная и потому истребленная. Глубина «Колывушки» — новая высота даже для Бабеля, автора «Конармии» и «Одесских рассказов».

…Предсмертное окоченение крестьянского мира и посмертное окоченение мира кормильцев — так выстроил Бабель главу. Женщины, хоронящие себя почти по-монашески — смиренно и торжественно. Колывушка хоронит себя с топором в руке. И говорит, казалось бы, несвойственное ему совершенно:

«Я человек, — вдруг сказал Иван…»

Это не философ сказал, не Сатин из пьесы Горького. Это произнес мужик, который о таких материях, казалось бы, и не задумывается. Человек дочку убил, больше ничего у него не осталось, и тогда лишь сказал.

Как стон это: «Я есть человек, селянин… неужто вы человека не бачили?»

Мужики сострадают Колывушке. Смотрят в сторону… Какие нравственные глубины раскрывает эта простая фраза о мужиках, которые «смотрели в сторону». А когда завизжала, рванулась чужая баба, тут же унял ее мужик: «Примись, стерво».

Начинается третья страница, завершение. Нарастает тема окоченелости крестьянского мира. Уж не только дом Колывушки — народ показан в окоченении. Президиум собрания, которым прикрывается Ивашко из РИКа, даже этот колхозный президиум, «актив», как его именуют в райкомах, — образ вековечного молчания. Батрачка по фамилии Мовчан, голова Евдоким, нерешительно заступавшийся за Колывушку: «В этом

господарстве не может быть того, чтоб не сдано…», безвольный Андриан Моринец. Вот она, крестьянская тройка. Сталинское особое совещание. И в городе, и в селе — всюду образовано это, «от имени народа», прикрытие расправ.

Деревне нанесен удар, от которого она не подымется. Как лошадь Колывушки. Сотни тысяч крестьян растерзаны в те дни на месте. Восемь миллионов погружены в эшелоны с пулеметами на вагонных площадках и выброшены в тайгу — на смерть и муки. Позднее так поступят с целыми народами.

Деревня приняла удар обреченно, — с какой горечью пишет об этом Бабель!

«Прибой накатывался и плескал в Великую Старицу. По разломившейся улице повалила толпа. Безногие катились впереди нее. Невидимая хоругвь реяла над толпой».

Это конец света. Апокалипсис.

«Добежав до сельрады, — люди сменили ногу и построились. Круг обнажился среди них, круг вздыбленного снега, пустое место, как оставляют для попа во время крестного хода. В кругу стоял Колывушка в рубахе навыпуск под жилеткой, с белой головой. Ночь посеребрила цыганскую его корону, черного волоса не осталось в ней. Хлопья снега, слабые птицы, уносимые ветром, пронеслись под потеплевшим небом».

«Скажи, Иване, — поднимая руки, произнес старик, — скажи народу, что ты маешь на душе…»

И шепот Колывушки, поседевшего за ночь:

«Куда вы гоните меня, мир… Я рожденный среди вас, мир…»

Ворчание проползло в рядах… О чем оно, это ворчание? Моринец выразил его, хотя «вопль не мог вырваться из могучего его тела, низкий голос дрожал: «Нехай робит… Чью долю он заест?»

Бабель подчеркивает физические усилия, с которыми произнесены слова. Это последнее слово мужика. В нем — основа основ. Приговор государственной политике. Приговор самого мужика, во имя которого развернулось по всей стране неслыханное в истории злодеяние.

Молчит мужик, шепчет Колывушка — жизнь безмолвствует, зато пространно разглагольствует за нее нежить — горбатый Житняк, председатель только что образовавшегося колхоза, возникшего, в данном случае, велением Ивашки из РИКа. Всего три абзаца посвящены словоблудию Житняка и выкрикам Ивашки, а кажутся они бесконечными. Их невозможно читать, не проникаясь ненавистью к пустословам. Напыщенное резонерство — более ничего нет за душой. Газетные стереотипы, звучащие сарказмом: «Вся наша держава ненасытная».

Сталинское ханжество схвачено житняками и ивашками на лету… Не они, ивашки, ненасытны и жестоки, а, по их представлению, вся держава, весь народ, защитниками которого они себя объявили.

…Завершая чтение, мы уже не только разумом — всеми чувствами ощущаем поэтический смысл главы «Колывушка»: гибнет живое и торжествует нежить! Это призма, через которую преломляется все.

Перед глазами Бабеля, завершавшего «Великую Криницу», висел отрывной календарь. Напечатано на нем сверху — 1930 год.

В «победном» тридцатом Бабель угадал все нараставший страх палачей перед своими жертвами. Ненависть палачей к своим жертвам. Весь торжествующий сталинский комплекс аморализма.

…«Ты к стенке нас ставить пришел, — сказал горбун Колывушке, услыхав волю мовчунов: «Пускай робит!..» — Ты тиранить нас пришел — белой своей головой, мучить нас — только мы не станем мучиться…»

Горбун, конечно же, — провокатор. Это в крови сталинизма. Ивашко кричит, что Колывушка за обрезом пошел. Почему вдруг он вскричал всполошенно? Чтоб выстрелить самим. Безнаказанно. — «Тебя убить надо… Я за пистолью пойду, униСтожу тебя», — шепчет горбун.

Нет в нем, горбуне, ни силы, ни правды, не возник бы он, рассыпался пылью, не дуй ему в спину ураганный ветер сталинщины…

(В «Котловане» Платонова коллективизацию, как известно, проводит медведь; только ребенок осмеливается сказать ему, что думает: «Дядя, отдай какашку!»)

И у Бабеля есть этот гротеск в изображении чудовищного. Иначе не изобразить непостижимости государственного разбоя в стране победившего социализма.

Этот гротеск не выходит за пределы реалистической манеры: Бабель дозирует его с предельным мастерством.

…Напечатанная в кемеровском альманахе «Гапа Гужва», другая глава из книги Бабеля «Великая Криница», не менее глубока, хотя в ней, казалось бы, нет столь обстоятельно и выпукло написанных сцен искоренения мужика — кормильца России. Рядом с главой «Колывушка» она звучит зловеще…

Ивашка, проводивший коллективизацию, оказался недостаточно лют. Автор сообщает, что его «замели», — появился в те годы этакий бытовой эвфемизм глагола «арестовали». В годы массового террора на людей хлынул поток циничного бытового

жаргона, заменившего слова ответственные и полновесные. С гражданской войны — об этом прекрасно сказал Максимилиан Волошин-появились десятки жаргонных синонимов слова «расстрелять». Обыденность убийства немедля выразилась в обыденности, небрежности жаргонных слов, скрадывавших страшную, преступную суть времени. «Разменять», «отправить к Духонину», «шлепнуть», «кокнуть», «пустить налево»…

Ивашку «замели», вместо него назначили «вороньковского судью»; о судье сказано, что он «девять господарей забрал в холодную… Наутро их доля была итти на Сахалин». А утром все они качаются под балками на своих опоясках. Повесились господари… Зато вороньковский судья «в одни сутки произвел в Воронькове колгосп».

Только неугомонная бесстрашная Гапа Гужва смеет еще смеяться над вороньковским судьей. «Разве то баба, — уважительно говорят о ней в селе. — То черт, вдова наша…»

Страшному вороньковскому судье она дерзит. Спрашивает, правда ли, что в колтоспе весь народ под одним одеялом спать будет. «Глаза ее смеялись на неподвижном лице. — Я этому противница, гуртом спать, мы по двох любим, и горилку, батькови нашему черт, любим!»

Она вваливается к судье домой, интересуется, как будет при полном коммунизме:

«Судья, — сказала Гапа, — что с блядьми будет?» — «Выведутся…». — «Житье будет блядям или нет?» «Будет, — сказал судья. — Только другое, лучшее».

Баба невидящими глазами уставилась в угол. Она тронула монисто на груди. «Спасибо на вашем слове». И вот конец «Гапы Гужвы»: «Просветляясь, низко неслись облака. Безмолвие распростерлось над Великой Криницей, над плоской, могильной, обледенелой пустыней деревенской ночи…»

И снова сноска: «1930 год». Могильная ночь деревни.

Удивительно ли, что «Великая Криница» превратилась в статье, написанной судебно-протокольным языком, в «Великую конницу»?

Беляевы все еще пытаются обмануть историю.

…Более четверти века отделяют гениальную прозу Бабеля о разоре России от повести Сергея Залыгина «На Иртыше», впервые вернувшейся к кровавой теме разгрома крестьянства.

2. Сергей зАлыгин. «На Иртыше»

Преемственность героев, мотивов ситуаций, наблюдений настолько сближает «крестьянские» книги Бабеля и С. Залыгина,

что становятся видимыми нравственные глуби катастрофы, замутненные антилитературой.

Степан Чаузов, главный герой повести С. Залыгина «На Иртыше», — мужик крепкий и сметливый. Уважает его деревня. Когда ехали на переправу, к опасному спуску, «один дорогу ему уступил и другой, поглядел Степан — а уже впереди всех едет. Ну, ладно, коли так…»

Легко понять, почему Сергей Залыгин поставил Степана Чаузова в центр своего повествования. Он — совесть и сметка деревни. Его прочит в председатели колхоза Павел Печура, единственный в деревне член партии. И даже присланный из города молодой следователь, ведущий дело о поджоге зерна, сразу постигает, с кем имеет дело. К тому же, оказывается, Степан Чаузов и с Колчаком воевал.

Прибывший верит Чаузову, и справедливо верит, а Чаузов ему — не очень. Глубоко, от отцов-дедов, у него недоверие к городским, особенно к властям, следователям. А этот следователь не простой, сказывали, Ю-рист.

Издавна не любила Сибирь чужих глаз.

Хоть и пытался старик Ударцев убить Степана, когда горящее ударцевское зерно выгребали, но Степан показаний на него не дает. Юрист для него опаснее старика Ударцева. Потому что — непонятен, чужой.

Село — переворошенный муравейник. В колхоз сгоняют крестьян. «Сейчас злоба по углам сидит, — говорит Клашка, тоненькая жена Степана… — А в колхозе? Человек злой, страсть жадный — в колхозе это до всех касается, будет всем беда».

Не может успокоиться и мудрый Нечай: «Я с вечера обмечтал, как запрягу, да как мимо кузни проеду, возьму у кузнеца по пути необходимый гвоздок… А тут? Ты, значит, будешь думать, а я — сполнять… А через годок-то тебе командовать шибко поглянется…

Вот я и еще гляжу — не заботится ли кто в моем деле об себе».

Сидят рядышком в правлении мудрецы. Наблюдения мужицкие точны, не без юмора: «А войны-то, мужики… не должно случиться… Покуда меня в газетке мелким буржуем величают — войны не жди. Перед войной мужика завсегда героем представлят!»

А то вдруг с философской глубиной: «Это как день запросто — матерого кулака выселить за болото, за город Тобольск, либо в Турухан… А на ком кончать будем? Ты скажи мне, Фофан, — спросил Нечай, — кто ее, эту самую точку, приметил?..»

Звучит главная тема, к которой то и дело возвращаются

самые глубокие произведения советской литературы. В пьесе Михаила Шатрова «Большевики», интересной своей документальностью, беседуют руководители Октябрьского переворота; беседуют у дверей, за которыми лежит Ленин, раненный эсеркой Каплан. И вдруг они… переходят на немецкий, чтобы не поняла стенографистка, фиксирующая их разговор.

Отчего перешли на немецкий интеллигенты-революционеры, позднее истребленные Сталиным? Да поднялись они в своих размышлениях — ненадолго, правда, — до высоты хромого деда Нечая. В тревоге спрашивают друг друга, готовясь объявить, в отместку за ранение Ленина, красный террор: «Можно ли управлять массовым террором? Не вырвется ли он из рук?»

Хромой Нечай вопрос задал, крестьянин Фофан не ответил. Не ответили и большевики, вознесенные на вершину власти. Вернее, ответили — красным террором. Что произошло потом, знают все…

Впервые после прозы Бабеля появляется книга, в которой мужик догадывается о бессмысленной жестокости власти.

Колывушка убил свою лошадь, чтоб не досталась нелюдям. Александр Ударцев поджег свое зерно.

Об Ударцеве у Залыгина и слова человеческого нет. Только прокурорское, смертное, хотя литература, по природе своей, смертных приговоров, без всестороннего рассмотрения и права апелляции, не выносит.

Жену Ударцева с детишками автор еще хочет как-то выгородить: мол, плохо, недружно жила с Ударцевым, отдали ее, беднячку, в богатый дом…

«Классовый подход» проявляет автор, а то и вовсе забьют, «засекут на литературной конюшне». Сергей Залыгин подымает голос в защиту лишь Степана Чаузова, причисленного к «социально чуждым» по навету и злобе, «кулака понарошке». Т. е. в общем-то человека «социально близкого».

И вот это, может быть, яснее всего свидетельствует о нынешней нравственности государства, которое истребление почти десяти миллионов крестьян считает актом бесповоротно правильным… «Были, конечно, отдельные недостатки»…

Сергей Залыгин не спорит прямо с «официальной нравственностью», то есть узаконенной безнравственностью. Однако, несмотря на всю осторожность Залыгина, трудно не заметить близости описаний Залыгина и Бабеля.

У Бабеля власть отвратительно суетлива. И залыгинский председатель Печура Павел — «таловый мужичонка»… «руки — едва ли не по колено и туда-сюда болтаются».

У Бабеля председатель говорит газетными стереотипами. И у

Залыгина: «Тут бы перешагнуть скорее через период времени… а дальше и пойдем и пойдем и пойдем — до самой до счастливой жизни».

Одно изменилось — автор поубавил энтузиазма власти, добавил — цинизма. «Что нам говорят в районе — я то же самое, только громчее, повторяю. Довольные остаются. Говорят: сознательный председатель…» И опять поболтал руками Печура. «Руки у него длинные, тонкие, не крестьянские вроде, руки — не ухватистые… Не земляной он человек, Павел, не на крестьянскую колодку деланый».

Он и сам понимает это, потому и прочит Степана Чаузова в председатели. Однако не пожелал Чаузов приспосабливаться — где смолчать, где поддакнуть. Отсюда и начались все его беды…

Не отдал он последнего зерна — тут же началось заседание тройки по «довыявлению» кулачества. В тройке Ю-рист и Корякин, первый председатель комбеда. Уже не мужик, а начальник. Требует он записать Степана Чаузова в кулаки. Юрист возражает, Корякин начинает угрожать: «…Вы меня… со сталинского курса не свернете!»

И точно, не свернул Корякин со сталинского курса. Чтоб скомпрометировать Степана Чаузова, подсылает к нему никудышного мужичонку Егорку Гилева, и тот шепчет Степану, будто его Александр Ударцев, поджигатель, кличет. Не поддается на провокацию Чаузов, не выходит из дому, но и этого достаточно Корякину. «…Чаузов в избушку к Ударцеву не пошел!.. Что ж из того! Но ведь… не сказал, что Ударцев здесь скрывается?»

Как видим, провокация задумана поистине со сталинским изуверством. Вымани они Степана Чаузова из дому — крышка ему. Не вымани — тоже крышка. Не донес.

Корякин говорит следователю в задушевной беседе: «Вот как весной капель падает — кап-кап! Кап-кап! И ничто-то ее не замутит, ни сориночки в ней нету! Будто слеза ребячья. — Погладил следователя по плечу. — Вот какую мы нынче создаем идеологию!»

Даже следователь не смог противостоять Корякину, что же сказать о Степане!..

«Ты скажи: кого ж я вот этим (долотом. — Г. С.) должен стукнуть, а? — говорит Степан Егорке Гилеву, подосланному Корякиным… — Кабы советская власть против меня офицера выслала с кокардой, с эполетами, с пушкой — я бы его, — веришь-не веришь, — а достал бы каким стежком подлиньше… А теперь кого я доставать буду? Печуру Павла? Либо Фофана? Она же, советская власть, что ни делает — все мужицкими руками. И никто ее не спалит и не спихнет. И я своим детям не враг, когда

она им жизнь обещает. Кого же бить-то? А?»

Не знают мужики, как от беды схорониться. Им про «историю объясняют», они открещиваются: «Туды-т ее, историю!.. Хочь бы без истории сколь пожить! А то она все наперед тебя лезет». «… история-то тоже, поди-кось, не кобыла, чтоб ее туды-сюды дергать».

«…Жили в Крутых Луках мужики с давних-давних пор, с далеких времен — чуть что не с самого Ермака, вольные мужики и беглые с уральских Демидовских заводов, с российских волостей и губерний, и все они копили и копили думы о мужицкой своей жизни, от прадедов к правнукам тянулись те мысли и дотянулись они до этой вот двери…» Двери Степана Чаузова.

Какая же одуряющая сила обрушилась на крестьянство Сибири, издревле вольных мужиков, не боящихся ни Бога, ни черта, если и они поддаются обману, оказываются, по сути, такими же мовчунами, как селяне Бабеля.

Хромой Нечай принес Степану Чаузову, предназначенному к высылке, ящик с гвоздями: пригодятся. Спросил Митю, уполномоченного:

— …правда ли, будто Чаузов Степан, крутолучинский мужик, кулак и людям вражина?

— Нет, — сказал Митя, — Чаузов кулак не настоящий.

— А почто же ты его высылаешь по-настоящему?

— Переделка всей жизни, товарищ Нечаев… — Лес рубят, щепки летят…»

Верит Митя, что слезы жены Степана — последние. «…Может быть, еще пройдет лет пять — потом классовой борьбы у нас не будет, установится полная справедливость. И слез не будет уже. Никогда!» Не пять, все сорок пять лет прошло с той поры. До предела обнажается безнравственность дней, не допускавших в «литературе бесклассового общества» и слова человеческого — о «классово чуждых!»

И снова хватает за сердце схожесть с Бабелем! У Бабеля ссыльные женщины «сидели на тюках, как окоченевшие птицы». И у Сергея Залыгина Ольга Ударцева «будто морозом за душу прихваченная…»

Увозят Чаузовых. Свои, деревенские, у ворот стоят. Баба взвыла какая-то, на нее прикрикнули: «…Замолчь…». Точь-точь, как у Бабеля: «Примись, стерво!»

Вот она, и последняя фраза повести «На Иртыше», не случайно напоминающая нам «корякинскую идеологию», чистую, как капель по весне…

«Капель была — первая в году. С крыш сосульки нависли и

капли — крупные такие — в наледь на земле ударялись, звенели: кап-капкап-кап!»

…Я не знаю писателей более далеких друг от друга — по жизненному опыту, принципам типизации, стилистике, — чем Исаак Бабель и Сергей Залыгин. И вдруг, оказывается на поверку, что когда современный, стремящийся как-то приспособиться, выжить писатель вдруг решается сказать правду, пусть многословнее, с оговорками, с положительным Ю-ристом, которого, конечно же, не послушали, но которого можно объявить в прессе (задним числом) «истинным представителем партии», когда Сергей Залыгин решается на такое, он швартуется у литературного причала, как большой корабль.

«Колывушка» Бабеля и «На Иртыше» Залыгина оказались порознь сопричастны правде, хотя «осадка в жизнь…» у кораблей оказалась все же различной.

Прозрение Исаака Бабеля — прозрение гения, с которым покончили, как кончают со всеми гениями, именуйся они Пушкиными или Бабелями.

Наше поколение, от которого «Великую Криницу» Бабеля скрыли, было потрясено повестью «На Иртыше». Она открыла для всех, в ком не была убита совесть, кровоточащую тему. Нам казалось тогда, что только с залыгинской повестью пробилась в литературу правда о великом разоре деревни 30-х годов, разоре, после которого она не может подняться и по сей день.

Тут бы и поставить точку. Не существуй еще и советской критики, взявшей «На Иртыше» под свое покровительство.

Она озабочена прежде всего тем, чтобы не была поколеблена литературная «табель о рангах». Чтобы «На Иртыше» Залыгина не вызвала ярость Шолохова. Как бы так извернуться, чтобы и волки были сыты (на Дону), и овцы целы (на Иртыше). Драма Степана Чаузова (так называется ссылка в Сибирь и гибель восьми миллионов крестьян) состоит, оказывается, в том, что в Крутых Луках не оказалось фигуры, подобной шолоховскому Давыдову.

Но так как в успехи шолоховских давыдовых давно никто не верит, доброжелательная критика хочет, чтобы власти повесть «На Иртыше» не затоптали. Она защищает честную книгу так: «На Иртыше» отличается от многих широко освещающих процесс коллективизации книг советских писателей: С. Залыгин поставил перед собой узкую задачу — отразить сомнения и раздумья крестьян одного села…»

Спасибо доброжелательной критике, но — Бог мой! — сколько же царить в России примитивам, знакомым читателю еще по военной прозе: всюду и везде прекрасно в СССР, кроме вот этого одного села, завода, полка, артиллерийской батареи…

Автор — тьфу-тьфу! — и не склонен обобщать!

С руководящей ролью партии также все в порядке. Просто верный сталинец Корякин… «не вдумывался в указания партии».

И снова и снова реверанс в сторону Шолохова, т. к. главная опасность для правдивой книги — мир узаконенной государством шолоховской лжи: «Конечно, четыре дня из жизни Крутых Лук не могут ни затмить того, что сказано в нашей литературе о первых годах коллективизации, ни исчерпать».

Что ж, это сделает время.

3. Борис Можаев и Чингиз Айтматов

Живое, чистое гибнет. Нежить, нелюдь торжествует, и ненависть ее к чистоте и правде нарастает со дня на день…

Эту тему развила, не могла не развить, крестьянская проза. Я называю так прозу современных писателей, не порвавших с деревней — отчим домом своим и пишущих об отчем доме.

Среди этих верных сынов деревни, возможно, самые талантливые и, в своем творчестве, непримиримые — Борис Можаев и Чингиз Айтматов.

Писатель Чингиз Айтматов давно и решительно перешагнул границы национальной литературы. Я начну с него, киргиза Айтматова, книги которого имели серьезное значение в формировании сознания поколений, начавших осмысливать окружающее.

Айтматова стали «поднимать» вначале официальные инстанции — за недюжинный талант и… проблематику, не выходящую за рамки дозволенного. Однако «идейно-непорочный» Чингиз Айтматов вскоре вырвался за дозволенные рамки, далеко вырвался, и… подкопаться к нему трудно: отнюдь не простоватый Чингиз Айтматов в речах своих, как правило, почти ортодоксален и строго проводит «официальную линию»…

Как бы откупившись этим и успокоив бдительность своих опекунов, он вдруг пишет «Прощай, Гюльсары». А позже «Белый пароход» — поэтичную и сурово-правдивую повесть о нравственной гибели киргизских крестьян.

Такого смутьянства от «национала» никто не ожидал. Айтматов, с легкой руки Александра Твардовского, стал писателем общенародным.

Киргизские «коллеги», поддерживаемые местной властью, Чингиза Айтматова ненавидят, и, как однажды сказал мне Айтматов, положение его на родине сложное… Ненавидят его и московские русопяты: чужая кровь…

Однако Чингиз Айтматов, средних лет, крепкий, спокойно-

ироничный, спортивного склада человек, отличный лыжник, на злобствование русопятов и местных «князей» особого внимания не обращает: у него появился серьезный заступник — многомиллионный российский читатель, который каждую новинку Айтматова, что называется, из рук рвет.

Айтматов — лирик. Лиризм его, поначалу так успокоивший власти, стал кричащим контрастом человеческой подлости, ненавистной автору.

…Гюльсары — так звали старую лошадь. А старый Танабай Бекасов, герой повести, — табунщик. Оба они не любили узды, ни Гюльсары, ни Танабай, и вот как пишет об этом Чингиз Айтматов:

«…Уже сквозь дрему, сквозь полусон Гюльсары услышал вдруг, как закачались и зашумели деревья, точно бы кто-то налетел внезапно и начал трепать их и валить… Хлынул крутой дождь. Иноходец рванулся с привязи, как от удара бича, и отчаянно заржал от страха за свой табун. В нем пробудился извечный инстинкт защиты своего рода от опасности. Инстинкт звал его туда, на помощь. И, обезумев, он поднял мятеж против узды, против удил, против волосяного чумбура, против всего, что так крепко держало его здесь…»

Честный Танабай бросился с вилами на председателя колхоза, из-за которого дохли ягнята.

За это исключают Танабая из партии, кричат, что место ему — в тюрьме, что он «ненавидит наш строй, ненавидит колхоз…»

Судьба старого табунщика, как и судьба друга его Гюльсары, — закончить свой путь на живодерне.

«Белый пароход» так же, как и «Прощай, Гюльсары», впервые появился в «Новом мире». На горной прозрачной речке, впадающей в озеро Иссык-Куль, на лесном кордоне живут три семьи. Власть — объездчик Орозкул. При нем — подсобный рабочий старик Момун, по прозвищу Расторопный Момун, и его внук — главный герой, поэзия и боль этой повести… Мальчик разговаривает по дороге с любимыми камнями, все камни для него живые, один называется Волком, другой — Верблюдом. Но самый любимый камень — Танк, несокрушимая глыба на подмытом берегу. Были и другие камни, вредные, хитрые, глупые. Были и добрые. Как и растения, которые он знал, как может знать лишь одинокий деревенский мальчик, ищущий вокруг друзей.

Мальчик купался в дедовой запруде и мечтал превратиться в рыбу, чтобы встретить белый пароход, который он увидел с вершины горы на Иссык-Куле. Он жил в мире сказок, добрый мальчик, и потому мечтал уплыть навстречу пароходу и «чтобы все у него было рыбье — тело, хвост, плавники, чешуя — только голова бы оставалась своя, на тонкой шее, большая, круглая, с

оттопыренными ушами, с исцарапанным носом».

Но самая любимая сказка была — дедова сказка. Про Рогатую мать-олениху, которую дед чтил, как святыню.

Объездчик Орозкул презирал и деда, и его сказки; он решил прогнать деда. Но потом придумал казнь пострашнее: он заставляет деда стрелять в маралов; в маралов из его, дедовой, светлой сказки. Надругается над самым святым и поэтичным в жизни старика.

Мальчик поражен изменой деда; его позвали на пир, и он увидал груду мяса и рога, огромные ветвистые рога, которые могли быть только у Рогатой матери-оленихи. Орозкул, наслаждаясь позором деда, пинал голову Рогатой матери-оленихи сапогом. Пьяный, терявший сознание дед бормотал что-то, лицо его было в крови Рогатой матери-оленихи…

Мальчику стало дурно. Ему казалось, что кто-то метит топором в его глаза. Он тихо вышел, мальчик, весь в жару, и спустился к ледяной реке. «Не вернусь, — говорил он сам себе. — Лучше быть рыбой, лучше быть рыбой…»

Он уплыл навсегда.

«Одно лишь могу сказать — ты отверг то, с чем не мирилась твоя детская душа. И в этом мое утешение… Прощаясь с тобой, я повторяю твои слава, мальчик: «Здравствуй, белый пароход, это я…»

Так заканчивает свою повесть Чингиз Айтматов, сразу становясь как писатель бок о бок с Исааком Бабелем и Сергеем Залыгиным: несмотря на все различия, различие тем и поэтических средств, сюжета и образного строя, их произведения объединяет горькая правда века: живое, чистое гибнет. Нелюдь, нежить торжествует, глумясь над заветными сказками детства, в которые поверили наши поколения.

…Я люблю Айтматова, но ближе мне Борис Можаев, взлохмаченный, худющий, внешне мужиковатый, с большими руками тракториста. Неспособный к «политесу» не только в речах, но даже в репликах.

В 1970 году власти решили его задобрить: в московских издательствах вышли сразу два сборника Б. Можаева. По обыкновению в них не включили лучшее, в том числе, повесть «Из жизни Федора Кузькина», увидевшую свет в журнале «Новый мир». Семь лет повесть, восторженно встреченная читателем, отбрасывалась всеми издательствами…

В рукописи она называлась «Живой». Названия испугался даже Твардовский: оно звучало вызовом мертвечине, снова входившей в силу. Год был 1966-й, предъюбилейный. Нелюдь начищала мелом фанфары.

«Новый мир» с повестью Бориса Можаева нельзя было достать. Московский Театр на Таганке во главе с режиссером Любимовым создал на основе можаевской повести пьесу; пьесу, конечно, запретили… Запретили цинично. Привезя в театр «знатных людей» Подмосковья, которые кричали, что таких живых в советской жизни и быть не может.

Пожалуй, точнее всех охарактеризовал этот «спектакль зрителей», тогда же, на обсуждении пьесы «Живой», поэт Владимир Солоухин. Он сказал с трибуны:

«Очень трудно представить, но все же представить можно, что на обсуждение «Ревизора» Гоголя созвали бы городничих…»

Главный герой повести — деревенский житель Федор Фомич Кузькин, по прозвищу Живой. Кто только его не убивал, кто не морил, не морозил, а он, вопреки всему, — живой…

Вернулся с войны инвалидом. Сидел пять лет в лагерях «за антисоветскую агитацию»: председателя колхоза через себя кинул.

Сам Федор Кузькин относится к своим несчастьям философски: по его прикидке, все беды семьи выпадали на Фролов день (братья умирали с перепою, коня убил на скачках — все во Фролов день.). Отпустили Живого, как инвалида войны, из колхоза; уехать бы ему с семьей в город, да не может. «По причине отсутствия всякого подъема», как пишет Живой в заявлении. Крутится Живой, бьется из последних сил, чтоб не помереть с голоду.

Заинтересовалось Живым начальство: налога не платит.

Нагрянула комиссия. Все углы обшарила, удивилась: такой кричащей бедности и представить себе не могла. Хоть шаром покати…

Живой и тут живой: «Извиняйте, — говорит, — гости дорогие. До вашего прихода были блины и канки, а теперь остались одни лихоманки…»

Подловили начальники Кузькина, когда он распахал свой огород. Не колхозник, а распахал. Отдали под суд.

Отбился Кузькин. «Он из воды сухим выйдет! — удивлялись деревенские. — Живой он и есть живой!..»

Что, казалось, Кузькин по сравнению с районной властью, со всей махиной административной? Кроме председателя Исполкома Мотюкова, который Живого ненавидит, тут и прокурор, и начальник милиции, и райземотдел, и финансы, и чего только нет!

А нет, живой Кузькин!

Завершает повесть авторская ремарка, как бы для цензуры: мол, все это было до 56-го года. «Дальше полегче пошло».

Автор Можаев, как и его герой, — Живой. Его, крестьянского сына, на испуг не возьмешь. Потому эту завершающую ремарку заключает фраза недвусмысленная: «Попытался было я продолжать, да не заладилось…»

Попытался, как мы уже знаем, Театр на Таганке продолжать — «да не заладилось».

Нежить в рост идет. Все еще идет…

4. Федор Абрамов

Крестьянские писатели — друг другу опора. Любят ли друг друга, нет ли — опора. Один увяз в колее, другой вывозит груз… Более других сделала, пожалуй, Вологда.

Мракобесов, толпящихся вокруг Шолохова, называют «ростовская рота литературы».

О вологодских, вот уже много лет, говорят с уважением. И… некоторым удивлением. Как на хлеба — недород, так на писателей — урожай!.. Возможно, права В. Инбер, воскликнувшая в горькую минуту: «А когда нам действительно плохо, мы хорошие пишем стихи…»

И все же почему столько талантов, и талантов крупных, смелых, печатавшихся в «Новом мире» Твардовского, лучшем журнале России шестидесятых годов, хлынуло именно из вологодского угла?! Недород не только в Вологде. Гадают литературоведы. Строят гипотезы.

Пожалуй, первым приоткрыл тайну старейшина вологодских прозаиков Варлам Шаламов; еще в самиздатском рассказе «Экзамен» он поведал о своей Вологде — бывшей царской ссылке, где создан был ссыльными «особый нравственный климат уровнем выше любого города России». Здесь, в Вологде, если не началась, так пошла в рост система заложников, которую затем короткая память человеческая назвала гитлеровской системой.

Вологда, застигнутая неслыханным злодейством врасплох, помолчала, перетерпела, осмыслила ленинскую шигалевщину, захлестнувшую ее ранее других краев, и — во втором поколении дала уже Варлама Шаламова, брошенного в Гулаг за то, что назвал Бунина русским классиком.

Следующее поколение дало Александра Яшина, поэта, автора рассказа «Рычаги».

За Яшиным, след в след, двинулся Федор Абрамов.

У Федора Абрамова неулыбчивое лицо человека прямого и резкого. Я встречал Федора Абрамова редко. Он жил в Ленинграде и в Москву наезжал лишь по делам. В 65-м году он, вскоре после моего единоборства с секретарем ЦК Демичевым,

подошел ко мне в Доме литераторов, протянул руку: «Я — Федор Абрамов».

Я обрадовался: давно следил за каждой строкой этого человека; в 56-м году критическая статья Федора Абрамова, опубликованная в «Новом мире», была жесткой и умной.

Но критик Федор Абрамов — пропал. Когда появился роман Абрамова «Братья и сестры», о лихих голодных годах вологодской деревни, а позднее его роман «Две зимы и три лета», о деревне послевоенной, и не менее голодной, я не сразу соединил в своем сознании пропавшего критика и нового прозаика.

Федор Абрамов, писатель талантливый и достоверный, стал воистину заступником народным.

Хотя выражение это со времен Некрасова, а особенно — разгрома народников, считается почему-то устарелым и произносится чаще всего с иронией.

О страданиях и разоре деревни, о нравственном оскудении крестьянства и пишет Федор Абрамов.

Действие романа «Две зимы и три лета», самого известного произведения писателя, происходит на реке Пинеге, в деревне Пекашино.

Далекий север. Зимой «мутный рассвет в десятом часу утра». Время послевоенное. Жмутся деревенские друг к другу, чтобы выжить… «Со Ставровыми Пряслины жили коммуной, считай, всю войну». Михаил Пряслин — в многодетной семье старший, а ему еще и восемнадцати нет. Отца не помнят. Для них Миша — брательник, хозяин и кормилец. Все на нем. Председатель колхоза «Новая жизнь» Лукашин загоняет его то на лесосплав, то на другие тяжелые работы.

Привез Михаил Пряслин подарки. Сестре Лизке протянул материал на платье, она разревелась от счастья. Петька и Гришка сдержанно встретили подарок — синюю байку на штаны, «А вот когда он вытащил из корзины буханку — целую увесистую кирпичину ржаного хлеба — тут они взволновались не на шутку…»

Где все это происходит? В деревне, где испокон веку жили хлеборобы, животноводы, где сеяли лен — самую прибыльную культуру на Севере.

И по сей день вологодское масло — лучшее в России — в самой Вологде не отыщешь. Все вывозится. Что же говорить о годах послевоенных?! Беда в деревенском доме. Голод. Федька ворюгой растет, повадки волчьи… «Босые потрескавшиеся ноги выкованы будто по заказу — крепкие, толстые, и пальцы с нестрижеными ногтями, почти когтями, подогнуты, — «шел когтят», пишет Федор Абрамов. Глаза у него холодные,

леденистые. И вдруг эти ледышки вспыхнули: хлеб увидали… «У ребят дыхание перехватило, когда он (Михаил. — Г. С.) взялся за буханку, — снова и снова возвращается к этому автор. — Давно, сколько лет не бывало в их доме такого богатства…»

Голод да звериную жестокость — только это и видят пекашинские ребята всю жизнь. В сплавщики гонят точно по приговору суда… И к этому привыкают. Жестокость и бездушие становятся бытом. Несовершеннолетнего Михаила заставляют передавать в район донесение: «…один человек самовольно вышел из лесу и, не имея направления от фельдшера, отправился в районную больницу».

А записывается сообщение и того определеннее: такой-то, под видом болезни, дезертировал с лесного фронта.

…«Понятно, понятно, — отвечает район. — Мы его вылечим — передадим прокурору».

А через три дня «дезертир» умер. Во время операции. От рака.

Нищета Пряслиных. Жестокость, порожденная нищетой.

…Кто виноват? Читатель знает… Рассказ «Пелагея» Федора Абрамова представляется мне художественным шедевром.

Однако прежде чем перейти к нему, я должен остановиться на очерке Федора Абрамова «Вокруг да около». Рукопись попала мне на отзыв. Я так бурно восторгался, что рукопись отвергли. Но, чтоб утешить автора, отправили в Ленинград вместе с рукописью и мой отзыв.

Появившись однажды, «Вокруг да около» в первозданном виде в советской России никогда более не издавался. Его печатали и переводили лишь за пределами СССР.

Вот самая первая страница очерка «Вокруг да около», посвященного «памяти брата Михаила, рядового колхозника». Приведу ее с небольшим сокращением.

Телефонируют из райкома партии:

«Первый звонок: — Ананий Егорович? Привет, привет. Ну, чем порадуешь? Активность, говоришь, большая? Все на пожни выехали? Хорошо, хорошо. А как с силосом?

Второй звонок: — Силоса в сводке не вижу. Твой колхоз весь район назад тянет.

Третий звонок: — Товарищ Мысовский? (Обращение, не предвещающее ничего доброго). Как прикажешь расценивать твое упрямство? Саботаж? Или головотяпское непонимание основной хозяйственной задачи?

— Да в конце-то концов, — не выдержал Ананий Егорович, — кто в колхозе хозяин? Партия предоставила свободу колхозам, а вы опять палки в колеса».

И вот решение:

«1. За политическую недооценку силоса, как основы кормовой базы колхозного животноводства, председателю колхоза «Новая жизнь» коммунисту т. Мысовскому А. Е. объявить строгий выговор…»

Так в России разоряют сельское хозяйство. Не случайно на Кавказе один из армейских офицеров соглашался стать председателем колхоза, как он заявил, «при одном условии: чтоб райком партии три года мне не помогал».

Массовые высылки и расстрелы не прошли бесследно. Новые времена — новая тактика. Вот как рассказано об этой новой, поистине «народной тактике» спасения от голодной смерти в четвертой главе очерка «Вокруг да около»:

«… Прикуривая от спички, Ананий Егорович повернулся к ветру спиной, и вдруг выпрямился. По задворкам, мимо усадьбы Вороницыных, топали три бабы. С коробьями. Согнувшись пополам.

— Стой! — закричал Ананий Егорович… Бабы юркнули за угол бани.

Не разбирая дороги, мокрым картофельником он кинулся им наперерез, перемахнул изгородь.

— Трудимся? — Он задыхался от бега и ярости.

Бабы — ни слова. Мокрые, посинелые, будто распятые, они стояли, привалясь спиной к стене бани, и тупо глядели на него. Большие плетеные корзины, доверху наполненные красной и желтой сыроегой, громоздились у их ног.

— Трудимся, говорю? — повторил Ананий Егорович.

— Что, не мы одни.

— Кабы в колхозе копейкой побогаче, — плаксивым голосом заговорила Аграфена, — кто бы пошел в лес, Ананий Егорович?

— А копейка-то откуда возьмется? С неба упадет?

Женщины осмелели:

— Пятнадцатый год это слышим. Я все летичко на пожне выжила — сколько заробила?

— А у меня ребятам в школу скоро идти — ни обуть, ни одеть. Думаешь, сладко в лесу-то бродить? Зуб на зуб не попадает, нитки сухой на тебе нету. А бродишь. Короб грибов в сельпо сдашь — все какая ни на есть копейка в доме.

— А самим-то жрать надо? — вдруг грубо, нахраписто вломилась в разговор Олена Рогалева. — Я второй год без коровы маюсь. Нынче, думала, сена навалило — заведу коровушку. Черта с два заведешь!

И, считая, видимо, дальнейший разговор зряшным, Олена подхватила на руки коробья — только ручки взвизгнули — и пошагала, пригибаясь под ношей.

За ней, неуверенно переставляя ноги, потянулись ее товарки.

Ананий Егорович в нерешительности закусил нижнюю губу…»

По поводу этой сцены на полях рукописи, помню, появилась галочка главного редактора и холуйская скоропись завотделом прозы, которого я так подвел: «Что у нас, крепостное право? К чему типизировать недостатки? Эпизод переписать!..»

Федор Абрамов не переписывал. Тем более что на дальнейших страницах редакторская галочка превратилась в восклицательный знак, что было равносильно пожарной тревоге.

Рассказав о бедах крестьян и о причинах лютости и нечеловеческой тоски председателя Анания Егоровича, Абрамов пишет: Ананий Егорович «пошел — в обход вороницынской усадьбы — на переднюю улицу».

В этой обойденной председателем хате живет работящий мужик, запивший вдруг в усмерть, отец троих голодных детей. Не застав его утром, Ананий Егорович спросил жену колхозника: не заболел ли хозяин?

«Черт ему деется! (ответила жена. — Г. С.) Пьет-жорет котору уж неделю».

Ананий Егорович, как бы оправдываясь, спросил:

— А на какие деньги? Я ему не давал.

Полина фыркнула:

— На какие деньги! Они, пьяницы проклятые, давно по коммунизму живут. Вот те бог. Придут в лавку: «Манька, дай поллитра на карандаш». А Манька — месяц к концу подойдет — и пошла собирать по деревне, из дома в дом. «С тебя, Полина, десять рублей пятьдесят копеек»… — «За что? Когда я тебе задолжала?» — «Мужик твой вино на карандаш брал». — «Ну, брал, дак с него и получай. Не торгуй по коммунизму».

Как видите, не только бесстрашием анализа, но и красочностью диалога, сочностью языка вологодской деревни, не убитого советским «канцеляритом», очерк этот, местами неровный, несоизмеримо ценнее горы книг о деревне, ежегодно заполняющих книжные стенды советских выставочных павильонов.

Чего только не было, к примеру, на недавней Международной книжной мессе во Франкфурте-на-Майне! Завалы пустых книг с аляповатыми обложками издательства «Молодая гвардия». Горы брошюр АПН о детанте, подъеме колхозной деревни и кознях сионистов. Биографии вождей партии в ледериновых переплетах.

Все привезли. Кроме правды.

Само собой разумеется, на советских стендах не было и очерка Федора Абрамова «Вокруг да около». Как и его лучших

рассказов, в том числе и рассказа «Пелагея», советской критикой, по сути, замалчиваемого.

«Пелагея» — одно из самых значительных произведений о советской деревне. Его тоже подписал к печати Александр Твардовский.

Пелагея — женщина двужильная, глава дома: муж ее Павел Амосов, единственный из четырех братьев вернувшийся с войны, — тоже не жилец на этом свете. Чтобы прокормиться, Пелагея устроилась работать в пекарне. Работа адова. Возвращалась домой и валилась на голый крашеный пол, чтоб «охолонить». Лежала неподвижно минут пять, закрыв глаза, трудно, с присвистом, дыша. Только потом, повернувшись лицом к больному мужу, начинала расспрашивать о домашних делах.

Расспросив, подымалась тяжело, выпивала пять чашек чая без сахара. И начинала хлопотать по дому.

Позвали ее на семейные торжества — отказалась. Умаялась!

Кликнул ее в гости Петр Иванович, начальство. Хвора — не хвора, а потащилась.

Кто же окажется там, в гостях у Петра Ивановича, который ревизиями занимается? Перво-наперво, размышляет Пелагея, головка, конечно: «председатель сельсовета и председатель колхоза, потом будет председатель сельпо с бухгалтером, потом начальник лесопункта — этот наособицу, сын Петра Ивановича у него служит. Потом пойдет народ помельче: пилорама, машина грузовая, Антоха-конюх…»

Пелагея всех гостей мысленно перебирает: почему того пригласили? почему этого? И сама идет, через силу, чтобы с нужным человеком потолковать.

Как вы помните, мы читали такое у Дудинцева, в романе «Не хлебом единым». У директора огромного завода Дроздова «съезд гостей». Друзей нет, одна «номенклатура».

Но ведь там речь шла о разложении бюрократии. О появлении «нового класса».

По следам Дудинцева советская пресса вынуждена изредка писать о вырождении нового класса. Помню нашумевшие очерки под заголовками «Плесень» и др. Этих тем пресса касается, когда уж никак нельзя замолчать.

А ведь «Пелагея» — пострашнее. Расчет, черствость, бездушие покрывают ржавчиной уже самые низы, зарабатывающие хлеб свой адовым трудом.

Сюда, оказывается, проникла государственная безнравственность, вот каких глубин достигло духовное перерождение!

Крушение нравственных начал даже в самом низу, в

народной толще — вот о чем сравнительно небольшой рассказ Федора Абрамова «Пелагея».

Нет, не сразу стала такой Пелагея-труженица! Жизнь пригнула. Сила солому ломит. Чтоб с голоду не опухнуть, попасть в пекарню, пришлось ей, женщине суровых правил, искренне презирающей мужнину сестру Анисью за то, что та «за каждые штаны имается», пришлось ей, подавив гордость и женскую честь, с Олешей переспать. Сказал Олеша, «рабочий комитет»: переспит с ним ночку Пелагея — место в пекарне ее.

А уж Алька, дочь Пелагеи, и вовсе совесть потеряла. Один расчет остался. Задержались у них в деревне солдаты, Алька вцепилась в офицера. На солдат даже не взглянула. Сбежала с офицером Владиславом Сергеевичем на пароходе, никого не спросясь. Добив тем самым больного отца. Через три дня отец не выдержал — умер.

И Пелагея от всех горестей, обрушившихся на нее, прихворнула. Пошла в пекарню, а там грязь, запустение. Тут уж вовсе Пелагея слегла.

Посетил ее Петр Иванович. Думала, от добрых чувств, проведать. Какое!

Оказывается, жаловал он ее, потому что сын его в Альку влюбился, Пелагеину дочку. Как Алька сбежала, с тех пор пьет сын, не остановится.

«Пелагея, — говорит он тоскливым голосом. — Я тебя выручал? Не забыла еще… Ну, а теперь ты меня выручи… Парень у меня погибает… Ты бы написала Альке… (Офицер бросил Альку, об этом Петр Иванович разведал стороной.)

Написала б Альке. А?»

В ту ночь померла Пелагея, нашли ее утром на полу, на который она ложилась, по давней привычке, чтоб охолонить.

А Альки, той и на похоронах матери не было, прикатила через неделю, все распродала да снова умчалась, чтобы не упустить веселое и выгодное место буфетчицы на пароходе.

Пелагея, как видим, не потенциальная героиня, не «маяк», как окрестил деревенских героев Никита Хрущев, самая рядовая, честная, опора семьи, соседей. И она — поддалась… А уж о дочке ее и говорить нечего. Эпоха, оказывается, оставила следы и на них, следы разрушительные, необратимые.

Коготок увяз — всей птичке пропасть.

…Любители сталкивать писателей лбами заговорили о скрытой полемике «Пелагеи» с «Матрениным двором» Александра Солженицына. Голоса эти усилились в дни, когда Федор Абрамов стал руководителем писателей Ленинграда, т. е. партийной номенклатурой, а Александр Солженицын — изгнанником,

окрещенном «Литгазетой» «монархо-шовинисто-фашистом», бранью, которая пришла на смену известной формуле: «Англо-японо-германо-диверсано…»

Существует ли она, эта скрытая полемика писателей, оказавшихся на разных мировоззренческих орбитах?

Александр Солженицын и его Матрена, крепкие верой своей, отрицают режим. Каждый по своему, но — отрицают!

Пелагея пытается к нему приспособится: «жить-то надо…»

Какая же тут полемика?!

Приведись Матрене узнать о Пелагее (допустим такое!), единственное, что вырвалось бы у нее: «Да простит ее Господь»!

…Матрену сбил паровоз, шедший задом наперед, — слепое бездушное время.

Оно же, время это, охолонило и Пелагею на ее деревянном ложе; не столь нищетой и болезнями, с ними-то свыклась, сколько аморализмом, с которым и ей пришлось брезгливо соприкоснуться, — охолонило навсегда.

5. Василий Белов

…Следом за Федором Абрамовым Вологда подарила России Василия Белова. «Плотницкие рассказы» его были напечатаны в «Новом мире» летом 1968 года и читались под аккомпанемент танковых гусениц, крошивших брусчатку Праги. И поэтому впечатляли еще сильнее.

Ироническая нота зазвучала в них сразу, она потом крепла от рассказа к рассказу, став доминирующей в вологодских «бухтинах», вышедших годом позднее.

В «Плотницких рассказах» Василий Белов излагает как бы веселую и незначительную историю вековечного спора двух вологодских стариков, которые вспоминают будто невзначай о людской неправде, окружавшей их сызмальства. Одному поп на исповеди ухо драл за честность. «Надо было говорить: «Грешен, батюшка!», а я правду говорил, что в чужой огород не лазил»… За честность и отвертел ухо.

Мальчонка прошел сто пятьдесят километров до города за свидетельством о рождении, а его ни с чем отправили обратно, сказали: «Никаких записей на тебя нет… Получается, ты и не рождался вовсе. Нету тебя…»

Слово за слово плетутся стариковские байки, пока очередной «взрыв» не рассорит стариков.

О чем же они спорят за «чекушкой» водки, сухожильный старичок-колхозник Авинер Павлович Козонков и старик Олеша Смолин, которого так до глубокой старости и прозывают в

деревне Олешей?.. Кстати, чокнулся с ними и мальчонка шести лет, Славко. Выпил, как взрослый… Ну, это так, деталь деревенского быта.

Рассказывает Авинер Козонков. Все про жизнь свою боевую. «У меня голова крепкая… Бывало, против религии наступление вели — кого на колокольню колокола спехивать? Меня… Полез и полез. Да встал на самый край, да еще и маленькую нужду оттудова справил, с колокольни-то…»

Поведав о своих подвигах, Авинер Козонков все спрашивает автора, который из самой Вологды, не дадут ли ему «персональную» (т. е. персональную пенсию). За то, что колокола «спехивал», с наганом ходил и прочее.

На проводы автора опять старики сошлись, да тут же и схватились: Олеша Смолин Козонкову его бахвальства «наганной молодостью» не спускал.

— А ты как был классовый враг, так и остался! — повысил голос Козонков. Подрались старики.

— Я за коллектив родному брату головы не пожалею! — кричал Авинер.

Автор чувствует себя виноватым в драке: вызвал из прошлого притихших было духов. Не выдержал, пошел к Олеше. А там сидят они, старики, как ни в чем не бывало. Пьют чай. Словно и не дрались. Разговор мирный: «Я уж подсчитал, на гроб надо сорок восемь гвоздей». Заказ делает один другому: «А вот чего, парень: сделай мне гроб на шипах…»

«На шипах домовина, конечно, не то что на гвоздях, оно поплотнее».

А потом запели старики старинную протяжную песню.

Вот и весь рассказ. Ни о чем вроде. А рассказ-то очень серьезный, Об истории России, как видится она тем, кто помоложе: и чего петушились, колокола «спехивали», с наганом ходили? Все равно, одному домовина на гвоздях, другому на шипах… А крови-то, кровищи пролито, пол-России в крови.

Если иметь в виду, что рассказ вышел за месяц до вторжения в Чехословакию, а читался, когда Авинеры Козонковы из ЦК продолжали «колокола спехивать», только на этот раз колокола назывались «социализмом с человеческим лицом», реакцию читателя на этот ироничный рассказ можно себе представить.

Спустя год, когда счет жизни «Нового мира» Твардовского пошел уж не на месяцы, а на дни и часы, такие вещи больше не проходили.

В годину бед трагедий писать не дозволено. В 1939 году — году массового террора — в Союзе писателей спорили о возможности самого жанра трагедии при социализме. Ученые

оппоненты, вздрагивавшие при каждом стуке в дверь, конечно, склонялись к тому, что при социализме трагедийный жанр отомрет.

К концу шестидесятых годов он начал «отмирать» снова…

Если в 1964 году еще могла появиться повесть «На Иртыше» Сергея Залыгина, а в 1966, хоть и по недосмотру, но все же выскочила «Колывушка» И. Бабеля, то в 1969, смертном для «Нового мира» году, о серьезном и трагическом удалось сказать лишь так: «Бухтины вологодские (завиральные, в шести темах). «Бухтина — ложь, враки — вологодский, архангельский говоры (достоверно записаны автором со слов печника Кузьмы Ивановича Барахвостова…».

Ну, а насколько бухтины веселые да завиральные, уж судите сами:

Биография. 1. Родился. «Успел. Как раз к земельному переделу». 2. Лежу с незавязанным пупом. А они только нитку прядут… 7. Делились «богачеством». «Полкоровы мне, полкоровы отцу».

Домой жена не пустила, после того как колхоз образовали: «Ночевай в любом доме, для чего и колхоз…»

Началась общеколхозная жизнь. «А в ту пору все мы переживали подъем напряженных нервов…»

И лишь невзначай обронил автор: «Ведь что за народ нынче! Бухтины гнешь — уши развесят. Верят. Начнешь правду сказывать — никто не слушает». Что ж, вот вам тогда бухтины…

«Как прожить колхознику? В избе несметный содом. Штурм Берлина, подписка на заем… Одно утешение — охота… Вдруг навстречу медведь. «Стой, кричу, шаг влево, шаг вправо считается побег!» Я ему чекушку подал, он выпил. Спрашиваю, вот ты всю зиму спишь, не кушаешь. Хлеба тебе не надо. Как это у тебя ловко выходит? Открой секрет. Семья, говорю, большая, на всю зиму завалились бы, любо-дорого…»

Прибыли из города охотники. В газете потом была заметка: «Уничтожили хЫщника». «Это мишка-то хЫщник?» — удивляется рассказчик.

И дальше — все про то же колхозное «счастье». «Вожжей нет, — говорят в правлении. — Вожжей нет — дела нет. Не отвезти, не привезти. Я тут же: а из паутины. Обдираем с кустов паутину. Поезжай куда хочешь, любо-дорого».

А вот тема — совсем темная, предупреждает автор. Можно сказать, «светлой» памяти Никиты Хрущева. «Решил помереть. Прихожу на тот свет. Не пускают. Стучусь. «Местов нет!» Думаю: в ад или в рай. «Газеты, гражданин, надо читать, отвечают, — ни ада, ни рая давно нету. Произошло слияние ведомств».

Следующая тема куда мрачней. «Разжился» — называется одна из бухтин. Совесть поехал покупать Барахвостов. Ни у кого нет. Наконец нашел. Домой приехал, сумку — в погреб (с совестью). Лежит третий год.

Ждет «Новый мир» телефонного звонка. Когда прикрывать начнут. Тем и бухтины вологодские завершаются. «Конец известен» — называется последняя.

Вдруг бумага из области: «Прекратить разбазаривание бухтин! Барахвостова остановить!» Приходят с понятыми: «Приказано все бухтины у вас описать, принять под расписку». — «Что вы, ребята?» — «Не разводи частную собственность».

«Делать нечего — сдал. Теперь по вечерам дома сижу, помалкиваю…»

Вот так представлялся порой редакции «Нового мира» ее конец. С улыбочкой. Не думали только, гнали эту мысль от себя, что когда с понятыми приходят, много не наулыбаешься. Год прошел — хоронили Александра Твардовского.

Наступал конец легальной литературы. Вскоре не разрешат и бухтины. Все талантливое схоронит советский писатель в погреб. Куда Барахвостов совесть спрятал. На будущее. Или для самиздата.

…Чтобы не осталось ощущения, что Василий Белов интереснее всего именно в этом «шутейно-бухтинном жанре», что именно тут он нашел себя, вспомним горестный и умный рассказ «Мазурик», один из его реалистических рассказов, опубликование которого и выдвинуло В. Белова в первые ряды писателей, печальников русской деревни.

Главный герой его Сенька Груздев — самый веселый и беззаботный парень, инвалид войны. Жену свою, красавицу Тайку любил и хвалил. Да себе на шею. Пока он воевал, Тайка ему двойню родила, «гульнула слегка с одним из уполномоченных», спокойно сообщает автор. Спокоен и Сенька. Мудрый человек, предвидел. Когда его на фронт отправляли, он отплясывал у подводы и пел одну и ту же частушку:

В Красну Армию, робятушки,
Дорога широка.
Вы гуляйте, девки-матушки,
Годов до сорока.

Чужих детишек принял, как своих. Только частенько ругал Тайку: «Ты бы, дура, хоть не двойников, понимаешь! Ты бы хоть одного, дура, а то, вишь, сразу двоих заворотила».

Не прошло и года, как Тайка снова родила двойню. На этот

раз кровных, Сенькиных. Один умер. Но все равно, два своих (одного еще до войны соорудил) да два от начальства. Четверо ртов да Тайка. Прокорми-ка такую ораву. Подыми на ноги!..

И вот как-то ночью Сенька, назло Илюхе-бригадиру, «уволок с полосы ячменный сноп. Хотелось ему, чтоб пришел утром Илюха и увидел, что снопа нет, хотелось как-то насолить бригадиру, который на ночь все снопы пересчитывал».

Сколько может выразить писатель одним придаточным предложением! «…который на ночь все снопы пересчитывал». Рассказ, по неизбежности, только о Сеньке, без гроссмановских обобщений, невозможных в подцензурной литературе.

«Все течет» Василия Гроссмана, с подробным описанием организованного Сталиным голода, крестьяне, вымирающие — село за селом, страшная жизнь села, вынужденного воровать, чтобы не околеть, сосредоточена здесь, у Василия Белова, в одном придаточном предложении из шести слов.

Не оскудевает талантами Вологда!

Что же касается Сенькиной семьи, то тут сноп оказался в самый раз. И тогда Сенька, чуть поколебавшись, уволок еще один сноп. Потом утащил сразу два. «После этого у Груздева пошло: он навострился таскать все, что попадало под руку. Копна так копна, овчина так овчина, — начал жить по принципу: все должно быть общим. Воровал он тоже весело и никогда не попадался, хотя все знали, какой Сенька стал мазурик».

Воровал Сенька и для колхоза: то хомут новехонький притащит, где-то плохо лежал, то целые дровни приволок, перепряг в добротные дровни своего мерина.

И бригадир, и председатель лишь усмехались и «домовито» принимали добычу на колхозный баланс… И каждый раз посылали в извоз именно Сеньку. Старшим.

— Ой, Семен, — охает Марюта (одна из баб, посланных с Сенькой в извоз. — Г. С.), — гли-ка ты мазурик-то! Ой, не бери больше чужого! Ой, голову оторвут!

— Не ой, а год такой, — весело отвечает Сенька и тут же крадет козу, у той самой бабки, которая пустила их ночевать (что сразу и выясняется).

— У, дура душная! Рогатая! (бранит Сенька козу. — Г. С.). — Так бы и говорила, что не чужая, а здешняя…

«…Что верно, то верно, — завершает рассказ Василий Белов, — бабы и Борька пропали бы в райцентре, если б не Сенька…

Лошади фыркают, полозья сегодня не визжат, а стонут, погода слегка отмякла…»

Вот и весь рассказ. На десяти новомирских страницах, всего

лишь.

Эммануил Казакевич выразил свою глубокую симпатию к офицеру, приговоренному военным трибуналом к расстрелу.

Другая пора — другие преступники. И тоже без вины виноватые.

Прошла сталинщина, а в российских лагерях, по одним данным, миллион человек. А по другим — четыре миллиона. И мне, объездившему в шестьдесят девятом — семидесятом годах глубинную Россию, Воркуту и Норильск, Красноярск и ухтинские шахты, последняя цифра кажется более вероятной.

Кто же они, эти три или четыре миллиона преступников, из-за которых еще миллион молодых парней оторван от семей и полезного труда: мобилизован в конвойные войска? Сенька Груздев — мазурик, которого автор любит, всей душой любит, — вот кто ныне на Руси главный преступник, вот кого мордует конвой, превращая таких груздевых в озлобленных преступников, порой убийц.

Вот что сумел сказать на страницах подцензурной печати, в годы бесчинств тройной новомирской цензуры, казалось, спятившей от бдительности, прозаик Василий Белов!

Есть в рассказе Василия Белова такое областническое выражение: «дрова не горели, а только шаяли».

Когда народной мысли властью запрещено ярко гореть, дозволено лишь «шаять», т. е. тлеть, шипеть, и тогда Василий Белов исхитряется ударить хотя бы «бухтиной завиральной», вроде бы шуточной. А с шутки какой спрос!..[2]

Что вдруг?! И вовсе, как увидим позднее, не «вдруг» начал Василий Белов «спехивать» колокола и со своей колокольни.

6. Василий Шукшин

Вместе с Василием Беловым вышли на литературный большак и писатели помоложе: Битов, Астафьев, Лихоносов Виктор, которому в рассказе «Родные» удается, к примеру, сказать о старухе Арсеньевне: «Много лет подряд она ждала: вот уже на следующий год станет легче и с покосом и с мясом, тогда освободит их коровушка от забот, ранних вставаний, маяты и тревог. Ждала, и теперь ей уже семьдесят семь лет».

Идут и идут писатели — и вологодские, и сибирские, и кубанские, далеко не лучшие рассказы которых издавались комсомольским издательством «Молодая гвардия», накрывшим молодых, как, случается, накрывают птенцов шапкой. Душно, темно под шапкой, а куда денешься…

Книги молодых вроде бы пожиже книг Василия Белова.

Мысль не столь глубока, как яшинская. Темы помельче.

Мельчают писатели? Думается, нет. Власть год от года ставит цензурные сети все более густо и хитро. Как пограничную «колючку». С незримой сигнализацией, инструкциями-капканами, К юбилейным годам обнесли издательства сетями такими плотными, что не только крупные темы — рыбины крупные, но и плотвишка-то едва продерется.

Отдельно, наособицу, как говорят в Вологде, мы должны остановиться на человеке редкого таланта — Василии Шукшине.

Василий Шукшин — талант поистине всесторонний. Одаренный писатель, одаренный кинорежиссер, завершивший свой путь в кино трагическим фильмом «Калина красная», в котором словно бы предсказал свою судьбу; наконец, актер, снимавшийся во многих фильмах, а в последнем — шолоховском… Вот тут-то и начинаются отгадки.

Честнейший, словно «без кожи», человек, едва став известным, попал в капкан. Кинулась к нему со всех сторон нечисть. Ты, мол, наш, деревенский, русский, исконный. Поселили его у пышнотелой дочери Анатолия Софронова, повезли к Шолохову.

Каково-то было ему печататься в «Новом мире» у Твардовского, а домой ехать — к Софронову.

Жизнь, которой, как известно, руководил Отдел культуры ЦК КПСС, подталкивала его в спину — к шолоховым и софроновым. Сердце же рвалось — к правде…

Чего ж мудреного в том, что к сорока с небольшим он нажил болезнь сердца и внезапно умер.

Такова трагическая судьба этого таланта. Впервые я узнал о Василии Шукшине по его рассказам, опубликованным в «Новом мире» № 2 за 1963 год. Рассказы сочные по языку, но… осторожные. Без серьезных проблем. Всеобщее внимание, пожалуй, привлек рассказ «Классный водитель». Талантливый, веселый, трогательный. Водителю Пашке понравилась Настя, девчонка из себя видная, за которой инженер ухаживает. Подсел к Насте в клубе и произнес роковую фразу:

— Поговорим, как желтмены…

— Боже мой! — вздохнула Настя и пошла в другой конец зала.

Не таков Пашка человек, чтобы отступить. Ночью поехал невесту красть! Залез к ней в окно. Обнял в темноте. Она прильнула было к нему, но тут же поняла, что это не жених ее. Надавала Пашке по щекам со всего размаха.

Пашка опешил, походил-походил по комнате Насти и, человек действия, вскричал: «Поехали!» Отвез Настю на полной

скорости к нерешительному жениху-инженеру, прямо к крыльцу, подтолкнул в спину. Мол, живите, черти, коль друг друга любите!.. И — уехал, тяжко вздыхая…

Десятилетие Солженицына оказало влияние на всю литературу. Не мог писать по-старому и Василий Шукшин. Становился смелее.

Появляются рассказы «Змеиный яд» и «Степка». Автор теперь не старается пригасить гнев своих героев, срезать углы. Достает парень змеиный яд. Весь город обежал, нигде не дают. Пришел в последнюю аптеку, там тоже говорят: «Нету!»

— У меня мать помирает.

— Нету, — повторили.

Парень поглядел на аптекаря и сказал, не скрывая чувств своих:

— А мне надо! Я не уйду отсюда, понял? Я вас всех ненавижу, гадов…

Отыскался яд.

Еще более недвусмысленный рассказ — «Степка».

«В…задумчивый хороший вечер», минуя большак, пришел к родному селу Степан Воеводин. Из лагеря вернулся. Отец-мать счастливы. Сеструха немая вне себя от радости. Собрались соседи. Гуляют.

И вдруг появляется милиционер. Чтоб не нарушать семейного веселья, поманил молча Степку, увел куда-то. Первой сеструха спохватилась, немая. Кинулась следом, в милицию. Милиционер там протокол составляет, изумляется. Первый раз, говорит, такого дурака вижу. Оказывается, Степка сбежал из лагеря… за три месяца до конца срока. Три года отсидел, за драку, видно, потому срок такой несерьезный, да пустился в бега. Теперь по новой дадут, за побег. Начинай все сначала…

«Ничего, — отвечает Степка. — Я теперь подкрепился. Теперь можно сидеть. А то меня сны замучили — каждую ночь деревня снится… Хорошо у нас весной, верно?»

Господи, сколько в этом рассказе горечи! Горечи и бессильных проклятий тупой лагерной практике, которая держит душу живую взаперти, как говорят в России, от звонка до звонка.

Как видим, повернул Солженицын Василия Шукшина, как ни держали его под локти родные софроновы.

«В профиль и анфас». Отняли у шофера Ивана права. На год. Он пьет, готовится к отъезду. Мать плачет, уговаривает остаться. Он все ж уезжает, трудно расставаясь и с матерью, и с домом, и с собакой.

Его самого, по сути, выталкивают, как собаку.

Серьезный разговор у него вышел перед отъездом. Со

стариком, который угостил его самогоном, потому как парень-то Иван хороший, да только к начальству непочтительный.

«Нет счастья в жизни, — сказал он (Иван. — Г. С.)… Вот тебе хорошо было жить?

…Старик долго молчал.

— В твои годы я так не думал, — негромко заговорил он. — Знал работал за троих. Сколько одного хлеба вырастил!.. Собрать бы весь, наверное, с год все село кормить можно было. Некогда было так думать.

— А я не знаю, для чего я работаю (ответил Иван. — Г. С.). Ты понял? Вроде нанялся, работаю. Но спроси: «Для чего?» — не знаю. Неужели только нажраться? Ну, нажрались. А дальше что? — Иван серьезно спрашивал, ждал, что старик скажет. — Что дальше-то? Душа все одно вялая какая-то.

— Заелись, — пояснил старик. (Так объяснял, между прочим, весь агитпроп ЦК, все газеты, все политические наставники, выше мысль не подымалась, не смела подняться. Старик существует в рассказе с большим подтекстом.)

— И ты не знаешь (вздыхает Иван. — Г. С.). У вас никакого размаха не было, поэтому вам хватало… Вы дремучие были. Как вы-то жили, я так сумею. Мне чего-то больше надо».

Старик сердится. Тебе, говорит, полторы тысячи в месяц неохота заробить, а я за такие денежки все лето горбатился.

«— А мне не надо столько денег… Ты можешь это понять? Мне чего-то другого надо… Я тебе говорю: наелся. Что дальше? Я не знаю. Но я знаю, что это меня не устраивает…»

Вот какие речи произносят герои Шукшина в славную годовщину пятидесятилетия советской власти.

Совершенно в той же тональности и повествование о старике председателе колхоза, дельном трудовом человеке, у которого не было в жизни радости, одна лямка колхозная («Думы»). Ругал он, ругал Кольку Малашкина за то, что спать не дает, по ночам с гармошкой ходит. «Завтра исключу из колхоза», — говорил. Но не исключал. Гармошка вызывала мысли о том часе, когда он был счастлив. Гнал коня, молоко братцу умиравшему достать. Будто летел. «Какой-то такой желанный час непосильной радости. Именно это воспоминание вызывала гармонь. И мысли, какая она, любовь, бывает. А всю остальную жизнь только и была работа, работа, работа…»

Но вот замолчала Колькина гармонь: женился парень. «Светло было на деревне. И ужасающе тихо».

Нет, отбился Василий Шукшин от родственных рук. Хоть и соседствуют рядом с крамольными произведениями и столь же талантливые, и в прежнем ключе — о душах чистых,

незамутненных, деревенских: «Как помирал старик», «Чудак», «Раскас…», — все равно за Василия Шукшина решили взяться всерьез. По-родственному.

Наконец отыскался мотив, сам ли отыскался или подсказали? — такой, который, с одной стороны, в какой-то мере, удовлетворял и бывшего смоленского крестьянина Александра Твардовского, взятого властью на прицел, а с другой — и шолоховско-софроновскую мафию, настоянную на водке и погромной идеологии. В беде Россия. Однако власть тут ни при чем. Город во всем виноват. Город проклятый! Со своими интеллигентиками. Умниками, рушащими вековой уклад деревни. И, конечно, жидочками. Хотя этот последний мотив не мог прозвучать в новомирских рассказах, однако он все сильнее внедрялся в сознание Шукшина, сдружившегося с псевдославянофилами, организаторами клуба «Родина» — подсадной утки КГБ.

В более поздних рассказах, когда Александра Твардовского уже не было, антигородские мотивы, вытеснившие глубинный анализ, присущий Шукшину ранее, заполонили рассказы почти целиком.

Об этом особенно впечатляюще повествуется в «Сватовстве». «У старика Глухова погибли на войне три сына. 9 мая, в День победы, село собиралось на кладбище, сельсоветский забирался на табуретку, зачитывал списки погибших. Среди многих других перечислял:…Глухов Василий Емельянович. Глухов Степан Емельянович. Глухов Павел Емельянович. Всегда у старика, когда зачитывали его сынов, горе жесткими пальцами передавливало горло, дышать было трудно…

Тихо плакали на кладбище. Именно тихо, в уголки полушалков, в ладони, точно боялись люди, что нарушат и оскорбят тишину, какая нужна в эту минуту…

И тут-то он (старик Глухов. — Г. С.) приметил в толпе старуху Отавину. Она была нездешняя, хотя жила здесь давно. Глухов ее знал. У старухи Отавиной никого не было в этом списке, но она со всеми вместе тихо плакала и крестилась. Старик Глухов уважал набожных людей… За их терпение и неколебимость. Присмотревшись к Отавиной, подумал — не жениться ль на ней? Все не так тоскливо будет. А помрешь, будет кому хоронить… И та не прочь в тепле пожить. А то хата ее совсем никуда. Развалюха.

Решил старик Глухов посоветоваться с Малышевой, вдовой комиссара. Поездила когда-то с мужем, повидала свет, и старик, когда жену схоронил, иногда посиживал с ней на ее веранде. Пили чай с медом. Старик приносил в туеске мед.

Ближе, думалось, человека нет. Посоветуюсь… Малышиха пригласила обоих, и старика Глухова, и старуху Отавину и злобными, ханжескими словами все расстроила:

«Какой же вы пример подаете молодым? Вы свою ответственность перед народом понимаете?.. Эгоисты. Народ сил своих не жалеет — трудится, а вы — со свадьбой затеетесь.

— Да какая свадьба?! — пытался урезонить ее Глухов. — Сошлись бы потихоньку, и все. Какая свадьба?

— Совсем, как… подзаборники, — (не унималась Малышева. — Г. С.). Тьфу!

— Ну, это!.. знаешь! — взорвался старик. — Пошла ты к… — И выругался матерно. И вышел вон, крепко хлопнув дверью».

А свадьба расстроилась. Как вышли с Отавиной, разлетелись, как ошпаренные.

Могли бы дожить хорошие люди спокойно, по-человечески, помогая друг другу в одинокой старости, нет, и тут городская отрава просочилась.

И так из рассказа в рассказ. Город проклятый. Разлагает деревню русскую обманом, демагогией, ханжеством, мертвой «нормативной» моралью, бесчеловечностью. В глубокий подтекст ушли попытки анализа, картины более широкие, а, может, не город виноват? Может, и город такой же страдалец?..

И вдруг точно одумался Василий Шукшин, опубликовав маленький рассказ «Митька Ермаков». Жил Ермаков на Байкале, увидел как-то: на берегу стоят туристы, отдыхающие. Спорят про что-то ученое.

Презирает их Митька Ермаков. «Очкарики все образованные, прочитали уйму книг… О силе стоят толкуют. А столкни сейчас в воду любого, в одну минуту пузыри пустит. Очки дольше продержатся на воде».

Хоть вода пять градусов, да и волна разгулялась, решил показать им Митька свою мужицкую удаль. Поднырнул под волну, крича: «Эх, роднуля!»

Орал так, пока не захлебнулся. Рот не закрывал. Пришлось другое орать:

«… сы-ы! — донеслось на берег. — Тру…сы спали!.. Тону!»

Спасли Митьку очкарики.

Этот рассказ — нечто вроде ключика, который приоткрывает нам настоящего Василия Шукшина, который словно подмигивает своим городским друзьям: мол, вы не думайте, что я вас виню. Это я так, по другой причине. Обстоятельства такие.

О подобных, увы, нередких у советских писателей обстоятельствах точнее всего, помним, написал Александр Бек в своей повести «Новое назначение», изданной на Западе. Говоря о

всех бедах своего героя, думающего одно, чувствующего другое, а поступающего, как прикажут, он определил его заболевание, как известно, точным медицинским термином — сшибка. Сшибка — чувств и долга, совести и расчета. Сшибка вызвала смерть героя Бека. Сшибка вызвала смерть самого Александра Бека, отдавшего свою рукопись на Запад и не выдержавшего постоянного страха, который вокруг него сгущался.

От такой духовной сшибки и умер зоркий и нервный Василий Шукшин. Заласкали его софроновы да шолоховы до смерти, «выправляя линию»; он и сам чувствовал: доконает его распухшая от водки литературная мафия, — нет, не случайно, повторю, мафия добила его главного героя в предсмертном фильме «Калина красная», где Василий Шукшин был и автором, и режиссером, и актером; любимого героя Шукшина, который, и вырвавшись на свободу, на деревенские просторы, все время чувствовал над собой занесенный нож. Ждал подлого удара финкой или выстрела.

Василий Шукшин умер сорока пяти лет от роду.

В свете сказанного здесь о деревенской прозе читатель, думаю, сам отыщет место деревенского владимирского парня, впоследствии уже не парня, а гладкого сытого мужчины, который любил расхаживать в домах творчества в огромных валенках и деревенской шубе, в стиле а ля рюс, нарочито окающего: мол, деревенский я, был им и останусь… Сам отыщет место Владимира Солоухина. Памятники старины волновали этого бесспорно талантливого человека, памятники, погибающие и в его родном владимирском селе. А об односельчанах он говорит чаще всего мимоходом. И в стихах, и в прозе, и в жизни.

Не хочу судить, от специфики ли это дарования или — от бессердечия, во всяком случае, от недостатка чувства…

Так или иначе, беды его владимирской деревни, годами полуголодной, раздетой, обездоленной не менее вологодской, не стали в его творчестве мотивом определяющим.[3]

Появились ныне и другие «радетели деревни» помоложе, усиленно поддерживаемые ЦК комсомола, — фирсовы, лысцовы, декламирующие со всех трибун вот это «исконно-крестьянское», чуевское:

> Верните Сталина на пьедестал,
> Нам, молодежи, нужен идеал…

Потому, думаю, так важен ныне этот вдумчивый отбор талантливых имен, представляющих подлинную литературу России, в данном случае подлинную крестьянскую прозу. Славных

имен Александра Яшина и Владимира Тендрякова, о которых говорили ранее, Бориса Можаева, Федора Абрамова, Василия Шукшина и следующих за ними печальников русской деревни, живущих ее болью, ее нуждой, ее заботами.

Замечу кстати: самые талантливые писатели-«деревенщики» Владимир Тендряков, Александр Яшин, Борис Можаев, Федор Абрамов были начисто лишены ксенофобии.

Именно эти писатели развили и углубили борозду первопроходца И. Бабеля, борозды Овечкина, Троепольского, Дороша…

И Овечкин, и Троепольский, и Дорош делали все, что могли, порой даже то, что было им не под силу, это и вызвало самоубийство Овечкина и раннюю смерть Дороша.

Смена оказалась достойной их и — более талантливой.

Россия талантами не оскудевает. Как и палачами.

7. Каратели

Литература крестьянской беды подверглась такому же разгрому, как и сама деревня.

Самая крупная потеря современной «деревенской прозы» — Исаак Бабель, которого заставили замолчать, а затем подло, по доносу, убили.

Имени доносчика не знал никто. Почти тридцать лет. Лишь Константин Паустовский повторял, где только мог, свое присловье о Каине-Никулине.

Писатели и верили, и не верили, легко ль обвинить собрата по перу в убийстве?

Когда вышла повесть молодого писателя Ю. Бондарева «Тишина», престарелый Лев Никулин тут же отозвался на нее многостраничным доносом в ЦК и КГБ, и это письмо (время было такое, антисталинское!) показали Юрию Бондареву.

Тогда уж не осталось никаких сомнений. При появлении величественного Льва Никулина все немедля переходили на проблемы спорта или гастрономии. Когда тот опубликовал свой очередной роман под патриотическим названием «России верные сыны», по Союзу писателей загуляли строчки:

Никулин Лев, стукач-надомник,
Скучнейший выпустил двухтомник.
И это все читать должны
России верные сыны…..

Однако, как показало время, подметная «никулиана» была лишь удобным поводом для расправы над Исааком Бабелем. Не в заграничных «связях» дело. Не в его дружбе с маршалом Тухачевским: с ним дружили многие писатели.

…Бабель и Шолохов на одной земле существовать не могли. Существуй в литературе тридцатых годов «Великая Криница», невозможно было б даже появление фальшивок типа «Поднятой целины» Шолохова. Одна лишь глава «Колывушка» из «Великой Криницы» перечеркнула бы шолоховские и другие подделки, в которых ерничали бесчисленные Щукари, а крестьянство осчастливила историческая работа товарища Сталина «Головокружение от успехов».

Столкнулась подлинная литература и антилитература, поддержанная всей мощью государства, и судьба литературы была предрешена.

…Уничтожение «Великой Криницы» Исаака Бабеля и ее автора открыло зеленую улицу лжецам всех калибров.

И она хлынула грязевым потоком по шолоховскому «удачливому» арыку, всякого рода бабаевщина, изумляя читателей искусством подтасовок и сюжетно-образным стандартом.

И было от чего: доподлинно известно, путь эталонно-лживому «Кавалеру Золотой Звезды» открыла резолюция секретаря ЦК партии Жданова, начертанная на рукописи Бабаевского.

«Уничтожить» Зощенко и Ахматову и одновременно восторженно поддержать Бабаевского — Ждановым нельзя отказать в последовательности.

Вскоре после смерти Сталина и пленума ЦК, установившего, что коров в стране ныне меньше, чем при Николае II, в «Литературной газете» появилась разгромная статья о Бабаевском и бабаевщине, певших колхозное изобилие. Отбросив газету с этой статьей, Бабаевский процедил зловеще: «Кровавыми слезами ответят за это. Меня — вот увидите! — снова будут издавать. В обложках с золотым обрезом».

Это было в журнале «Октябрь», на заседании у Федора Панферова, я сам слышал эту тираду.

Карателя верили: нужда в них не уменьшится. Разливанное море шолоховщины и бабаевщины, отрезав правде о деревне все пути, имело значение не только литературное.

Вот что пишет об этом, к примеру, Федор Абрамов в своем очерке «Вокруг да около». Сбежали с поля, помните» бабы-грибницы, не дослушав председателя Анания Егоровича.

«Ананий Егорович в нерешительности закусил нижнюю губу.

Догнать, опрокинуть эти проклятые коробья, а самих баб за шиворот и прямо на поле!

Да, лет восемь назад он бы, наверное, так и сделал. Образцы для подражания были и в жизни, и в литературе. В одной из книг, например, рассказывалось, как председатель колхоза ловит строптивых колхозников за деревней, а другой председатель действует еще круче: врывается утром в избу и заливает печь водой. Книги эти в районе взяты были на вооружение. «Вот как надо работать, — наставлял председателей колхозов секретарь райкома, при всяком случае ссылаясь на литературные примеры. — А вы, растяпы, с бабами справиться не можете».

Да, лет восемь назад Ананий Егорович нагнал бы страха на этих грибниц. А сейчас…»

«Литературные примеры» сталинизма…

Возможно, никогда еще каратели в форменных фуражках и каратели литературные не сходились так воедино, как в эти годы.

Легко представить, сколько затоптано ими молодых имен, сколько талантливых книг осталось в писательских столах! Даже Шукшин, напечатанный ими, порой перестает быть Шукшиным и становится одним из бабаевских. И немудрено: совещания главных редакторов проводятся в ЦК партии не один раз в год или в месяц, а каждую неделю. Каждую неделю редакторы, как офицеры перед наступлением, сверяют часы… Им и грозят, как офицерам на войне: на одном из таких совещаний зам. зав. Отделом пропаганды ЦК партии воскликнул, обращаясь к главным: «Кто попытается покинуть окоп, будем стрелять в спину». Впрочем, здесь нет необходимости рассматривать партийный аппарат, находящийся над Главлитом. Разрешить что-либо, минуя Главлит, т. е. Главное управление по охране государственных тайн в печати при Совете Министров СССР, не смеет никто.

Передо мной документы тотального запрещения последних лет.

Вот, к примеру, цензурный циркуляр 1971 года, разосланный во все издательства. Он, конечно, с грифом «секретно», как и все документы об убийствах.

Дополнительно ко многим томам прежних запрещений отныне нельзя было допускать в печати даже упоминания:

1. О 1937 годе (т. е. о сталинском произволе. — Г. С.).

2. Запрещается писать о тюрьмах (т. е. о произволе нынешнем. — Г. С.).

3. Запрещается писать об отравлении природы…

«Гуманное указание, — сказал мне с усмешкой редактор, показавший документ. — Всего три пункта…»

К этим пунктам были прикреплены канцелярской скрепкой также новые «черные списки» писателей, разделенных, в свою очередь, на тех, кого нельзя печатать и даже упоминать в печати (тут я увидел и свое имя), и на тех, кто наказан «частично»: печатать можно, но упоминать в обзорах, рецензиях, статьях — ни в коем случае. Кроме того, писатели были разделены, еще ранее, на «выездных» (в капиталистические страны) и «невыездных», т. е. тех, кого даже к границе подпускать нельзя.

Целой горкой лежали в ящике стола и циркуляры индивидуального искоренения. Книги такого-то изъять. «Примите к руководству и исполнению…». Изъятое перечисляется на нескольких страницах. Конфискуется все.

Изымается изданное как на русском языке, так и на иностранных.

К счастью, Главлит был не властен над библиотеками Парижа или Библиотекой Конгресса США… Все остальное, говоря языком Даля, наподскреб.

Библиотекари, которые не поторопятся убрать эти книги, будут уволены без права поступления на работу, связанную с идеологией и культурой.

Появились и другие способы запретительства. Такие-то книги не выдавать на руки. Говорить, что «в работе», что отданы в переплетную и пр. Или — оставить для Москвы (чтоб избежать скандала) двести экземпляров, остальной тираж — превратить в бумажную массу.

Поступают и наоборот. Скажем, пришлось изымать черносотенную книгу Ивана Шевцова «Во имя отца и сына» (Москва, 1970). Был скандал: выдержки из книги печатались в западной прессе. Коммунистические партии Франции и Италии делали запросы в ЦК КПСС.

ЦК партии объявил, что черносотенная книга из обращения изъята.

Книга, действительно, изымалась… из центральных библиотек Москвы. Отъехал от Москвы на двадцать километров — покупай Шевцова хоть целый грузовик.

Кстати, я так и сделал, работая над романом «Заложники». Купил в Подмосковье всю черносотенную литературу, от исторической до ультрасовременной, — книг Кичко и Ивана Шевцова, официально «изъятых».

Таковы гримасы, по выражению А. С. Пушкина, «богомольной старой дуры русской чопорной цензуры».

Цензура является идеологическим отделом КГБ. Не случайно многие руководители Главлита, например, заместитель начальника Главлита Назаров, — бывшие «железные рыцари»

ГПУ-НКВД.

Но… все же могло ли чиновничество, боящееся и тени ответственности, остановить поток литературы?

Во время войны, рассказывали мне крестьяне, от немецких карателей можно было скрыться. От СС и «зондеркоманд» можно было уйти. От полицая не скроешься. Полицай — сосед. Из своей деревни. Он все и про всех знает. Он-то тебя и доконает.

Литература в последние четверть века и была затравлена, сведена на нет именно литературными полицаями — из своей литературной деревни.

Хотя имена их то и дело мелькают в газетных отчетах, они, по сути, безымянны, все эти баруздины, алексеевы, стаднюки, и прочие, несть им числа. Даже имена, ставшие много лет назад нарицательными, скажем, Софронов — Грибачев, объединяют, по обыкновению, в одном лице, так как своего лица они не имеют.

Ведет походную колонну, как известно, всегда старшина. В данном случае место это пожизненное. Покрикивает на карателей, сбившихся с ноги, ерничает, глумится, потирая пшеничные усы, Михаил Шолохов. Этот лауреат привлекается к травле инакомыслия, когда остальные не справляются. «Гуманист» Шолохов потребовал расстрелять Синявского и Даниэля «на основе революционной законности», расстрелял бы, подозреваю, и безо всякой «основы», Александра Солженицына, посмевшего усомниться в существовании Шолохова-писателя…

Остается ответить, пожалуй, лишь на два вопроса. Когда-то в Москве я публично назвал погромщиков культуры «черной десяткой». Прошло время, справедливо привилось иное слово: красносотенцы!

Чем объяснить легкость, с которой красносотенцы проникли во все поры литературной жизни? Стали главными редакторами, секретарями, «идеологами», штатными ораторами на съездах — словом, «России верными сынами», во всеоружии философской терминологии, государственных традиций и пр. Едва только им свистнут, идеологам «новой культуры», они являются готовыми, как из пучины морокой. Черноморы XX века, с портфелями под мышкой.

Какова политическая, философская, национальная, психологическая подоснова, на которую они встали и стоят многие годы и — прочно? Попробуем проследить исторические истоки «идеологической базы», на которой государству удалось узаконить существование во главе советской литературы пресловутых красносотенцев; удалось превратить их в таранную силу, топчущую таланты… Пойдем от новейшей истории к временам более отдаленным. По ступеням вниз, в исторические

подвалы России.

1. Красносотенцы полностью взяли на вооружение идейное наследство черносотенцев из Союза русского народа и Союза Михаила Архангела. Скажем, поток открыто погромной литературы последнего десятилетия (книги и брошюры Иванова, Шевцова, Сахнина, Колесникова, Бегуна и прочих), этот бьющий, как из брандспойта, поток просто повторяет, расцвечивая современными примерами, основные положения черносотенной идеологии. Насколько далеко зашли современные шовинисты, показал Парижский процесс 1973 года, на котором мне удалось установить полную аутентичность погромного текста брошюры Россова, изданной в Санкт-Петербурге в 1906 г., и текста, напечатанного в бюллетенях советских посольств в Париже, Лондоне, Риме. Организаторы новейшей шовинистической истерии семидесятых годов попросту сняли фотоспособом пожелтелые странички расхожей брошюры Союза русского народа и выдали за самоновейшее достижение советской. исторической мысли…

Приговор Парижского трибунала (апрель 1973 г.) впервые в истории, что называется, схватил за руку советский расизм.

2. Другим идейным истоком красносотенцев можно считать антинигилистический русский роман 1860–1870 гг., печатавшийся главным образом в «Русском вестнике» Каткова. Причину всех волнений на Руси, включая пугачевский бунт, литературные каратели прошлого века искали в «коварной польской интриге». Это утверждали едва ль не все верноподданные писатели: Крестовский, граф Салиас, Болеслав Маркевич, названный Чеховым «полицейским писателем», и др. По графу Салиасу, к примеру, Емельяна Пугачева подбил на восстание, оказывается, некий «полукровка, внук нигилиста и польки Людвиги». Храбро-отважный патриот князь Данило Хвалынский из романа Салиаса «Пугачев», повстречав поляка Яна Бжезинского, грозит ему карой самой унизительной — унизительней не было: «как жида, выпороть нагайками на дому».

Полукровки, а также инородцы в писаниях салиасов всех веков — вообще главная опасность России.

3. Традиции красносотенцев надежно опираются также на этический уровень предшественников, развивавших шумную деятельность в защиту трона, полиции и цензуры. Прежде всего на традиции Фаддея Булгарина (1789–1859) и Николая Греча (1787–1867).

В истории их фонтанно-патриотической деятельности известен даже такой случай усердия: Греч написал донос на «Отечественные записки». Донос высшими сферами был

отвергнут. Тогда на помощь Гречу кинулся Булгарин. Написал царю… угрожающее письмо: коли царь оставит его донос без ответа или царю не доложат, то он, Булгарин, обратится к королю Пруссии, чтобы тот довел до Николая I все, что Булгарин хочет довести сам, — во имя защиты монарха и его царства…

Точь-в-точь, как Булгарин, не ведая этого, разумеется, по причине своего редкого невежества, поступил в свое время верноподданный «прозаик» Михаил Бубеннов, написавший в ЦК партии, что коли они не примут меры против «еврейского засилия» в русской литературе, то он обратится к международной общественности. Правда, Бубеннов не уточнил, кого он имел в виду под международной общественностью.

Помню выборы в середине пятидесятых годов, когда обнаружили за портьерой фальшивую урну, заранее заполненную бюллетенями, из которых ни один из мракобесов не был вычеркнут. Скандал был таков, что урну эту не приняли во внимание при голосовании.

Затем, когда в 1957 году Союз писателей СССР разводнили огромным «этапом чиновников в литературу», от военно-издательских чиновников до газетных во главе с Юрием Жуковым, обходилось уже и без фальшивых урн.

Шестидесятые годы внесли свою новизну.

У меня хранится любопытный документ, в нем выражены результаты одного из тайных и прямых, вполне демократических, голосований в СП. Выбирали членов Правления Московской организации писателей. Не были выбраны в Правление все без исключения безликости, отчасти перечисленные выше. Поэт Сергей Васильев, номенклатурный критик Барабаш и литературовед Дымшиц получили голосов меньше, чем даже литератор, объявленный доносчиком… Против них голосовало и «болото», голосующее за что угодно.

После этого голосования все провалившиеся — до единого! — получили самые высокие — ключевые — должности… Барабаш из «Литгазеты» был переведен в ЦК партии. Дымшиц поставлен «оком государевым» в кино. Его должность называлась: главный редактор Комитета по кинематографии при Совете Министров СССР.

Эти молодчики непрерывно ссылаются на Маркса и Энгельса. А ведь это Энгельс однажды сказал так (в работе «Эмигрантская литература»):

«Множество странных явлений, происходивших в русском движении, объясняются тем, что долгое время всякое русское сочинение было для Запада книгою за семью печатями. Они (Бакунин и иже с ним) усердно распространяют утверждение, что

даже грязные стороны русского движения следует — в интересах самого движения — утаить от Запада: кто сообщает Европе о русских делах, тот предатель. Теперь этому наступил конец… Русские должны будут подчиниться той неизбежной международной судьбе, что отныне их движение будет происходить на глазах и под контролем остальной Европы. Никому не пришлось так тяжко поплатиться за прежнюю замкнутость. Если бы не замкнутость, их нельзя было бы годами так позорно дурачить…»

Эту цитату вы не найдете в арсенале наших «марксистов».

Конец шестидесятых годов, увы, был не завершением, а лишь началом нового разгрома литературы, окрещенного на Руси «юбилиадой».

ЧАСТЬ 5
Юбилиада

I. Гвардия умирает, но не сдается

Бесславная кончина «Поэтического ренессанса» 1956 г.

1967 год, год IV съезда писателей СССР, казался годом полного торжества красносотенцев. Дышать стало невозможно.

Всему вокруг исполнилось 50 лет.

67-й год завершился долгим фейерверком в честь полувекового юбилея Октябрьской социалистической революции. Издавалась лишь литература, признанная издателями лучезарной…

68-й год начался новым юбилеем, юбилеем Советской Армии, совершившей вскоре свой марш на Прагу.

Писатель от сплошного праздника начал слегка цепенеть.

69-й год принес юбилей еще более громкий: пятидесятилетие ВЧК — ОГПУ — НКВД — МГБ — КГБ. Атмосфера в Союзе писателей изменилась настолько, что все чекисты, пришедшие в литературу, нацепили синие юбилейные «ромбики» — 40 лет ВЧК и 50 лет ВЧК. Десять лет назад, когда возвращались из лагерей зэки, о такой демонстрации и речи быть не могло. Я, помнится, все жалел какого-то старика, который приходил в Клуб писателей и просиживал весь день за стаканом чая. Пытался подкормить.

И вдруг мой «несчастный» явился в Клуб с двумя синими ромбиками ВЧК. Оказывается, он и на пенсии продолжал свою дозорную службу…

70-й год пришел венцом юбилеев. Коронным юбилеем, к которому готовились, как готовятся матросы к адмиральской поверке.

Столетие со дня рождения Ленина. Величальные штампы, механически перенесенные со Сталина на Ленина, неумолчный радиокрик, вызвали оскомину даже у верных ленинцев. Появились анекдоты про Ленина. Они налетели, как мошкара. Их рассказывали в вузах и на заводах. Авторитет основателя советского государства заколебался.

Весь 71-й год продолжали чествовать Ленина и еще уж не помню кого или что.

72-й год подкрался на мягких лапах пятидесятилетием образования СССР.

Юбилиада подорвала литературный корабль, как торпеда. Он разломился и пошел, едва ль не со всеми обитателями, на дно.

Старики-писатели умирали стоя. Как капитаны гибнущих кораблей. У них были свои юбилеи, у капитанов. Без фанфар и наград. Одним из самых значительных событий 1967 года был юбилей Константина Георгиевича Паустовского, к казенному юбилею — пятидесятилетию советской власти — естественно, никакого отношения не имевший.

Клуб Дома литераторов на улице Герцена был набит битком. Толпились в фойе, в Малом зале, куда была проведена трансляция. В Большом зале стояли в проходах. Вдоль стен. В зал нельзя было протиснуться физически. Такого на моей памяти не случалось. Администратор провел несколько писателей, неосмотрительно пришедших к самому началу, в том числе и меня, через сцену; мы так и простояли, сжатые со всех сторон, возле сцены, в проходе, почти весь юбилей, понимая, что собрались все вместе, без казенного участия, видимо, в последний раз…

Паустовский болел. Его не было в зале. Он так и не поднялся. Поэтому все выступления записывались на пленку, чтобы смертельно больной Паустовский смог услышать у себя дома обращенные к нему слова.

И то, что произошло тогда, 30 мая 1967 года, останется для русской культуры, может быть, таким же событием, как и второе рождение советской классики — Платонова, Бабеля, Булгакова.

Открыл торжества Вениамин Каверин.

«Юбилей Константина Георгиевича Паустовского, — сказал он, — праздник литературы. Его даже сравнивать нельзя с только что прошедшим IV съездом писателей СССР, никакого значения в литературе не имевшим…»

У всех перехватило дыхание: давненько такого не говорили об официальных торжищах. Даже бывшие «серапионы». Между тем, точнее не охарактеризуешь съезд, на котором от трибун отгонялись все, кто мог не то что сказать, а хотя бы обмолвиться о неблагополучии в литературе. Конечно, не дали слова и Вениамину Каверину.

К счастью, приготовленная им речь не погибла, а, разойдясь среди писателей Москвы, в конце концов ушла за границу, где и была опубликована.

«Я страшно завидую Паустовскому, — воскликнул Каверин. — Завидую тому, что тот никогда в жизни не солгал. Ни одной фальшивой строчки нет в его творчестве, — сказал он. — Не солгал потому, что обладал даром, многими утерянным, — внутренней свободой…»

«Что такое внутренняя свобода? — В. Каверин оперся о стол кулаками, словно ожидая нападения. — Почему Паустовский всю жизнь молил нас не терять ее?.. Мы, писатели старшего поколения, в течение долгих лет как бы скрывали от себя трагическое положение литературы, запутались в противоречиях, с трудом различая в хоре фальшивого оркестра редкие ноты самоотречения, жертвенности, призвания…»

Он задохнулся, пододвинул к себе бумаги, стал читать выдержку из письма Пастернака к Табидзе: «Забирайте глубже земляным буравом, без страха и пощады, но только в себя, в себя! И если вы там не найдете народа, земли и неба, то бросьте поиски, тогда негде и искать…»

«Самое важное в этой мысли, к которой я в последнее время неоднократно возвращаюсь, — продолжал Каверин, оглядывая зал, словно ища там кого-то, кто непременно должен был это услышать, — самое важное… увидеть в себе народ, найти в себе отражение его надежд, радостей и страданий, его пробудившегося и всевозрастающего стремления к правде…»

Прозаик Борис Балтер, питомец «Тарусских страниц», начал напористо-громко, так он говорил, лишь когда нервничал:

«Все меня спрашивают, чем наградили Паустовского. А я всем отвечаю, что это ни для меня, ни для кого другого, ни для самого Паустовского не имеет никакого значения. На Руси давно повелось, что чем писатель признаннее и любимее народом, тем он более нелюбим правительством».

Зал переглянулся, замер: дадут продолжать? Не возьмут ли у выхода?

Балтер рассказал затем, как учил их Паустовский. Он поведал, в частности, о семинаре Паустовского; на нем разбиралось произведение молодого автора, в котором был выведен секретарь райкома. Чтобы подчеркнуть его «положительность», молодой писатель «живописал», как перед отъездом в командировку секретарь райкома входит, в плаще и дорожных сапогах, в комнату, где спит его маленький сын, и целует спящего сына.

Паустовский едко спросил молодого писателя:

— Вы хотели сказать, что эпоха так жестока, что проявление обычных человеческих чувств — положительная характеристика?

Молодой писатель был испуган.

Александра Яшина встретили аплодисментами.

«Мало присутствует здесь поэтов, — сказал Яшин, оглядев зал с ироническим прищуром, — поэтому я хотел выступить как поэт. Но я подумал, что имею право, и в этом мое счастье, выступить и просто как его друг. Я был молодым преуспевающим

поэтом — до встречи с Паустовским, — хотя ходил не на ногах, а на руках и был убежден, что так и надо…

Я на всю жизнь обязан Константину Георгиевичу, ибо он перевернул меня и поставил на ноги, поместив в «Литературной Москве» мой маленький рассказ «Рычаги».

И с тех пор я прочно стою на этой грешной земле, хотя мои беды после того не прекращаются, колесо завертелось в другую сторону. Однако я счастлив, что мне так повезло и я встретился и подружился с ним во время выпуска «Литературной Москвы».

…Говорят, что Паустовский не член партии, — продолжал Яшин. — А что такое быть членом партии для писателя? Отгородиться от народа дверью, да не одной, а двумя дверьми, обитыми кожей? Это значит быть партийным?»

В эту секунду в зале раздался страшный грохот. Кто-то кулаками барабанил во входную дверь. Яшин перестал говорить, переждал грохот, а потом продолжал с горьковатой улыбкой:

— Что?! Меня уже предупреждают?! Напрасно! Я битый-перебитый. Но я прочно стою на ногах. На этой грешной земле…

И в заключение:

— Я прочту стихотворение. Если оно понравится Константину Георгиевичу, то оно будет посвящено ему».

Я не запомнил, к сожалению, всего стихотворения, но отлично помню завершающие строки:

«…Мне и с Богом не можется,
И с чертом не по пути…»

Предоставили слово Народному артисту Союза ССР Ивану Семеновичу Козловскому, «образцовому тенору», как называли его. «Моя профессия — петь, а не выступать, особенно перед таким собранием, — начал он, — но здесь я не могу не сказать несколько слов. Паустовский является камертоном, по которому настраивается вся интеллигенция. Мы все так любим Паустовского, что даже Сергей Михалков явился с опозданием на два часа…»

И тут выскочил Михалков и начал, заикаясь, говорить:

— Я сейчас об-объясню…

В. Каверин резко оборвал его:

— Кто вам дал право говорить? Вам никто не давал слова, почему вы нарушаете порядок?!!

Лишь когда Козловский кончил, Сергею Михалкову было дозволено объясниться; он рванулся вперед:

— Мой друг, Иван Семенович Козловский, не осудит меня, узнав, что я пришел с приема избирателей, где я, как депутат…

Козловский перебил его:

— Я никогда не был вашим другом и не буду… — Он взмахнул рукой, и хор мальчиков, приведенный им, возгласил: «Славься!»… И Иван Семенович подхватил и стал петь вместе с хором: «Сла-авься!»

Это была последняя открытая демонстрация творческой интеллигенции.

Не думали мы, не гадали, что скоро умрет не только Константин Паустовский, но и моложавый Борис Балтер, и крепкий, «двужильный» Александр Яшин.

Год спустя на Красную площадь с протестом против ввода танков в Прагу вышла группа молодых людей. Среди них были и профессиональные литераторы.

Вскоре стал широко известен и Анатолий Якобсон, преподаватель литературы, автор книги о Блоке «Конец трагедии», один из самых талантливых литературоведов, — жизнь загнала его в петлю. Остальные борцы с режимом были физиками, юристами, рабочими, ушедшими вскоре в тюрьмы и психушки.

Молодая «революционная» поэзия, увы, за вдохновленными ею борцами не пошла.

Кто не помнит этого — Е. Евтушенко, А. Вознесенский, А. Межиров, Е. Винокуров, Б. Слуцкий, еще несколько имен, звучных, многообещающих, были не просто поэтами, а поэтическим знаменем 56-го года.

Никто из этих поэтов не был репрессирован, само время, казалось, надувало их паруса. А. Межиров и Б. Слуцкий побывали, как и Борис Балтер, на войне. Отличились личным мужеством. Не дрогнули перед смертью.

Что же стряслось с «поэтическим знаменем» антисталинского 1956 года? Почему оно оказалось в арьергарде, позади молодежи, прозревшей, жаждущей действий?

…Первым сломался Борис Слуцкий, самый мужественный и зрелый поэт антисталинского года. Он посчитал, что публикация «Доктора Живаго» за границей и ярость партийной бюрократии в связи с этим подбивает ноги всей молодой литературе. Из-за Пастернака добьют всех… Он позволил себе принять участие в поношении Пастернака в 1959 году.

«Балалайка с одной струной» — незло называли его в Союзе писателей. Струной этой, т. е. его, Бориса Слуцкого, темами, были солдатское мужество, прямота, чистота.

Эта струна лопнула, а другой струны в поэзии его — не было…

Евгений Винокуров, в отличие от Бориса Слуцкого, которого

долго не печатали, начинал легко и звонко. В день смерти Сталина пришли к друзьям два поэта — Винокуров и Ваншенкин. Оба одного «замеса». Бывшие солдаты. И у того, и у другого родители — партийные деятели. Ваншенкин ревел белугой. Винокуров явился с эмалированным ведром. Бил в него, как в барабан. Возвестил: «Тиран скончался!» «Не будет ли хуже?» — всполошенно спросил кто-то. «Хуже быть не может!..» — убежденно воскликнул Е. Винокуров.

Е. Винокуров начал как человек самостоятельного философского осмысления жизни. У него была «пара слов в запасе», как говаривали герои Бабеля. Но произнести их было нельзя.

От Евгения Винокурова впервые услышал я о «литературном методе» под названием «антабус».

Антабус, как известно, — медицинский препарат. Крайнее средство устрашения алкоголиков. Запойному дают антабус. И тот знает: примет он хоть сто граммов спиртного — смерть.

— …Но русский человек все преодолеет! — весело заметил Е. Винокуров. — Он исхитряется преодолеть и смертельный запрет. Начинает свой «обходной маневр» с того, что добавляет одну каплю спиртного… на стакан воды. И выпивает безнаказанно. На другой день — уже две капли водки на стакан воды. Так доходит до дозы, когда почти ощущает опьянение.

Так и в литературе… Каплю-две социальных ламентаций на стакан газировки. Чтоб пузырилось мгновение. Знатоки уловят. А цензура спохватится — уже никаких пузырьков, никакого привкуса — чистая вода.

Е. Винокуров верен себе. Неизменно. Примеры тому — почти все позднее творчество Е. Винокурова. Скажем, в сборнике «Лицо человеческое» стихотворение «Балы» завершается так:

…А ведь от вольтерьянских максим
Не так уж долог путь к тому,
Чтоб пулемет системы «Максим»
С тачанки полоснул во тьму…

Осуждает поэт? Одобряет? Попузырилось чуть, пошумели студенты на обсуждениях; хватилась власть, глядь — чистая вода…

В «Единичности» отвращение к философским схемам чуть проглядывает. Однако в стихотворении «Государственность» уже не две капли спиртного на стакан воды, а, скорее, половина на половину. Поэт не скрывает своего ужаса перед поступью государства, своей затравленности и подавленности. Концовка

ортодоксальна (А как же без воды?). Птенца «прикрывает» государство. Но тон задают начальные строки. Тон делает музыку.

И тогда снова капля на стакан воды. «Купание детей». Быт под пером поэта становится бытием. Поэтизируется то, что советская поэзия обходит, считая частным, а потому отображения не заслуживающим.

Книга «Жест» — снова капля-две спиртного на стакан воды.

Самые глубокие послевоенные поэты — А. Межиров и Е. Винокуров — убили в себе политических поэтов. А. Межиров — бесповоротно. Е. Винокуров перешел на метод антабуса. Безопасный для алкоголиков. Но — смертельный для поэзии, рожденной раскрепощением мысли и надеждами. Жаждавшей свободы.

Все чаще не только цензура, но и читатель не ощущает в воде привкуса запретных капель. А только длинноты, «скучноты». Монотонность. Неизбежный стакан воды.

Какая это трагедия, когда боевое знамя и звук горна, зовущий вперед, оказываются угасающим эхом, миражом! Стаканом воды с тайной добавкой.

…Хорошо, но ведь почти не изменился, скажем, Андрей Вознесенский, предельно наблюдательный, порой пластичный, ударно-афористичный, гулко протрещавший по всем городам и весям, как его мотоциклисты-дьяволы в ночных горшках.

Этот мотоцикл окончательно сшиб долматовских — ошаниных, певцов сталинщины. Где же он, надежда поколения?

Увы, время показало: ключ к поэзии Вознесенского — история «левого» художника, описанная Даниэлем в его книге «Говорит Москва». Как мы помним, левый художник, вдохновленный официальным Днем открытых убийств, принес в издательство плакаты, приветствующие сей День; плакаты были исполнены, конечно, в левой манере…

Редактор его выгоняет. «Что тут, «Лайф»?! Модерняга!» — негодует он. Художник убирается вон, сетуя на отсутствие свободы творчества.

Когда за окном бурлили страсти послесталинских лет, Андрей Вознесенский был почти борцом: «Уберите Ленина с денег…». Поэт был красным, как стыд.

Но вот политические страсти поутихли — поэт оставался красным, но — как фонарь у входа в публичный дом, что, кстати говоря, также выделило его из бесполой поэзии тех лет. Секс так секс!

И вдруг Вознесенский внес «левую» поэтику в тему, казалось, исключающую новации. В лениниану! Икона — это икона. Она

требует традиционного нимба. Вознесенский создал «Лонжюмо».

Он не посягнул на содержание, Боже упаси! Все как у «ортодоксов», только в «левой» манере. В «Лонжюмо» Ленин играет в городки, где целит городошной палкой в будущих Берия и прочих козлов отпущения.

Вначале недоумеваешь. Кто он? Приспособленец? Трус? Раздавленный временем талант?

Постепенно, с годами видишь, осознаешь с горечью, что Вознесенский стал порой бесчувствен, совершенно бесчувствен к содержанию. Главное, чтоб за него не влетело. Важно демонстрировать новейшие модерновые мехи, а какое вино в них налито — ему его не пить. Так постигаешь, что страсти его — поддельны, темперамент — ложный.

Имитированная, почти наркотическая взвинченность, вопль, трагедийный размах больше уж никого не могли обмануть; даже умение изобразить патологические реалии, калеку-урода и пр. не вызывало сочувствия. Мы видели, как много стоит, к примеру, за уродами Бабеля в «Колывушке». Целый мир.

Я не разделяю крайнего мнения литературоведов, говорящих об Андрее Вознесенском: антипоэт, антигуманист… Однако и меня не очень греют сцены, подобные следующим. Одно из своих первых стихотворений Вознесенский посвятил Корнелию Зелинскому, любившему выступать над гробом своих жертв… На похоронах Пастернака Андрей Вознесенский положил на гроб поэта, театрально положил, под тоскливыми взглядами родных Пастернака, этот свой сборник, вырвав из него страницу с посвящением Корнелию Зелинскому.

Однажды, пожалуй, вырвалось у Вознесенского искренне: «Судьба моя глухонемая». Ох, обсчитала жизнь, обсчитала…

Но обсчитала она, прежде всего, читателя.

Ни в одной стране мира — в XX веке — новации художественной формы не являются запретными. Не преследуются государством.

Только в Советском Союзе картины художников-нонреалистов сметались бульдозерами; поп-музыка воспринималась как политическая диверсия. Даже белый стих считался не так давно почти «антисоветской вылазкой». Как и узкие брюки, шорты или длинные волосы а ля хиппи.

Немудрено, что необычная стихотворная форма приветствовалась молодыми слушателями с жаром. Как вызов властям! Как мужество поэтов, ломавших закостенелые формы соцреализма.

Литовский поэт Межелайтис и московский Солоухин, которые стали «грешить» белым стихом, обратили на себя

внимание. Белый стих сам по себе казался протестом.

Однако… шли годы. К новым формам привыкли. Поэтов-«реформаторов» переставали бранить даже конвойные «попки» из комсомольских газет: новая форма не несла нового содержания. Как в поэзии А. Вознесенского.

Это особая тема. Особая книга — ломка стихотворной формы, находящейся в прорези прицела. Думаю, оно будет написано в свое время, такое исследование, выходящее за пределы этой работы.

Здесь я хочу отметить лишь один аспект этой интереснейшей темы: когда поэту безразлично или почти безразлично «что», быстро тускнеет и обескровливается «как»: у Евтушенко и Вознесенского, поэтов вначале полярных по образной структуре, по ритмике, афористичности — полярных буквально во всем, — теперь гораздо более общего, чем различия.

…О Евтушенко написаны горы исследований. Кто не слыхал, что он — поэт-трибун. Полемист и «театр одного актера». В общественно-социальном смысле он, было и такое, — оппозиция ко всем проявлениям сталинщины: «…древко нашего знамени хватали грязные руки». Он был искренним, и эта искренность совпадала с вектором эпохи. Он поистине был противоположен Вознесенскому. Ему важен смысл, содержание. Даже в ущерб форме. «Из десяти книг Евтуха время отберет одну», — верно сказал Борис Слуцкий.

За Евтушенко пошла не только молодежь. Как-то в «Литературной газете» редактор по разделу литературы, сверхбдительный О. по прозвищу Железный ортодокс, сказал сослуживцам, заперев дверь своего кабинета на ключ: «Я был на вечере Евтушенко. Он произвел на меня гигантское впечатление. Этот человек может возглавить временное правительство».

Даже прозорливый Юзовский, битый, мудрый Юзовский, признал его: «Посмотрите на его лицо, — вскричал он. — Это Савонарола!..»

Но вот эпоха начала менять окраску. Вначале пропали подписи Евтушенко (как и Вознесенского) под документами протеста. Выяснилось, что он умеет изгибаться «вместе с партийной линией…». «Подвижник подвижной морали», — саркастически заметил один из поэтов. «Неправда! — вскричал Евтушенко. — Я тактик!..». И даже ответил стихами о тактике: «… Я делаю карьеру Тем, что не делаю ее!»

Но все это были слова. Пустые слова. Государственные «народные» хоры запели по всей стране новую песню на слова Евтушенко: «Хотят ли русские войны?», где он слил воедино устремления Брежнева и воинствующей генеральской клики и

обездоленных русских городов и деревень, где в каждой семье — потери…

Это хитренькое «патриотическое» сюсюканье вполне укладывалось в рамки казенных лозунгов, развешанных на всех заборах: «Народ и партия едины».

Насколько честнее оказался тут, скажем, Булат Окуджава с его «песенным вздохом»: «А третья война — твоя вина…».

А Евтушенко?! Ему уж теперь не обязательно было пережить ситуацию, прочувствовать, осмыслить ее до конца, достаточно было чьего-то рассказа, порой намека. Кто-то вспоминал в Клубе, как Леонид Леонов покупал в эвакуации мед оптом, отобрав его у матерей, стоявших в очереди со стаканами и кружками. Евтушенко написал, что сам был тому свидетелем. Еще не ложь. Поэтическая вольность. Но… путь выбран.

Над Бабьим Яром памятников нет.
Крутой обрыв, как грубое надгробье.
Мне страшно.
Мне сегодня столько лет,
Как самому еврейскому народу…

Кого оставили спокойным эти мужественные стихи Евтушенко?

…Ненавистен злобой заскорузлой
Я всем антисемитам, как еврей.
И потому —
Я настоящий русский.

(1961 г.)

И даже в работе над этим — этапным для Евтушенко — стихотворением, искренним по своей направленности, он уже с легкостью расставался с одной символикой, заменяя ее противоположной. Завершая «Бабий Яр», он позвонил поэту Межирову: «Слушай, Саша, когда Моисей выводил евреев и Египта, светила ли над ним вифлеемская звезда?»

— Старик, — ответил изумленный Межиров, — это было совсем в другой раз и в другой религии.

— Тогда дай мне другой образ.

— Посох Моисея… — начал было Межиров.

— Спасибо! — не дослушав, вскричал Евтушенко, и в трубке зазвучал сигнал отбоя. Ему было достаточно. И посох, и

Вифлеемская звезда, и «я, на кресте распятый, гибну…», и «лабазник избивает мать мою», и «доброта моей земли…» — все стало при новой, облегченной системе творчества только поэтической бутафорией.

Евтушенко — поэт непосредственных чувственных фиксаций. Его ранние стихи «О, свадьбы в дни военные…» — прекрасны.

Для поэта-гражданина, поэта — «властителя дум» — качеств недостало. Недостало силы духа, поэтической взыскательности, готовности расстаться с грошовым комфортом. Недостало личности.

Однако ему нужно, чтоб о нем говорили. Ничего не продумав, попытался вычеркнуть из выборных списков Михаила Шолохова. Не удалось. Не могло удаться. Шолохова мальчишеским возгласом, без серьезных доводов, одним лишь выкриком из дальнего ряда не опрокинешь. Зал ждал аргументов. Евтушенко и не собирался аргументировать.

Сергей Михалков, председательствующий, оскорбил Евтушенко, высмеял, высек, как дошкольника. Все были огорчены. Кроме него самого: на другой день мир его упомянул. Не так, так этак!

Похоже, он уже не мог жить без газетного шума, как диабетик без инсулина.

Схема его творческой жизни становилась примитивно простой. Качели, — как-то назвал ее талантливый и непримиримый критик Бенедикт Сарнов.

Евтушенко пишет стихи, в которых есть доля правды, искренности, «левизны». Стихи вызывают восторг молодежи, но… ярость партийного руководства. Его «разоблачают», — сперва охотнорядцы из ЦК комсомола, затем сановный «правдист» Юрий Жуков. Евтушенко мчит на Кубу, загорает на пляже вместе с Кастро и… печатает в «Правде» отчаянно плохие, безликие, на софроновском уровне, стихи. Все опечалены. Кроме него самого… Качели вознесли его, и он… ухснова вниз. Появляются «Наследники Сталина».

Опять сгущаются тучи. В квартире его КГБ монтирует микрофоны. («Вы не живете нигде, вы ездите…» — скажет Евгению Евтушенко и его жене Гале добрая дворничиха, когда он переселится в другой дом.) Лекторы «оттуда» намекают на какие-то связи Евтушенко с заграницей. Полковник из погранвойск на Памире говорит мне: «Нам все известно. Недолго еще чирикать вашему Евтушенко…».

Что делать? Как выпутаться?
Я как поезд, что мечется столько уж лет

Между городом «Да» и городом «Нет».
Мои нервы натянуты, как провода,
Между городом «Нет» и городом «Да».

Снова потянулись, как лента телетайпа, «оправдательные» километры блеклых официозных поэм. «Братская ГЭС», «Опять на станции Зима». Ложь ситуаций, ложь психологическая, а уж какая стихотворная техника!

Забеременела, к примеру, Нюшка из деревни Великая Грязь (поэма «Братская ГЭС»). Отец ребенка отказался и от Нюшки, и от будущего ребенка. Нюшка в отчаянии:

Я взбежала на эстакаду,
Чтобы с жизнью покончить враз,
но я замерла истуканно,
под собою увидев мой Братск.

Остановила Нюшку «недостроенная плотина в арматуре и голосах»… А также «сквозь ревы сирен и смятенье… председатель и Ленин смотрели…».

Ленин ее и спас.

Ленин, как видите, тоже встал в один легковесный ряд с лабазниками из «Бабьего Яра», Нюшками и клюшками, — у хорошего хозяина и гвоздик не пропадет.

Ну, а все же Ленин спас. Не Керенский!..

Качели рванулись вверх. Высоко взлетел.

Бедный Евгений! Похоже, настиг его, как пушкинского Евгения, медный всадник государственности… Было успокоился он, снова зачастил в Клуб с иностранными гостями, стреляло шампанское.

И тут — советские танки рванулись в Прагу.

Все изменилось в один день. Старые писатели чувствовали близость перемен задолго: не случайно их последние юбилеи были прощанием.

Позеры слиняли мгновенно: надо было либо прочно сотрудничать с режимом — «всенародно одобрять» оккупацию, либо рвать с ним.

Заметался Евтушенко. Господи, как он испугался! Ибо понял, как и все, что пришел предвиденный Борисом Пастернаком

…Рим, который
взамен турусов и колес
Не читки требует с актера,

А полной гибели всерьез.

Никаких иллюзий более не оставалось. Ни у кого. Если подмяли танками целый народ, значит, придушат и любое инакомыслие внутри страны.

«Социализм с человеческим лицом» — последняя наша надежда — оказался такой же иллюзией, как «Государство солнца» Кампанеллы или фаланстеры Фурье.

В то утро сосед по дому, ученый-литературовед, принес «верный слух» о том, что предполагается арестовать, для острастки, тысячу «инакомыслящих». Чтоб никто не вздумал протестовать.

Льва Копелева, Бориса Балтера, меня снова топтали в высоких инстанциях. Человек пятьдесят топтали. Не хуже бабелевского конармейца Павличенко. Часами. Исключили уж отовсюду, откуда могли…

— Вас троих возьмут, это точно. У дома две черных «Волги» с утра. И «топтуны». Гляди сам! Гриша, береженого Бог бережет…

Напугал меня ученый сосед. Я решил бросить путевку в Коктебель, которой запасся заранее, и скрыться где-либо на Волге или в Сибири. Переждать облаву. Но — посмеялся своей прыти. Ныне не тридцать седьмой год. Тогда брали миллионы. Исчезнувших порой не искали. Не до того было. Ныне, коль КГБ решит посадить писателя, — отыщет его и на дне морском. И — завернул в Коктебель, к морю. Хоть немного отдышаться. На любой случай.

В Коктебеле, на другое утро, меня окликнул Евтушенко. Кинулся ко мне обнимать:

— Исключенец ты наш!..

Попросил он меня уйти с ним подальше от общего пляжа, на котором отогревали свои ишиасы «номенклатурные» писатели. Я воспротивился: опасался в первый день вылезать из-под навеса, на жгущее солнце. Он повторил свою просьбу, в тоне его звучала неуверенность, почти смятение. Я взглянул на него. Его била дрожь.

Мы зашли далеко, за Лягушачьи бухты, наконец выбрали пляж, на котором никого не было. Легли на камни. Он начал декламировать стихи, прося, чтобы я тут же «забыл» их. Я «забыл» их, конечно. Однако вскоре они начали гулять в самиздате как стихи Евтушенко, хотя сам он, по-моему, публично никогда их не читал.

Существование их в самиздате дает мне право воспроизвести, по крайней мере, начало:

Танки идут по Праге,
Танки идут по правде,
Танки идут по ребятам,

Которые в танках сидят… «Боюсь записывать, боюсь читать, — сказал он, нервно отшвыривая морскую гальку. — Этого мне никогда не простят… Слушай! — Он приподнялся порывисто: — Посылать телеграмму протеста или не посылать? А?! С одной стороны, пошли-ка они… куда подальше: с другой, — если промолчу, как я взгляну в глаза Зигмунду и Ганзелке: они дали мне телеграмму. Они верят, что я что-то могу сделать… — Он сел, обхватив колени, покачался из стороны в сторону. — По-ло-жение… Слушай, посылать или не посылать?»

Я ответил, что нельзя советовать человеку садиться в тюрьму. Это он должен решить сам.

За обедом Галя, жена Евтушенко, пожаловалась: «Женька сошел с ума! Сорок рублей истратил на телеграммы…».

Но и это были все те же качели. Рисковая игра. Когда спустя некоторое время секретарь ЦК Демичев запретил посылать его за границу («Вы не разделяете взглядов партии!» — сказал глава идеологической службы), Евтушенко ответил, что разделяет и готов взять свои телеграммы протеста назад…

«Турусы и колеса» — пожалуйста! «Полной гибели всерьез» — извините!

Спустя некоторое время я увидел Евтушенко в Клубе писателей. За соседним столиком сидели Василий Аксенов и Владимир Максимов. Максимову было худо. Он только что получил приказание явиться к психиатру. Никто не знал, как повернется дело. Боялись худшего… Евтушенко отозвал Аксенова и сказал громко, чтоб зал слышал: «Зачем ты сидишь с этим антисоветчиком?!»

Я был бы несправедлив, если б снова не напомнил здесь о стихах поэта, ставших, увы, автобиографическими.

«…Танки идут по ребятам, которые в танках сидят…».

Как живопись нонконформистов сметали бульдозерами, так поэзию давили танками.

Стоило самому глубокому и, возможно, самому талантливому поэту России Олегу Чухонцеву написать о князе Курбском, бежавшем в Литву от царя Ивана Грозного: «Чем же, как не изменой, воздать за тиранство…», стоило появиться этим строчкам в журнале «Юность», как едва ли не весь Генеральный штаб Советской Армии пришел в движение. Слава Буденного, «изничтожавшего» Бабеля, видно, не давала покоя, — целая

когорта генералов немедля подписала яростное письмо о том, что поэт Олег Чухонцев «призывает молодежь к измене…».

Себя они ассоциировали с опричниной Грозного, что ли?..

Олега Чухонцева отбросили от литературы на десять лет, — подобные «психические атаки» генералов, естественно, травмировали и остальных поэтов, в том числе Евгения Евтушенко, который любил и высоко ценил Олега Чухонцева.

Евтушенко сердито требовал в стихах: слышать стон и за стеной твоей квартиры, а не только во Вьетнаме. Но… — не заступился ни за Жореса Медведева, заключенного в свое время в психушку, ни за генерала Григоренко, ни за Владимира Буковского.

В медицине существует машина, заменяющая больное сердце. На время. Человек и с отключенным сердцем — жив.

В поэзии такой машины не придумано.

Читатель не прощает бессердечия. Не прощает ханжества. По Москве широко распространились стихи о Евгении Евтушенко, написанные как бы от лица поэта Евгения Долматовского:

Я — Евгений. Ты — Евгений.
Я — не гений. Ты — не гений.
Я — говно, и ты — говно.

Ты — недавно, я — давно….. Так случилось, что первой стала закисать в юбилейном безвоздушье молодая поэзия пятьдесят шестого года, поэзия антисталинского порыва.

2. Молодая проза: отход с боями, потери

Облава на… Эзопа

Проза держалась крепче; вжимаясь, как пехота, в землю, не прекращала огня… Несколько прозаиков заняли круговую оборону, защищая друг друга.

Многих выбили. Устрашили голодом, мордовскими лагерями, Владимирской тюрьмой.

Иные притихли сами, видя судьбу неуемных.

Поутих и прозаик Василий Аксенов, один из самых популярных и талантливых писателей, пришедших в литературу после 56-го года, вместе с Евтушенко, Вознесенским, Ахмадулиной, Булатом Окуджавой. Стал работать с оглядкой, волей-неволей. И все же успел сказать свое.

Как и многие другие писатели его поколения, он наиболее глубок не в романах и повестях, требующих огромного жизненного опыта, а в рассказах, где его талант, знание современного языка проявляются в полной мере.

На мой взгляд, самый значительный и совершенный по форме рассказ Василия Аксенова — рассказ «На полпути к луне», напечатанный впервые в «Новом мире».

Герой рассказа — рабочий Кирпиченко, который жил и в детском доме, и в тюрьме, и в леспромхозах. «Всегда он жил в общежитиях, казармах, бараках, — сообщает автор. — Койки, койки, простые и двухэтажные, нары, рундуки… У него не было друзей, а «корешков» полно. Его побаивались, с ним шутки были плохи. Он не долго думал перед тем, как засветить тебе фонарь».

Был у них на работе передовик Банин. «В леспромхозе все носились с ним: «Банин, Банин! Равняйтесь на Банина!..»

«В леспромхозе были ребята, — пишет автор, — которые работали не хуже Банина, и давали ему фору по всем статьям, но ведь у начальства всегда так: как нацелятся на одного человека, так и пляшут вокруг него, таким ребятам завидовать нечего, жалеть надо их».

Не по сердцу пришлась официальной критике эта тема.

Автор развивает ее, эту тему, идущую вторым планом, как бы исподволь, своеобразно. Банин повез Кирпиченко в Хабаровск, где у него, сказал он, «мировые девчонки» и сеструха. И пытался женить там Кирпиченко на этой своей сеструхе Лариске, которой под тридцать и которая «видала виды».

Они поссорились.

— Ты, потрох! — с рычанием наступал на него Кирпиченко. — Да на каждой дешевке жениться?

— Шкура лагерная! — завизжал Банин. — Зэка! — И бросил в него стул.

И тут Кирпиченко ему показал…

…Все это Кирпиченко вспоминает в самолете «ТУ-114», который несет его через всю страну, из Хабаровска в Москву, в отпуск.

И вот такой Кирпиченко влюбляется, и чистота человеческой души в грубом парне, бывшем лагернике, не свободном к тому же ни от лагерной жесткости, ни от лагерного сленга, его высокое преимущество перед казенными передовиками, эта чистота была вызовом казенной литературе. А рассказ — большой высотой, достигнутой Василием Аксеновым как писателем.

Выше подняться ему не дали, следующая его книга была заказной книгой Политиздата из серии «Пламенные революционеры». Она писалась через силу, ради хлеба

насущного. Василий Аксенов запил, и только угрозы врачей, что это кончится для него смертью, время от времени останавливали его. Он слишком рано узнал оборотную сторону жизни, талантливый Василий Аксенов, сын Евгении Семеновны Гинзбург-Аксеновой, бывшей лагерницы-колымчанки, автора книги «Крутой маршрут» о женских лагерях, широко известной на всем свете. Родной сын бывших зэка, он много знает, он талантлив, как, быть может, никто из его сверстников. Однако в СССР он жил, подобно всем литературным талантам на Руси, со связанными руками.

Рассказ этот, как и вся проза Вас. Аксенова, пожалуй, незаменим для того, кто хотел бы исследовать сленг России тех лет. Он отнюдь не кажется нарочитым, этот сленг, в устах Кирпиченко или передовика Банина; он достоверен, как и сами образы Кирпиченко и Банина.

«Куда-то учапала», «законно повеселились», «руки мерзнут, ноги зябнут, не пора ли нам дерябнуть», «и прочие печки-лавочки», «чин-чинарем»… «шуточек таких, что оторви да брось», «буги-вуги лабает джаз», «ну и будка у тебя, Валерий»… И прочее, и тому подобное.

По знанию новейшего сленга Василия Аксенова можно сравнить разве только с Александром Галичем, поэзия которого порой просто настояна на современном сленге; настояна так густо, что старые парижские эмигранты, пришедшие на первый концерт Галича, порой не понимали ничего, словно Галич пел на незнакомом языке…

Сленг между тем придает пронзительную достоверность этому, казалось бы, невинному рассказу, в котором с огромной впечатляющей силой сказано о том, что жизнь вольного человека на Руси, — как жизнь зэка. Те же нары, те же бараки, та же работа, порой связанная со смертельным риском, и та же недосягаемость мечты, любой мечты, не связанной с деньгами, до которой, как выясняется, не ближе, чем до луны.

…Все эти годы не прекращает труднейшей работы и Владимир Тендряков; первые его произведения — «Ненастье», «Падение Ивана Чупрова» и др. — имели подзаголовок «очерк». При переизданиях подзаголовки «очерк» или «очерки» обычно снимались.

Очерк — жанр литературной разведки, он как бы не претендует на вселенские обобщения, описывает частный случай и в этом описании может исследовать «частность» как угодно глубоко…

Простое ухищрение, но оно очень помогло Владимиру Тендрякову, которого, по выражению одного из критиков,

«развернуло мгновенно, как пружину». Он не вошел в литературу, а скорее врезался в нее. «Тугой узел», как, впрочем и «Ухабы», о которых я говорил особо, уже не имели подзаголовка «очерки», хотя и тут все начинается со «случая». Скажем, дождь в «Тугом узле» — случай, а то, что колхозников заставляют сеять в холодный дождь, когда заведомо зерно не прорастает, — не случай. Авария в «Ухабах» — случай, но то, что Княжев, несший раненого, не дает трактора, — это уже не дорожный случай.

«Конкретность факта и конкретность мысли — в поддержку друг другу. Именно эта плотность сросшихся между собой наблюдений и составляет силу прозы Тендрякова», — справедливо замечает лучший исследователь творчества Вл. Тендрякова новомирский критик Инна Соловьева.

Такой плотностью факта и мысли отмечены и ранние и последующие рассказы и повести Тендрякова. Скажем, «Тройка — семерка — туз», рассказ, в котором представители правосудия увозят невинного, защищавшегося от убийцы.

Этой плотности нет и в помине в толстых романах Тендрякова последних лет, в которые он ушел, как уходят в бомбоубежища во время жестокого налета…

В последние годы он жил на даче, в Союзе писателей не показывался. огонь; Зарабатывал главным образом переводами «классиков-националов».

Владимир Тендряков был опытен и умен, не высовывался на ураганный увы, в литературе опыт подобного рода не раз приводил писателей к литературной смерти. Возможно, этого состояния Тендряков и не выдержал. Он умер от инфаркта в 1984 году.

…Если кого-нибудь красносотенцы ненавидели воистину остервенело, так это автора «Нового мира» И. Грекову. И. Грекова — псевдоним. Если произнести его слитно — «игрекова». От игрека, означающего неизвестную величину, и происходит псевдоним одаренной писательницы Елены Сергеевны Венцель, доктора наук, одного из самых известных в стране ученых, в прошлом профессора Военно-воздушной академии им. Жуковского.

Ненависть к ней вызывалась и ее прозой, и полной независимостью Е. Венцель от литературных временщиков. Она была недосягаема, паря там, на высоте своих засекреченных наук.

Однажды, когда И. Грекова сидела за столом президиума, Александр Твардовский шепнул, наклонясь к ней, что пора ей окончательно уходить в литературу, так как она давно уж профессионал. И. Грекова ответила что-то, и оба расхохотались, и она, и Твардовский. Оказалось, она ответила своему редактору:

«Мне? Профессионально — в литературу? Да это все равно, что мне, солидной женщине, матери троих детей, предложить пойти на панель!»

И. Грекова вошла в литературу рассказом «За проходной». В рассказе — молодые ученые секретной лаборатории, которым мало восьмичасового рабочего дня, и они, энтузиасты, борются за десятичасовой… Борются все: Саша по прозвищу Мегатонна, огромный парень, самый умный после «Вовки-умного» и который, в то же время, некультурен, дик. «От земли» — талант. Научный таран… Слишком красивая Клара по прозвищу «Три пирожных сразу». Женька-лирик, мечтающий написать поэму «Аврал умственной работы». Спорят о том, нужна ли вообще лирика, не прав ли инженер Полетаев, который объявил в «Литературке» лирику устаревшей. Ругают Илью Эренбурга и вдруг кто-то читает стихи. «Лишь через много-много лет, Когда пора давать ответ, Мы разгребаем груду слов. Весь мир другой — он не таков». И все замолчали, задумались о чем-то, казалось, необычном для этой секретной лаборатории.

Лабораторией руководит «чиф», научный руководитель Логинов Викентий Вячеславович, по прозвищу «Черный ящик». И дело не только в том, что «чиф» непонятен — не то ученый, не то авантюрист, — а в том, что труд великолепных ребят использует современное варварство, способное истребить весь земной шар плодами их труда.

Ребята работают на «черный ящик»…

Никто не посмел так расшифровать рассказ Грековой, но никто из руководителей не забыл ей этого.

Из подобных «черных» лабораторий вскоре вышли на свет и академик Сахаров, и десятки молодых ученых, его сподвижников.

Следующий рассказ И. Грековой, «Дамский мастер» — один из лучших ее рассказов, о парикмахере-художнике Виталии, которому не позволяли творить. От него требовали план — и только. И Виталий, подлинный художник, творивший с женской головой чудеса, ушел в слесари. Подальше от халтурщиков и выжиг.

Оказывается, творить невозможно даже парикмахеру. Он же не на войну работает!

Этот рассказ трагический, хотя его трагизм руководителям культуры был непонятен, и И. Грекову оставили в покое, пока она не опубликовала повесть «На испытаниях». Тут уж ей воздали за все: и за правдивое изображение дикости и тупости жизни захолустного гарнизона, и за еретические мысли.

В дни нескончаемой «юбилиады», перешедшей в обычный литературный погром, И. Грекову, по совокупности еретических

мыслей и в литературе и в жизни, прорабатывали на всех собраниях.

Судьба «Нового мира» стала и ее литературной судьбой. На литературную панель И. Грекова, как можно догадаться, не пошла, а удалилась тихо профессорствовать в один из невоенных институтов.

Много разговоров вызвали Виталий Семин своей повестью о рабочей семье «Семеро в одном доме» и рассказами, и Юрий Домбровский, бывший зэка, светлейший человек, писатель и ученый, автор романа «Хранитель древностей», напечатанного в «Новом мире».

…Поднялся однажды до высот «Нового мира» Анатолий Кузнецов своим прекрасным рассказом «Артист миманса», может быть, лучшим своим произведением, однако вскоре он не вернулся из Лондона, и советская печать начала торопливо выскребать его из сознания поколения как перебежчика.

В литературе аллегорий, пожалуй, все эти годы лидировал Феликс Кривин, первая книга которого вышла в Ужгороде и тем не менее стала широко известной.

В 1966 году его «Божественные истории» стали одной из самых популярных книг; и чем сильнее свирепствовала цензура, чем быстрее гибла сатира, тем охотнее читался Феликс Кривин, в творчестве которого торжествовал Эзоп.

Ведь он писал о том же — об ушедшей и вовсе не ушедшей кровавой эпохе: «Избавь меня, Бог, от друзей, а с врагами я сам справлюсь! (сказал Александр Македонский. — Г. С.). Он так усердно боролся с врагами, что Бог избавил его от друзей».

Столь же актуален и «Мафусаил»:

«Первым человеком был Адам.

Мафусаил не был первым человеком.

Первым пророком был Моисей.

Мафусаил не был первым пророком.

Поэтому Мафусаил прожил девятьсот шестьдесят девять лет. И в некрологе о нем написано: «Безвременно скончался…».

Он не щадит, Феликс Кривин, и своего читателя, только что боготворившего Сталина, а затем Хрущева и снова готового вознести над собой нового «вождя и учителя».

«Не сотвори себе кумира. Я, например, не сотворю. У меня, например, к этому не лежит душа.

Зашумело стадо Моисеево.

— Вы слышали, что сказал Моисей?

— …как это правильно!

— …как верно!

— …не сотвори кумира!

— …О, Моисей!

— …мудрый Моисей!

— …великий Моисей!..»

Самое удивительное, что эти «Божественные истории» изданы Политиздатом. Вероятно, по графе антирелигиозной литературы.

О, Эзоп!

В эти годы он стал нашим главным литературным наставником.

Благодаря ему правда просачивалась иногда даже на страницы «Литературной газеты». Чаще всего на шестнадцатую страницу, где царствовали сатирики и юмористы.

Открывал читатель шестнадцатую и — похохатывал нервно:

«Дальше едешь — тише будешь».

«Очереди станут меньше, если сплотить ряды».

«И на похоронах Чингисхана кто-то сказал: «Он был чуткий и отзывчивый».

«Уберите эти строчки — они мешают читать между ними».

«Да здравствует все то, благодаря чему мы, несмотря ни на что…»

А то вдруг о советских буднях эпически:

«Стояла тихая Варфоломеевская ночь…»

В конце концов юмористы так развеселились, что принялись на литературных концертах высказывать афоризмы, которые не удалось напечатать:

«Время работает на заключенного…»

Тут уж веселье началось такое, что редактор шестнадцатой страницы И. Суслов продолжает веселиться ныне за пределами бывшего Советского Союза.

Похоже, слова «комик» и «комическое» в СССР происходят от японского «камикадзе».

Особняком стоит прозаик Юрий Казаков, талант поэтичный и редкий. Его первые рассказы появились в 56-м году. Первая книга «Манька» издана в 58-м году в Архангельске.

Рассказы Казакова — откровенная полемика с теми, кто идеализирует жизнь, упрощает человека, облегченно трактует сложности и противоречия современной жизни. Это качество объединяет его с Вас. Шукшиным, Вас. Беловым, Вл. Максимовым, Вл. Конецким. Вас. Аксеновым, Георгием Владимовым — это писатели одной генерации. Ю. Казаков издал несколько сборников. «На полустанке» (59-й г.), «По дороге» (61-й г.), «Легкая жизнь» (63-й г.), «Запах хлеба» (65-й г.). Думается, идет он от тургеневских «Записок охотника», отсюда его манера повествования, его попытка избежать строгих рамок сюжета и сюжетного завершения.

… Вдо-о-оль по морю
Мо-о-орю синему
Плывет ле-ебедь со лебе-едушкой…
Плывет ле-ебедь, не всколо-о-охнется,
Желтым мелким песком
Не взворо-о-охнется…

Критика сравнивала «Трали-вали» с «Певцами» Тургенева.

В традиционном, будто бы «тургеневском» обличье встает перед нами ненадежный, ленивый душевно, «ветхий человек». Не может быть на него опоры, нет на него надежды.

Вот в чем и вот где преодоление традиций, преодоление глубокое и многозначительное, которое советская критика старалась не замечать, обвиняя автора в эпигонстве.

Сочен, талантлив и «Северный дневник» Юрия Казакова, последнее произведение писателя; после него Казаков словно в прорубь канул.

Художники столь тонкие и чуткие погромных «юбилиад» не выдерживают. Они спиваются или уходят в свои леса с охотничьим ружьем…

3. Разгром киноискусства

«Из всех искусств для нас самым важным является кино», — сказал В. Ленин. И немудрено. Книгу, даже хорошую, читают десятки — сотни тысяч человек, кино смотрят ныне в СССР сто — сто пятьдесят миллионов. В любой захолустный колхоз, на самое дальнее становище или погранзаставу раз в неделю, не реже, прибывает кинопередвижка…

За кино прежде всего и взялись. Задолго до юбилиады.

23 марта 1963 года на специальном заседании Политбюро ЦК, на котором неистовствовал Никита Хрущев, был организован Государственный комитет по кинематографии. На правах министерства, как было официально объявлено, то есть с гигантскими министерскими окладами и особыми «номенклатурными» льготами, благодаря которым чиновник в Советском Союзе держится за свое место руками, ногами и зубами.

Председателем Государственного комитета по кино был назначен Романов — бывший генерал госбезопасности, во время войны один из руководителей СМЕРШа, что расшифровывается как «Смерть шпионам!».

Главным редактором назначили Александра Дымшица, которого писатели вычеркивали из всех выборных списков. В сатирической поэме, в те дни гулявшей по Москве, ему было отведено особое место: «…Там Дымшиц на коротких ножках, погрома жаждущий еврей…»

Это был период общего наступления Хрущева на искусство, его «встреч» с художниками, когда он кричал на скульптора Эрнста Неизвестного, грозил художникам-абстракционистам, матерясь и обзывая их педерастами.

Литературный сценарий — основа кино. «Сценарное хозяйство» было взято под особый контроль.

Кино к этому времени начало излечиваться от удара, нанесенного ему Сталиным, лично контролировавшим каждую кинокартину.

В год появлялось тогда, как известно, всего восемь картин. Каждая принималась прессой как гениальное достижение советского киноискусства и тут же забывалась.

Но к 65-му году кино действительно оживало.

Когда в 66–67-м годах выпускался фильм о войне на Севере по моему сценарию, рядом, в павильонах «Мосфильма», снимались, может быть, самые талантливые фильмы последнего десятилетия.

«Андрей Рублев» режиссера А. Тарковского, «Ася-хромоножка» режиссера А. Михалкова-Кончаловского, сына поэта, который не скрывал тогда своего иронического отношения к отцу, С. Михалкову.

Завершался в те дни фильм «Обыкновенный фашизм» режиссера Михаила Ромма.

На студии Горького снимался фильм о Герцене.

Какова судьба всех этих фильмов, два из которых — «Андрей Рублев» и «Обыкновенный фашизм» — остались, несмотря на все потери, фильмами выдающимися?

Фильм «Андрей Рублев» был, как известно, запрещен. В соседнем павильоне непрерывно переписывали фонограмму, т. е. меняли текст — монологи, диалоги. Я, по правде говоря, не мог понять, как можно изменить текст готового фильма. Ведь многие слова герой произносит лицом к зрителю, порой губы героя — на весь экран. Что тут можно поделать?

Ничего, вскоре пришла и моя пора понять, как это делается.

Фильм «Андрей Рублев» был переозвучен почти полностью. Посмотрел его генеральный директор «Мосфильма» Сурин, по профессии трубач в духовом оркестре, — что-то запретил. Вырезали часть фонограммы. Поменяли текст, «обкатали».

Затем отвезли ленту министру Романову. Тот позвал Дымшица, еще кое-кого из самых бдительных.

Нормальному человеку даже представить себе трудно, как правительственный Комитет принимает фильм. Я вгляделся как-то в полумраке в сановные лица приемщиков. Они не смотрели на экран. Почти никто не смотрел. Я ошеломленно вертел головой: спят?! Глаза закрыты… Но нет, лица у всех напряженные, не спят. Оказывается, принимающие только слушали. Стараясь не пропустить ни слова. Не прокрадется ли крамола?!

Поэтому, бывало, иногда проходили немые эпизоды, даже более крамольные. В фильме режиссера Калика был такой: сидят на лавочке двое. Он и она. Она сбросила туфли, подобрала ноги под себя. Подходят двое милиционеров, говорят: «Не положено!» Те возражают. Милиционеры приказывают: «Пройдемте!»

Правительственный Комитет запретил текст, так как он-де порочил милицию. Текст сняли. Сокращенный эпизод демонстрировался без текста. Получилось куда страшнее. Сидят на лавочке двое приятных молодых людей. Подходят милиционеры. Люди торопливо поднимаются и уходят подальше от греха.

Это можно.

Итак, Комитет, прослушав «Андрея Рублева», снял часть текста. Снова вырезали и переписывали фонограмму.

Наконец, искореженный, т. е. готовый, принятый Комитетом, фильм повезли секретарю ЦК Демичеву. И… снова начали переписывать фонограмму.

К счастью, разыгрался скандал, спасший фильм. Деятели мирового кино спрашивали на всех кинофестивалях, куда подевался «Андрей Рублев». Чтобы избежать «излишних разговоров», фильм продали в одном экземпляре некоему лояльному, как казалось ЦК, миллионеру. Он показал его на международном фестивале, где фильм получил 1-ю премию. Следовательно, по законам фестиваля, его обязана была купить страна, проводившая фестиваль.

Так, совершенно случайно, о выдающемся фильме узнал мир.

…Мог стать крайне интересным самобытный фильм «Ася-хромоножка», в котором снимались не актеры, а жители одной из глубинных деревень России. Я с удовольствием ходил в павильон, где снимали фильм, разговаривал с крестьянами. Это был смелый эксперимент, где крестьянину давали тему, а он сам развивал ее, как хотел.

Фильм, что называется, зарезали. Зарезали до такого состояния, что он оказался невнятным, да и выпущен он был в ничтожном количестве копий. Хотя там не было ничего еретического. Там была просто жизнь. По правде…

Словом, фильм пропал. Как пропал для зрителя и интересно задуманный фильм о Герцене.

Оказалось, что текст Герцена, классический текст Герцена о самовластье, о произволе царской монархии, вызвал в ЦК панический ужас. Ужас этот был сформулирован так: слова Герцена вызывают нежелательный подтекст, или «аллюзии», и текст заменялся до тех пор, пока обличитель-Герцен не перестал обличать.

Герцен еще терпим, когда он издается во многотомье и широко не читается. Герцен на экране оказался страшным врагом советского государства и был искоренен.

Труднее оказалось справиться с «Обыкновенным фашизмом» Михаила Ромма. Фильм документальный. О немецком фашизме, о Гитлере. Режиссер — первый режиссер страны, лауреат премий. Как такой фильм не выпустить?

Гитлер заходит на выставку картин — и отовсюду смотрит на него Гитлер.

Зал хохочет: только что Никита Хрущев изволил посетить Манеж, где на него смотрел со всех сторон Никита Хрущев.

И так что ни кадр — зал смеется либо аплодирует.

Замолкал лишь тогда, когда гитлеровцы расстреливали женщин в затылок и друг друга при этом фотографировали.

Комитет измучился с Михаилом Роммом, и все же остановить картину о нацизме только на том основании, что она вызывает ассоциации, не хватило духу. Фильм, хоть и сокращенный (очень длинный, — сказали, вырезая ударные эпизоды), но все же вышел на экран.

Мне запомнился один из споров, который вел измученный Михаил Ромм в Государственном Комитете. Когда у Ромма потребовали очередных исправлений, он воскликнул, держась за сердце: «Это же искусство, черт возьми!» В ответ он услышал язвительно-спокойную реплику Баскакова, заместителя Романова: «А кто вам сказал, что мы занимаемся искусством?!»

Зритель торжествовал, валом валил в кино в последние годы юбилиады, когда появились на экранах правдивые фильмы «Доживем до понедельника», «Три дня Виктора Чернышева», «А если это любовь?», «Белорусский вокзал». И, помню, праздником был веселый и умный фильм «Айболит-66», где злой Бармалей басил: «Нормальные герои всегда идут в обход». А доктор Айболит распевал вместе с друзьями: «Это очень хорошо, что пока нам плохо»…

Бармалея играл Ролан Быков, появление которого на экране всегда настораживало романовых. Звонили телефоны, вызывались внештатные консультанты: за Роланом Быковым глаз да глаз.

В маленькой роли скомороха из фильма «Андрей Рублев» Ролан Быков сыграл по сути человека своей судьбы: самого себя…

Для того чтобы не оставалось более никаких сомнений, в чьих руках судьба таких талантов, упомяну об одной детали: когда Сурин, генеральный директор «Мосфильма», проворовался во время совместных съемок с зарубежной студией и его пришлось сместить, кого, вы думаете, назначили?..

Место генерального директора «Мосфильма» занял… начальник милиции города Москвы Сизов. Правда, в это время он поднялся уже до зам. предисполкома Моссовета по охране порядка.

Грибоедов оказался пророком:

Фельдфебеля в Вольтеры дам…

…Легко представить мое самочувствие, когда на лобное место, то есть в данном случае в правительственный Комитет, потащили и наш фильм о войне «Места тут тихие».

Сценарий фильма, тоже изрезанный, но все же сохранивший главное, ради чего автор взялся за перо, был опубликован в журнале «Искусство кино». И утвержден Комитетом.

Но утвержден-то он был в 66-м году. А сейчас на дворе был

67-й год, юбилиада.

Главным героем фильма стал наш штурман военных лет, штрафник Александр Ильич Скнарев. В недавнем прошлом — крестьянин-сибиряк, так и оставшийся до конца дней своих простодушным и добрым человеком. Я положил в основу фильма подлинные события.

На Севере в 1942 году появилось много немецких подводных лодок. Они топили караваны английских, американских и канадских судов, которые везли оружие в Мурманск и Архангельск. На борьбу с подлодками бросили лучшие авиаполки. Самолеты сели в Ваенге, самом северном аэродроме Северного флота, под бомбежку, которая почти никогда не прекращалась. Чтоб самолеты могли сесть, штрафной батальон непрерывно, под разрывами, закапывал воронки от бомб.

И в одном из штрафников летчики узнали своего бывшего учителя, полковника Генерального штаба, который теперь, в солдатской шинели и обмотках, закапывал лопатой воронку. Летчики забирают его с собой.

В первом же полете Скнарев совершил открытие. Оно изменило весь характер операции Ставки. Скнарев определил, что подлодки в Баренцевом море — маленькие, «Малютки». Сами, своим ходом, они не могли прийти сюда, значит, надо искать плавбазу, которая их привезла. «Мы бьем яички по одному, а надо взорвать весь инкубатор».

Открытие — открытием, а Скнарева увозят снова в штрафбат. За ним прибыл представитель особого отдела… И вот Скнарев уходит со своим мешком в тот час, когда Северный флот начинает операцию — по его плану. Мчат грузовики с патронами и матросами, везут торпеды, а вдаль уходит, сторонясь проезжающих грузовиков, небритый сгорбленный человек в солдатских обмотках и с зеленым солдатским мешком. Он мешает шоферам, они матерят его.

Человек, подготовивший победу, уходит вдаль, никому не ведомый и ненужный…

Вы, возможно, уже догадались, что сказал генерал Романов, посмотрев фильм. Бывший глава СМЕРШа распорядился:

— Штрафника убрать! Штрафников у нас не было. Все это выдумки.

А в фильме были сцены поразительные, и, конечно, они были связаны с образом штрафника. Начальника штаба, который боялся штрафника как огня, играл Н. Гриценко, ведущий актер московского театра имени Вахтангова. Штрафника — М. Глузский.

И, может быть, лучший из эпизодов — последнее

столкновение начальника штаба и штрафника. Начальник штаба выталкивает Скнарева в штрафбат, но ему стыдно своего поступка, и вот он признается, отчего он, старый летчик, сейчас, на земле, трусит. «Нас было 12 друзей, воронежских. Один погиб в Испании, другой — в Финляндии. А где остальные? Где остальные?! Где мы погибли?!

Вот ты штрафник до первой крови, а я — до коих пор?!»

Гриценко заставил режиссера восемь раз переснимать сцену. Он глотал валидол, задыхался от жары. Но — не уходил, произнося фразу «Ты штрафник до первой крови, а я до коих пор?!» в разных интонациях, то криком, то свистящим шепотом придушенного человека. Воистину это была героическая актерская работа и гениально сыгранная сцена.

«Штрафника снять! — дружно закивали заместители Романова. — Этого с мешком, в обмотках, чтобы не было».

Я отказался. Кинул пропуск студии на стол начальства и вышел.

И фильм «положили на полку».

«Кто вам сказал, что мы занимаемся искусством?!» — все время слышался мне голос романовского заместителя.

Спустя месяц приехал ко мне режиссер. Глаза влажные. Руки трясутся. «Гриша, — говорит, — мне больше не дают снимать, выгоняют. Сделай что-нибудь».

Но что я мог сделать?

Вслед за ним ко мне стала ходить вся группа, осветители, костюмеры. Многодетные матери. «Что ж ты с нами делаешь?! — говорят. — Нам теперь ни копейки. А как жить?»

Доконали они меня, матери. Стал я думать, как найти выход из положения…И вдруг осенило. Позвонил Романову. «Значит, штрафника нельзя?» — говорю. «Ни в коем случае!» — басит. «Хорошо, — соглашаюсь. — А можно… просто разжалованного? Разжалованного офицера. В обычной части».

— Разжалованного, пожалуй, можно, — подумав, сказал он.

Фильм был спасен. Естественно, пришлось переписывать фонограмму. Крупным планом губы актера произносили: «Штрафбат». Я заменил на «стройбат». «Штрафной батальон» — «строительным батальоном».

Вырезали из фильма около 400 метров пленки: сцены, их которых было ясно, что дело происходит именно в штрафбате: скажем, восторг солдата, у которого оторвало пол-уха. У него кровь бьет, а он бежит по аэродрому, ликуя, крича в восторге: «Зацепило! Зацепило!» «Зацепило» — значит, солдат свободен! Он больше не арестант! Не штрафник! Ему поставят в документе штамп: «кровью смыл». И — отпустят в обыкновенную пехоту, в

соседние окопы.

Такие сцены пришлось вырезать. Режиссер кричал, бился в истерике и — резал, резал, резал.

Артист Глузский плакал, глядя на «зарезанный» фильм: уничтожали в основном созданный им образV.

Фильм приняли. Он вышел в астрономическом количестве копий, и широкоэкранных, и обычных, и узкопленочных.

Это и были те тридцать сребреников, которые я получил за отступничество. За то, что я предал Скнарева, своего фронтового штурмана, штрафника, ради которого и был задуман весь фильм.

Только через восемь лет, в романе «Заложники», вышедшем в Париже, я смог хоть отчасти искупить свою вину перед Александром Ильичом Скнаревым и другими моими друзьями, погибшими над Баренцевым морем. Но кто мог думать, что это станет возможным?!

Юбилиада прошлась и по мне тяжелым танком, который утюжит окопы…

А скольких забили глухо, безвестно. Запретили тогда же «Скверный анекдот» по Достоевскому — талантливых режиссеров Алова и Наумова, приказали смыть ленту «Комиссар» режиссера Аскольдова (главного героя опять играл Ролан Быков), хотя ее пытались отстоять самые влиятельные писатели и режиссеры. Только одно перечисление запрещенных, зарезанных фильмов заняло бы десятки страниц.

А чтоб не было особого перерасхода денег, цензоры теперь сидели, по новому правилу, на съемочных площадках, чтоб, если что, «закрыть» картину на раннем этапе.

Поножовщина в кино достигла тогда грандиозных размеров.

Как татарские ханы пировали на связанных русских пленных, так и новоявленные ханы справляли юбилей «первого в мире социалистического государства» на связанном и распятом киноискусстве, брошенном им под ноги.

«Из всех искусств для нас самым важным является кино».

4. Убийство Твардовского — устранение последней помехи на пути «лучезарной макулатуры»

«А мы прозу вытопчем, вытопчем!..»

(Из опыта московского издательства «Советский писатель»)

…Кино раздавили в романовском кулаке.

Однако легко ли углядеть за сотнями разбросанных по всей стране журналов и издательств, за десятком тысяч редакторов, среди которых немало людей честных, измученных своей дозорной службой? Вдруг отбились от рук сибирские «Ангара» и «Байкал». Пошаливал степной «Простор».

В поход на литературу были отряжены свои романовы. Председателем Всесоюзного Комитета по делам печати при Совете Министров СССР оказался тоже Романов. Другой Романов. Романовых окрестили «два сапога — пара». Или, в сокращении, «два сапога…» Отзвук танкового лязга на Вацлавской площади в Праге слышался во всех романовских циркулярах по печати.

А внешне все походило на нормальную творческую жизнь. Красносотенцы, заняв ключевые позиции, созывали совещание за совещанием. Да не «закрытые» в ЦК, где можно было не выбирать выражений… А большие, «демократические», полуторжественные, почти петровские ассамблеи. Приглашались известные имена — годы произвели их отбор: их просили, именитых, поразмышлять, к примеру, о судьбах нового романа, поднять «теоретический» уровень пустословия. Да напомнить, между тем, о патриотическо-юбилейном долге писателя… Послушным платили сразу и много: переизданием книг, заграничными командировками и пр. Удивительная и, казалось бы, прекрасная особенность России, в которой 480 тысяч библиотек, обернулась для бездарей и «укрощенных талантов» манной небесной. Пусть книга чудовищна, все равно, если ее рекомендуют библиотекам, то будет заказано не менее полумиллиона экземпляров любой графомании.

О подобных «творческих» совещаниях трещали газеты, радио, телевидение. Портреты улыбавшихся грибачевых-шолоховых оттесняли серьезные материалы. В «Литературке» любили располагать портреты по краю страницы, «траурным бордюром», по выражению К. Паустовского.

Внешне шла непрерывная творческая дискуссия.

А великий русский язык — верный хранитель морали — рождал слова и выражения, выдававшие подлинный смысл этих «теоретических» дымовых завес.

Литературную ниву забивал сорняк. Гуляло по редакциям чисто бухгалтерское выражение: «сбалансировать произведение». Что значит — сбалансировать произведение? Это значит прикинуть, подсчитать, сколько в рукописи положительных героев и сколько отрицательных. Не слишком ли много отрицательных? Не создают ли они мрачную атмосферу?.. Или, допустим, у положительного героя армянская фамилия

Карапетян, а у отрицательного или просто неприятного — Иванов, так это уж опаснейшее нарушение баланса.

«Краеугольные камни» ЦК — о примате партийного руководства и пр., о чем говорилось в начале книги, уточняются, «отшлифовываются». Любая книга должна соответствовать всеми своими компонентами не вчерашним требованиям, а — сиюминутным.

«Бухгалтерская» практика в издательском деле потянула за собой, кроме новоидеологического термина «сбалансировать», и другие подобные: «довести до ажура», «согласовать», «утрясти», «подогнать под общую сумму» (в данном случае сумму требований), наконец, «обкатать», т. е. сгладить острые углы.

«Соцреализм» открыто принимал формы подтасованного бухгалтерского баланса, в котором все должно «соответствовать».

Восторжествовала терминология не только канцелярская, но и медицинская, о чем упоминал: «проходимость» (об издательском процессе, как о кишечнике), и даже собачья: «Надо иметь нюх», — говорили молодому редактору. «Где твой нюх?» — кричали на провинившегося.

И редакторы — старались.

В воспоминаниях об Юрии Олеше у Паустовского есть фраза о портье, старике в лиловых подтяжках, который произнес старомодное слово купцов и коммивояжеров — «гратис», означающее, что товар отпускается бесплатно.

«Гратис! — повторил старик. — Платить абсолютно некому. «Интурист» эвакуировали. Я здесь за сторожа».

А вот в 1972 году, спустя четыре года после смерти К. Паустовского, воспоминания об Юрии Олеше «исправляет» младший редактор Е. Изгородина.

«Бесплатно потому… что платить некому. Трест эвакуировали. А я здесь вместо сторожа».

Редактор, как видим, начисто разрушает образ портье, импульсивного старика-одессита, далекого от логических «потому-почему». Изменяет стилистику фразы. И к тому же зачем вспоминать об Интуристе, который ведает специальными гостиницами для иностранцев?

Я подумал на мгновенье, что было бы с Бабелем, если б его отдали в руки Е. Изгородиной?! Отдали бы, в том у меня нет сомнения, если бы его не успели перевести на все языки.

Коли вот так беззастенчиво, без чувства языка «правят» классиков, тончайших стилистов, нетрудно представить себе, как поступают с теми, кто еще не стал классиком.

Редакторский разбой стал нормой поведения.

В трудном случае (автор еще жив и, хуже того, упрям)

русский язык воссоздал другую фразу, изобличающую подлую практику: «Гнать зайца дальше». Это значит перекидывать рукопись от одного «внутреннего рецензента» к другому. Двенадцать рецензий, восемнадцать рецензий… Нечто вроде лагерного БУРа (барака усиленного режима). Посиди, автор, поразмышляй… Один из моих ранних романов вышел в свет, пройдя «сквозь строй» двадцати трех «внутренних» рецензентов.

Во сколько обходится государству эта редакторская трусость? У меня в руках точные цифры. Я выбрал не мертвый, юбилейный, а, напротив, год неслыханного либерализма — 1961-й, год писательской полуволи. Так вот, только за этот «вольготный» год и только в одном издательстве «Советский писатель» было выброшено на ветер, то есть на перестраховочное рецензирование, 133,5 тысячи рублей.

Такова плата за страх перед новой рукописью. Если взять все издательства, художественные, политические, научные, то, несомненно, плата за страх будет выражаться в десятках миллионов рублей.

Не надо, видимо, пояснять, что при укоренившейся системе «балансирования», «травли зайца», «обкатки» от печатных станков отбрасываются наиболее глубокие и зрелые книги. Последним на моих глазах было отброшено произведение Владимира Максимова «Семь дней творенья». Не будь тамиздата, оно погибло бы, как погибли десятки и сотни талантливых произведений.

Ну, а если отвергнуть трудно? Автор очень знаменит или влиятелен, или нежелательная книга написана так, что нельзя прицепиться. Или книга «проходима», да автор попал в черный список? Где-то что-то сказал… Тогда кладется на стол козырь последний и безошибочный — нет бумаги!

Пятнадцать лет подряд, на моей памяти, в Москве твердили: нет бумаги. «Финляндия нам не продает, а потому нет бумаги», — «конфиденциально» сообщили в ЦК партии.

Жечь книги, фигурально выражаясь, таким способом оказалось легче всего. Не надо входить в разговор по сути. На нет и суда нет!..

Позднее этот прием широко использовал КГБ, привлекая к ответу инакомыслящих не за мысли, а за что угодно: «спекуляцию», жизнь без прописки, тунеядство и пр. Отделы ЦК, ведающие пропагандой и культурой, шли тут впереди КГБ, прокладывая лыжню.

В последние годы откидывали от печатного станка «из-за отсутствия бумаги» до восьмидесяти процентов книг профессиональных писателей.

80 % — это смерть литературы: отбрасывается все самобытное.

Несколько моих товарищей решили выяснить: а так ли это? Действительно ли нет бумаги?.. После трудных хлопот была образована, еще в 1965 году, после изгнания Н. Хрущева, официальная писательская комиссия, которая выяснила, что бумага никогда не лимитировала работу издательств, в частности, издательства «Советский писатель». «На первое января 1963 года, как гласит документ, фактический остаток бумаги составил 1380 тонн — при норме в 1000 тонн».

Жульничали на всех уровнях. Директор издательства Н. В. Лесючевский объявил секретариату СП, что у него осталось 935 тонн бумаги. Проверили. Оказалось — 1250 тонн. 315 тонн скрыли даже от секретариата СП, от пресловутой «черной десятки».

В канун юбилиады начали срочно «модернизировать» бумажные комбинаты на Каме и др. Остановили машины, год-два бумага ценилась на вес золота.

Давно уже модернизировали огромные бумажные комбинаты на Каме, Волге, Северной Двине, а в издательствах еще долго талдычили полюбившееся: «Нет бумаги».

По-видимому, было бы справедливо поставить в Москве, рядом с памятником первопечатнику Федорову, монумент Главлиту, упразднившему книгопечатание.

Первый — открыл новые горизонты культуры. Второй — закрыл. Подменяя издание книг макулатуропроизводством.

…И все же разгром литературы не мог быть полным, пока жил, задавал тон «Новый мир» Александра Твардовского.

Я не знаю, останется ли на «отмелях времен» Твардовский-поэт. Его неунывающий Теркин, на том и на этом свете. Или ранний герой — Никита Моргунок, зажмурившийся на один глаз, чтоб не разглядеть — не дай Бог! — уничтожения русской деревни.

Твардовский — редактор «Нового мира» — сама история. Даже кривоватое зеркало солженицынского «Теленка…» отражает это в большой степени.

Каково же было ему, Александру Твардовскому, на самом деле трезво видевшему, что русская проза не Солженицыным началась и не Солженицыным кончится! Бека не отстоял, Гроссмана не сберег: одну из копий романа «Жизнь и судьба» КГБ изъял прямо из сейфа «Нового мира». Зато залыгинского Степана Чаузова поднял из праха; вместе с можаевским Федором Кузькиным вырвался на белый свет. «Пелагею» Федора Абрамова у Главлита зубами вырвал. Напечатал рассказ неведомой доселе

Н. Баранской «Неделя как неделя» — горькую правду о женской эмансипации в СССР. А лучшее у Шукшина! У Белова! Всю деревенскую прозу на новомирской грядке взрастил. Василя Быкова от небытия спас… Знал, у кого что «залежалось». Ждал просвета, минуты. Перед Фурцевой унижался, перед поликарповыми на всех этажах ЦК шапку снимал. Ради страницы, абзаца, строчки правды.

Только тот, кто побывал когда-либо под обстрелом тяжелой артиллерии, когда земля сыплется на голову, скрипит на зубах, твоя земля, могильная — каждый снаряд может стать последним салютом, — поймет ощущение «новомирцев» в эти недели и дни.

На телефон смотрели, как на змеиную нору: оттуда и выползет беда…

Однако каждый месяц выходил он, ненавистный атомному государству журнал, ложился на прилавки в своих голубых обложках. Его кромсали, задерживали в цензуре, в ЦК, на Лубянке, в Политуправлении армии, а он продолжал каждым своим номером будоражить, возбуждать надежды. Он стал неузнаваемо гибок, обреченный журнал. Когда взяли за горло прозу, он «ушел в мелкий шрифт», как говаривали, т. е. в критические работы, набранные мелким шрифтом. Пригодился опыт Паустовского, его «Тарусских страниц». Статьи В. Лакшина, А. Лебедева, И. Виноградова, Стан. Рассадина, Э. Кардина, В. Огнева и других читались углубленно-вдумчиво, даже если и не содержали аллюзий или подтекста; читатель верил: «Новый мир» не обкатаешь…

Журнал шел к гибели неотвратимо, иронизируя над собой, как мы знаем, в вологодских «побасенках» Вас. Белова. Таким, как все, он быть не мог, да и не хотел. На миру и смерть красна.

Задержимся — они заслуживают этого! — на писателях и произведениях, которые стали завершающим аккордом «Нового мира» Александра Твардовского. А иные произведения — и поводом для расправы, давным-давно готовившейся.

Лебединой песней «Нового мира» оказались волею судьбы произведения на редкость мужественного Георгия Владимова и, с другой стороны, весьма осторожного поэта-переводчика Льва Гинзбурга.

Россия узнала о Георгии Владимове в 1961 г., когда была опубликована его повесть «Большая руда». Повесть вызвала большую прессу, порой на редкость серьезную.

Главный герой ее шофер Пронякин открыл, своей жизнью и смертью, разговор о глубинных процессах, которые идут в рабочем классе. И — резко расходятся с официальными доктринами, позволяющими номенклатурным прохвостам годами

жонглировать понятиями «гегемон», «диктатура пролетариата» и пр.

Книга Георгия Владимова «Верный Руслан», вышедшая на Западе, написана в те же годы. Она не прорвалась на люди и в «Новом мире». Ради Солженицына отодвигалось все, даже книги, подобные «Верному Руслану», которые, не сомневаюсь, станут русской классикой. Это делалось, как нетрудно понять, не по воле или капризу Твардовского, «не оценившего» владимовского «Руслана», — из-за каторжных обстоятельств, при которых о каторге разрешалось говорить в журнале только одному.

В 1969 году, юбилейном году ЧК — ОГПУ — НКВД — КГБ, смертном году «Нового мира», в последние дни детища Твардовского, увидел свет роман Георгия Владимова «Три минуты молчания», непримиримый, сочный, густо насыщенный морским сленгом. Прежде чем написать его, Владимов нанялся в Мурманске матросом на рыболовецкий сейнер и несколько месяцев плавал в северных морях.

Любопытно, что начал печататься Георгий Владимов, подобно Федору Абрамову, как литературный критик. (Подлинная фамилия писателя — Волосевич Георгий Николаевич.) Однако как критик он не мог высказать наболевшего, и вот… пришлось уйти в прозу.

Хотя герои Владимова на этот раз моряки, конфликт «Трех минут…» мог начаться и на суше, и на море, под любой советской крышей. В книге много героев и много перипетий. Выделим стержневые.

Фамилия высокого начальства, несостоятельность которого открывается читательскому взору не сразу, — Граков. Еще во время войны он пытался упрятать в лагеря Алексеича, «деда», как зовут моряки своего старшего механика.

В предпоследнем походе рыболовецкий сейнер проходил мимо камней, его старые моторы не справились, и камни пробили дыру в его днище.

«Дед» сказал, что надо зайти в порт, чиниться. Запросили Гракова. Тот ответил: «Стране нужны сельди». «Стране нужны люди, которые добывают сельди», — возразил «дед». «Труса празднуешь!» — радировало высокое начальство.

В последнем рейсе, когда спасали иностранный корабль «Герл Пегги», начался такой шторм, что все поняли: жить осталось недолго, вот-вот пойдут на дно, вместе с шотландцем.

Единственный, кто дико, нечеловечески трусит, — это оказавшийся на корабле Граков. Он напивается до бесчувствия. Валится на койку — умирать.

Всем командует «дед», который и спасает корабль.

Несостоятельность Гракова — это несостоятельность власти, способной только погонять и губить…

«Три минуты молчания» звучали как призыв хранить «три минуты молчания», когда скроется под водой «Новый мир», уже давший течь.

Ждать оставалось недолго. Еще в № 5 были напечатаны вызвавшие ярость начальства рассказы Фазиля Искандера, одного из самых одаренных прозаиков сатирического плана; повесть «Созвездие козлотура» принесла ему всесоюзную известность. В рассказах 69-го года он куда более глубок. Герой одного из них — немец из Западной Германии Эмиль. Но читатель понимает, что речь идет не о немецком фашизме, а о своем собственном…

Эта «больная» тема получила дальнейшее и глубокое развитие в произведении как бы очерковом, на подтекст не претендующем.

Поэт-переводчик Лев Гинзбург, коротенький, с одышкой, казалось, робкий человек, вдруг опубликовал в «Новом мире» ошеломившее нас произведение «Потусторонние встречи». Подзаголовок — «Из Мюнхенской тетради». Эта книга, потом уже более не изданная нигде, — воистину прощальный гудок корабля, уходящего под воду.

Читатель, сколь бы он ни был неискушенным, при чтении «Потусторонних встреч» обретает второе зрение. Он читает о гитлеровцах. И — почти с первых же абзацев постигает, что речь идет не только о немцах, не столько о немцах. А о сталинщине и, что еще важнее, о нынешних нацистах.

Хотя автор, естественно, пишет только о гитлеровцах.

Лев Гинзбург встречается почти со всеми оставшимися в живых воротилами гитлеровской Германии. Или друзьями Гитлера. Разговаривает с Германом Эссером, обладателем партбилета № 2. У Гитлера был партбилет № 7. Эссер числился на амплуа «старый друг фюрера».

«Страх начинает портить людей, — говорит Эссер. — Но расчет — это еще на самое страшное. Ужаснее всего паралич мысли, телячий восторг перед подлостью».

Затем автора привозят к Гансу Бауману — автору нацистского гимна, теперь поэту-переводчику. Ганс, не избавившийся от чувства вины, полюбил русскую поэзию, стал ее переводчиком. Слова его печальны, в них звучит запоздалое раскаяние: «Гимн стал моей судьбой. Я принял ее как должное. Но позвольте надеяться, что вы поняли трагедию человека, который, будучи сам ослепленным, невольно ослеплял других…»

Ух, как взвыли литбандиты Москвы, которые продолжали ослеплять читателя, давным-давно расставшись с собственной

ослепленностью!

Перед читателем проходит затем череда стариков — отставных чиновников фюрера, размышлениями своими точь-в-точь напоминающих советских отставников, которые благоговеют перед кровавым всесилием. Среди них Ширах — создатель гитлерюгенда. Шпеер — министр вооружения, министр тотальной войны, сменивший в 42-м году погибшего Тодта; тот самый Шпеер, который, кстати сказать, начал убивать людей при помощи «Фау-2».

Шпеер наиболее умен и циничен. И откровенен: «Человеческие жизни и судьбы, — говорит он, — конечно, никого не интересовали. Делалось дело…»

Ширах и сейчас не прочь подтрунить на неарийской расой, он вспоминает с удовольствием, как в тюрьме Шпандау ставил в тупик советских надзирателей и часовых. «А знаешь, говорю, Иван, что ваш Пушкин по происхождению не русский, а эфиоп?» «Как так? — возмущается Иван. — Врешь, никакой он не эфиоп, а русский он, русский!..»

Шираху приятно поиздеваться над русским человеком: он чутко, ноздрями старого нациста, уловил дух шовинизма, идущий со стороны современной России.

А Ялмар Шахт, бывший президент Рейсхбанка, до сих пор не может успокоиться, пространно говорит о влиянии немцев на Россию. «Даже столица — Петерсбург». А литература? Хемницер, Фон-Визин…

А уж простые генералы или бюргеры, те откровенно жалеют о прошлом. Хвалят Гитлера. «Интересы народа он всегда ставил выше морали, выше закона», — вспоминает некий генерал.

Гитлер казнил сто девятнадцать своих генералов и около восьмидесяти тысяч солдат. «У него была великая цель, — оправдывает его генерал, — а великая цель требует порой большой крови».

Хозяин пивного бара еще откровеннее: «После Гитлера нами правят сплошные ублюдки… Тот был личностью…»

Автор приводит также цитату из книги немецкого поэта Ганса Магнуса Энценсбергера: «Из нашего национального самосознания вырастают порой диковинные цветы».

Умевшие читать между строк сановные «образованцы» из молодых, да ранних, главным образом комсомольцы из ЦК ВЛКСМ, сорока лет отроду, подняли крик. Центральные газеты опубликовали сразу несколько статей-воплей, из которых было совершенно очевидно, что последний выстрел «Нового мира» был уникальным. Попал сталинистам точно между глаз.

Секретаря ЦК партии Демичева и секретаря Союза писателей

СССР Константина Федина не пришлось долго уговаривать. Александр Твардовский давно жил с петлей на шее. Оставалось только выбить из-под его ног табуретку.

«Новый мир» — последний легальный бастион прогрессивной интеллигенции — прекратил свое существование.

5. Магнитофонная революция…

Казалось, вытоптано все.

И тогда, в полумогильной тишине, стали слышней стихи-песни. Шорох магнитофонных лент. Они давным-давно вырвались из-под контроля Дома Романовых, стихи-песни. И теперь выступили вперед, на смену придушенному.

Глубинная Россия, за редким исключением, не держала в руках книг Александра Солженицына, как и других авторов «Нового мира» и самиздата. Только «Один день Ивана Денисовича», изданный миллионным тиражом «Роман-газеты», достиг полок районных библиотек. Солженицын-прозаик, по сути, так и остался вне досягаемости: «глубинка» крамольных, с ограниченным тиражом, журналов и толстых рукописей самиздата не читает: откуда им там взяться?

Оболгать Солженицына поэтому нетрудно. Но попробуй оболгать песню, записанную на твоем магнитофоне. Тем более песню, оторвавшуюся от автора, ставшую народной.

Стихи-песни Булата Окуджавы, Александра Галича, Владимира Высоцкого и других стали знаменем вольномыслия. Они спасли поэзию сопротивления от разгрома: сами были подлинной поэзией, талантливой литературой, со своей давней историей, со своими врагами и поклонниками.

Юбилиада, не ведая того, усилила влияние песенной поэзии во сто крат.

Романовы поняли это не сразу. К счастью, не сразу дошло до них, как много значили для духовной жизни простого человека эти плохо записанные ленты.

Улица не повторяла текстов казенных песен, речей, плакатов и призывов ЦК КПСС. Ее давно захватила песенная магнитофонная революция.

… Она началась исподволь и оказалась неуязвимой и всепроникающей. На плечах чудом выживших лагерников в жизнь вошел не только лагерный сленг, но и стихи, и песни. Дошла до нас и безыскусственная, настоянная на фольклоре песня «Воркута — Ленинград». Выжила и песня-проклятие ГУЛАГу поэта-лагерника, погибшего в лагерях, «Ванинский порт». Я приведу строки такими, какими они запомнились зэкам-колымчанам, с

которыми меня свела судьба.

Я помню тот Ванинский порт
И рев парохода угрюмый,
Как шли мы по трапу на борт
В холодные мрачные трюмы.
Над морем стелился туман,
Вскипала пучина морская.
Вставал впереди Магадан,
Столица Колымского края.
У борта стояли зэка,
Обнявшись, как родные братья.
И только порой с языка
Срывались конвою проклятья.
.
Будь проклята ты, Колыма!
Откуда возврата уж нету.
Сойдешь поневоле с ума:
Придумали, гады, планету!..

Таких песен было много. Они стали запевом, дали «настрой» и молодой поэзии, и непуганым юным исполнителям, вооруженным гитарой, — они настраивались на тональность лагерной правды, как на камертон… Отнюдь не всегда поэзия была им близка тематически, но она была неизменно правдивой… Лагерный поток вымывал ложь казенного благополучия. Песня переставала быть сентиментальным вздохом или пропагандой. Срасталась с высокой поэзией, — гитаристы начали напевать стихотворение Ярослава Смелякова — изломанного, измученного, вернувшегося из лагерей еще при Сталине и никогда не писавшего лагерных песен.

Если я заболею,
к врачам обращаться не стану.
Обращусь я к друзьям,
не сочтите, что это в бреду:
Постелите мне степь, занавесьте мне окна туманом.
В изголовье поставьте ночную звезду…

Это был стихийный полуосознанный протест юности против пустоты радиопесен, против бездуховного существования. Можно было б часами черпать из моря самодеятельных туристских, походных, сатирических песен, которыми молодежь

отгораживалась от казенщины, задрапированной под поэзию.

У песни еще не было лидеров. Они должны были появиться.

Первым начал выделяться «лица необщим выраженьем» Булат Окуджава.

Первые песни его прозвучали, для нас, в 59 — 60-х годах. Они в ту пору звучали на дружеских вечеринках.

Первое публичное выступление Булата Окуджавы было на грани провала. Завсегдатаи Московского дома кино, патентованные красотки и зубные врачи, среди которых лишь изредка мелькало лицо киноактера или оператора, встретили песни Окуджавы холодно. Председательствующий Вас. Ардаматский подошел после выступления Окуджавы к авансцене и сказал зрителям с усмешкой, разведя руками:

— Я за это не отвечаю.

Мне рассказывал Булат об этом в 67-м году, спустя много лет после первого концерта. При одном воспоминании об ардаматских у Булата каменело лицо.

Прошло всего два-три года после первого выступления Булата Окуджавы, и его песни полонили Россию. Это был беспрецедентный прорыв сквозь цензурный бетон. Именно тогда, после хрущевского разгрома искусства в 63–64 годах, когда проза залегла, как залегают солдаты перед укреплениями, песни хлынули, как паводок, — поверх укреплений. Сперва песни Окуджавы, затем Галича. Позднее — Высоцкого и других.

«Есть магнитофон системы «Яуза»!
Вот и все — и этого достаточно!»

— писал Александр Галич.

Песни Окуджавы и Галича зазвучали в дощатых бараках общежитий, на строительствах и лесоповалах, где никогда не раскрывали сборники стихов. В местах, куда книга и не доходит.

В чем секрет популярности песен Булата Окуджавы, похоронившей под собой не только радиопесни, но и всенародно известные наивно-поэтичные песни Исаковского — «Зашумели, заиграли провода, мы такого не видали никогда…» или «И кто его знает, на что намекает…»

В чем секрет этого?

Девочка плачет — шарик улетел.
Ее утешают, а шарик летит…

Поэтика стихотворения о голубом шарике фантастически

проста. Нет даже рифмы. Строфы-двустишья. Мысль элементарна: люди рождаются, живут, умирают.

Стихотворение держит интонационный повтор: «шарик улетел», «шарик вернулся»… Монотонность стихотворения — это сама монотонность, само однообразие жизни.

И лишь в конце — интонационный перебой. Есть еще что-то, есть и другая музыка в жизни. И — лирическая глубина: «Шарик вернулся, а он голубой».

Почему голубой? Однозначно расшифровать невозможно. Есть подтекст, заставляющий думать. Есть тайна.

А тайна — это то, что не может быть высказано, однако читатель или слушатель как бы приобщаются к ней, этой тайне.

Вместе с тем строка эта — и композиционное завершение. Все возвращается на круги своя.

Стихотворение грустное, но не безнадежное, не трагическое. Скорее элегическое раздумье: «А он голубой…»

Оказывается, сама жизнь — тайна.

И это одна из главных особенностей лирики Булата Окуджавы — авторская доверительная интонация.

Мысль, от песни к песне, — все глубже. А тайны — все серьезнее, трагичнее; заставляют задуматься — даже если ты этого не хочешь.

В песне «А как первая война» Окуджава, как всегда, говорит не от имени народа или поколения, о чем неизменно ораторствовали казенные поэты, а — от своего имени. Свой опыт, своя мысль, своя интонация.

Вместе с тем в стихах Окуджавы, что намного обогатило их, получила органическое развитие поэтика фольклора и романса. Лексика, лад, строй фольклора и романса стали вдруг его, Булата Окуджавы, голосом:

А как первая любовь, она сердце жжет.
А вторая любовь — она к первой льнет,
А как третья любовь — ключ дрожит в замке,
Ключ дрожит в замке, чемодан в руке…

Традиционные для русского фольклора повторы, сравнения-параллелизмы.

Исконный счет до трех — в поэтике народной песни:

А как первая война, да ничья вина.
А вторая война…
А как третья война — лишь моя вина,
А моя вина: она всем видна…

При всей своей новизне и ультрасовременности Булат Окуджава каноничен. Это милая сердцу русская народная каноничность. Каноны фольклора: тройной зачин, тройная строфика:

А как первый обман, да на заре туман.
А второй обман — закачался пьян.
А как третий обман — он ночи черней,
он ночи черней, он войны страшней…

И повторы, привычные народному сердцу песенные повторы:

…«ключ дрожит в замке…»,
«…он ночи черней…»

Современнейший Окуджава весь настоян на русском песенном фольклоре. В сочетании с доверительностью, открытостью — каждый слушатель твой друг — фольклорный настрой придал его песенной поэзии силу всепроникающей радиации, которая раскрепощала душу.

…Ненавистная слушателю, захватанная руками ремесленников-спекулянтов «гражданская» тематика, зазвучала вдруг в лирическом ключе, воистину гражданственно.

Так же, как органичен у Булата фольклор, столь же органичен у него и строй городского романса.

Вот за ближайшим поворотом
Короля повстречаю опять…

Это не прокричишь, не скажешь громко. В самой интонации уже заряд того настроения, которое передается слушателю, если он не глух сердцем.

Вспомним «Последний троллейбус». Это одна из самых лиричных и прозрачных по мысли, по лирическому заряду песня, которая не могла не затронуть и самого задубелого сердца. Ведь появилась она в годы переосмысления жизни. Нравственной ранимости. Всеобщей неустроенности и потерь, потерь духовных, нравственных, физических. И поэтому запела, забормотала вдруг Россия, от мала до велика — о милосердном троллейбусе, который кружит и кружит:

…Чтоб всех подобрать, потерпевших в ночи
Крушенье. Крушенье…

И это тоже традиция русской поэзии: «…милость к падшим призывал».

И вот, в полном единении с традицией народа:

Твои пассажиры, матросы твои,
Приходят на помощь…

А дальше — может быть, самая современная тема в эпоху девальвации слов и понятий, в годы лозунговых поносов и дубовой пропаганды, естественная, как дыхание:

Как много, представьте себе, доброты
В молчанье, в молчанье…

Есть та же тема у Галича, которому не терпится «посбивать рупора и услышать прекрасность молчания…»

Ночной троллейбус Окуджавы закружил по стране. Не все пассажиры были единомышленниками; не у всех думы были облегчающими и благородными, но помолчать и подумать захотелось всем.

Даже тем, кто, по причине высокой должности, отвык думать: за них думали референты, и те не мешали кружиться и кружиться ночному троллейбусу по городам и весям: он был нужен воистину всем, всем, заблудившимся в ночи, а заблудились все.

Мне бы хотелось завершить разговор о Булате Окуджаве на песне, которая, может быть, уж не просит — заклинает людей порвать с внушенной им нетерпимостью, узостью, взаимоискоренением, по выражению Щедрина, умоляет их стать самими собой.

Называется она — Франсуа Вийон.

Умоляет людей поэт атомной эпохи. Конец света, о котором кликушествовали во все века, стал материально осязаем. Поэт умоляет одуматься, пока земля еще вертится и это ей странно самой… Пока еще ярок свет — разглядеть друг друга.

Это, пожалуй, единственный у Окуджавы прямой разговор о жизни и смерти, о Боге и человечности.

Анализ этой песни-молитвы мог бы стать темой целой работы. Это и попытка запечатлеть жизнь, и ирония. И прозаизм, словно из канцелярской справки, да где? В разговоре с Богом. «Я

верую… как верит солдат убитый, что он проживает в раю». И это «проживает» сильнее тут, чем, допустим, «живет».

Мольба, последняя, на пороге отчаяния:

…Господи, твоя власть…
Дай передышку щедрому хоть до исхода дня.
Каину дай раскаяние и не забудь про меня.
Я знаю, ты все умеешь, я верую в мудрость твою,
Как верит солдат убитый, что он проживает в раю.
Как верит каждое ухо тихим речам твоим.
Как веруем мы, мы сами, не ведая, что творим…

И последнее. Его зовут Булат Окуджава. «Грузин московского разлива», — шутливо говорит он о себе. Молодость он прожил в Грузии, пока не был арестован и расстрелян его отец… Но дай Бог любому современному поэту, рязанского или калужского корня, так чувствовать русский язык, родной язык Булата Окуджавы.

Я, тогда еще советский писатель, был вместе с ним на его концерте в Париже в 1967 году, на славянском факультете. В зале находились представители всех русских эмиграций. Я отыскал среди слушателей лицо тонкое, интеллигентное, чуть надменное; лицо человека второго или даже третьего поколения «дворянской» эмиграции. Он, этот русский парижанин, скучающе оглядывался. Шансонов он в Париже наслушался. А тут еще какой-то. Да еще фамилия нерусская. Булат Окуджава.

Но вот Булат запел всем известную шуточную песню о короле, который собрался на войну, королева ему старую мантию зашила и положила в тряпочку соль.

Парижанин вздрогнул, потянулся вперед, к Окуджаве, словно впервые заметил его присутствие, затем, обернувшись к жене, воскликнул, нет, не воскликнул, простонал: «…И в тряпочку соль…»

Это исконно русское мог знать только исконно русский. Выразить — только исконно русский. И потом этот русский парижанин аплодировал, как школьник, подняв руки над головой.

Измученная, измолчавшаяся Россия начала говорить, чувствовать, думать словами, мыслями Булата Окуджавы, подготовившего приход новой, жгущей, оголенно-социальной поэзии Александра Галича. Поэтическая стихия Окуджавы отнюдь не была вытеснена приходом новых талантов. Она пошла рядом, обогащенная и обогащающая…

…Галич всколыхнул Россию. Высокая поэзия заговорила вдруг о том, о чем вся Россия думала.

…Где теперь крикуны и печальники?
Отшумели и сгинули смолоду…
А молчальники вышли в начальники,
Потому что молчание — золото.
…Вот как просто попасть в первачи,
Вот как просто попасть — в палачи:
Промолчи, промолчи, промолчи!

Не случайно этот «Старательский вальсок» открывает ныне книгу А. Галича «Поколение обреченных», вышедшую на Западе.

Галич рассказал о главной, роковой беде России: о безмолвствующем народе.

Народ безмолвствует, отученный всеми режимами от государственного мышления, запуганный, спаиваемый, голодный. «В этом наша сила, — говорил мне крупный московский чиновник. — Десятки, трешки, рубля до получки не хватает… Тут уж не до политики…»

Галич ударил «народную власть» по самому уязвимому месту. Однако он далеко не сразу поднялся до этих высот набатной лирики. Да и можно ли назвать это лирикой? Лирик — Окуджава. Но — Галич?

…Как это ни покажется теперь удивительным, но существовал в послевоенной России и вполне благополучный, разрешенный властями Галич, киносценарист, автор фильмов «На семи ветрах» и «Верные друзья», годами не сходивших с экранов. А также Галич-драматург, чьи пьесы шли в театрах много лет. Среди них наиболее известна «Вас вызывает Таймыр», в соавторстве с К. Исаевым (1948 г.). Так сложилось, что в годы разгрома литературы, в 48–53 гг., он был на редкость благополучным.

Галич вступил на свой тернистый путь не сразу. Периоды его восхождения отражают состояние умов в России с поразительной ясностью.

1962–1963 — годы полуоткрытых дверей, как я их называю, годы явления Солженицына и чиновничьего страха перед подымающей голову Россией.

Галич начинает свои монологи простых людей. Это песни сочувствия и доброй иронии.

Он начинал весьма миролюбиво. Появилась «Леночка», которая апрельской ночью стояла на посту, с нелегкой жизнью Леночка:

Судьба милиционерская —
Ругайся цельный день,

Хоть скромная, хоть дерзкая —
Ругайся цельный день.
Гулять бы ей с подругами
И нюхать бы сирень!
А надо с шоферюгами

Ругаться цельный день. И вот заметил ее из машины красавец-эфиоп, примчался за ней нарочный из ЦК КПСС; поскольку эфиоп был званья царского и был даже удостоен сидеть «с моделью вымпела…»

Незлобивое мещанство на страже порядка и «соцзаконности» — вот какие у них идеи, если можно говорить об идеях. Выражено это в самой мягкой и необидной форме. Вот она, вся, как на ладони, Леночка, мечтающая о своем принце, и — пропади она пропадом, вся окружающая ее действительность!

Но время шло; в марте 63-го года Никита Хрущев устроил погром художникам, выставившим свои картины в Манеже. Затем весь май поучал писателей и топал на них ногами.

Появляется «Городской романс», или «Тонечка», Галича. Романс бывает, как известно, разным. Оскорбленная любовь «вещи собрала, сказала тоненько: «А что ты Тоньку полюбил, так Бог с ней, с Тонькою…»

И сказала на прощанье, свидетельствуя о своей социальной прозорливости: «Тебя не Тонька завлекла губами мокрыми, А что у папы у ее топтун под окнами». А также «пайки цековские и по праздникам кино с Целиковскою».

Однако романсовое начало сразу погасло, как только заговорил ее бывший возлюбленный: «Я живу теперь в дому — чаша полная, Даже брюки у меня — и те на молнии. А вина у нас в дому — как из кладезя. А сортир у нас в дому восемь на десять…»

Заговорил сатирик, его вызвал к жизни хрущевский топот в Манеже. Сатирик точен и ядовит: «А папаша приезжает сам к полуночи, Топтуны да холуи все по струночке. Я папаше подношу двести граммчиков, Сообщаю анекдот про абрамчиков».

Галич пытается удержаться в русле традиционного романса и — не может. Не получается, хотя его переметнувшийся герой снова тянется к брошенной возлюбленной: «Отвези ж ты меня, шеф, в Останкино, В Останкино, где «Титан»-кино, Там работает она билетершею…» Галич из последних сил пытается удержаться в лирико-интимном ключе. Не получилось. Конец звучит риторикой, в дальнейшем Галичу несвойственной. Речестрой героя: «А вина у нас в дому — как из кладезя, А сортир у нас в

дому — восемь на десять…» А вовсе не этот, трогательно-патетический, венчающий стихи: «На дверях стоит вся замерзшая… Но любовь свою превозмогшая, Вся иззябшая, вся простывшая, Но не предавшая и не простившая!»

Это автор говорит, а не его герой, к которому Галич уже не питает добрых чувств.

Однако доброго человека не сразу разъяришь. Он отходчив. И Галич снова и снова сочиняет свои добродушно-иронические стихи-песни про маляров, истопника и теорию относительности. И подобные ей.

Тюремный цикл Галича смыл остатки благодушия. Он пишет «Облака».

Анализ «Облаков», сделанный профессором Эткиндом, представляется мне маленьким шедевром. Я хочу привести, в небольшом сокращении, разбор Е. Эткинда, подводящий нас к секрету небывалой популярности этой песни. У каждого мастера есть свой рекорд. Своя «Колывушка». «Облака» Галича по зрелости художественной мысли — это «Колывушка» Бабеля.

«Знаменитая песня «Облака» начинается медлительным раздумьем, и речь, сперва нейтрально-литературная, в конце строфы становится жаргонной:

«Облака плывут, облака, Не спеша плывут, как в кино, А я цыпленка ем табака, Я коньячку принял полкило».

Вторая строфа построена сходно и в то же время противоположно первой. Она начинается с тех же замедляющих повторов (облака плывут… не спеша плывут), но упирается не в жаргонное просторечие, а в торжественно-символическую гиперболу:

«Облака плывут в Абакан, Не спеша плывут облака. Им тепло, небось, облакам, А я продрог насквозь на века».

Первая строфа как бы движется вниз, вторая, похожая — круто вверх. А третья соединяет особенности первой и второй: начинается с символической метафоры высокого стиля, заданного в конце второй строфы, и обрывается низким, жаргонным, заданным в конце первой:

«Я подковой вмерз в санный след,
В лед, что я кайлом ковырял.
Ведь недаром я двадцать лет
Протрубил по тем лагерям».

Стилистически-интонационные зигзаги продолжаются. В дальнейшем будут и возвышенно-песенные повторы («Облака плывут, облака…»), и тоскливая ирония («Я в пивной сижу,

словно лорд, и даже зубы есть у меня»), и сухо-прозаические даты («А мне четвертого перевод…»). Сплетение стилевых разнородностей и само по себе обладает концентрирующей силой… это слияние и есть движение жизни, воплощенной в плывущих облаках, которые одновременно и реальные облака, и воспоминания; они и признак внешнего мира, и часть внутреннего».

«Облака» не одиноки; они открыли целый цикл, приблизивший нас к лагерной России не менее, чем «Один день…» Солженицына.

Уловленное абсолютным слухом поэта закономерное сближение-столкновение в тюремной теме, как мы видели, различных речевых пластов, от низменно-жаргонных, до высокой символики, придало «Облакам» ту неожиданную силу возгласа в горах, который случается, приводит в движение и природу.

Песня стала народной. Ее поют и люди, никогда не слыхавшие про Галича.

«Тюремный цикл» Галича продолжили стихи-песня «Все не вовремя», посвященная Варламу Шаламову: «А в караулке пьют с рафинадом чай, И вертухай идет, весь сопрел. Ему скучно, чай, и несподручно, чай, Нас в обед вести на расстрел».

Сюда относится и «Заклинание», где тюремщик на пенсии, бродя по берегу Черного моря, негодует:

> «Волны катятся, чертовы бестии, не желают режим понимать!
> Если б не был он нынче на пенсии, показал бы им кузькину мать».

У Максима Горького есть четверостишие:

> «А Черное море шумит и шумит,
> У Черного моря урядник стоит.
> И дума урядника гложет,
> Что моря унять он не может».

Не знаю, попадалось ли это четверостишие, затерянное в многотомье Горького, на глаза Галичу; если и попадалось, он мастерски развил вечную тему:

> «И в гостинице странную, страшную
> Намечтал он спросонья мечту:
> Будто Черное море под стражею

По этапу пригнали в Инту… Ох ты море, море, море Черное!
Ты теперь мне по закону порученное!
А мы обучены этой химии —
Обращению со стихиями!
Помилуй мя, Господи, помилуй мя!»

Он умер с этой мыслью, отставной тюремщик. А море по-прежнему «вело себя не по правилам — И было Каином, и было Авелем».

…К тюремному циклу примыкает и стихотворение «Ночной дозор» о шутовском параде памятников-обрубков, который возглавляет бронзовый генералиссимус.

«Пусть до времени покалечены,
Но и в прахе хранят обличие,
Им бы, гипсовым, человечины! —
Они вновь обретут величие!
И будут бить барабаны!..»

Это — остро сатирическое стихотворение. Вместе с тем оно может называться и лирическим стихотворением.

Лирика — не просто самовыражение художника. Это — непосредственная передача чувства. Мы не только глазами художника смотрим, а — в глаза его смотрим. Не мир глазами художника, порой как бы отстраняющегося от изображаемых им событий, а мир — в глазах художника.

Вот этот прорыв через сатиру и гротеск к гражданской лирике — подлинные высоты поэзии.

И то же самое во многих иронических или сатирических стихах. Мы видим не маляров или истопника, а самого Галича, добродушно-ироничного или разгневанного.

Мир в глазах художника — это и есть лирика. Через сатиру, через гротеск восходит художник к лирике, которая и сделала его творчество столь неотразимым.

Но он и философ. Может быть, наиболее глубок «Вальс, посвященный уставу караульной службы».

Поколение обреченных!
Как недавно и, ох, как давно,
Мы смешили смешливых девчонок,
На протырку ходили в кино…
И по площади Красной, шалея,

Мы шагали — со славой на «ты», —
Улыбался нам Он с мавзолея,
И охрана бросала цветы.
Ах, как шаг мы печатали браво,
Как легко мы прощали долги!..
Позабыв, что движенье направо
Начинается с левой ноги…

Если не хватает миру, «полевевшему» миру, мудрости, то прежде всего именно этой мудрости, отсутствие которой стоило жизни миллионам и миллионам людей, позабывших, что «движенье направо начинается с левой ноги».

Эти песни принес Галичу страшный опыт 1968 года, подмявшего под танковые гусеницы чешский социализм. И личный опыт. Он прочитал — пропел свои стихи в клубе «Под интегралом», в академическом городке под Новосибирском. Клуба после вечера Галича по сути не стало, директора клуба упрятали в тюрьму. На семь лет.

Танковый год принес углубление социальных мотивов, а бездушие и безмыслие подвыпивших маляров и вполне трезвых шоферов такси, твердивших: «Мы их кормим, а они…», бесчувствие народной толщи к тревогам и бедам своей российской интеллигенции ускорило переход Галича к сатире.

Начало семидесятых годов, вплоть до часа вынужденной эмиграции, горького часа изгнания, усилило издевку над теми, «кто умывает руки и ведает, что творит».

В стихах Галича всегда есть хорошо разработанная фабула. Сатирически заостренный сюжет, фантастические, безумные ситуации не воспринимаются как фантастика и безумие. Безумна действительность.

Если в шестидесятые годы самый распространенный герой Галича — обыватель-работяга, который, распив пол-литра на троих, спит на досках или под мостом, «поскольку здоровый отдых включает здоровый сон», спит и год, и два, и вот уж полвека, передав всю полноту своей власти кровавым палачам, то в семидесятые годы появляется другой герой — начальничек, микроскопический начальничек, но — начальничек, который уж не просто спит, но — в вековой дреме своей — активно соучаствует в преступлениях и обманах режима; он на том же духовном уровне, что и обычный «работяга», только слаще ест и командует. Он окружен бытовыми реалиями, характеризующими его нравственный и духовный мир. У него, как и у прежних героев, индивидуализирован язык. Порой само повествование

сказовое, как у Зощенко. Автор говорит языком своего героя.

Откровенничает ли сам герой или автор — языком героя, — интонационный строй не мелодичный, не напевный, а разговорный.

Булат Окуджава как композитор намного богаче Александра Галича. Галичу, по характеру его дарования, просто не нужны музыкальные вариации. Аккомпанемент его связан с поэтикой. Именно речитатив соответствует разговорной интонации поэзии. Всегда, во всех произведениях доминирует Галич-поэт. Галич-музыкант лишь отбивает ритм…

Ему только и остается это делать, когда, скажем, на митинге в защиту мира берет слово Клим Петрович Коломийцев, мастер цеха, кавалер многих орденов, депутат горсовета, читающий речи по чужой бумажке.

Если в начале века самой высокой поэзией были восторженные строки Блока:

О, весна без конца и без краю —
Без конца и без краю мечта!
Узнаю тебя, жизнь! Принимаю!
И приветствую звоном щита!

— то ныне ценители изящной словесности, порой ненавидящие вознесенных невежд до дрожи душевной, повторяют с наслаждением строки поэта:

«У жене моей спросите, у Даши,
У сестре ее спросите, у Клавки,
Ну ни капельки я не был поддавши,
Разве что маленько, с поправки…»

Кольцо смыкается.

Ведь уже на самой первой странице сказано о миллионах климов, от Клима Ворошилова, наркомвоенмора, предавшего всех своих боевых друзей, до безвестного Клима Коломийцева, который, и предавая, кого прикажут, ни на минуту не задумывается над тем, что мучает автора: «И теперь, когда стали мы первыми, Нас заела речей маета. Но под всеми словесными перлами Проступает пятном немота…»

Его, Клима Петровича, устраивает, вполне устраивает сытая немота.

А коли так, что же удивительного в том, что снова, один за другим, пропадают «крикуны и печальники». Что на втором этаже

писательского клуба в Москве, в комнате № 8, которую еще называют «дубовым залом», идет нескончаемое заседание закрытого секретариата, нечто вроде Особого совещания сталинских времен.

Мы все прошли через этот «дубовый зал». Наступила очередь и Галича, бедствия которого достигли апогея, когда однажды в семье члена Политбюро Полянского, известного мракобеса, включили магнитофон и секретарь МК партии Ягодкин, приглашенный в гости, проявил бдительность и указал на «вредоносность».

Как пишет Александр Галич в своей новой, еще не опубликованной песне: «Однажды в дубовой ложе Был поставлен я на правеж. И увидел такие рожи, Пострашней балаганных рож…»

Галич держится долго. На удивление долго. Его выталкивают из Союза писателей, из «общества», из страны, а он поет в любой квартире, в любом доме, уставленном магнитофонами:

«Я выбираю Свободу,
Но не из боя, а в бой.
Я выбираю Свободу
Быть просто самим собой…
Я выбираю Свободу,
Я пью с нею нынче на «ты».
Я выбираю свободу
Норильска и Воркуты…»

…Последние годы, годы разнузданного шовинизма, Галич все чаще пишет о расизме, о национальном высокомерии, об антисемитизме. Вслед за ироническими стихами «Ох, не шейте, евреи, ливреи» и «Песней исхода» (1971 г.), навеянной разговором в ЦК партии, появляется «Поезд» (памяти Михоэлса). «Наш поезд уходит в Освенцим Сегодня и ежедневно». Он завершает, наконец, и поэму «Кадиш», посвященную польскому герою-педагогу Янушу Корчаку, — поэтический шедевр, который он с храбростью отчаяния позволил себе прочитать в Москве семидесятого года, Москве «самолетного процесса».

«Из года семидесятого
Я вам кричу: «Пан Корчак!
Не возвращайтесь!
Вам стыдно будет в этой Варшаве…
Рвется к нечистой власти орава речистой швали…
Не возвращайтесь в Варшаву,

Я очень прошу вас, пан Корчак!
Вы будете чужеземцем
В вашей родной Варшаве!»

Прочитав такое в Москве 70-го года, надо отрешиться от земной суеты и быть готовым к смерти…

Но что делать всем остальным? Что делать? Неужели все было напрасным? И смерть в лагере молодого поэта Галанскова, и муки генерала Григоренко, годами скрученного смирительной рубахой, и жертвы, все новые жертвы, идущие с поднятой головой на свою Голгофу…

Что думает об этом Галич, получивший, к тому времени, уже три инфаркта, полуживой, замученный Галич?

Он создает песню-пророчество «Летят утки».

С севера, с острова Жестева
Птицы летят,
Шестеро, шестеро, шестеро
Серых утят…
…Грянул прицельно с наветренной
В сердце заряд,
А четверо, четверо, четверо
Дальше летят!..

В книге стихотворение это кончается так: «И если долетит хоть один, значит, стоило, значит, надо было лететь».

Песня, исполнявшаяся самим автором, трагичнее. Надо было лететь, даже если никто не долетит. Эта убежденность придает силу его гневу и сарказму, когда он говорит о продавшейся интеллигенции. В стихотворении «Памяти Пастернака» Галич не мог простить и не простил негодяев, добивавших поэта: «Мы не забудем этот смех И эту скуку! Мы поименно вспомним всех, Кто поднял руку!»

Особого и капитального исследования заслуживает речевая стихия, вспоившая Галича: язык Галича — это язык сегодняшней России… И, вместе с тем, воздействие на песенную поэзию Галича фольклорной традиции, допустим, русского двухголосья — в «Фантазии на русские темы». Могучего влияния Александра Блока, — и лексического, и тематического. Я назвал бы его перекличкой веков. («Песня о прекрасной даме», «Запой под новый год», эпиграфы из Блока и пр.).

Александр Галич, бесспорно, испытал на себе и влияние Булгакова.

Нарастает, обретает свойственную Галичу сюжетную завершенность булгаковская двуплановость повествования. «Мастер и Маргарита» оказал воистину неотразимое воздействие на Галича, у которого и всегда-то были переплетены сатирическое и эпическое начала. Это проявилось и в 6-й главе поэмы о Сталине — «Аве, Мария» и не менее выразительно — в стихотворении-песне «По образу и подобию», где Бах разговаривает с Богом. Где художник Галич, измученный мастер Галич, обращается к Богу устами другого великого мастера…

Блок и Булгаков, народная песня и пародированный «жестокий романс» городского мещанства, лагерный сленг и язык улицы переплавились в поэтическом тигле Галича в произведения, которые будут изучаться и нашими детьми, и детьми наших детей.

Это можно предположить. Бесспорно одно: десять лет страна пела песни Окуджавы и Галича, думала их мыслями, прозревая и повторяя вслед за ними: «Разберемся на старости лет — за какой мы погибли цвет…»

Время Солженицына помогло поэтам окрепнуть настолько, что они сумели взвалить на свои плечи проблематику большой прозы, отброшенной от печатных станков.

Однако я вряд ли был бы вправе говорить о магнитофонной революции, если бы она была ограничена творчеством лишь двух поэтов. Пусть ярко талантливых, самобытных, отразивших, как Галич, едва ль не всю «Человеческую комедию» (в сравнении профессора Е. Эткинда нет преувеличения), но только двух.

Пожалуй, еще глубже проник в народную толщу поэт-песенник Владимир Высоцкий.

Высоцкому приписывается бездна песен, вовсе ему и не принадлежащих, — это ли не свидетельство огромной популярности! Впрочем, подобное происходит не только в России и не только с песнями малоизвестными. В долгоиграющей пластинке В. Высоцкого, выпущенной не так давно в Америке, последней песней В. Высоцкого звучат… «Облака» Галича. В исполнении Галича же…

Для тех, для кого Галич порой сложен, философичен, мудрен, как говорится, а Окуджава излишне утончен, а таких немало, Владимир Высоцкий с его сотнями иронично-спортивных, блатных песен, песен-сказок, песен-порывов, — отдушина и горькая отрада. Спел, как рубашку рванул на груди.

Сыт я по горло, до подбородка,
Даже от песен стал уставать…

Не случайно братья Стругацкие своему герою — поэту Баневу приписали именно эти слова Высоцкого: без магнитофонных записей Высоцкого, без его хриплого баритона не обходится ныне, пожалуй, почти ни одно застолье в рабочем бараке где-либо на Енисее или в Мурманске.

Но не следует думать, что актер Театра на Таганке Владимир Высоцкий — это «Галич для бедных», хотя основной его песенный поток долго уступал творчеству и Галича, и Окуджавы и в лиризме, и в сатирической остроте.

Вскоре пришли и такие песни, как «Москва — Одесса» («…я лечу туда, куда не принимают…») или «Товарищи ученые!»

«Товарищи ученые!» — не только издевка над бестолковщиной. Не просто сатира нравов. Воссоздан вживе и образ «руководящей» России. Психологический портрет власти на местах, которая, как и центральная, позволяет себе вещать о том, о чем и понятия не имеет; это уж прежде всего!

Товарищи ученые! Доценты с кандидатами,
Замучились вы с иксами, запутались в нулях…

Представитель власти, конечно, — опытный демагог, в речи его звучат и посулы приравнять ученых к героям колхозных полей:

Вы можете прославиться
почти не всю Европу, коль
С лопатами проявите вы свой патриотизьм…

И укор со скрытой угрозой тем, кто забыл о главной партийной заботе, корни извлекая «по десять раз на дню»:

…Ох, вы там добалуетесь, ох, вы доизвлекаетесь,
Пока сгниет, заплесневеет картошка на корню…

И — откровенная лесть:

Эйнштейны драгоценные. Ньютоны ненаглядные,
Любимые до слез..

. — лесть, которая, в его подсознании, соседствует со словечком иного звучания — кагал…

…А то вы всем кагалом там
набросились на опухоль…

И вдруг из добродушного увещевателя выглядывает погоняла, крутой надсмотрщик:

Значит, так: автобусом до Сходни доезжаем,
А там рысцой и — не стонать!..

Отдал приказ и заколебался, а ну как эйнштейны драгоценные пошлют его ко всем чертям! Отговорятся тем-этим. Знаем мы их!

И уж он лепит, что в голову придет. Подобно Никите Хрущеву, который обещал к семидесятому году догнать Америку по молоку и мясу и всех переселить в коммунизм уже в этом поколении:

Товарищи ученые! Не сумлевайтесь, милые,
Коль что у вас не ладится. Ну, там не тот аффект.
Мы мигом к вам заявимся с лопатами и вилами,
Денечек покумекаем и — выправим дефект…

Немудрящая вроде бы песенка, а как точно схвачен образ «народной власти», которая готова и эйнштейнов в телеги запрягать, лишь бы ей по шапке не дали.

Владимир Высоцкий в своих последних песнях стал перекликаться с Галичем и в обличении тех, кто, по Галичу, «умывает руки».

…Они сочувствуют слегка
Погибшим,
но — издалека…

И не только с Галичем перекликается Высоцкий. Эта тема возникает, вспомним, и в стихах Ю. Даниэля о либералах, и в записках Эдуарда Кузнецова, на которых еще задержимся.

Идущие впереди оглядываются, порой уже из-за решетки оглядываются и… вдруг видят… пустоту. Трагедия современного демократического движения, лишенного массовости, становится все более частой темой прозаиков и поэтов.

В поэзии Владимира Высоцкого немало стихов огромной

социальной и образной силы («Охота на волков»), где он как поэт в первом ряду. Третий, но — не лишний.

Но вот… уходят и поэты. Окуджава пишет прозу. Галич вытолкан из России. И — погиб.

Похоже, Владимир Высоцкий ощутил, каждой клеткой тела ощутил ответственность, которая легла на его плечи. Его творчество начинает меняться кардинально. В новых песнях, случается, нет ни иронии, ни пересмешек. Это песни-плачи. Плачи о России. Так явились «Очи черные», — пожалуй, самая сильная и страшная песня его, в которой звучит отчаяние.

Отчаяние борца:

Лес стеной впереди.
Не пускает стена…

Отчаяние затравленного, едва спасшегося:

От погони той даже хмель иссяк.
Мы на кряж крутой на одних осях…

Отчаяние сына, вернувшегося в родную глубинную Русь, которая не откликается, хоть умри! не откликается на зов:

…Есть живой кто-нибудь? Выходи! Помоги!..
Никого. Только тень промелькнула в сенях,
Да стервятник спустился и сузил круги…
Кто ответит мне, что за дом такой?
Почему во тьме? Как барак чумной.
Свет лампад погас, воздух вывелся.
Али жить у вас разучилися?
Двери настежь у вас, а душа взаперти.
Кто хозяином здесь? Напоил бы вином.
А в ответ мне: «Видать, был ты долго в пути
И людей позабыл. Мы всегда так живем.
Траву кушаем, век на щавеле.
Скисли душами, опрыщавели.
Да еще вином много тешились.
Разоряли дом, дрались, вешались…
Я коней заморил, от волков ускакал.
Укажите мне край, где светло от лампад.
Укажите мне место, какое искал.
Где поют, а не стонут, где пол не покат…
О таких домах не слыхали мы.

Долго жить впотьмах привыкали мы…

Поэзия Владимира Высоцкого сомкнулась, как видим, с высокой прозой. «Пелагея» Федора Абрамова, чистая, работящая Пелагея, бакенщик-певец Егор из «Трали-вали» и очерствелая Дуся из «Запаха хлеба» Юрия Казакова, и они, и многие окрест — «скисли душами…»

Об этом стонет и проза, и поэзия. Зазвучала и эта песня самого знаменитого ныне, бесстрашного поэта-песенника России.

Россия поет, подчас не ведая и имени авторов, песни поэтов-лириков Клячкина («Не гляди назад, не гляди…»), Городницкого («Над Канадой небо сине…»), Визбора («Серега Санин»), Анчарова («Парашюты раскрылись и приняли вес…»), поражающую неожиданной образностью своей смертной темы, непоэтичной темы — расстрела воздушного десанта:

.. Автоматы выли,
как суки в мороз,
Пистолеты стреляли в упор.
И мертвое солнце
на стропах берез
Мешало вести разговор…

Давно популярен Кукин со своим паводком туристско-романтических песен: «А я еду, а я еду за туманом. За туманом и за запахом тайги».

А потому «за туманом», поясняет сам Кукин в другой песне, что

…сбывшимися сказки не бывают,
Несбывшиеся сказки забывают…

Ни один вечер молодежи не обходился в свое время без сердито-ироничной песни киноактера Ножкина, песни-протеста против насильственной «коллективизации» душ:

…А на кладбище все спокойненько… К сожалению, глубинная Россия меньше знает Юлия Кима, кумира студенческих аудиторий, поэта мудрого, ироничного, желчного, создавшего целый стихотворный цикл о «стукачах» и подобные ему.

Язвительнее Кима, наверное, никто не высмеивал «духовный монолит» советского общества, в котором, по красным датам, «интеллигенты и милиционеры единство демонстрируют свое…»;

никто не обличал убийственнее патриотов-красносотенцев, которые

…обвинят и младенца во лжи.
А за то, что не жгут, как в Освенциме,

Ты еще им спасибо скажи. С каждым годом появляются имена все новые, жертвенно-бесстрашные, талантливые. Одни, как в стрелковой цепи, падают, другие выходят вперед: идет и идет нескончаемая народная магнитофонная революция, единственная «перманентная революция», которая, наверное, только и возможна на этой измученной земле. (VI

6. Василь Быков

Хрипловатые ленты магнитофонной революции спасали от иссушающей юбилиады тысячи душ. Прежде всего, стали прививкой от гадины-радио (выражение Эдуарда Кузнецова, философа и зэка).

Политика выжженной земли снова дала осечку. И не только из-за паводка стихов-песен. Вряд ли этот весенний разлив заполнил бы для читающей России духовный вакуум, углубленный вскоре разгромом «Нового мира», если бы не одно обстоятельство…

Десять лет назад, во время хрущевского похода на литературу, эстафету сопротивления подхватил воскрешенный Бабель. И отчасти — Платонов.

Юбилиада, то грохоча, как пустая консервная банка, то лязгая танковыми гусеницами, возродила на затоптанном, выжженном литературном поле… самый еретический роман XX века — «Мастер и Маргарита» М. Булгакова. Таковы парадоксы истории…

Косноязычный полковник в отставке, который обогатил литературоведение категориями «Ай-ай-ай!» и «Не ай-ай-ай!», назначенный в свое время главным редактором журнала «Москва», чтоб его придушить, отнять у Московской организации, панически боялся, что пустой журнал никто не будет покупать. Тогда конец карьере.

Полковник неделями не выходил из запоя: тираж журнала падал. Катастрофически… Кто-то подсказал ему: ждет своего часа булгаковский роман. Напечатаешь — положишь в карман читателей «Нового мира».

Полковник вымолил у ЦК партии разрешение. Пусть с купюрами, но дозволят.

В ЦК и сами понимали, что пустой, заблокированный от писателей журнал надо спасать. Главное — не меняя редактора, своего человека.

Некуда деваться — разрешили, хотя юбилиада уже начала бить в литавры. Резали, черкали текст, крамолу вынюхивали, как ищейки — след преступника.

…Мой знакомый, инженер, купил журнал «Москва» с окончанием романа Булгакова в аэропорту города Уфы, ожидая самолет на Москву. Он раскрыл журнал и… не услыхал об отлете ни своего самолета, ни следующего.

Так интеллигенция встретила «Мастера и Маргариту», книгу, явившуюся словно из царства теней.

Студенческая молодежь знала роман порой наизусть, — так

наше поколение жило сатирическими романами Ильфа и Петрова, да, пожалуй, Гашека: бравый солдат Швейк был просто целебен в эру солдатчины, истошной пропаганды, комсомольской прессы: «Молодежь — в артиллерию», «Море зовет!..» и пр.

Роман «Мастер и Маргарита» исследован почти с таким же тщанием, как солженицынские «В круге первом» или «Раковый корпус». Он рассмотрен и литературоведами всех научных школ, и философами, и религиозными мыслителями — я адресую читателя к этим работам.

Я остановлю внимание читателя на тех, кто ощущал юбилиаду как петлю, как занесенный над головой нож и — продолжал оставаться самим собой.

Кроме Солженицына, по крайней мере пятеро известных прозаиков и поэтов СССР ответили Дому Романовых гордым вызовом.

Ответили не только выступлениями, крамольными интервью или статьями, что бывало и ранее, ответили жертвенно и необратимо — своими книгами.

Один из самых одаренных прозаиков, упорно исследующих свою тему, несмотря ни на какие угрозы, — белорусский писатель Василь Быков; он жил в городе Гродно, хотя давно не хотел там жить: его пыталась затравить местная ГБ. Василя Быкова некогда называли «белорусским Солженицыным»; по праву называли или нет, не думаю, однако, чтобы это облегчало его жизнь, особенно после изгнания Солженицына.

Несколько лет назад к Василю Быкову приехал корреспондент «Литературной газеты». Корреспондента никто не встретил. По перрону гродненского вокзала нервно шагал человек средних лет в армейской шинели без погон, похожий на демобилизованного капитана. Кого-то ждал. Он не был похож на писателя, каким представлял его себе корреспондент.

И только минут через пятнадцать, когда вокруг не осталось ни одного человека, они подошли друг к другу. Разговор начался трудный. Василь Быков смотрел на приезжего с недоверием и вдруг спросил в упор: «Какой ваш журнал? «Новый мир» или «Октябрь»? Только узнав, что любимый журнал корреспондента «Новый мир», Василь Быков помягчал. И рассказал, как его пытаются тут запугать.

Вызвал его недавно начальник гродненского управления ГБ, продержал три часа в приемной, а потом, пригласив в кабинет, начал рассказывать, как он лично расстреливал власовца. Как в упор выстрелил ему в висок, в сарае, и мозги брызнули на стену… «Понятно?!» — завершил начальник свой воспитательный рассказ.

Василь Быков в ответ поведал о сходной истории: «У нас в полку был трус и дезертир по фамилии… — И он назвал фамилию начальника гродненской ГБ. — Так мы его к двум танкам привязали и надвое разорвали».

— Идите! — прокричал взбешенный начальник управления ГБ. — У меня к вам больше вопросов нет!

Когда Василь Быков и корреспондент шли с вокзала домой, к ним подбежал какой-то немолодой человек, и, оттянув Василя Быкова в сторону, зашептал: «А я не дамся! А я не дамся!.. Я решу и себя, и их!..»

Оказалось, это приятель Василя Быкова, бывший фронтовик, которого шантажирует местная ГБ; он не пожелал с ними сотрудничать, и ему вот уже вторую неделю угрожают расправой и арестом. Бывший фронтовик был небрит, растрепан, у него были выпученные полубезумные глаза.

«Пока мы дошли до дома Василя Быкова, у меня стоял в ушах этот придушенный хрип: «А я не дамся! А я не дамся!» — И я, — рассказывал мне корреспондент, — физически, похолодевшей спиной ощутил, каково жить здесь писателю Василю Быкову».

Этот рассказ достоверен, ибо совершенно совпадает с манерой поведения, к примеру, тульского управления ГБ, о котором писал Анатолий Кузнецов. Да что им, провинциальным кагэбэшникам, всесоюзная известность земляка! Местный начальник ГБ, привыкший к самоуправству, продолжает относиться к писателю, как к рядовому подопечному смутьяну, и тут степень наглости и хамства власти прямо пропорциональна невежеству.

Назым Хикмет как-то сказал: когда в столице стригут ногти, в провинции рубят пальцы.

Возникает вопрос: чем заслужил писатель Василь Быков такую жгучую ненависть местного, и не только местного, КГБ? Почему его много лет травили подло, неостановимо?

Василь Быков стал известен за пределами Белоруссии в 1961 году своей военной повестью «Третья ракета». Вскоре была издана и его следующая книга — «Альпийская баллада» (1963). Эти и подобные им ранние книги не содержали «крамолы». Они были направлены против шкурничества. Лешка Задорожный из «Третьей ракеты», удравший из окопа, демагог и карьерист писарь Блищинский из «Фронтовых страниц» — точки приложения ненависти Василя Быкова. Прозвучало сострадание к Лукьянову, вырвавшемуся из плена, которому не доверяют. Но была и явно фальшивая — «проходимая» — нота. Лейтенант Клименко благополучно вырвался из западни, хотя капитан «из штаба полка» и начал было, как говаривали тогда, «мотать дело».

Этот благополучный финал — неправда о времени, косившем миллионы. Эта неправда более всего и ободрила критиков из комсомольской прессы. Свой, мол, человек. Не очернитель.

«Третья ракета» и «Альпийская баллада» были опубликованы в издательстве «Молодая гвардия», и автор, что называется, пошел в гору.

И вдруг оказалось, что Василь Быков вовсе не тот «военно-патриотический» или, точнее, военно-стереотипный писатель, которым его представили читателю рецензенты комсомольской прессы. Это серьезный глубокий прозаик со своей темой, своим голосом, своей целенаправленной ненавистью.

В Москве о нем заговорили широко в 1966 году, когда в журнале «Новый мир» была опубликована его повесть «Мертвым не больно».

Главный герой этой повести — председатель военного трибунала Сахно. Жестокий и бессердечный негодяй.

Ленька, молодой солдат, вел в плен немецкого солдата; сказал повстречавшемуся Сахно о том, что в степи немецкие танки. Сахно никому не сообщает об этих танках. В результате гибнут люди. Много бед натворил на войне председатель трибунала Сахно, стрелявший и в своих, и в чужих, вообразив, что ему принадлежит монополия на патриотизм.

После войны он поменял фамилию. Теперь он юрисконсульт Горбатюк, военный пенсионер. Но он мог бы и не менять фамилии. Мертвые не мстят. Мертвым не больно, заключает Василь Быков.

В журнале «Новый мир» появилась и его повесть «Круглянский мост». Степка Толкач, рядовой партизан, сидит в яме, превращенной партизанами в тюрьму. Сидит, точно зверь, попавший в западню. Еду ему кидают вниз. Что произошло?

Начало почти детективное.

Степка — хороший парень; однажды забыли его на посту; видать, Степка невелика птица. Добрался до своих сам, огрел остряка Грушецкого из Полоцка, чтоб не подтрунивал над ним, Степкой, за что и прозвали его психом…

Сюжет повести несложен. Партизан Маслаков собирает группу на задание: взорвать Круглянский мост, через который ездят каратели. Берет с собой Степку, которого помнит по старым партизанским делам, Данилу Шпака, местного крестьянина, в лаптях, и Бритвина, видимо, кадрового офицера в прошлом.

Действие разворачивается стремительно. Маслаков, не желая рисковать другими людьми, бежит к мосту. Его ранят. Степка бросается в ближайшую деревню на поиски подводы, везти Маслакова.

Степка вскоре приводит коня с телегой, которым правит мальчишка Митя лет пятнадцати.

Увы, Маслаков, командир их маленькой группы, к этому времени умер.

Вещи Маслакова поделены: на Бритвине справная телогрейка. У Данилы Шпака, вышедшего в лаптях, — сапоги.

Степка видит это, а автор замечает спокойно, как о чем-то само собой разумеющемся: «…вещи, как всегда, на войне переживали людей, потому как, наверное, обретали большую, чем люди, ценность».

Фраза, как видим, достаточно зловещая, — особенно зловеще она звучит перед началом операции, которой теперь руководит Бритвин. Он рассуждает: «Кто больше рискует, тот побеждает. А кто в разные там принципы играет, тот вон где». Это он о Маслакове, который не хотел никем рисковать.

Фраза вроде бы разоблачающая, однако пока он прав, этот кадровый военный. Действительно, Маслаков в могиле. Моста взорвать не смогли.

По-видимому, он на своем месте, этот Бритвин, он взорвет мост.

И мост действительно взорвали. Только Бритвин при этом погубил мальчика Митю. Попросил его сбросить на мосту взрывчатку, но «для верности», когда Митина подвода с взрывчаткой оказалась на мосту, застрелил коня Мити. Взрыв покончил и с мостом, и с Митей…

За что Степка, после боя, во время перебранки, стреляет в Бритвина.

…И вот Степка сидит в яме; ждет решения своей судьбы.

И тут сверху окликает его Данила, который ходил с ними на операцию; пришел он по поручению Бритвина, который — доктор заверил — выживет. Бритвин прислал сказать, что все можно кончить по-хорошему. Мол, автомат выстрелил случайно, а про Митю молчок. Взорвали, и все. А то приедет комиссар…

Степка решил не мириться. Пусть едет комиссар!..

Завершающие фразы, от продуманного нажима, обретают глубокий подтекст; вполне ортодоксальные, они звучат с прямо противоположным смыслом. Подтекст усиливает даже синтаксис. Каждая из этих трех заключающих повесть фраз начинается с нового абзаца.

«Комиссар разберется.

Не может быть, чтобы не разобрался.

Пусть едет комиссар!»

Степка думает об этом с вызовом и оптимизмом. А у читателя обрывается все внутри. Эпоха — за Бритвина. А со Степкой

стрясется беда. Его ждет, может быть, судьба Мити…

Автор, как видим, вложил совсем иной смысл в мальчишески-доверчивые восклицания Степки. Это было тут же разгадано всеми, в том числе и сталинистами, — отныне у них не было сомнений в том, кто такой Василь Быков…

Василя Быкова запугивают, ему отказывают в прописке в Москве.

Существует в России такое рабье словечко: «прописка». Где прописали, там и живи. Охота на «непрописанных» — одна из главных забот советской милиции.

Союз писателей свозит в Москву вагоны бездарей, голосующих за что угодно. Василю Быкову места в Москве нет. Учат Василя Быкова.

Василь Быков отвечает на чиновничью травлю повестью «Сотников», пожалуй, самым глубоким произведением, в котором он прямо выступает против сталинско-кагебешной «черно-белой концепции» и в литературе и в жизни. Он анализирует природу предательства, выписав образ партизана Рыбака, и природу гуманизма — образ Сотникова, интеллигента, артиллерийского офицера, которого Рыбак вешает, чтобы самому остаться живым. Уж один этот поворот сюжета — крамола. К нему еще вернемся. Но подле героя Сотникова, в одном нравственном ряду с ним, оказался и немецкий староста Петр…

…Партизаны идут на задание. Сотников и Рыбак. Их послали достать продукты…

Первый артиллерийский бой тяжелой батареи Сотникова был и последним. Размышления Сотникова о причинах неудач в войне говорят о том, что перед нами человек критически мыслящий, зоркий. «Усвоение опыта предыдущей войны — не только сила, но и слабость армии, — заключает он. — Характер следующей слагается не столько из типических закономерностей предыдущей, сколько из незамеченных или игнорированных ее исключений».

Серьезный человек Сотников.

Ныне, попав в окружение, он стал рядовым в партизанском отряде. Шел с Рыбаком по волчьему следу: след этот «не только обозначал дорогу, но и указывал, где меньше снега»: волк это определял безошибочно, — замечает автор, превосходный знаток природы.

Увы, неудачи преследовали их с первого шага. Соседнее село встретило выстрелом. «Шуруют, сволочи. Для великой Германии… — сказал Рыбак».

Рыбак надежен и трогательно заботлив. Сотников был свирепо простужен, кашлял. Имел право не пойти на задание, да

не позволил себе… Рыбак отдал напарнику свое вафельное полотенце, вместо шарфа. Обругал его за то, что тот не сумел шапку «достать у мужика». Разжился овцой для отряда, взвалил ее на плечи. Доволен Сотников, что рядом с ним Рыбак…

От первой облавы они ушли. Скрываясь, попали на кладбище, а затем в избу к Демчихе.

Демчихи не было, лишь двое ее детей; а вернулась Демчиха, не прогнала пришельцев.

Тут их и накрыли, на чердаке Демчихи, выдал кашель Сотникова.

Повез их полицай Стась Гаманюк. Здесь, пожалуй, единственный раз Василь Быков изменяет себе и прибегает к несвойственной ему лобовой публицистике: «Гитлер освободил их от совести, человечности и элементарной житейской морали»; такое ощущение, что расхожую журналистскую фразу вписала в книгу чужая рука. Что, впрочем, возможно. Слишком она чужеродна стилю.

Но допускаю и другое: хоть и мужественный человек Василь Быков, да не смог он отогнать от себя раздобревшее, с пустыми глазами лицо начальника гродненской ГБ, которого давно, еще до Гитлера, освободили и от совести, и от человечности, а уж от житейской морали и говорить нечего… Он ведь снова будет таскать на «беседы» писателя, этот гродненский гуманист, размозживший пленному голову… Отделаться от него общей фразой!

…Глумление полицая Гаманюка духовно укрепляет героя Василя Быкова — Сотникова. Сотников приготовился к смерти. Его допрашивал следователь полиции Портнов, который, не добившись ничего, вызвал Будилу, здоровущего полицая-палача. Будила истязает Сотникова. Портнов же занялся вторым партизаном — Рыбаком.

Надежда выжить сдвигала сознание Рыбака, пишет автор. Он, Рыбак, подумал вдруг, что если Сотников умрет, то его, Рыбака, шансы улучшатся: других свидетелей нет… «Он понимал всю бесчеловечность этого открытия, — бесстрашно свидетельствует автор. — У него шел зачет по особому от прочих счету…»

И вот все они в камере. В камеру втолкнули девочку Басю. «Это Меера, сапожника дочка», — объяснили им. «Это уж так, — задумчиво произнес немецкий староста Петр, который почему-то тоже оказался в этой камере. — С евреев начали, а, гляди, нами кончат…»

Бася пряталась у старосты, деревня решила, что у старосты искать не будут…

Однако взяли старосту не за Басю. Девочку позже нашли.

Взяли за овцу, которую он прирезал для партизан.

Рыбак, правда, вначале хотел застрелить немецкого старосту, а тот показал на дырки в стене. «Уже полицаи стреляли. Не ты первый…»

Жена старосты объясняет: «Деточка, это же неправда, что он по своей воле. Его тутошние мужики упросили. А то Будилу поставят…»

В советскую литературу вошел новый образ, разрушивший стереотип, созданный прежними книгами и приговорами военных судов. Созданный сталинщиной. Самый гуманный и жертвенно-самоотверженный человек в книге — немецкий староста. Он недоумевает, почему люди убийцами стали.

Сотников, офицер, дитя своего времени, спрашивает непримиримо: «Давно вы так думать стали?.. Как же вы тогда в старосты пошли?»

Только тут он и узнает: упросили старосту всей деревней, «чтоб Будилу не назначили», того самого Будилу, который изувечил Сотникова, вырвал у него ногти. Когда Сотников постигает это, то сквозь боль, туманящую ему сознание, «ощущение какой-то нелепой оплошности по отношению к этому Петру навалилось на Сотникова».

Василь Быков не боится сказать это, понимая, как возненавидят его не только гродненские гебисты, но и миллионы обывателей, не сумевших расстаться с черно-белой концепцией, внушенной государством: «Кто сегодня поет не с нами, тот против нас».

И раздумья, и ощущение «нелепой оплошности» Быков дал незапятнанно-чистому Сотникову, который после пыток обрел, по словам автора, «какую-то особую, почти абсолютную независимость от своих врагов».

Та выношенная в душе «тайная свобода», о которой говорил Пушкин, та внутренняя свобода, которую призывал не утратить молодых писателей Константин Паустовский, которую только и считает подлинной свободой Андрей Амальрик в письме к Анатолию Кузнецову, здесь доведена до своего сюжетного и психологического завершения. Истерзанный человек палачей своих не боится. Как не боялся Солженицын. Не боялся Галич. Не боится Быков, завершая «Сотникова».

И вот ведут на казнь. И Сотникова, и старосту Петра, и Демчиху, и девочку Басю, и Рыбака. Рыбак в отчаянии окликает следователя Портнова и говорит, что он согласен служить в полиции.

Рыбаку предоставляют такую возможность, только именно он, а не кто-либо другой, должен выбить бревно из-под ног

Сотникова, когда дадут сигнал: вешать! И Рыбак выбивает бревно…

Так завершается эта трагическая повесть, неожиданная и тем, что вскоре после ее появления КГБ «вдруг» отыскал Рыбака, вернее, того, кто был выведен под именем Рыбака, — об этом рассказывает в своих «Дневниках» Эдуард Кузнецов. Он сидел с этим Ляпченко-Рыбаком в камере смертников, и Ляпченко все просил у надзирателей дать ему «Новый мир» пятый номер; присутствовавший на суде Василь Быков подошел к Ляпченко, сказал тому, чтоб прочитал о себе, да только Ляпченко было в тот час не до изящной словесности — он послал автора в известное русское место. А потом все жалел…

Повесть Василя Быкова вдруг оказалась документальной, и это сразу повысило значение и неоспоримую достоверность всего остального, чего ранее пытались не замечать или объявить писательской выдумкой. Неопровержимым стал и образ старосты Петра, и направление мыслей героя книги Сотникова о Петре, и не только о Петре: «Теперь, в последние мгновения жизни, он неожиданно утратил прежнюю свою уверенность в праве требовать от других наравне с собой».

Вот какие мысли пришли в голову Сотникову, когда рядом с ним вешали тех, кто погиб из-за них с Рыбаком: старосту, Демчиху, Басю. А Рыбак умирать не захотел.

В литературу двадцатых годов вошли два героя, объявленных классическими. Интеллигент Мечик и крестьянин Морозко. Интеллигент, спасая свою шкуру, предал крестьянина. «Разгром» Фадеева художественно утвердил сталинский навет на интеллигенцию, — недаром А. Фадеев стал любимцем Сталина… Косяком сельдей напирала затем — десятки лет — тьма книг, радиопередач, фильмов, в которых предатели, по обыкновению, знали иностранные языки и носили пенсне.

Василь Быков развеял по ветру этот «кровавый навет». Предатель Рыбак — бывший армейский старшина, малокультурный, надежный, рабоче-крестьянского корня. Наверняка на «гражданке» был ударником, стахановцем. Взращенный трудовым порывом и политической истерией тридцатых годов, что он вынес из них? Мысль «Своя рубашка ближе к телу»? Иронию над «принципами» образованных?..

Оказалось также, что Рыбак — ипостась Бритвина из «Круглянского моста», верного сына эпохи. Бритвин высмеивал принципы Ляховича, который вел себя на допросе гордо. «Как в кино». И которого немцы повесили. Как и Сотникова. Ляхович — это, по сути, будущий Сотников. Так же как патриот Бритвин с его жестокосердным сталинским патриотизмом — в потенции

предатель Рыбак.

На такое расшатывание «основ» еще никто не покушался. Четверть века Россия, усвоившая бесчеловечное «Кто сегодня поет не с нами…», пела: «Когда страна быть прикажет героем, у нас героем становится любой…»

И вот на всю эту кровавую мораль сталинщины, вошедшую в плоть и кровь нескольких поколений, обрушился силой своего таланта Василь Быков.

7. Владимир Войнович. Владимир Корнилов

Если Василь Быков поставлен под удар, его шантажируют, ломают, но еще печатают, и, кто знает, может, ныне не только кнут, но и «пряник» пустили в ход — московскую прописку, то с Владимиром Войновичем, как известно, уже расправились: он был исключен из Союза писателей СССР, его пытались даже отравить. Почему?

Задержим свое внимание поначалу на произведениях В. Войновича, напечатанных в России. Поставивших его в первый ряд современных русских прозаиков. Возможно, в них заключен ответ?

В. Войновича выталкивали из СССР долго. Как известно, его изгнание большевикам не помогло.

Сколько лет мы дружили с ним.

Однажды, заглянув к нему, я увидел, что он налаживает в прихожей своей маленькой писательской квартиры на Аэропортовской верстак и слесарные тисочки. «Буду слесарить, — ответил он на мой немой вопрос. — Иначе придушат…»

А были и другие времена, когда Никита Хрущев, на встрече космонавтов, неожиданно запел на трибуне Мавзолея песню на слова Войновича:

…На пыльных тропинках далеких планет
Останутся наши следы…

После этого Войновича утвердили на какой-то «полупридворной» должности поэта-песенника с огромным окладом. В тот час, когда это произошло, Войнович перестал писать. По заказу он писать не умел. Его терпели восемь месяцев, а потом изгнали из рая.

Словом, он был самим собой, где бы ни оказывался: в седле или под седлом. Всегда он оставался душевным, застенчивым, надежным человеком. Кристально честным.

Так и называется его произведение, напечатанное впервые в «Новом мире», — «Хочу быть честным». Слитность душевной устремленности автора и его героя — предельна.

Перед нами, нельзя не заметить, очень симпатичный герой. Он добр и ироничен; особенно по отношению к самому себе: «На одном из заборов висит фанерный щит с надписью: «СУ-II. Строительство ведет прораб т. Самохин». А рядом афиша: «Поет Гелена Великанова». Тов. Самохин — это я. Гелена Великанова никакого отношения ко мне не имеет». Герой бреется, поглядывая на самого себя в зеркало. «Откровенно говоря, зеркало приносит мне мало радости. Из него на меня смотрит человек рыжий, отчасти плешивый, более толстый, чем нужно, с большими ушами, поросшими сивым пухом. В детстве мать говорила мне, что такие же большие уши были у Бетховена. Вначале надежда на то, что я смогу стать таким, как Бетховен, меня утешала…»

Герой относится к себе иронически во всех ситуациях; даже когда его хвалит женщина, с которой живет, он пожимает плечами, как бы иронически подмигивая читателю: «Это она обо мне. Книжки не доведут ее до добра».

Наконец он добирается до прорабской, где его ждет, как пишут советские газеты, Его величество рабочий класс. Первым попадается на глаза паркетчик Шмаков, прозванный Писателем за то, что зимой ходит без шапки. Вместе с «писателем» Шмаковым и появляется главная тема повести.

«Шмаков, — говорю я писателю. — В третьей секции ты полы настилал?..

— Ну, я, а что? — Он смотрит на меня со свойственной ему наглостью.

— А то, — говорю я. — Паркет совсем разошелся.

— Ничего, сойдет. Перед сдачей водицей польем — сойдется.

— Шмаков, — задаю я ему патетический вопрос… — У тебя рабочая гордость есть?

— Мы люди темные, — говорит он, — нам нужны гроши да харчи хороши…»

Другой рабочий навешивает двери, загоняя шурупы ударом молотка по самую шляпку. «У тебя отвертка есть?» — «Нет». — «Ты разве не знаешь, что шурупы полагается отверткой заворачивать?» — «И так поедят…»

После получки все отправляются выпивать. Вместе с прорабом. Так принято — «обмочить получку». В столовой пить нельзя. Милиция и дружинники строго следят, чтоб в «неположенном месте» не пили. Когда они вдруг нагрянули, блюстители порядка, рабочий Сидоркин прикрыл пустые бутылки, стоявшие на полу, своим широченными брезентовыми

штанинами. Другой, Ермошин, словно бы за чаем кинулся. Затем, когда дружинники ушли, вернулся, прося извинения:

«— Я же веду общественную работу. Меня знают. Скажут: «Сам выступаешь на собраниях, и сам же…» — «А ты одно из двух, — сказал Сидоркин, — или не пей, или не выступай…»

Но это — все понимают — требование несерьезное. Время толкает к иному…

Об этом — крестьянская проза. «Пелагея» Ф. Абрамова, В. Шукшин, В. Белов.

О том же — поэты-песенники: «Кто ответит мне: «Что за дом такой? Почему во тьме? Как барак чумной…»

Об этом, в глубокой тревоге, пытаясь скрыть ее шуткой, Владимир Войнович.

До души дошли! Душу убили самую. Не у чиновничества, что о тех говорить! У труженика, у которого в руках нет власти. Только серп да молот. И более всего, оказывается, разложили Его величество рабочий класс.

…В этой атмосфере всеобщей и узаконенной лжи ничего нет необычного в том, что начальник Силаев предлагает прорабу Самохину сдать дом не к январю, как предполагалось, а к седьмому ноября, к празднику Октябрьской революции. Пусть неготовый. Но — сдать. Обмануть, но — сдать.

Сдаст герой дом — получит должность главного инженера. Не сдаст — «вплоть до увольнения» (Это, заметим, случай самый рядовой, сдать не к сроку, а к празднику. Даже космонавтов запускали по этому принципу.)

Требование жульническое, а угроза — всерьез. Коли прораб заупрямится, Силаев не станет «разочаровывать» райком, горком, главк, который уж наверняка обещал высоким партийным инстанциям подарочек к празднику Октября. Выгонит прораба, но — сдаст. Жульничают все, сверху донизу.

Герой попадает в больницу. Сам бы выдержал напор лжецов, сердце не выдержало. Размышляет о том, как мало успел в жизни. Лишь потому, что всю жизнь хотел быть честным.

Повесть жгуче достоверна не только по мысли, необычной в подцензурной литературе о «рабочем классе», но и по языку, насыщенному сленгом и вульгаризмами, не оставляющему сомнений: автор знает рабочих доподлинно!

Тем хуже для автора: повесть, встреченная читателем с радостью, вызвала сдержанную, стереотипную похвалу критики, которая отбивала всякое желание читать Войновича. (Я уже писал, что это один из распространенных методов компрометации неугодной книги).

После выхода повести «Хочу быть честным» Владимир

Войнович стал постоянным автором «Нового мира», где увидело свет и его второе «дозволенное цензурой» произведение — повесть «Два товарища».

«Наш город делится на две части — старую, где жили мы, и новую, где мы не жили. Новую чаще всего называли «за Дворцом», потому что на пустыре между старой частью и новой строили некий Дворец, крупнейший, как у нас говорили, в стране. Сначала это должен был быть крупнейший в стране Дворец металлургов в стиле Корбюзье. Дворец был уже почти построен, когда выяснилось, что автор проекта подвержен влиянию западной архитектуры. Ему так намылили шею за этого Корбюзье, что он долго не мог очухаться. Потом наступили новые времена, и автору разрешили вернуться к прерванной работе. Но теперь он был не дурак и, на всякий случай, пристроил к зданию шестигранные колонны, которые стояли как бы отдельно. Сооружение стало называться Дворец науки и техники, тоже крупнейший в стране. После установки колонн строительство снова законсервировали, под ним обнаружили крупнейшие подпочвенные воды. Прошло еще несколько лет — куда делись воды, не знаю, — строительство возобновили, но теперь это уже должен был быть крупнейший в Европе Дворец бракосочетания».

Ирония доставила автору немало хлопот. А тут еще стали появляться на Западе произведения В. Войновича, цензурой похороненные. И началась фантасмагория, которую человеку, не жившему в советской России, трудно, наверное, и вообразить.

— За передачу произведений за границу пойдешь под суд! — обрадовали в Союзе писателей.

— А я не передавал.

— Тогда пиши протест против незаконного издания.

— Вы меня не издаете! — вскричал Войнович. — «Два товарища» до сих пор маринуют в издательстве… И писать протест?! Это называется бьют и плакать не дают!

— Напишешь протест — издадим. — И сиятельное лицо взялось за телефонную трубку.

Войнович выскочил из комнаты Секретариата взъерошенным, красным. Несколько дней терзался-мучился: может, отделаться четырьмя интеллигентными строчками: мол, нехорошо это, без разрешения автора?.. Решил — отделаться! Париж стоит мессы.

Когда вышла «Литературная газета» с протестом В. Войновича, не только автор, все мы ахнули. К четырем строчкам авторского текста были добавлены абзацы казенной демагогии, «дежурных помоев». Они были дописаны чьей-то рукой.

Владимир Войнович шумел, бегал по Союзу писателей, показывал всем, чьим мнением он дорожил, что это не его текст.

Но то было его личным делом. Галочка некими инстанциями была поставлена, и автору выдали полагающийся в таких случаях пряник — книгу, добротно изданную в издательстве «Советский писатель».

Не пройдет и года, как пряник заменят кнутом, ибо автор, наученный горьким опытом, не пойдет больше ни на какие компромиссы.

В повести «Два товарища» герой дружил с Толиком с детских лет. И вот шайка хулиганов, напав на друзей, заставила Толика бить своего друга. Толик, испугавшись бандитов, зверски избил своего лучшего друга, хотя очень мучился потом. Затем пути этих ребят, естественно, разошлись. Пора была идти в армию. Герой едет в авиашколу, а Толик стал денщиком у генерала и газетным рифмоплетом, — овладел сразу двумя древнейшими профессиями. Встретясь позднее со своим бывшим другом, Толик сказал:

— Для тебя так было лучше.

«Интересно! — восклицает автор устами своего героя. — Я был искренне удивлен:

— Это еще почему?

— Они бы били тебя сильнее, — сказал он, глядя мне прямо в глаза.

Это была уже философия. Потом я встречался с ней при других обстоятельствах, слышал примерно те же слова от других людей, торопившихся сделать то, что все равно на их месте сделал бы кто-нибудь».

Подобные сцены расправ «по соцреализму» были запечатлены еще в «Четвертой прозе» Осипа Мандельштама. «Четвертая проза» в Советском Союзе так и не увидела свет.

Напомню эту поразительную зарисовку О. Мандельштама.

«Мальчик в козловых сапожках, в плисовой поддевочке, с зачесанными височками стоит в окружении мамушек, бабушек, нянюшек, а рядом стоит поваренок или кучеренок — мальчишка из дворни. И вся свора улюлюкающих и пришептывающих архангелов наседает на барчука:

— Вдарь, Васенька, вдарь!

Сейчас Васенька вдарит, и старые вдовы, гнусные жабы, подталкивают друг друга, придерживают паршивого кучеренка:

— Вдарь, Васенька, вдарь, а мы покуда чернявого придержим, мы покуда вокруг попляшем…»

Вл. Войнович, быть может, тогда не встретился с «Четвертой прозой» Мандельштама: КГБ упрятал ее от нашего поколения надежно.

Он повстречался с советской действительностью.

Произведение Владимира Войновича «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина», роман-анекдот в пяти частях, было анонсировано еще в 10-м номере «Нового мира» за 1963 год. Но так и не вышло.

«Чонкин» был предложен, безо всякой надежды, одной московской редакции, другой и — чудес на свете не бывает! — тут же появился на Западе. Был опубликован в журнале «Грани», а позднее вышел в Париже в издательстве YMCA-Press.

Владимир Войнович стал писателем опальным. Точнее сказать, затравленным, если бы смелого, жизнерадостного Владимира Войновича можно было представить затравленным.

Единственная и большая беда его, и не только его, — это то, что на Западе издатели не очень торопятся (видно, стесняются) с выплатой гонорара своим бесстрашным автором. А ведь советский автор, напечатанный на Западе — без посредничества кагебистского АПН, — автоматически перестает издаваться в России.

Ни одной копейки не получила в свое время и Евгения Семеновна Гинзбург, жившая на пенсии, хотя ее «Крутой маршрут» был переведен на многие языки, а издательство «Мондадори» положило в банк на счет Евгении Семеновны некую сумму. Писателю, возможно, нужна посмертная слава, но не посмертные гонорары!

Александр Бек умер, не дождавшись от своих зарубежных издателей даже символического гонорара.

В КГБ и Союзе писателей знали доподлинно, что за самиздат Запад гонорары не платит. Однако настойчиво внедряли в сознание простых людей, всеми средствами пропаганды, о тех, кто печатался на Западе:

— Продались! За огромные деньги!.. Иуды-предатели!.. — И т. д., и прочее.

Жертвенное мужество Владимира Войновича и еще двух-трех писателей — скорее исключение, чем правило.

О нет, писателей в России отрезала от Запада не Конвенция об авторских правах, которую Советский Союз, присоединившись к ней, вознамерился использовать как кляп. Едва только обозрели писатели России этот «новый кляп», Владимир Войнович выступил с блестящей пародией на советское «приобщение» к цивилизованному миру: он предложил в своем фельетоне-пародии новый ВОАП (Всесоюзное общество по охране авторских прав) переименовать в ВОПАП (Всесоюзное общество по присвоению авторских прав).

«Падение» В. Войновича, в глазах Дома на Старой площади, стало подлинным духовным взлетом писателя.

…На село свалилась «железная птица», перепугав молодуху Нюру, — так начинается повествование о Чонкине. Ею оказался самолетик ПО-2, потерпевший аварию. К нему бросилась вся деревня, судача о неслыханном происшествии…Надо охранять самолетик, и в полку мучительно думают: кого послать?

В часовые отправляется Чонкин. Русский Швейк. Хотя он и не Швейк вовсе. Швейк — мудрец, себе на уме. Русский Швейк Чонкин — простодушный, бесхитростный, доверчивый крестьянин, и уже само начало «Чонкина» высмеивает освященную государством традицию суконно-детективной воинской повести с ее супергероями, выходящей в Воениздате миллионными тиражами:

«Дорогой читатель! Вы, конечно, уже обратили внимание на то, что боец последнего года службы Иван Чонкин был маленького роста, кривоногий, да еще с красными ушами. И что за нелепая фигура! — скажете вы возмущенно. — Где тут пример для подрастающего поколения? И где автор увидел такого в кавычках героя?..»…«Неужели автор не мог взять… отличника учебно-боевой и политической подготовки?.. Мог бы, конечно, да не успел. Всех отличников расхватали, и мне вот достался Чонкин…»

Даже когда Чонкина доставляют охранять самолет и он спит вдалеке от казармы у деревенской девчонки, его одолевают тревожные сны: кто-то угоняет самолет. С неба спустился товарищ Сталин. «Где твоя винтовка?» — строго спросил он с легким грузинским акцентом. «Моя?» — «А где старшина?.. Товарищ старшина, — сказал Сталин, — рядовой Чонкин покинул свой пост, потеряв при этом боевое оружие. Нашей Красной Армии такие бойцы не нужны. Я советую расстрелять товарища Чонкина…»

Чонкин проснулся в холодном поту. Сон мог оказаться явью.

Бесконечно далеки друг от друга, по различным орбитам вращаются, как планеты, сурово-реалистическая «В окопах Сталинграда» Виктора Некрасова и русская «швейкиада» Владимира Войновича.

Однако… и там, и там солдат живет в страхе не перед врагом. Перед расправой. Свой трибунал, свои генералы, родной и любимый Сталин — куда ни кинь, всюду клин.

В постоянном страхе не только солдат Чонкин, но и председатель колхоза, который сразу поверил Плечевому, что Чонкин — не просто Чонкин, а человек, поставленный следить за ним, председателем, а в нужный момент накрыть с поличным.

А о чем говорят колхозники в минуты отдыха? О порядках в тюрьме, куда они попадают по очереди.

Профессиональные поставщики сатиры для советских театров твердо знают, что смеяться дозволено над управдомом, бухгалтером, мелким чиновником, колхозным конюхом — не выше! Таковы правила игры… в сатиру.

Войнович смеется даже над работником «органов» капитаном Милягой и армейским генералом, который бросил против Чонкина полк; и более того, над партийной властью, которая и вызвала заваруху: помстилось ей, что по телефону произнесли не «Чонкин с бабой», а «Чонкин с бандой…»

Словно писатель, как и его герой, вовсе не ведает каторжных правил игры, существующих в свободном социалистическом государстве.

Удачный термин этот — «правила игры» принадлежит автору критического эссе, посвященного роману-анекдоту В. Войновича, В. Иверни, по счастью, не единственному на Западе глубокому исследованию «чонкиады»: простодушного Чонкина Запад принял всерьез. Я позволю себе поэтому отослать читателя к этим работам, задержав внимание на менее известном рассказе В. Войновича «Путем взаимной переписки», безнадежном, как жизнь на станции Кирзавод, куда приезжает сержант Иван Алтынник. Вот первое наблюдение о семейке, в которую попал несчастный Алтынник.

«— Собаки нет? (Спрашивает Алтынник, входя во двор. — Г. С.)

— Нет. В прошлом году был Тузик, так брат его из ружья застрелил.

— За что же? — удивился Алтынник.

— Ружье новое купил. Хотел проверить…»

Так входит в повествование партийный братец Борис…

Нравственная глухота Людки, встретившей Алтынника, может поспорить разве что с ее щедростью: «Да во всем Советском Союзе, окромя тебя, таких дурачков нет, чтобы чужих людей угощали».

Вл. Войнович — знаток сленга рабочих предместий, этой смеси пьяного нахрапа, малограмотности, газетных штампов и деревенской лексики, да только лексики обескровленной, начисто лишенной традиционной образности.

Разделавшись с собакой Тузиком, братец Людки принялся за Алтынника. Женил его «по пьянке» на своей сеструхе. Алтынник, естественно, пытался удрать от обмана и неволи. Людка дико закричала, и милиционер на станции схватил Алтынника.

— Что он сделал? — спросил строго.

— Бросил!.. С маленьким ребеночком…

— А…а, — разочарованно протянул милиционер, жалея о

том, что он зря участвовал в этой свалке. — Я-то думал. Это вы сами разбирайтесь!

И ушел, оставив Алтынника беззащитным, поскольку разбой… семейный.

Эта тема пронизывает весь рассказ до самого конца:

> «Когда я вышел наружу, они были далеко, Алтынник, пригнув голову, шел впереди. Людмила левой рукой держала его за шиворот, а маленьким кулачком правой изо всей силы била его по голове. По другой стороне улицы на велосипеде медленно ехал милиционер в брюках, заправленных в коричневые носки, и с любопытством наблюдал происходящее».

Страшный рассказ.

По всей стране так. Повсеместно это торжество зла, равнодушие стражей порядка.

Это ракурс беззакония, обойденный советской литературой.

Со все растущим беспокойством прислушивался я в те дни известиям из России. Что ждало моего друга и одаренного прозаика Владимира Войновича? «Иванкиада», описанная им в новой книге… Что еще?

Что ждало тогда и его товарища Владимира Корнилова, который так же, как и Владимир Войнович, перешагнул через государственные запреты, решив чувствовать себя свободным в государстве несвободы?

…Замкнутый, немногословный, подтянутый, похожий своей выправкой и щеголеватостью на морского офицера, Владимир Корнилов годами писал «в стол». Об этом знали все. «Один из похороненных заживо», — говорили о нем.

Повестью Владимира Корнилова «Без рук, без ног» открывался парижский «Континент».

Западу трудно понять порой, что это — героизм.

Вместе с тем я не знаю человека мягче, сердечнее В. Корнилова — он прощает и лютых врагов своих. Он грустит об их участи, жалеет их, как жалел сломленного и каторгой и «волей», спившегося поэта Ярослава Смелякова.

> Не был я на твоем новоселье
> И мне чудится: сгорблен и зол,
> Ты не в землю, а вовсе на север
> По четвертому разу ушел…
> Отстрадал и отмаялся… Баста!
> Возвращаешься в красном гробу,
> Словно не было хамства и пьянства

И похабства твоих интервью…
Словно все — и юродство и скотство,
И неправды упорство — не в счет!
И не тратил свое первородство
На довольно убогий почет.
До предела, до Новодевички
Наконец-то растрата дошла,
Где торчат, словно «попки» на вышке,
Маршала, маршала, маршала…
…В полверсте от литфондовской дачки
Ты нашел бы достойнее кров,
Отошел бы от белой горячки
И из памяти черной соскреб,
Как овчарки водили этапы,
Как солдаты грозились, храпя,
Как вопили проклятые бабы
И, бросая, любили тебя…
И совсем не как родственник нищий,
Не приближенный вновь приживал,
Ты собратом на тихом кладбище
С Пастернаком бы рядом лежал.

1972

Редко встретишь в советской поэзии последней четверти века стихи яростнее, горше и гуманнее!

8. Владимир Максимов

Передо мной лежит Указ Президиума Верховного Совета СССР о лишении Владимира Максимова советского гражданства. Сурово расправилось государство с рабочим человеком, сыном и внуком рабочего.

Почему?

Владимир Максимов родился в 1933 году, когда было объявлено о победе социализма в отдельно взятой стране.

Потом отдельно взятая страна загнала Володю в детскую колонию; он бежал из нее, исколесил, в вагонах и под вагонами, в аккумуляторных ящиках, всю Россию. С кем только не сталкивала его жизнь: и с ворами, и с контрабандистами, и с бродягами, и со ссыльными, вроде Гекмана, в прошлом первого секретаря обкома немцев Поволжья, который спорит с Володей на Енисее, под Туруханском, едва живой, с печальными овечьими глазами: «Я не

могу зачеркнуть своей жизни только потому, что какой-то русский мальчик недоволен ее результатами». А коммунист, капитан внутренних войск кричит на коммуниста-зэка Гекмана: «Немецкая рожа!» А потом вдруг попадается будущему автору романа «Прощание из ниоткуда» мужичонка, который, отбыв срок, не желает уходить из концлагеря: «Для нашего брата-колхозника лагеря — это вроде как для вас дом отдыха. Норму выполнил, — пайку отдай!..» Свобода? «Нет, братишка, даром она мне не нужна, твоя свобода, видал я ее в гробу в белых тапочках, я жрать хочу».

И так вот до двадцати лет, до конца сталинщины, продолжал Володя Максимов метаться по стране — полузатравленным бродягой; этому и была посвящена его первая повесть, опубликованная Константином Паустовским.

«Я не отказываюсь ни от чего ранее напечатанного. Начиная с первой книги, опубликованной в «Тарусских страницах», моя позиция в прозе неизменна. Нет, если быть точным, единственная уступка была. В одной из повестей бродяги, работающие на кирпичном заводе, убивают своего мастера. Редактора пришли в ужас: «Как это так, в советской стране убивают невинного?!» Издание повести было поставлено под вопрос… И вот я вписал маленькую сцену: бродяги, решившиеся на убийство негодяя-мастера, встречают участкового милиционера, рассказывают ему, какая скотина их мастер, и участковый говорит, чтобы они, если что, приходили в милицию. «Советская власть защитит вас…»

Мне стыдно об этом рассказывать, но это — было…

Первый раз и последний. В прозе душой не кривил, чего не скажу о стихах. Писал пустые стихи к праздничным датам — чтоб не помереть с голоду. Считал в свои неполные двадцать лет, что этот мой «копеечный цинизм» простителен.

Тогда считал, сейчас — не считаю…

Меня двигали легко. «Русский, пролетарий, из рабочих». Назначили даже членом редколлегии «Октября», однако я перестал ходить на их заседания и, как говорится, автоматически выпал.

Издательство «Советский писатель» отвергло мой роман «Семь дней творения». Мне ничего не оставалось, как отдать его в самиздат. Так он попал за границу и в 1971 году вышел в издательстве «Посев», а затем был переведен на многие языки».

Вскоре появился на свет, в том же издательстве «Карантин», а через год — «Прощание ниоткуда».

«Семь дней творения» — это история рабочей семьи, целой рабочей династии Лашковых. Петра Васильевича, его дочери Антонины и других детей, которые предпочитают жить почему-то

в стороне от заслуженного отца и деда, вовсе не возгордившегося, простого труженика, как и ранее.

1905 год. Беспорядки, стрельба на улицах. Пули разбивают витрину лавки купца, за которой висят окорока. Вечно голодный деревенский мальчишка ползет под пулями, ежесекундно рискуя жизнью, подползает к витрине, чтобы схватить окорок и наконец наесться. Он добирается под этой свистящей смертью к разбитой витрине, протягивает руку и… ощущает картонный муляж…

Я называю такой принцип сюжетной организации «литературным биноклем». Когда рассматриваем события этих дней, как бы соучаствуем в них, мы смотрим в сильный бинокль, который словно приближает к нам лица, детали, поступки, психологические мотивировки. А затем мы словно переворачиваем «бинокль» и видим давным-давно происходившие события, которые обогащают наше представление о героях, мотивируя их нынешние поступки.

Дед Петр Васильевич Лашков предстает перед нами то стариком, бредущим по городу, в котором с ним здороваются все и каждый, то вдруг — в своих воспоминаниях, предметных, ярких, в своих разговорах и спорах, в своем отчаянии — уходит в дни революции, в двадцатые годы, куда-то вдаль. Мы смотрим на него как бы сквозь перевернутый бинокль, сразу отдаливший от нас деда Лашкова на пятьдесят лет и, в то же самое время, дающий полное представление о причинах, из-за которых распалась семья Лашковых; почему — начинаем мы постигать — от этого человека бегут близкие…

Историческая ретроспектива, эпизоды разных лет, сменяющие друг друга, дают объемное видение: произведение обретает объемность, ту объемность, которой обладает человеческая жизнь, когда мы знаем ее истоки, ее начало, ее взлет, скажем, на бумажном планере расхожих идей, как произошло с Лашковым, и ее завершение.

Вот это социальное и психологическое завершение жизни семьи Лашковых, а по сути — целого поколения рабочих людей, совершивших революцию, дает нам ощущение исторической завершенности эпохи во всей ее конкретности.

Мы начинаем постигать все аспекты крушения внутреннего мира и цельности Петра Васильевича; судьбу его дочери, сердечной и несчастной Антонины, ушедшей от комиссара-отца к религиозным сектантам.

Мы видим жизнь комиссарского зятя, пришедшего из тюрьмы. Или председателя райисполкома Воробушкина, циничного бюрократа сталинской формации, ученика Петра Васильевича, который пьет со своим учителем, так и оставшимся рабочим. Но

пьет лишь тогда, когда у самого стряслась беда: сын служил в Германии, в войсках, да пытался уйти на Запад, и теперь вся жизнь рухнет не только у сына, но и у него, отца, благополучного бюрократа. А до этого Воробушкин был со всеми крут и черств, не хотел даже прописывать вернувшегося из лагеря зятя Лашкова.

Сам Петр Васильевич, не замечая этого, живет ощущениями лагерника, хотя он никакой не лагерник, а праведной жизни пролетарий.

Чувства его словно навыворот. Не как у людей. «К малолеткам Петр Васильевич испытывал не то что нелюбовь, а этакую оградительную брезгливость, однако взял внука к себе». Почему взял? Проснулось в нем естественное, человеческое? Да нет, просто «унижение ненавидевшей его снохи польстило ему».

Кровавые распри в годы революции («с винтом не расставался», — говорит он, — т. е. с винтовкой) извратили все его чувства, хотя он, простой, немудрящий человек, не отдает себе в этом отчета.

Мы пристально приглядываемся к судьбам остальных Лашковых. Это братья Петра Васильевича. Помоложе его.

Брат Петра Василий не пожелал занимать никакие посты: стал дворником в московском доме… «Василий считал, что вся доля впереди…

«— А не дали, — рассказывает он. — Как начали с меня долги спрашивать, так досе и не рассчитаюсь. Кругом я оказался должен: и Богу, и кесарю, и младшему слесарю. Туда не пойди, того не скажи, этого не сделай. И пошло-поехало, как в сказке: чем дальше, тем страшней…» Он говорит старику-брату, приехавшему погостить: «Могли… (жить своим умом. — Г. С.). Только вы не дали. Занянчили вы нас пугачами своими. Шаг вправо, шаг влево — считается побег. Вот и вся ваша погудка! А пришла пора помирать, глядишь, весь век задом вперед шел, а вы погоняли».

Прозрение, в результате родственных бесед, началось и у самого Петра Васильевича Лашкова, которому открылась его… «собственная роковая причастность, его родство всем и всему в их общей необратимой хвори…»

И вот снова как бы в «перевернутый бинокль» мы разглядываем людей, которые были ярыми врагами Петра Васильевича Лашкова. Тогда, в дни революции. Ненавистной контрой, как считал комиссар Петр Васильевич. А потом почему-то стали обгонять его, становиться в жизни куда более важными и нужными людям.

Это Гупак, который оказался на поверку инженером Мироновым; он, комиссар Лашков, приказал его расстрелять, но

так сложилось, что солдат, который повел расстреливать Миронова, отпустил его. И вот этот как бы давно уничтоженный, забытый Гупак-Миронов — торжествует: именно к нему, к сектантам, где пророчествует Гупак, и уходит душевно измученная дочь Лашкова Антонина.

«Не убили, а теперь уж никогда не убьете, — (торжествует он. — Г. С.) — природа поозоровала, да снова вошла в русло».

После этого разговора с Гупаком да встречи в загсе с Гордеем Гусевым, презираемым им «королем шабашников», сказавшим во время войны: «По мне, какая ни есть власть, все одно. Мое дело здоровое — мастеровое…», после всех этих встреч с поверженным прошлым Петр Васильевич Лашков снова вспомнил развороченную витрину на базарной площади 1905 года. «А вдруг все так и будет по-ихнему? Вдруг и взаправду зря дело затевали?»

Не дает покоя бывшему комиссару, потомственному рабочему, изнуряющая мысль: где, когда, почему уступил он, Петр Васильевич Лашков, свою правду Гупакам, Воробушкиным, Гусевым? Какой зыбкой чертой оградил себя даже от родных детей своих?

Словно из небытия выплыло перед ним залитое хмельными слезами лицо тестя Ильи Махоткина: «Сушь, сухой дух от тебя идет… Нет в тебе ни одной живой жилы…»

Озарение потрясает честную, немудрящую душу Петра Васильевича: «От них шел, от них, а не к ним… Свету, тепла им, да и никому, от меня не было, вот и летели они, словно бабочки, на случайные огоньки в ночи».

Минул всего «один день» сюжетного времени, первый день творенья Владимира Максимова, а уже какой глубины проблема поставлена и — решена, что, скажем прямо, не так уж часто в русской литературе — литературе вопросов. Любой социальный переворот обречен, под какими бы лозунгами он ни происходил, если доктрина оказывается выше людей…

Семь дней сюжетного творенья между тем бросают все новый отсвет — психологический, нравственный, социальный — на эту кардинальную тему века.

Второй брат Петра Васильевича эвакуирует в войну скот. Но это лишь бытовая внешняя частность. А вопросы встают все те же. Только в «пастушьем ракурсе»: «…мир вдруг разделился перед ним на тех, кого гонят, и тех, кто гонит. Они — Лашковы — всегда принадлежали ко вторым. И в нем вдруг, как ожог, возник вопрос: «А почему? По какому праву?»

…Опасная невменяемость доктрин, давящих людей, с максимальным художественным тактом и достоверностью выписана Вл. Максимовым в главе «Двор посреди неба». Новый

день писательского творенья — новая ступень осознания беды.

Всеведущим человеком в густонаселенном московском дворе оказывается тот самый брат Петра, дворник Василий Лашков, который первым толкнул старшего брата — бывшего комиссара — по пути раздумий. Сам бывший красноармеец, вырезавший басмачей, он знает, что такое произвол.

Мы знакомимся с ним — умудренным и горестным — на пороге смерти его. А затем сюжетная ретроспекция, обычная у Максимова, приближает к нам этот московский «двор посреди неба», в котором счастьем обделены почему-то не только побежденные, но и победители. Доктрина начинает «озоровать», как сказал бы неистребимый Гупак.

Первой во дворе посреди неба арестовывают Симу, проститутку с лицом «иконописного херувима». Но почему-то ее «изолируют» именно в ту минуту, когда она рассталась со своей древнейшей профессией и живет в любви и согласии с Левой Храмовым, артистом. Весь двор знает, что это несправедливо — увозить Симу, даже участковый Калинин вздыхает: мол, родня донесла на нее, а теперь уж ничего не поделаешь: «… Есть санкция…» Симу увозят под бормотание двора: «Ироды», «…Девка только-только на ноги встала». И лишь крестьянин из Лебедяни Иван Левушкин кидается то к одному, то к другому, вопрошая: «Что ж это, граждане?! Что за смертоубийство такое? Рази это по Богу? Мы же всем миром можем вступиться… Выше можем пойти…»

Но и плотник Горев, которого Иван теребит: «…Ты — партейный, тебе и книги в руки — вступись. Вступись, Леша, поимей совесть», — почему-то отводит глаза «партейный Горев». И водопроводчик Штабель, могучий человек, молчит. «…Штабель гнул винтом трубы, власть могла согнуть винтом его, Штабеля».

Нравственная защита «встающей на ноги проститутки», как известно, — традиционная тема русской классики. От «Невского проспекта» Гоголя и Сонечки Мармеладовой Достоевского до Куприна и Горького, а в поэзии — от Некрасова до Надсона — кто только не подымал голоса в защиту погубленных! Только не советская литература, поскольку сказано было однажды державными устами: «У нас этого нет!..»

Владимир Максимов нарушил ханжеский запрет первым. Он дважды возвращался к «вечной теме», написав «иконописного херувима» Симу, и в конце книги — приземленный и вместе с тем святой образ Муси, которая «примарафетилась к надзирателю» и говорит о себе: «Пробы на мне ставить негде»; по сути это образ той же Симы, но уже прошедшей ГУЛАГ…

И хотя эта тема рассмотрена классикой, казалось бы,

всесторонне, «падшие» Владимира Максимова вовсе не воспринимаются как литературная реминисценция.

Они загублены не «средой», не «отчаянной бедностью», не «общественным темпераментом», как деликатно — по отношению к властям предержащим — обозначил ее Куприн, они загублены «революционной законностью». Так окрестила себя, в сфере юстиции, доктрина социального равноправия, осуществленная в России.

Стерпел двор первое беззаконие. Оголтелое, никого не обманувшее. А дальше уж пошло-покатилось.

Пришли за военспецом Козловым, который не подал руки вселившемуся к нему Никишкину, бывшему начальнику режима в Бутырках, и тем погубил себя.

Он уходит гордо: «…Офицеры русской гвардии стараются умирать в чистых подворотничках».

Дворник Василий Лашков только вздохнул. «Безобидный, малость чудаковатый старик», — подумал он о нем.

Однако прихлынула к горлу дворника, поднялась в нем «волна удушливого бешенства», когда увели и плотника Горева, своего человека, кровного, рабочей кости.

«Василий всем своим существом проникся ощущением какой-то куда более важной для себя невозвратимой потери, чем просто Алексей Горев.

Никишкин, весь в азарте происшедшего, шуршал над лашковским ухом:

— Всех, всех под корень. Выведем. Мы дрались, кровь проливали, а им — не по носу. Не нравится — получай, голубок, девять грамм».

Василий подумал: «Гад». И не ответил».

Вскоре участковый Калинин дал понять и Лашкову, что к нему присматриваются. А как же к нему не присматриваться, к дворнику, коль он начал думать! Даже не думать еще — задумываться.

Попытался осторожничать Василий Лашков, предупредил Грушу, любовь свою, чтоб отошла от него на время, побереглась, да зря, видно. Бросила его Груша: «Живи сусликом, а я свою долю найду… Эх ты, красный герой!».

Как видим, от различных тем, во всех жанрах приближаются советские писатели к сверхзапретной в России пушкинской боли: «Народ безмолвствует».

…Приходит время, высылают водопроводчика Штабеля из Москвы, поскольку он — немец.

Дворник Лашков пытается вступиться за него:

— Австриец он, Александр Петрович (убеждает он

участкового Калинина. — Г. С.), — австриец, и в паспорте он на австрийца записан.

— Это, Лашков, одно и то же. Гитлер тоже — австриец… А в общем-то б…во, конечно… — Лицо Калинина трудно было разглядеть в темноте, но по тому, как уполномоченный прерывисто и гулко дышал, чувствовалось его жгучее ожесточение.

Мелькнули дни, и вынужден Калинин снова преследовать человека. На этот раз брата «херувима» Симы — дезертира Семена Цыганкова. Настиг его было Калинин, да тот сорвался с крыши и — насмерть.

Не в силах больше убивать честный Калинин. Зашел к дворнику и — пустил себе пулю в висок.

…Рушится в государственных жерновах хрупкое человеческое счастье. Философствует дворянский сын Храмов, обездоленный артист:

— …Смердяковщина захлестнула Россию. Дорогу его величеству господину Смердякову… Все можно, все дозволено!.. Фомы Фомичи вышли делать политику… И они еще спалят мир.

Заплакал охмелевший Левушкин. Храмов ласково гладил его по голове, утешал:

— Что же ты плачешь, Иван Никитич? Что же ты плачешь? Ты же класс-гегемон. Все — твое, а ты плачешь? Тебе нужно плясать от радости, петь от счастья… А ты плачешь?..»

Автор всей душой с несчастным и сердечным Храмовым: «… Плачет российский мужик. Раньше от розг, теперь — от тоски. Что же случилось с нами, Иван Никитич?! Что?»

Пьяную Грушу, которая ушла от осторожного Лашкова, привез на машине некий комбриг. Она крикнула двору, вылупившемуся на нее:

— Что смотрите, как сычи? Ну, кто святой, плюнь на меня. Может, ты, Никишкин? Сколько душ еще продал? Может, ты, Цыганкова? Передачки-то родной дочке носишь? Или все к Богу ходишь, как в исполком, — на бедность просить?

Ставни захлопывались… В отношении личного нравственного хозяйства во дворе проживало мало любителей гласности».

А ведь это всего-навсего один двор. Старый московский двор. Как и всюду, поглумилось время над человеческим достоинством, над верностью человека самому себе: за Никишкиным, дворовой смертью, стоял сам вождь народов, объявивший на весь мир, что «враги народа» ответят пудами крови.

Двор, как и вся Россия, становится безнравственным. Точно смерч прошел, крутясь, по двору. Оставил — измельчание души, люмпенизацию духа.

Повествование об этом завершается вдруг, как бы ни к селу, ни к городу, дурашливой рас-сейской частушкой, подчеркивающей бессмысленность страданий России и «во славу…» и «во имя…»

…Сидит Ваня на печи Курит валеный сапог……Внуки Лашковы почему-то не более счастливы, чем их отцы и деды. Хотя Сталин давно сгнил.

Вадим Лашков травился газом, попал на Столбовую, в сумасшедший дом.

Кто обитатели Столбовой?

Еще в конце шестидесятых сказал правду о советских психтюрьмах В. Максимов, автор самиздатской рукописи «Семь дней творения». Кто тогда принял ее всерьез, эту правду?..

…Сумасшедший Никишкин по-прежнему на свободе. А в дурдоме — режиссер Крепс, который хотел ставить в театре то, что ему хотелось и как хотелось. Естественно, он «ненормален», такой режиссер. Самые совестливые и умные здесь. «…Пока в тебе живо чувство личной вины перед другими, из тебя невозможно сделать поросенка, — говорит Крепс. — …Цель искусства… самоотдача, а не самоутверждение». Крепсу претит патриотизм лакеев. Повидал он жизнь: «Вынули из мужика душу и не предложили ему взамен ничего, кроме выпивки».

Как же не понять его вскрика: «Да мир до самого светопреставления обязан благословлять Россию за то, что она адским своим опытом показала остальным, чего не следует делать!»

Поэтому и гонят Крепса в Казань. В самую лютую тюрьму-психушку. Старик-врач из дурдома, как ранее участковый Калинин, больше не мог вынести своего ежедневного соучастия в убийствах. Крепс бежать не захотел. Некуда! Врач вызвал Вадима — внука Петра Лашкова; сунув ему документы, сказал: «Беги!» После чего отравился.

Еще один страж человеческой безопасности на наших глазах кончает жизнь самоубийством. Что оно творит, время, и с ними, со стражами?!

Бежавшего Вадима задержали быстро. На пароме. А на берегу алеет в эту минуту косынка девушки — любви его, убежденной, что все хорошо…

И снова — частушечная, пьяно-разгульная, полная отчаяния концовка. Она становится, эта тупая рас-сейская частушка, постоянным рефреном. Глумлением над человеческой мечтой и над этой «нормальной» жизнью.

По реке плывет топор

Из села Неверова.
И куда тебя несет,
Железяка херова…

Нет ни лишнего слова. Ни лишней сюжетной «петли», хотя повествование уходит то в дальний русский городок, а то и вовсе в Среднюю Азию, куда уезжают Антонина, дочь Петра Лашкова, с мужем и Ося, сын дантиста Меклера. Бегут, сломя голову бегут хорошие люди, — подальше от государственного скотства, от людей-зверей. И здесь, в Средней Азии, где «кругом степя и очень ветра», как пишет Антонина отцу, автор снова связывает своих героев тугим сюжетным узлом. Вроде бы раскидало героев. А никуда не денешься. Страна — лагерь. Думал Ося Меклер, строит он что-то нужное людям. И вдруг узнает, что возводит тюрьму… «Выходит никуда от них не уйти». Ося повесился в уборной, не в силах снести подлой вести. Антонина, полюбившая Осю, опять осталась одна.

И снова лейтмотив книги, на этот раз, по контрасту, и не дурашливый и не частушечный; и тем сильнее впечатляющий…

«Вот и я говорю, — шумно вздохнул комендант, — стоило вашим дедам начинать эту заваруху, чтобы только сменить надзирателей?»

Хлопотал, хлопотал бывший комиссар Петр Лашков о спасении Вадима из дурдома, да так и не выхлопотал… «Пожалуй, впервые в жизни он ощутил в окружающем его мире присутствие какой-то темной и непреодолимой силы, которая, наподобие ваты, беззвучно и вязко гасила собою всякое ей сопротивление. Сознание своей полной беспомощности перед этой силой было для Петра Васильевича нестерпимей всего. И сколько бы он ни думал, мысль его, покружив по лабиринтам воспоминаний, неизменно возвращалась к тому гулкому утру на городском базаре, когда он оказался у разбитой витрины перед грубо раскрашенным муляжем окорока…»

Вглядываясь в пучину бедствий, он вдруг вспомнил Председателя Чека Аванесяна, когда тот не дал в обиду Парамошина, солдата, убившего человека, чтоб выломать у него золотые зубы. Сказал он тогда, Лашков, Председателю Чека:

«— А не боишься?.. Чего? Парамошина…

— Скрутим, когда понадобится, — ответил Аванесян. — А не скрутим, значит, не по плечу ношу взяли. Он тогда со всеми рассчитается. За все».

Многое разглядели мы вместе с Петром Лашковым в перевернутый бинокль; очень точно навел его автор, не надо

более шарить читателю по горизонту…

Когда возвращалась из Средней Азии дочь Антонина с сынком, родившимся от Оси Меклера, позвал Петр Васильевич шабашника Гусева, бывшего своего врага, подготовить помещение. В разговоре с Гусевым «вдруг встала вся судьба целиком, век, прожитый им, прожит попусту, в погоне за жалким и неосязаемым призраком. И тогда Лашков заплакал».

Выйди роман «Семь дней творения» в шестидесятые годы, когда был написан, он, думается, серьезно ускорил бы прозрение читающей России.

…Я был бы счастлив поставить здесь точку. Однако сделать это не вправе. По крайней мере, по двум причинам, значения книги В. Максимова не умаляющим.

К одному из своих недоумений, вызванных не только «Семью днями…», но и всем творчеством Владимира Максимова, я позволю себе вернуться позднее. О втором — поговорим здесь.

У великого спасителя отечественной литературы — самиздата — есть, увы, и теневая сторона. Писатель, автор самиздата, обретает свободу, но одновременно он, за редким исключением, теряет широкую профессиональную среду, которая может помочь нелицеприятным замечанием, советом, а порой и серьезным анализом рукописи. «Каждый, кто критикует твою рукопись до ее выхода, — твой друг, — весело говорил режиссер-кукольник Сергей Образцов. — Кто после выхода — твой враг…»

Горстка друзей, читающих рукопись самиздатчика, озабочена более всего безопасностью автора и рукописи, а не стилистическими или сюжетными огрехами ее. Это обстоятельство оказало, не могло не оказать, свое влияние и на Владимира Максимова.

Уже в «Семи днях…» вдруг спотыкаешься, на самой первой странице, скажем, на фонетическую глухоту, назойливое «мычание» фразы: «И Мысли, вялые и случайные, словно ветошь в МутноМ оМутке Мысли». В авторскую речь начинает проникать воровской сленг: «…чистое, без обычного марафета лицо ее», «малолетки» и проч. В дальнейшем Вл. Максимов, не замечая этого, все чаще засоряет авторский язык «блатной музыкой», как называют на Руси сленг уголовников. Как из рога изобилия, сыплются в «Прощании из ниоткуда» «мамки», «педики», «чужовка», «кодла».

«Семь дней творения», к счастью, почти не тронута коррозией безвкусицы.

«Карантин» — книга многословная, неточная по языку, созданная пером торопливым, хотя, по правде говоря, можно понять автора, который после публикации на Западе «Семи

дней…» ежечасно ждал обыска, ареста, конфискации всего, что не припрятано.

Атмосфера эта, по себе знаю, для работы — не лучшая.

У каждого летчика, пусть он налетал миллионы километров, есть своя рекордная высота или рекордный маршрут. Чарлз Линдберг первым перелетел через океан, Валерий Чкалов — через Северный полюс. У летчиков-космонавтов пылилась под ногами… Луна.

Есть свой рекордный маршрут и у Владимира Максимова. «Семь дней творения» — мужественный, ярко-талантливый роман о крушении рабочей династии Лашковых, ради которых и совершалась Октябрьская революция; подлинно философский роман о кровавом подлоге, который все еще называется по привычке «диктатурой пролетариата», российского пролетариата, и через шестьдесят лет после окончательной победы — нищего, до отчаяния бездуховного, одураченного и спаиваемого диктатурой.

Могли ли руководители диктатуры, обездолившей Лашковых, как-либо иначе ответить Владимиру Максимову, высказавшему им в лицо — ни много ни мало! — «Семь дней творения»?

В лучшем случае, в минуту откровения, может быть, повторили бы мысль ссыльного секретаря обкома партии немцев Поволжья Гекмана, который, раз и навсегда, отвернулся от правды, не желая «зачеркнуть своей жизни…»

Нет, нечего им возразить писателю.

> «…За действия, порочащие звание гражданина СССР, лишить гражданства СССР Максимова В. Е.».

9. Новое поколение литературы сопротивления

Дети самиздата Александр Гинзбург, Юрий Галансков и другие.

Андрей Амальрик

Новое для России явление самиздата, участие в нем известнейших писателей, от Паустовского до Солженицына, магнитофонная революция и поток так называемой «тюремной литературы» — все это вызвало немедленный отклик среди молодежи.

То в одном, то в другом месте появляются машинописные журналы, которые вряд ли отличались бы от обычных школьных или студенческих «изданий», если бы впоследствии за эту машинопись не давали тюремных сроков. Подобных журналов было тогда намного больше, чем принято думать. Молодежь не могла и не хотела молчать. Я знаю несколько рукописных школьных журналов 1956 г., в одном из которых передовая начиналась с детской непосредственностью:

«Сталин — гад!»

В 1956 году перепуганные воспитатели лишь всплескивали руками. В 60-х, увы, замелькали газетные заметки «из зала суда»; только от них и начался отсчет рукописного бунтарства.

Первые машинописные журналы молодежи — «Синтаксис» и «Бумеранг».

«Синтаксис» составил Александр Гинзбург, «Бумеранг» — бывший студент-историк Владимир Осипов, исключенный из университета в 59-м году за публичный протест против ареста своего однокурсника.

«Синтаксис» выпускался зимой и весной 60-го года. «Бумеранг» — в ноябре. Вскоре появился и машинописный журнал «Феникс-61», вдохновителем и редактором которого был молодой поэт Юрий Галансков.

Распространялись также «Сфинксы», поэтические сборники совсем юных с несколько претенциозным названием «СМОГ» (Сила, мысль, образность, глубина»).

Молодежь выходит на площадь. Не на Сенатскую. На площадь Маяковского в Москве.

Я был свидетелем разгона одной такой молодежной демонстрации. После чтения стихов на площади Маяковского толпа человек в двести отправилась к Союзу писателей СССР,

чтобы заявить о своем праве участвовать в духовной и литературной жизни.

В разгон демонстрации включилась служба охраны посольств, расположенных на улице, служба особая, оснащенная радиопередатчиками, которых тогда еще не было у простых милиционеров. Буквально через несколько минут подъехали черные «Волги», и организаторы демонстрации были мгновенно, с профессиональным умением, брошены в легковые машины и увезены. Демонстранты, оказавшиеся без вожаков, были рассеяны.

Я окликнул одного из бежавших, который, вырвавшись из рук подъехавших дружинников, заметался, втолкнул его в двери писательского клуба, а потом провел его сквозь весь клуб и выпустил с другой стороны, на улицу Воровского. Он успел только сказать, что они шли от памятника Маяковскому.

Так началась расправа над студенчеством. А поначалу ничего не предвещало, казалось, такого поворота событий…

…29 июля 1958 года в Москве был официально открыт памятник поэту Владимиру Маяковскому. Министр культуры Михайлов произнес речь. Старый, «номенклатурный» поэт Тихонов перерезал ленту, в заключение несколько признанных властью поэтов читали свои стихи.

А когда кончили, выяснилось, что не только они хотели б прочитать свои стихи. От желающих декламировать отбою не было.

После многих лет разобщения этот стихийно возникший интерес людей друг к другу понравился. Молодые люди решили собираться у памятника Маяковскому по крайней мере раз в месяц и читать стихи.

Читали здесь и разрешенное, и неразрешенное — Гумилева, Ахматову. Декламировали свои стихи, изредка талантливые.

Возникли дискуссии. В самом центре Москвы! Такого не было почти полвека. Юноши и девушки спорили о новых книгах, волновавших всех, — прежде всего о книгах Дудинцева «Не хлебом единым», Тендрякова «Ухабы», о статье Вл. Померанцева «Об искренности в литературе», напечатанной в «Новом мире» еще в конце 1953 года.

Сталин был низвергнут. Как пел Галич чуть позднее: «Оказался наш отец Не отцом, а сукою»…

Естественно, молодежь восстала против всякой регламентации. Александр Гинзбург заявил, что он будет помещать в «Синтаксисе» произведения любых направлений. Тут были и антисталинские стихи, и просоветские, и религиозные, и формалистические.

До своего ареста в июле 1960 года Александр Гинзбург успел

выпустить три номера. В журнале не было критических статей, почти не наскребли и прозы, — стихи и стихи. Этого оказалось достаточно для ареста.

…Ожила не только поэзия. На частных квартирах, как известно, стали выставлять свои картины молодые художники.

Хороши были картины или плохи — не буду сейчас рассматривать эту сторону дела. Разные были картины. Разные стихи. Важно другое. И картины, и самодеятельные журналы были первой открытой атакой на конформизм в искусстве.

Юные протестанты были все еще столь наивны, что не только проводили демонстрации на улицах усиленной охраны, но и пытались доказать следователям КГБ неконституционность их арестов, скажем, неконституционность 70-й статьи УК РСФСР.

В самом деле, ведь Конституцией СССР разрешена свобода слова. Владимир Осипов, позднее ставший неославянофилом и редактором журнала «Вече» (об этом будем говорить особо), рассказывает, что арестованный вместе с ним Илья Бокштейн всем кагебистам доказывал антиконституционность 70-й статьи УК, говорящей об измышлениях, порочащих советский строй, как о составе преступления…

«Исторически под свободой слова, — говорил Бокштейн, — всегда понималось право на критику. Свободу восхваления предоставлял любой деспот».

Хоть и начались аресты, но встречи на площади Маяковского продолжались. Главными организаторами молодежи были теперь Юрий Галансков, Владимир Буковский, Виктор Хаустов… А затем отпущенные, ко всеобщей радости, Вл. Осипов и Илья Бокштейн.

В апреле 61-го года, в дни «всенародного торжества» в честь полета Гагарина в космос, собравшиеся поэты, как только один из них начал читать критические стихи, были зверски избиты и разогнаны, т. к. их критика звучала нестерпимым диссонансом космическому счастью. Поэты получили по 10–15 суток ареста, по статье «за мелкое хулиганство». Они продолжали собираться, активисты этого преследуемого «клуба», — среди них Эдуард Кузнецов, Анатолий Иванов, Илья Бокштейн, Вл. Осипов.

Молодые люди вряд ли подозревали, что, собравшись вместе, они уже не просто инакомыслящие. Они образуют «группу», а за «групповые размышления» о будущем СССР, увы, дают такие же тюремные сроки, как порой на Западе — за убийство.

По семь лет тюрьмы получили и Эдуард Кузнецов и Владимир Осипов. Бокштейн — пять. Туберкулезнику, решили, хватит и пяти… Хотя им приписывали чуть ли не террор, совершенно очевидно, что ребят посадили за… чтение стихов на площади Маяковского.

Суд над Синявским и Даниэлем ускорил процессы духовного созревания. Рукописный журнал «Феникс-66», подготовленный Юрием Галансковым, стал остро политическим. Его передовая, обращенная к властям, завершалась такими словами: «Вы можете выиграть этот бой, но все равно вы проиграете эту войну. Войну за демократию и Россию».

Это стоило ему жизни. Он получил семь лет и, как известно, погиб в лагере. У Галанскова была язва желудка, его намеренно не лечили, затем положили на операционный стол, и он умер под ножом. Гинзбурга упрятали за колючую проволоку на пять лет, он дождался освобождения, затем диссиденты именно его посчитали достойным быть распорядителем средств для политзаключенных и их семей, поступающих из-за рубежа.

В условиях тоталитаризма всякий мыслящий опасен: в потенции он — инакомыслящий. Всякий честный, не идущий на сделку с совестью, — опасен вдвойне. А кристально честный — уж просто заклятый враг.

«Народная власть» расправились прежде всего с ними.

Остальным все тот же Николай Грибачев объяснил в передовой статье «Литературной газеты»: «Что это значит быть революционером в наше время?»

Он кричал с трибун, что в каждом потоке есть пена, и что смутьяны и есть пена, грязная пена. На университетском собрании я его слышал сам. Он обличал студентов, просивших их избавить от бездарных преподавателей марксизма.

«…Вы — пена! Грязная пена!»

Остальным писателям этой темы запрещалось даже касаться.

…А что же тогда писателям разрешалось?

Публицистам позволяли — недолго — спасать озеро Байкал от загрязнения. (В. Чивилихин, «Октябрь», IV, 1963 г.; О. Волков, «Литературная газета» от 6/II 65 г.)

Сатирикам — писать о прачечных (Лиходеев, 3/III, там же).

Прозаикам — о вреде алкоголя (Н. Атаров, 11/I, там же).

Разрешенный властью максимум — это убеждать коллег не здороваться с подлецами (Нат. Ильина. «А если не подать руки», 5/XI-67 г., там же).

С 1965 года по 1970-й, за пять лет, состоялось пятьдесят процессов над инакомыслящими, о которых Россия, за редким исключением, не знала.

Произошла удивительная метаморфоза, невозможная более нигде в мире. Власть не смела возражать публично. Инакомыслие осуждалось ею только при закрытых дверях. Фигурально выражаясь, власть ушла в подполье.

Граф С. Ю. Витте в «Записке», представленной им государю

9/22 октября 1905 года, в дни уличных боев, писал: «Не год назад, конечно, зародилось нынешнее освободительное движение. Его корни — в глубине веков — в Новгороде и Пскове, в Запорожском казачестве, в низовой вольнице Поволжья, в церковном расколе, в протесте против реформ Петра с призывом к идеализированной самобытной старине, в бунте декабристов, в деле Петрашевского, в великом акте 19-го февраля 1861 года, и, говоря вообще, в природе всякого человека. Человек всегда стремился к свободе».

Идеологи советского государства не делали даже попыток понять истину, осмысленную министрами Николая II. Когда Эдуард Кузнецов только заикнулся в следственной камере о правах человека и законах, «руководящие» тюремщики отвечали ему с усмешкой: «Говорите о правах, словно вы первый год замужем… Вы же умный человек. Пора понять…»

4 июля 1969 года никому не известный до той поры Андрей Амальрик передал за границу свою главную работу — «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?». В декабре 1969 года об этой работе заговорил весь мир.

А. Амальрик родился в год массового террора — в 1938 году. Миновала его и война с ее страхами, кровью, солдафонством, которое калечит человека пострашнее снарядного разрыва. Он вырос свободным. Точнее, в убеждении, что он свободен.

Первый арест (за непошедшие, обнаруженные при обыске пьесы) и ссылка все поставили на место. Амальрика долго таскали по врачам, не могли сразу выслать: сердце у него оказалось больным. Довольный таким оборотом дела, он как бы вскользь замечает: «Может показаться противоестественным, что человек радуется тому, что у него больное сердце, но противоестественны, по-видимому, условия, в которых мы живем». Шаламовская это мысль, лагерная. Новое поколение схватывало мудрость лагерников на лету.

Однако это не ослабило потрясения от первого ареста. Когда «люди с протокольными мордами» заперли Андрея в пропахшей мочой камере отделения милиции, вспомнился ему разлив рек под Смоленском; он несколько километров «шел босиком по залитым водой лугам и, вспомнив это, — пишет А. Амальрик в своей книге «Нежеланное путешествие в Сибирь», — очень остро, как никогда потом, ощутил свою несвободу».

В ссылке его спасает неприхотливость и чувство юмора, нередкое и в его книге о ссылке. Заставили его пасти коров на кобыле Егорихе, о которой он вспоминает с ужасом. Все коровы топали дисциплинированно, а одна, строптивая, все время норовила свернуть в поле. «Так я понял, — заметил Андрей, —

насколько вождям ненавистен индивидуализм, даже не сопряженный с активным протестом… Все время держала меня в напряжении эта корова, не желавшая идти в стаде…»

Андрея Амальрика, передавшего после ссылки за границу свое исследование о годах советского режима, долго не судили, — это дало основание нескольким газетам на Западе («Вашингтон Стар» от 26/XI 69 г. и др.), журналу «Шпигель» (от 16/3–70 г.) утверждать, что Амальрик — подсадная утка, агент КГБ.

Думаю, что это была хорошо продуманная и часто повторяющаяся операция КГБ — опорочить человека, книги которого получили на Западе широкую известность.

Очень раздражала КГБ эта книга! И не без оснований.

Андрей Амальрик первый и по сути единственный в СССР профессионально и убедительно обозревает различные оппозиционные направления в России. Он не преувеличивает своего значения, заявляя не без юмора, что его статья (свое исследование он скромно называет статьей) представляет «во всяком случае для западный советологов уже тот интерес, который для ихтиологов представляла бы вдруг заговорившая рыба».

Андрей также первым публично заявил о существовании «культурной оппозиции», как он ее называет. Об эволюции самиздата от художественной литературы к документу. К бесспорно точному документу, который на этом этапе деградации официальной идеологии может сказать неизмеримо больше, чем любой художественный вымысел.

Именно самиздат, совместно с «культурной оппозицией», и подготовили почву для появления демократического движения.

Начало исследования А. Амальрика безошибочно.

Много ли людей участвует в демократическом движении? Исследователь, проанализировавший рукописи самиздата, подписи под письмами протеста и прочие документы, полагает, что более тысячи человек. Всего только…

Даже если иметь в виду, что автор не смог учесть еще несколько тысяч диссидентов, разбросанных по России, то и тогда ясно: демократическое движение — это движение городской интеллигенции, лишенное пока что, за редким исключением, всякой опоры в народной толще.

Уж как искала власть — после расстрела рабочих в Новочеркасске — «заводил» среди интеллигенции или студенчества! Не нашла. Пришлось — впервые за многие годы — судить и расстреливать как «заводил» самих рабочих, говоривших обличительные речи, которые, увы, так и не попали на Запад.

«Экономические» волнения, подавляемые с жестокостью, с которой подавляются разве что восстания в лагерях, увы, никакого отношения к политическим протестам демократического движения не имели.

Потому его и разгромили быстро, упрятав в лагеря одних, выкинув за границу других.

Какие идеи были противопоставлены инакомыслию?

Андрей Амальрик точен в самом важном своем утверждении, которое, как я убедился, почему-то трудно и неохотно осознается левым движением Запада, в своей основе искренним: на стороне СССР, на стороне террора нет идеологии.

Подумать только: распространяя влияние на все части света, от Кореи до Кубы, партийная элита СССР не может выработать никакой идеологии.

Партийная элита, справедливо замечает Амальрик, захватив власть, превосходно умеет удерживать ее в своих руках, но — ради какой цели?

«По-видимому, мы уже достигли мертвой точки, — заключает Амальрик, когда понятие власти не связывается ни с доктриной, ни с личностью вождя, ни с традицией, а только с властью как таковой…»

Безыдейность режима беспокоила и сам режим. Необходимость в какой-то идейной базе и привела к упрочению идеологии великорусского шовинизма, поднятой еще Сталиным как знамя.

Идеология эта нашла отзвук и в народе: народу всегда были понятны идея силы и идея справедливости. Однако идея силы гипертрофировалась, приняла формы уродливые, чванливые; идея справедливости всегда носила в России характер своеобразный: в России нет и не было традиций уважения прав человеческой личности. «Понимание… что личность человека (сама по себе, а не только ум, образование и пр.) представляет какую-то ценность, — это дико для народного сознания», — пишет Амальрик, перекликаясь с записками Валентина Мороза почти буквально. Он объясняет причины этой вековой «дикости», — его наблюдения подтверждены и трагическими событиями в Чехословакии, воспринятыми большей частью советского народа как нечто само собой разумеющееся.

Объяснения А. Амальрика известны. Я отсылаю читателя к его книге.

Остановлюсь лишь на взглядах историка, которые привели его к выводам крайне опасным.

Режим дряхлеет, утверждает Амальрик. Это его утверждение основано, казалось бы, на верной посылке: «…всякое внутреннее

дряхление соединяется с крайней внешнеполитической амбициозностью».

Однако, как легко понять, внешнеполитическая амбициозность, агрессивность, авантюризм не обязательно имеют своими истоками дряхление. Дряхлеют несменяемые вожди, что ж, придет пора, они уйдут, их места займут другие «железные шурики». Если можно говорить о дряхлении и обветшании, так только лишь марксистской идеологии, которая давно стала в России лозунговым тряпьем.

Амальрик ошибся самым роковым образом, приписав дряхлению режима «происходящий процесс увеличения степеней свободы, на котором и покоятся иллюзии гуманизации…» Просто оскорбил Амальрик режим, заподозрив, что он «стареет и уже не может подавлять все и вся с прежней силой и задором».

И судьба Солженицына, и судьба Галича, и судьбы тысяч других инакомыслящих, арестованных или высланных, как и судьба самого Амальрика, опровергают его гипотезу об отсутствии у режима полицейского задора.

Напротив, никогда полицейский корпус подавления, корпус МВД, не был так мобилен и технически оснащен, никогда еще устрашение, дезинформация общества и подавление его не были так разработаны, с применением всех достижений науки, в том числе такой науки, как психология.

Одни подавлены, разобщены, другие — продались. Стали опорой режима. «В нашей стране, — пишет Амальрик, — поскольку мы все работаем на государство, у всех психология чиновников — у писателей, состоящих членами Союза писателей, ученых, работающих в государственном институте, рабочих и колхозников в такой же степени, как у чиновников КГБ или МВД».

Обскуранты, по Амальрику, — скорее жертвы, чем палачи. Сознание их «очиновлено».

Пятнадцать лет назад Всеволод Кочетов, главный редактор журнала «Октябрь», отвергая рукопись одного писателя, прямо сказал ему, что надежды на возвращение к «ленинским идеям» — ребячьи химеры, ибо никаких идей там нет, — и он показал рукой на потолок…

Осознав это, Всеволод Кочетков так верно служил власти, лишенной идей, что даже прослыл идейным.

Плутоватые «качели» Е. Евтушенко и лениниана А. Вознесенского — та же самая открытая продажность.

Общественное мнение страны в последние годы особенно чутко ко всяким дымовым завесам, «перестройкам», раскаяниям и прочим «ужимкам и прыжкам», которые Амальрик пытается поставить в «идейный ряд». А идейность эта, как в писательской

частушке:

У мого у милого
Характер Ермилова:
Ночку всю целуется,
Утром отмежуется…

Начав книгу с точных наблюдений, Андрей Амальрик — во второй части — совершил свою основную ошибку, вызвавшую недоумение, тревогу, а затем активный протест.

Он утверждает, что предстоящий тотальный конфликт — это истребительная война между СССР и Китаем, неважно, кто ее начнет первым, — Китай или СССР.

Действительно, в головах некоторых военных деятелей СССР была такая идея лет пятнадцать назад, в зените хрущевского могущества: «прошить» Китай танковыми корпусами, пока китайцы не обладают ядерной мощью.

Но и тогда эта авантюра встречала возражения самих же военных: «прошить-то прошьем», а потом что? При дезорганизации китайского хозяйства, саботаже и партизанском движении, когда миллионов сто возьмет в руки винтовки, подброшенные Китаю со всех сторон? 850 миллионов китайцев — их же придется кормить!..

Идея эта увяла быстро: Китай стал ядерной державой…

Убеждение в неотвратимости русско-китайского конфликта успокоит Европу и деморализует ее — вот чего боялись советские инакомыслящие.

«Железная поступь» Советского Союза во Вьетнаме, Анголе, Мозамбике, Эфиопии и т. д., видимо, пробудила успокоенных.

В России на этот счет никогда не заблуждались. О том, что думали там по поводу второй части исследования Амальрика, дает представление сатирический обзор, который гулял в самиздате. Назывался он «Обзор прессы за 1984 год», т. е. за тот год, когда, по Амальрику, Советского Союза уже не будет. Приведу его в кратких выдержках:

«Монд», 22 июня 1984 года, Париж.

Указ Президиума Верховного Совета Социалистической республики Франции…

За заслуги в развитии французской литературы и в связи с восьмидесятилетием наградить писателя Жана-Поля Шартреза орденом Мориса Тореза III степени.

Председатель Президиума Верховного Совета

СРФ — Жюль Пороше.

Секретарь Президиума Верховного Совета СРФ — М. Георгадзе.

Версаль, 21 июня 1984 года».

Иоанн XXIV: Почему я отрекся от религии.

«Унита», 13 июля. Ватикан (по телефону). Товарищ Пинетти, в прошлом видный деятель католической церкви Иоанн, а ныне лектор общества «Знание», выступил с публичным докладом в концертном зале «Грасиа». «Под знаменем марксизма-ленинизма к коммунизму вперед и вперед!» — этими словами, потонувшими в буре оваций, тов. Иоанн Пинетти закончил свой яркий, насыщенный интересными фактами доклад».

ОТПИСАЛИСЬ…

«Таймс», 5 января, Лондон. Труженики Шотландского района собрали в прошлом году невиданный урожай огурцов. А на прилавках лондонских овощных магазинов огурцов не густо. В чем причина?

— Тары нет, — отвечает председатель колхоза «Онест уэй» Герой Социалистического Труда Петти Бридж».

И т. д. и т. п. и пр. в том же духе.

Вероятно все же, что прав не Андрей Амальрик, а Орвелл, который в своей провидческой книге «1984», описывая победивший социализм в Англии, предугадал основные элементы духовного перерождения. В СССР они уже наступили. К примеру, существование двух партий в одной партии, внутренней — всевластной и внешней — безгласной; контроль властителя над мыслями и жестокое преследование инакомыслия. Постоянная слежка за каждым при помощи телекрина и пр.

Именно Орвеллом навеян этот мрачный юмор самиздата. Орвеллом и — доподлинным знанием советской действительности, во многом, и правда, орвелловской.

Во второй книге Андрея Амальрика собраны письма, посланные им в различные инстанции. Из них, на мой взгляд, наиболее интересно его открытое письмо Анатолию Кузнецову, в

котором он пишет о свободе внутренней и внешней.

Кроме этих документов, важным было письмо, которое называется «Иностранные корреспонденты в Москве». В этом письме Андрей Амальрик сообщил миру о том, что в Москве знали почти все инакомыслящие, которые пытались хоть раз установить связи с иностранной прессой. Лишь незначительная часть иностранных корреспондентов решается вступить в контакт с инакомыслящими.

Андрей Амальрик — поистине дитя самиздата. Жизненный опыт он выстрадал, что называется, своими боками, а писал о нем уже в русле установившейся традиции самиздата; традиции Паустовского — Бека — Шаламова-Евгении Гинзбург, наконец, Александра Солженицына, рукописи которого к 1969 году гуляли по Москве и другим крупным городам.

Новое поколение шагнуло в самиздат, как в родную стихию. Порой по-юношески демонстрируя свою свободу, оно, как Андрей Амальрик, отдавало на Запад свои рукописи открыто, безбоязненно. Оно само помогало, в этом случае, палачам скрутить ему руки. Однако, с другой стороны, подавало пример гражданского неповиновения, как воздух необходимый замордованной России.

10. «Осторожно, капканы!»

I. Полицейская литература

Пожалуй, ничто так не обеспокоило режим, как прозрение и мужество молодежи. Все было испробовано: исключение из институтов, ссылка в Сибирь, мордовские лагеря.

А результат — почти нулевой! Власти были на грани паники: если уже первые секретари нацкомпартий, люди осторожные, возглашают с трибун партийных съездов о том, что произошла «… ценностная переориентация убеждений у части населения, особенно у молодежи», то дело скверное.

Осознав, что большинства им не запугать (хотя мысль эта, как увидим, не отставлена), власти торопливо ставят на пути духовного созревания молодых новые капканы.

Заработала полицейская литература, которой хотели бы подменить подлинную…

Думается, мы не имеем права оставить без внимания эти книги, выходившие в СССР миллионными тиражами. Они важны для нас и сами по себе — для исследования общих литературно-нравственных процессов. Они тем более необходимы, если

осветят и самые темные закоулки государственной шигалевщины, предсказанной Достоевским.

В начале послевоенного литературно-полицейского потока стоят два романа, встреченные сдержанными, но подозрительно долгими рукоплесканиями прессы. Так аплодировали в сталинское время — каждый боялся оборвать рукоплескание первым.

Авторы их в какой-то мере читателю известны. Это Василий Ардаматский и Лев Никулин, из так называемого «этапа следователей в литературу…»

Они были разными. Василий Ардаматский — веселый демагог, анекдотчик, любитель пропустить рюмку-другую в своем писательском кругу… «Душа-человек». Я был свидетелем, скажем, такого его балагурства за столиком ресторана в Клубе писателей. Рядом с ним сидел Павел Антокольский, старый и известный поэт. У старика было измученное лицо, синие круги под глазами. Он поднял налитую рюмку, вздохнул:

— Напрасно ты, Василий, написал донос на М. М., быть может, остался б в живых, если бы не ты…

Ардаматский деловито плеснул остатки коньяка в рюмки, ответил с незлой усмешкой:

— Сразу видно, что ты не христианин. Злопамятен. — Поднял рюмку: — За мир и дружбу!..

Литераторы выпили и… продолжали говорить о том же, о душегубстве, но таким тоном, словно о чем-то незначительном.

К Ардаматскому прилипла неумирающая кличка: Пиня Ардаматский. В 1949 году он, тертый калач, бывший чекист, сторонился космополитической кампании, как сторонятся пожара. Лишь в конце зимы 1953 года, за считанные дни до смерти Сталина, он выступил в журнале «Крокодил» с черносотенным фельетоном «Пиня из Жмеринки». Пресса уже отгрохотала. Ждали высылки евреев… Запоздалый «Пиня» прозвучал, как залп на погосте. Многое было забыто, а это запомнили. Стоило Ардаматскому показаться в дверях московского Дома актера или Дома кино, как кто-либо непременно портил ему аппетит: — А вот и сам Пиня Ардаматский!

Василий Ардаматский тут же скрывался.

…К началу юбилиады был приурочен выход в свет его романа «Возмездие». Затем Ардаматский издавался уже такими тиражами, что библиотекари стали отмерять его на метры, как ранее Бабаевского или Шолохова.

На первой странице книги декларируется ее подлинность. Приведем этот любопытный документ. «Из Протокола

Президиума Центрального Исполнительного Комитета СССР. От 5 сентября 1924 года.

17. О награждении орденом Красного Знамени группы работников ОГПУ.

Принимая во внимание успешное завершение, упорную работу и проявление полной преданности делу, в связи с исполнением трудных и сложных заданий ОГПУ… Президиум ЦИК Союза ССР постановляет: Наградить орденом Красного Знамени тт. Менжинского В. Р., Федорова А. П., Сыроежкина Г. С., Демиденко Н. И., Пузицкого Р. В. и Пиляра Р. А.

Председатель Президиума ЦИК СССР М. Калинин.

Секретарь А. Енукидзе».

Почему били в литавры? ОГПУ создало фальшиво-подпольную организацию «Л. Д.», и той удалось заманить в Россию неуловимого Бориса Савинкова.

Это была, как известно, удавшаяся провокация. Заманили и — убили.

Восторг автора не знает пределов. Он раскрывает и подноготную.

Феликс Дзержинский рассказывает: «Когда Владимир Ильич был еще здоров, я однажды рассказал ему о нашем замысле выманить Савинкова из-за границы… Владимир Ильич к нашему замыслу отнесся одобрительно, но сказал, что это будет такая крупная игра, проиграть которую непозволительно». На заседание привлечен Луначарский, — замечает автор, чтоб никто не сомневался: с самого начала чекисты и литераторы шли в одном строю…

О чем мечтает чекист Сыроежкин, простодушный, слепо верящий партии богатырь: «Знаешь, я бы что сделал? Я бы о смерти Ильича не объявлял. Нашел бы похожего человека и, когда выхода нет, показывал бы его».

Словом, чекистская «подпольная» организация свое дело сделала. Наворотила горы лжи. Савинков с ближайшими друзьями отправляется на подводах до Минска, прямо на квартиру начальника ГПУ, будто бы явочную, и там его, друга Ивана Каляева, участника покушений на министра Плеве и великого князя Сергея Александровича, вяжут, как не вязали и в царской охранке.

О стиле книги не стоило б и говорить, если б он не перекликался со стилем официальных статей и приговоров. Можно сказать, одна рука водила: «У железного Феликса добрейшее сердце, оно наполнено любовью к людям, страстным желанием принести им счастье»; «французская военщина», «брал деньги у империалистов» (из цитируемых автором документов).

Вторым «классиком» полицейской литературы (а возможно, и первым) стал Лев Никулин, тот самый Никулин, «стукач-надомник». Чуть ранее Вас. Ардаматского он опубликовал роман «Мертвая зыбь».

В нем повествуется о том, как сотрудники ОГПУ проникли в Париже в Высший монархический совет. Чекист Якушев встречался в Париже с генералами Кутеповым и Врангелем, конечно же, от имени существующей в России подпольной организации.

Якушеву поверили настолько, что известный черносотенец Шульгин «инкогнито» ездил в Россию, где от него, нетрудно понять, не отводили глаз.

Только в 1927 году монархисты обнаружили обман. Одни успели уйти через «финское окно», других уничтожили.

Проводившие эти нелегкие «операции» чекисты были поголовно расстреляны в 1937 году, на смену им пришел «слой» позднейших провокаторов и мордобийц, но суть не в этом.

Разведка, шпионаж всегда считались делом аморальным. Тайные убийства, хищения, обман — какая разведка гнушалась ими?

Однако нечасто тайные хищения, ложь государственных учреждений, провокации становились предметом восхищения в русской литературе, славившейся своей высокой нравственностью.

Василий Ардаматский пытается обелить «органы» — в деталях. Он подробно выписал, к примеру, как застрелили в тюрьме генерала Павловского, военного советника Савинкова. Естественно, при попытке к бегству. Между тем, Павловского просто «убрали». Без суда. Выстрелом в затылок. Я слышал это от самого Ардаматского.

Ардаматский пишет так, словно никогда не существовало ни тридцать седьмого года с его морями крови, ни Архипелага ГУЛАГ, перемалывавшего невиновных.

Строго говоря, рассказывается о том, как начиналась подготовка к великой резне. Большой террор. Как возникла ложь — «во славу революции».

Возникнув и утвердившись «во славу», что стоило ей, Большой лжи, распространиться в любую сторону?..

С каким восторгом описывает Вас. Ардаматский и дальнейшее предательство! «С этим Султан-Гиреем (князем, руководителем повстанцев. — Г. С.) чекисты вели на Кавказе смелую игру. Подлинный Султан уже давно сидел в Ростовской тюрьме, а в горах действовал очень похожий на Султана чекист по имени Ибрагим, который исправно передавал в руки своих

товарищей последние остатки банды Султан-Гирея».

Таков и нравственный уровень «Мертвой зыби» Льва Никулина…

Подобная нравственная «оглушенность» встречается, как известно, порой и у Н. Тренева, и у Б. Лавренева, и у В. Катаева.

И это пишется, и переиздается, без изменений и в конце шестидесятых, и в семидесятых годах, и — не только, как видим, бывшими следователями. Идут и идут косяками книги с перевернутой моралью. Зловещая антилитература, которая вот уже много лет разлагает нравственные устои народа, героизируя ложь, вероломство, предательство.

II. Песня без слов

У литературы аморализма есть еще один аспект, который в последние годы стал доминирующим. Он заслуживает особого рассмотрения, ибо здесь капканы ставят особенно широко. На всех дорогах. И бывшими следователями. И бывшими подследственными, не ведающими порой, что творят.

Начнем с цитат:

«Будущее Соломона родители представляли себе по-разному. Отец мечтал сделать сына богатым торговцем-коммерсантом, а мать спала и видела своего Соломона раввином или, на худой конец, цадиком. Но Соломон рассудил по-своему: еще в юности он, выявив не только недюжинный ум, но и острый политический нюх, вступил в Бунд. Тот же верный нюх помог ему верно сориентироваться после революции и, порвав с Бундом, а затем вступив в РСДРП… стал делать карьеру. За образец взял Льва Троцкого… Носил френч военного покроя, галифе, заправленные в хромовые, всегда начищенные сапоги, и всегда держал про запас революционнейшие фразы…»

«…Теперь я прослеживаю линию, считываю родословие, — черное родословие сынов израилевых в наши дни. Да, да, вот оно: Соломон породил комиссаров, комиссары посмеялись над его душевной наготой, наивной прямолинейностью и упрятали в желтый дом. Комиссары породили наркомов, те поставили комиссаров к стенке, сослали в лагеря. Наркомы породили… кого? Да его, разумеется, Болотина, — кого еще! Вот он, жалкий последыш линии, ее гаснущее окончание».

«…Кроме укороченной и деформированной руки, Болотин еще и кривобок: не хватает нескольких ребер. Я так настойчиво обрисовываю его физическую неполноценность, потому что тип человека, который в нем осуществлен, нерасторжим в моем

представлении с внешним уродством. В памяти всплывают еще два еврея подобного типа — у одного не хватало двух пальцев на ноге, другой был горбат». «…У Болотина должно быть поле деятельности, где царит абсолютное разрушение, абсолютное зло»… «И вот я иду к Болотину… ободранный телевизор, грязный потертый диван… Квартира в таком виде, будто здесь идет ремонт, хотя сразу понимаешь, что никакого ремонта нет… И вот тут-то и приходит мысль о *цельности замысла*, господствующего тут (курсив автора рассказа. — Г. С.)… Та самая зона абсолютного разрушения, которую предтечи Болотина получили в масштабах всей России, ужалась до размеров одной квартиры — и вот я лицом к лицу с результатом! Ха, ха! Хорош бы был Василий Розанов с его апофеозом еврейскому чувству дома здесь, у Болотина. Да, уж Розанов развел бы руками, уж он бы кое-что понял в Болотине!.. куда же деваться от Болотина? Куда ускользнуть от того, что окружает тебя со всех сторон, нависает над тобой и давит, давит?»

Как легко понять, это цитаты из одной книги, прослеживающей «черное родословие сынов израилевых…»

Первая цитата взята из антисемитского романа Анатолия Димарова «Путями жизни», опубликованного в советском журнале «Днипро».

А последующие — из диссидентского парижского журнала «Континент». окрещенного всеми советскими изданиями — антисоветским…

Произошла неожиданная, на журнальных орбитах, идейная «стыковка» изданий советских и антисоветских? По национальному вопросу — одному из главных вопросов нынешней России?..

Остановимся здесь и — поразмышляем.

«Прельщение и рабство национализма есть более глубокая форма рабства… Это очень глубоко вкоренено в эмоциональной жизни человека, более глубоко, чем его отношение к государству».

Не знаю, читал ли Сталин Бердяева. Пасынок духовной семинарии, не исключено, интересовался. Во всяком случае, великорусский поворот его, под знамена Кутузова и Суворова, был предвиден прозорливым Бердяевым до деталей, что немудрено: Бердяев обобщил в нем великий опыт Екатерины II и Николая I, Ленина и Дзержинского, вытолкавшего философа Бердяева в Париж:

«Когда самое дурное для человека переносится на коллективные реальности, признанные идеальными и сверхличными, то оно становится хорошим и даже превращается

в долг. Эгоизм, корысть, самомнение, гордость, воля к могуществу, ненависть к другим, насилие — все делается добродетелью, когда переносится с личности на национальное целое».

Сталинский поворот 1942 года был облегчен тем, что, вопреки утвердившемуся представлению, в том числе и в диссидентской литературе, в России никогда не было интернационализма. Иначе говоря, равенства трудящихся всех рас и наций. Не было и быть не могло: не было уважения к человеческой личности.

Кто когда уважал в дни Октября духовный мир человека, особенно если он не отвечал сиюминутным лозунгам? Великий гуманист Короленко был отброшен, как падаль, ибо протестовал в своих письмах против глумления над людьми, против бессудных расправ над украинцами, русскими, евреями.

О духовном мире верующих и говорить нечего. Я уже упоминал об этом, — в двадцатом году были запрещены специальным декретом два языка: старославянский и иврит как «языки религиозных обрядов», языки церковников.

Личность, которая, в отличие от самого поэта, «наступает на горло собственной песне» одержимо-фанатично, раз и навсегда, т. е. расстается со своей культурой, религией или традициями, — теряет духовное своеобразие, иначе говоря, умирает. Становится пресловутым «винтиком».

Революция вела к бездуховности, — это было заложено в ее основы, — а не химеры «интернационального братства», хотя выцветшие лозунги уже полвека твердят об обратном.

А национальные мифы мессианства она добивала сама. К началу второй мировой войны от них не осталось в душах молодежи даже тени.

Я был взят в армию в ноябре 1939 года и, помню, что о захвате Львова, Черновиц, Белостока красноармейцы уж иначе и не говорили, как с веселой иронией: «Единокровных братьев освобождаем!..»

Самый неразвитый солдат знал, что Сталин отодвигает, в предвиденье войны с Германией, государственные границы. Политруки доводили эту мысль до каждого: кремлевские куранты в те дни еще вызванивали в глухую полночь «Интернационал». Об «единокровных братьях» трещали только газеты.

Наконец, даже часы на Спасской башне Кремля стали вызванивать уж не «Интернационал», а «песню без слов», как окрестили в СССР гимн Советского Союза. Хоры перестали петь: «Нас вырастил Сталин на верность народу», а нового текста все не было…

Голым атомное государство ходить не может («Безыдейность режима не могла не тревожить этот режим», — справедливо заметил Амальрик). Мундир государственного шовинизма пришелся впору.

Не надо думать, что великодержавная буффонада была безропотно воспринята всеми. Даже поэт Алексей Марков, обрушившийся в свое время на «Бабий Яр» Е. Евтушенко, казалось, надежный, правый, «свой», — вдруг заявил в 1968 г. на одном из публичных обсуждений, что ему стыдно называться русским. Начались неожиданные для властей протесты в научно-исследовательских институтах — против «танковой политики» в Чехословакии, Африке, на Ближнем Востоке; на заводах откровенно заговорили: «черножопым помогаем, а самим жрать нечего».

Даже молодые сотрудники КГБ порой переставали вести себя, как автоматы. Рассказывали, лейтенант КГБ, обыскивавший дом генерала Григоренко, все время спрашивал у Григоренко, а чего он хочет, есть у него положительная программа?.. Это вовсе не входило в его обязанности. Задачей оперслужбы было собрать все в мешки и опечатать; все остальное — дело следователей. А этот молодой оперативник был живо, по-человечески заинтересован: что делать-то? Есть положительные идеи?.. О подобном выспрашивали и у Краснова-Левитина, и у Эдуарда Кузнецова — солдаты лагерной охраны, дорожный конвой.

Когда в связи с публикациями моих выступлений на Западе меня вызвали на Лубянку, и я в беседе с «искусствоведом в штатском» сказал, что у писателей есть основания для беспокойства: более одной трети их было в лагерях, молодой «искусствовед» перебил меня с очевидной искренностью:

— А вы знаете, что в ЧК-НКВД было срезано шесть слоев! При крушениях отвечают стрелочники!

Подобные мысли вряд ли порождают энтузиазм.

Идеи! Как воздух нужны были идеи! Тотальная прививка шовинизма, мессианства, долга перед «прогрессивными народами», — чего угодно: советский солдат, высаженный хоть на Огненной земле, должен ощущать, что ступает тут по праву. Как освободитель.

Первую (после Сталина) прививку новобранцам было «рекомендовано» сделать на страницах журнала «Молодая гвардия». Еще в первом году юбилиады, продуманном, как увидим, всесторонне. Это было наступление по всему фронту.

По «странному совпадению», одновременно с романом Василия Ардаматского воспевшего провокации ЧК, день в день с поэмой С. В. Смирнова, вдруг воспевшего Сталина:

…не о нем ли, как о капитане,
Мы трубили тоже неспроста!
Это он в годину испытаний
Не сходил с командного поста…

сразу после публикации скандального романа В. Закруткина, в котором положительный герой уже грозит своему противнику:

— Ты Сталина не тронь… Мы знаем, почему Сталин встал вам поперек горла… — зашевелился и журнал «Молодая гвардия», напечатав запевную статью угрюмого критика Чалмаева, идеолога «нутряного патриотизма».

Даже Александр Солженицын, сердцем приявший этот всплеск «смутно вспомненной национальной идеи», и тот поежился от сумбура «заурядного темноватого публициста Чалмаева (а вероятно, за ним стоял кто-то поумней)».

Журнал «Молодая гвардия» вдруг затрясло, как корабль, брошенный твердой рукой на подводные камни. В пролом хлынула, во всех жанрах, «нутряная тема», которую особо впечатляюще выражал в подпитии мой товарищ военных лет Костя Зародов: «Я р-русский весь! Меня родила Вологда!..»

Я весьма благодушно взирал тогда на эти его, как считал, всполохи национальной гордости, особенно участившиеся, когда Сталин поднял тост «за русский народ». Однако почему-то именно Костя Зародов с его все усиливавшейся мрачноватой гордыней стал со временем Константином Ивановичем Зародовым, главным редактором самой реакционной газеты «Советская Россия», а затем членом ЦК КПСС и шеф-редактором международного коммунистического журнала «Проблемы мира и социализма», лидером и теоретиком «твердой линии» в мировом коммунистическом движении. Его принимает Л. Брежнев, о чем сообщается в специальном коммюнике, для сведения французской, итальянской и других «пошатнувшихся» компартий. На него с надеждой глядят адепты «великой и неделимой» советской России как на «твердую руку», которая сменит полуживых лидеров.

«Национализм всегда приводит к тирании», — Н. Бердяев предвидел и это.

А началось так безобидно и даже весело: «Я р-русский весь! Меня родила Вологда…»

Когда давняя зародовская тема заполонила «комсомольский корабль» доверху (и Запад облаяли, который-де «задыхается от избытка ненависти», и корень всех бед отыскали: «мещанство оторвалось от национальной почвы»), Москва тревожно

заговорила о «дозволенном советском славянофильстве».

«Дозволили бить своих, чтоб чужие боялись», — невесело шутили в Союзе писателей, откуда, у всех на памяти, выносили почему-то помиравших один за другим «безродных космополитов».

Шутки замерли у всех на устах, когда смысл комсомольско-нутряного, от земли, напора разъяснила статья кандидата исторических наук С. Семанова.

Оказалось, по С. Семанову, подлинная и благородная революция в СССР произошла в… 1937 году, когда цвет русской науки и культуры был перерезан. «Теперь ясно, что в деле борьбы с разрушителями и нигилистами перелом произошел в середине 30-х годов, — сообщил он… — именно после принятия нашей Конституции (она была принята 5 декабря 1936 года. — Г. С.)… возникло всеобщее равенство граждан перед законом». «Эти перемены оказали самое благотворное влияние на развитие нашей культуры».

«Новый мир» А. Твардовского более не существовал.

Самиздат нокаутировал «истинно-русского» Семанова без промедлений. Напомнил ему, что именно в 30-х «благотворных» годах была уничтожена не только советская культура, но и та, о которой Семанов будто бы печется.

«Храм Христа Спасителя в Москве разрушен не в первые годы революции. Его спокойно, по плану, утвержденному Сталиным, снесли в тех самых благословенных 30-х годах. И храм Спаса-на-бору (XIV в., с перестройками XVI в.) внутри Московского Кремля, и Чудов, и Вознесенский монастыри (XIV–XV вв.) там же, и Красное крыльцо Грановитой палаты — все это было снесено тогда же, с благословения или по прямому указанию Сталина. При этом на месте Вознесенского монастыря был построен никому не нужный Кремлевский театр бездарной архитектуры».

Как же может С. Семанов, «ученый-историк», из солоухинской когорты «защитников памятников старины», датировать начало расцвета русской культуры 1937 годом?

«А вот может, — гневно продолжал автор самиздатской статьи, — и тем с головой выдает себя. Ибо, в сущности, нет ему дела ни до русского народа, ни до русской литературы, а важна и дорога ему идея русской великодержавности… Семанов, Чалмаев и прочие «неославянофилы» имеют полное основание питать признательность к Сталину… В ту пору великодержавный шовинизм был объявлен Сталиным единственной и незыблемо верной («вечные ценности») коммунистической идеологией, а всякое несогласие с ним — антикоммунизмом, антисоветчиной… И, по мановению пальца законодателя… черносотенцы, не имея

иной возможности защищать свои взгляды, с удовольствием устремляются внутрь господствующей идеологии, уютно устраиваются в ней и с течением времени ее перерабатывают».

Такого срывания с себя «коммунистических одежд» не вынесли руководители ЦК партии Суслов, Демичев и романовы. Прикрывая ладошками «срамные места» доктрины, обнаженные семановыми — чалмаевыми и самиздатом, они приказали приспустить на «комсомольском судне» государственный флаг великодержавия… Выпороли «козла отпущения» — редактора.

Однако тот же флаг продолжал реять над многими государственными издательствами, в частности над Военным и «Московским рабочим», публиковавшими одну за другой открыто погромные книги Ивана Шевцова. Над сереньким Домом АПН, который без устали громил Пражскую весну («Чехи сами во всем виноваты»).

Затрепетал стяг шовинизма и над клубом «Родина», занятым будто бы защитой памятников старины. Он расположился на Петровке, в глубине двора, этот клуб, неподалеку от Петровки, 38, Управления городской милиции; так сказать, под охраной властей. Здесь семановы в форме и без формы читали научные доклады о «национальной почве», о засилье инородцев в русской культуре, а Ленина величали не иначе, как Бланком, по фамилии одного из его дедушек иудейского вероисповедания. Само собой подразумевалось, что русские люди в русских бедах не виноваты…

Ах, как топали ногами на писательницу Мариетту Шагинян, которая раскопала в архивах существование дедушки Бланка! Сколько неповинных архивариусов, говорят, погнали с работы!

Гордость русской революции — и вдруг «на четвертушку» или даже пусть «на осьмушку» — Бланк!

Государственный флаг великодержавия полоскался не только над издательствами и клубом «Родина». «Истинно русская» «прививка» семановых-чалмаевых порой принималась и давала неожиданные плоды. Впрочем, плоды эти ожидались и выращивались исподволь. Иначе зачем бы огород городить!..

Диссидент и лагерник В. Осипов, объявивший позднее, что в лагере он пересмотрел свои взгляды на Джугашвили, возродившего русский национальный дух, взыскующий правды В. Осипов позвал всех: на вече! «Продолжить путеводную линию славянофилов и Достоевского».

Он начал выпускать в Подмосковье, где жил, как бывший зэк-антисоветчик, под надзором, «русский патриотический журнал «Вече».

Как мы знаем, самиздатовский журнал «Бумеранг» — того же

В. Осипова — был задушен без промедлений, как и «Синтаксис» и «Феникс». За «Хроникой текущих событий» охотился целый отдел КГБ, во всеоружии самоновейшей техники, вплоть до «лазерного» подслушивания; истратили сотни тысяч рублей, пока «злодеев» не изловили.

«Вече» выходило, начиная с 19 января 1971 года, три года подряд. Практически открыто. В. Осипов сообщил свой домашний адрес, чтобы слали рукописи.

ГБ была убеждена, конечно, что В. Осипов у них в кармане. Семь лет лагерей за плечами. Статус «поднадзорного». Парень на короткой сворке. Пусть экспериментирует, коль он «пересмотрел свой взгляд на Джугашвили», возродившего русский дух.

И В. Осипову дозволяют славить государство. Поскольку, по В. Осипову, «власть от Бога». Ругать, устами А. С. Хомякова, одного из основателей славянофильства, «гнилой Запад»: «Европеец, вечно толкующий о человечестве, никогда не доходит вполне до человека». Даже полемизировать с Лениным, не называя его: «Австрия была жандармом Европы, а не Россия». А уж плюнуть в сторону «Нового мира», как говорится, сам Бог велел: «…успех «Нового мира» был временным, не оставил вечных следов. В. Быков, В. Семин, В. Войнович, Ф. Искандер, Б. Можаев не спасли положения…». Тем более, выразить свое недовольство А. Солженицыным, который, оказывается, в «Августе четырнадцатого» унизил царских генералов. «С первого же сражения мелькают русские генеральские знаки, как метки непригодности, и чем выше, тем безнадежней, и почти не на ком остановить автору благодарного взгляда».

И ведь как хорошо устроилось! Не в казенном органе, не в каком-либо кочетовском «Октябре» или софроновском «Огоньке», а в диссидентском «Вече», которое размножают даже школьники по ночам (самиздат!), сказано, что кампания борьбы с космополитами была крайне важна для «раскрытия призвания России»; а провалили ее лишь потому, что «И. В. Сталин поручил борьбу с космополитизмом интеллигенции интеллигенции же…».

Не в утопленной официозной «Молодой гвардии» (заставь дураков Богу молиться, они себе и лоб расшибут!), не в органах ЦК партии — «Коммунисте» или «Партийной жизни», которые молодежь и в руки не берет, а в диссидентском «Вече» гневаются, что «в Большой Советской Энциклопедии нет даже упоминания об одном из крупнейших идеологов славянофильства К. Н. Леонтьеве», убежденном, что «Россию надо подморозить…»

Ведь и в самом деле надо…

За такое можно смотреть сквозь пальцы даже на восславление, в трех номерах «Вече», покорителя Средней Азии

царского генерала Скобелева.

И смотрели, сквозь пальцы, да вот беда — среднеазиаты поднялись на дыбы. Вначале прислали в «Вече» недоуменное письмо. «Вече» ответило им со всем своим великолепным — и дозволенным — великорусским хамством и презрением к инородцам: «Независимо от того, нравится нам это или нет, в отношениях между народами господствует закон силы, а не некая абстрактная справедливость».

А как же идея «дружбы народов»? И добровольного единства Союза Советских социалистических республик?.. В московские журналы стали приходить яростные всхлипы «номенклатурных» среднеазиатов, которых «Вече» поставило в дурацкое положение. Они — о вечной дружбе, а им — о силе… Всхлипы не печатали: журнала «Вече» не существует. Это как бы невидимка.

Печатать — не печатали, но, как водится, отправляли в ЦК партии.

А тут уж В. Осипов и вовсе нарушил «правила игры». Можно сказать, даже обеспамятовал. Обозвал секретарей ЦК партии, выпоровших редакцию «Молодой гвардии», вельможами: «Едва русские патриоты подали голос в официальном органе, как прозвучало вельможное «Пора кончать с русофильством!..»

ГБ тут же прекратила неудавшийся эксперимент. Начались у забывшегося зэка-вольноотпущенника обыски. Принялись готовить процесс и вскоре припаяли несчастному упрямцу второй срок.

Новый осиповский «бумеранг» вернулся к ним самим да ударил опекунов по голове. Досадно!.. Последний номер «Вече» был выше всех похвал, его в экстазе цитировали и в клубе «Родина»: «…Так уместно ли говорить о *русском* великодержавном шовинизме (подчеркнуто в рукописи «Вече». — Г. С.)? Полноте, русский ли он? Кто был его носителем? Насквозь пропитанный немцами бюрократический аппарат послепетровской эпохи? Джугашвили и Дзержинский? Не правильно ли называть его просто великодержавным? Или еще лучше — безликодержавным? Пусть же остальные горячие головы из украинцев, прибалтов, грузин и казахов, в слепоте своей понапрасну гневающиеся на Россию, получше присмотрятся к своим обидчикам — Россия ли их породила».

Все так хорошо устроилось, лучше не придумаешь, и вот — на тебе!.. Кто теперь такое скажет? Кроме шолоховской ростовской роты…

III. В шапочке, вывернутой наизнанку…

«…польский поход был первым походом не русского, а советского империализма. Покорными и многонациональными войсками командовали: русский Тухачевский, грузин Сталин, венгр Бела Кун, калмык Ока Городовиков, еврей Якир, а за их спиной стояли русский Ленин, поляки Дзержинский и Мархлевский, евреи Троцкий, Каменев и Зиновьев».

После выхода третьего номера «Континента», в котором прослеживалось «черное родословие сынов израилевых в наши дни», от Соломона к Болотину, я, по правде говоря, решил, что главный редактор В. Максимов практически осуществляет принцип свободы слова… Что ж, каждый имеет право на собственное мнение, в том числе и автор тусклого рассказа «Мой консультант Болотин» А. Суконик, выехавший из СССР от «черного родословия сынов израилевых» — по израильскому вызову.

Я ждал примечания. От редакции «Континента», которая заявит, как это водится, что «она не разделяет…» И оно появилось, примечание. Редакционное. Ответственное. В другом номере. И совсем по другому поводу — в ответ на статью известного польского журналиста Юлиуша Мерошевского, объяснившего, почему поляки боятся русского империализма. Вы с ним только что и познакомились, с примечанием: взгляды свои редакция прокламировала открыто. Выразив их, как видели, нужным подбором фактов, когда, скажем, для торжества идеи поляков Дзержинского и Мархлевского (поляки сами себя били!), вкупе с прочими «инородцами», вытолкали в передний ряд, и, допустим, истинно русских песенных героев революции («…Веди ж, Буденный, нас смелее в бой… Ведь с нами Ворошилов — первый красный офицер…»), русских песенных героев как-то «запамятовали», хотя именно конный корпус Буденного расписал все свои брички лозунгом «Даешь Варшаву!» «Запамятовали» и других героев — истинно русских.

Впрочем, спорить на эту тему унизительно. Как-то неловко объяснять «идеологам», что и поляки, и евреи, и калмыки и прочие нерусские «по крови» военачальники выступали в поход не как представители собственных «малых» народов, с которыми порывали порой демонстративно, а как деятели русской революции.

Только так их и воспринимали полвека и Восток, и Запад, кроме некоторых поверженных в боях «конногвардейцев его величества», которые остановились в своем осмыслении происходящего на уровне трактирного анекдота: «Чай Высоцкого, сахар Бродского, Россия — Троцкого…»

Перечислив всех дзержинских и мархлевских, диссидентский

журнал, по праву «старшего брата», завершает поучением: «Так что, как видим, уже сама авторская посылка («мы боимся русского империализма». — Ю. М.) таит в себе принципиальный изъян. Ибо смешивать русский империализм панславистского характера прошлого столетия и тотальный, ставящий себе целью мировое господство империализм советский, значит невольно подменять понятия…»

Насколько, в самом деле, легче было расставаться с жизнью польским повстанцам: их загоняли в сибирские рудники, стреляли и вешали «братья по крови»! Насколько охотней умирали горцы от славянской шрапнели генерала Паскевича, а среднеазиаты — от штыковых атак «орлов» генерала Скобелева, впрочем, как и калмыки и киргизы-пугачевцы — от руки суворовских чудо-богатырей; насколько все было иначе, поскольку их «замирял» не советский тотальный, а — «русский империализм панславистского характера…»

Виленский губернатор, говорят, сам литовцев порол. Розги в ведре мочил. По-отечески… Если б чехам такое счастье!..

…И все же, конечно, она существует, некоторая разница между «русским империализмом панславистского характера» и тотальным советским. Правда, одна-единственная. «Панславистский» наступал пешим строем. Артиллерия, обозы — конной тягой. Доскрипи-ка на телеге до Африки! До Вьетнама!..

Украина (Азов, Крым), Молдавия-Валахия, Ливония, киргизский город Верный — цели самые «дальноконные». Словечко это Ивана Грозного. Он скорбел душой, отец наш, что не вся земля под его копытами. Недостижим отгороженный Памиром Индостан и прочие «за морями, за долами» фантастические земли из русских сказок.

Дарданеллы и те остались голубой мечтой Империи.

Ныне — другие возможности. Транспортный самолет «Антонов-22», взлетевший под Москвой, в тот же день выгружает ракеты, танки, солдат в любом конце земли.

Словом, хорошо ли подменять понятия? Опорочивать русский империализм панславистского характера с его идиллически-деревенским тележным скрипом…

Едва вышел «Континент», открывший, что не русские, а, главным образом, сами поляки (влюбе с прочими «инородцами») брали Варшаву, как на всех остальных континентах развели руками.

Позвольте! А убийство поляков в Катыни? А предательство Варшавского восстания в 1943 году? А Никита Хрущев, примчавшийся в Польшу в 1956 году, чтобы унять рабочие волнения?

Все Дзержинские — Мархлевские давным-давно истлели! В большинстве своем с пулей в затылке…

Конфуз был велик: в следующем номере «Континента» появилась передовая, подписанная всей редколлегией и авторским «костяком» журнала:

«…мы — русские интеллигенты, с чувством горечи и покаяния обязаны взять на себя вину за все тяжкие грехи, совершенные именем России по отношению к Польше… все это несмываемые меты нашей *общенациональной* вины (выделено в передовой. — Г. С.), загладить которую — наш исторический долг и обязанность».

Горечь и покаяние были столь глубоки, что в очередном, шестом, номере к покаявшимся присоединился и Александр Солженицын:

«…Мы с вами знаем, что коммунизм не есть чье-либо национальное изобретение, но — органическая гангрена, заливающая все человечество… Наученные муками, не дадим нашим национальным болям превзойти сознание нашего единства!»

Итак, была допущена грубая ошибка. Она исправлена. Более ничто не помутит сознания…

Увы! В том же самом номере национального прозрения (с него, по заявлению В. Максимова, и начался по сути настоящий «Континент») журнал сердито корит на этот раз уже не единокровных поляков, а единокровных братьев.

Подумать только, чего захотели «братья по крови»: полной — украинцев, опубликовавших здесь «Хронику украинского сопротивления» независимости Украины! Да еще сетуют на то, что все деятели русского движения сопротивления «деликатно этот вопрос обходили…» И даже те, кто «с развязанными руками находится на Западе».

«Континент» выговаривает украинцам, едва сдерживая праведный гнев старшего брата: «…необходимо избрать совсем иную тональность разговора». Не вступать «в многовековые распри». «В это трагическое время, когда все, весь мир оказался перед смертельной угрозой…» и т. д. и пр. «Протянем же друг другу руку». Будем «искать путей» к единству.

А о праве Украины на независимость — ни слова. Даже в эмигрантских, паутинного веса, прожектах…

Третьего решения нет. Либо борьба за права человека. Либо — «единая и неделимая…», в которой «свободным» республикам разрешается пристраивать рядышком с флагом Державы еще и свой, декоративный.

Александр Солженицын разъясняет недвусмысленно. В том

же обращении о национальных болях, которым хорошо бы не дать «превзойти сознание».

> «Беспечной и безграмотной подменой слова «советский» на слово «русский» еще и сегодня относят преступления и новые замыслы мирового коммунизма к народу, пострадавшему от коммунизма раньше всех, дольше всех и, вместе со своими тесными братьями по горю, народами СССР, потерявшему от насилия шестьдесят шесть миллионов человек!»

«Тесные братья», как очевидно, здесь для счета. Мысль о другом. Не называйте, Бога ради, советских — русскими. Русские-то тут при чем? От «мирового коммунизма» (по официозно-советской интерпретации «от мирового сионизма и империализма») кто пострадал «раньше всех, дольше всех…»?

Тут-то и обнаружилось: на «Континенте» та же самая великорусская советская шапочка, только вывернутая наизнанку?..

Я считал глубоко аморальным постоянное взвешивание идеологами «Континента» на своих ладонях, чья беда тяжелее, чья боль глубже, а потери — невосполнимее. Кто выстрадал свою независимость, а кому — ни-ни! Достаточно пообещать братскую руку…

Крымско-татарский народ, уничтоженный только при транспортировке наполовину (погибло 48 %), а затем лишенный родины, пострадал как народ менее?

Крошечному кавказскому народу — месхам, выбитому и развеянному по Сибири и казахским степям, — легче?

Около сорока лет воевали за свою независимость курды. Сталин их высылал, как крымских татар. Брежнев снабжал оружием, а затем, когда выяснилось, что их горные районы нефтеносны, — предал. Уступил Ираку, который вырезает курдов целыми селениями.

Преданные всеми курды страдали как народ меньше? Не столь долго и не столь глубоко?

Не усмехнулся бы и тут великий Орвелл, услышь он, что все народы равны, но некоторые равнее других.

Забыли снять шапочку, господа идеологи? С изнанки она столь же непривлекательна.

Приезд на Запад Виктора Некрасова и Андрея Амальрика, освобождение Владимира Буковского и других героев сопротивления, бескомпромиссных противников национализма, привели, в конце концов, к полному развенчанию на Западе кровавых миражей великорусского «первородства», и

парадоксальной смычки на журнальных страницах его противоположных направлений.

И Андрей Сахаров, и Виктор Некрасов, и Андрей Амальрик, и Владимир Буковский уже оказали, не могли не оказать, своего влияния… В номере девятом «Континента» и Татьяна Ходорович, человек глубоко религиозный, и ее оппонент Леонид Плющ, оставшийся марксистом, с одинаковым отвращением относятся к «этической» установке советской Москвы: убийству в человеке человеческого…

> «…Это — моральное растление народа, ибо постоянная, грубая, беззаконная и безудержная брань именем большинства в адрес национального или интеллектуального меньшинства, лишенного возможности защищаться, неизбежно ведет к ожесточению и нравственной деградации общества».

Я почти физически ощущал, с каким трудом делал свои первые шаги «Континент», вытягивая ноги из засасывающих липких трясин вековой идеологии, подновленной лишь на словах: «первый среди равных…» С каким трудом разрушал стены духовной тюрьмы, которую почти каждый из советских эмигрантов, не ведая о том, унес с собой. В себе.

Я верил в будущее «Континента», хотя, право, была невыносима грация гоголевского Собакевича, с которой журнал двинулся в путь. Наступит брату-славянину на ногу, начинает извиняться, а в это время еще двоим ноги отдавит.

Заслуживала ли «походка Собакевича» столь пристального рассмотрения?

Заслуживала! Хотя, казалось бы, на первый взгляд, все это буря в стакане воды. Даже не в стакане, а в бумажном стаканчике.

К этой буре чутко прислушивалась думающая Россия, отравленная всеми социальными ядами.

Направленность современного националистического психоза «истинно-русских» в СССР замечена и на Западе. Еще в 1972 году главный редактор «Вестника РСХД» Никита Струве писал: «… Национальное самосознание необходимо для возрождения, но всякое соскальзывание на национализм, а тем более, — шовинизм грозит горшей бедой: на этой почве возможна (и даже намечается уже) смычка с государственным аппаратом. Национал-большевизм — одна из самых грозных опасностей завтрашнего дня».

Русского человека во всех национальных республиках связывали с Москвой. С неволей. С дороговизной. С бесхлебьем: у национализма свои просеки и точки отсчета…

Офицер пограничных войск, старый врач, проживший в Средней Азии почти всю жизнь, подробно рассказал мне, как менялось отношение к русским.

Чем была некогда русская погранзастава для дальнего аула? Спасением. Там был врач. И молодые ребята, которые мчались на помощь в случае горных обвалов или наводнений. Тем более при появлении из-за кордона охотников до чужих отар…

Бесчисленны гримасы русификации и — недоверия к нерусским. Кто о них не знает?! Недоверие к националам принимало порой такие формы, что даже меня оторопь брала, хоть чего не приходилось видеть.

Представьте себе длинный и узкий коридор из колючей проволоки, ржавой, красной. Оплетенный «колючкой» и сверху. Нечто вроде решетчатой «трубы» для диких зверей на пути к цирковой арене, зарешеченной в свою очередь.

Такая «труба» из ржавой колючки тянулась от таджикского аула до пограничной реки, откуда крестьяне испокон веку черпали воду. Приближаться к реке жители аула могли только по «трубе». Внутри нее.

Чтоб не сбежали. Из родного аула.

Конвойный закон: «Шаг вправо, шаг влево…» здесь, как видим, материализовали. Для облегчения.

— Иначе с ними нельзя, — сказал мне полковник, начальник отряда. — Как волка ни корми… Тут был случай…

Республики осознали «волчье» отношение. Ненависть к чужим клокотала и там, где ее никогда не было.

Никто не сомневался в чистоте помыслов авторов «Континента» — диссидента. Одного хотелось бы: чтоб додумывали они свои мысли до конца. Бесстрашно. Не позволяли «национальной боли превзойти сознание…» Не роняли бы вдруг фразы, которые подхватывает ненависть во всех углах земли.

Особенно фразы Александра Солженицына — на воле, в Цюрихе, утверждавшего, что великий народ привели к революции «инородцы», а также всякие полукровки и «четвертушки».

«Они! Они!.. — саркастически замечал в подобных «диспутах» Степан Злобин. — Во все века — от рюриковичей до кагановичей, а сами мы, народ-богоборец, за свою судьбу не в ответе, словно псих со справкой…»

Будто не Солженицыным, а Шолоховым написана «Справка», завершающая книгу «Ленин в Цюрихе». Как и Михаил Шолохов в свое время требовал во гневе раскрыть псевдонимы — в помянутой ранее погромной статье «Под опущенным забралом», — в солженицинской «Справке» скрупулезно раскрываются псевдонимы врагов отечества, в данном случае

«революционеров и смежных лиц»: «…Зиновьев (Апфельбаум)… Каменев (Розенфельд)…»; а ежели псевдонима нет, непременно добавляется: «поляк», «поляк из России», «эстонец из Таллина», «дочь генерала (украинца) и финской крестьянки»; и т. д. и т. п. Инородцы… Полукровки… «Четвертушки»…

«Не он?» Видно, каждый из нас создал в своем воображении своего Солженицына, рыцаря без страха и упрека.

Куда бы ни завели Александра Солженицына националистические тропы, Солженицын бессмертный отомстил за другого, смертного Солженицына, сторицей. Вбил советскому режиму в могилу осиновый кол.

Он останется с Россией, куда бы ни завели его отчаяние, бессилие, боль, которые нетрудно понять.

Жаль, бесконечно жаль ту молодежь в России, стремление которой противостоять произволу привело ее к государственным «неославянофильским» приманкам.

«Национализм так же разлагает нацию, как эгоизм — личность», — как же не сумели мы внушить ей хотя бы этого давнего прозрения Владимира Соловьева, крупнейшего философа России?

И «Молодая гвардия», и АПН, и тюремщики внесли свою лепту. Кого не смогли устрашить или купить, попытались, как видим, обмануть, подсунув под видом гуманного, уважающего-де все народы «неославянофильства» звериный государственный шовинизм «нового класса».

11. Новое поколение литературы

Сопротивления. Дети самиздата

Окончание

Пока советские кадровики и Клуб «Родина» разделяли жителей России, в том числе молодых диссидентов, на истинно русских, полукровок и инородцев, они, вовсе не думая об этих расистских игрищах, совершили подвиг, потрясший граждан социалистического государства. Вышли на Красную площадь, в защиту распятой Чехословакии. Спасли честь русской интеллигенции.

Это была первая в России — после 1927 года — политическая демонстрация протеста. За сорок лет первая, не запланированная райкомами КПСС.

Большая часть молодежи не попала в капкан национализма.

Судебный процесс над Павлом Литвиновым и его друзьями, поднявшими 25 августа 1968 года лозунги «За нашу и вашу свободу», «Свободу Чехословакии» и пр., широко известен. Поэтесса Наталья Горбаневская, прикатившая на «лобное место» своего ребенка в коляске — акт в России безумно храбрый, — подготовила и передала на Запад книгу «Полдень» — стенограмму нового террористического процесса над инакомыслием.

Несколько лет назад в Москве меня попросили взять секретарем молодого прозаика, которого власти хотят выслать как тунеядца. «Владимир Буковский», — записал я на календаре неизвестное мне имя. Однако секретарь Союза писателей генерал В. Ильин, повертев в руках поданную ему на подпись бумагу, метнул на меня быстрый взгляд. «Писатель имеет право на секретаря, если зарабатывает более трехсот рублей в месяц, — произнес он скороговоркой и поднялся. — Представите справку?»

Я был уже много лет опальным и такой справки представить не мог. Генерал Госбезопасности знал это…

Я набросал дома на листочке фамилии писателей «состоятельных» и вместе с тем готовых к риску. Увы, их можно было пересчитать по пальцам.

Наконец место Владимиру Буковскому удалось совместными усилиями отыскать.

Место отыскали, а защитить Володю Буковского не смогли…

Теперь Владимир Буковский, к всеобщей радости, на свободе, и он сам, в своих новых книгах, рассказал, как удалось ему сорвать дьявольский план всех этих снежневских — морозовых — лунцев, организаторов психтюрем для инакомыслящих.

Благодаря Володе остались жить и Плющ, и Горбаневская, а скольких миновала страшная чаша сия?!

А. Краснов-Левитин, трижды заключенный за религиозные убеждения в лагеря, писал, что Володя Буковский «отдает всю жизнь борьбе за правду, помощи страдающим людям, и в этом смысле он, неверующий, в тысячу раз ближе к Христу, чем сотни так называемых «христиан», христианство которых заключается лишь в том, что они обивают церковные пороги. И я, христианин, открыто заявляю, что преклоняюсь перед неверующим Буковским, перед сияющим подвигом его жизни».

Брошюра В. Буковского «Я успел сделать слишком мало», которая содержит и его выступление на суде, — самая дерзкая публицистика сопротивления. Хотя прокурор требовал максимального наказания, которое грозило Владимиру Буковскому, заболевшему в лагерях, — смерти, он не остановился перед тем, чтобы бросить в лицо своим палачам:

— …сколько бы мне ни пришлось пробыть в заключении, я никогда не откажусь от своих убеждений… Буду бороться за законность и справедливость.

И сожалею я только о том, что за этот короткий срок — 1 год 2 месяца и 3 дня, которые я пробыл на свободе, — я успел сделать для этого слишком мало».

…Привлечь внимание мира к советским психтюрьмам Володе Буковскому помогало несколько человек. Среди них Виктор Файнберг, который передавал ему из тюремной психбольницы копии медицинских документов.

Виктор Файнберг был единственным участником демонстрации на Красной площади, которого не судили. Во время ареста его так избили, крича: «Жидовская морда!», что его нельзя было показывать судьям. У него был расплющен ударом ноги в подкованном армейском ботинке нос, вместо бровей — кровавые раны… Коль нельзя судить, ясное дело: психушка…

В психтюрьме в знак протеста Виктор Файнберг голодал сто двенадцать дней. Его связывали мокрой простыней и насильственно кормили, всовывая резиновый шланг не в рот, а в ноздрю, чтобы было болезненней.

Три года продолжалась битва за его освобождение. Через три года, когда в борьбу за Виктора Файнберга включился академик Сахаров, а затем и весь мир, КГБ решил выпустить Виктора. Если он будет помалкивать, естественно… Виктора доставили под конвоем в институт Сербского; врачи, под белыми халатами которых угадывались погоны, перелистывая бумаги «излеченного», спросили его с утвердительной интонацией, чтоб понял, какого ответа от него ждут: он, конечно, не разделяет своих прежних заблуждений, ведь со времени событий в Чехословакии три года прошло?

Худенький, невысокий, в чем душа держится Виктор Файнберг понял, что погиб. Лгать он не умел. Совершенно. Ответил, тяжко вздохнув, внутренне прощаясь со свободой: «Со времени чешских событий действительно прошло только три года. А со времени подавления венгерского восстания двенадцать лет. А со дня вторжения Николая I в Молдавию и Валахию сто двенадцать лет. Но от этого все эти вторжения не перестали быть разбоем и оккупацией…»

Виктора было приказано упрятать в самую глухую психушку и «погасить личность»…

Широко известен в России сей медицинский термин. Это было кровной заботой социалистического государства — гасить личность.

Шигалев из «Бесов» Федора Достоевского перестал быть

литературным вымыслом. Он оказался русской действительностью. Девять десятых народа, по Шигалеву, «должны потерять личность и обратиться вроде как в стадо…

Я за Шигалева!.. Мы всякого гения потушим в младенчестве. Все к одному знаменателю, полное равенство».

Виктор остался жить только потому, что его полюбила женщина-психиатр, к которой его доставили как опасного и неизлечимого больного. Позднее она стала женой Виктора.

Виктор и наладил дополнительный «транспорт» документов-экспертиз, взволновавший весь мир. Кроме разве что Всемирного конгресса психиатров, который решил… «не вмешиваться в политику…»

Я говорю об этом без страха за судьбу молодоженов: и Виктор, и его жена ныне вне пределов Советского Союза, я был счастлив увидеть Виктора на пороге своей эмигрантской квартиры.

Владимир Буковский и Виктор Файнберг своим героизмом, сердечностью, обаянием, покорявшими даже конвойных солдат, которые передавали «на волю» их пакеты с медицинскими «экспертизами», открыли собой целый поток документальной литературы, — в эти годы она окончательно вытеснила поблекшую прозу профессиональных литераторов.

Семидесятые годы — время документов. Протоколов, открытых писем, стенограмм — фактов, изобличающих режим, идущий под красным флагом к нацизму…

Думаю, самым философски глубоким и талантливым документом этих лет являются «Дневники» Эдуарда Кузнецова, переброшенные им за колючую проволоку мордовского лагеря.

Я приступаю к разговору о нем и его «Дневниках» с особым чувством: мы все обязаны свободой ему и его друзьям, решившимся на безумный шаг. И евреи, и русские, и немцы Поволжья. Почти миллион вырвавшихся из страны «победившего социализма…» А уж писатели тем более. И я, и Виктор Некрасов, и Владимир Максимов, и Александр Галич, и Андрей Синявский, отпущенный, как он писал, «под сурдинку», вместе с евреями… И все, кто приедут после; кто скажет о России свое, выстраданное, то, что в противном случае пропало бы. Не каждый посмел бы писать в лагере, как Эдуард Кузнецов. И — отдавать в печать, находясь в руках мордобийц. В карцере. Порой безвылазно.

Эдуарда Кузнецова и его друзей судили за попытку захвата самолета. За надежду улететь их СССР.

Однако надежды этой у него не было.

Кузнецов знал, что их «повяжут на аэродроме». Для него лично, бывшего зэка, участие в массовом рывке к границе —

самоубийство, последний вскрик затравленного…

Но где он, другой выход?..

«Когда нет легальных возможностей пробиться к человеческому существованию, — пишет Э. Кузнецов, — узаконенное беззаконие может быть взорвано только актом самозабвенного безумия… Он всегда взрыв отчаяния».

Эдуард Кузнецов заметил слежку, он уж твердо знал, что будет далее. И — не отступил от «провального» замысла. «Захват самолета — или одно лишь покушение на таковое, если оно не останется тайной — не только великолепный пинок в мозолистую совесть кремлевских демагогов, публично отрицающих сам факт эмиграционной проблемы, но и шанс на свободу для многих тысяч людей».

Так он утверждал в спорах с друзьями. И — остался верен себе…

Они кинулись на колючую проволоку, эти ребята, и — остались на ней висеть, как пехотинцы, напоровшиеся на кинжальный огонь пулеметов… Сколько раз я видел на войне такое! Под Москвой, у Старой Руссы. По спинам павших прошли остальные.

Об этом его книга. Эпитеты, вроде «мозолистая совесть», «горчичное зерно отстраненности…» (о позиции адвоката), лаконичные портретные характеристики, умение воспроизводить все виды сленга, от казенно-начальственного пустословия до «блатной музыки» («Откинулся я от хозяина, выпуливаюсь на свободку…»), надеюсь, дают представление об этой глубокой, ироничной, афористичной прозе.

Тем не менее ее встретили подчас гримасой неодобрения…

Еще бы! Для русских расистов Эдуард Кузнецов — еврей. Для израильских националистов — русский. Какие только усилия я не предпринимал, с какими только чиновниками не разговаривал, спорил, ругался, его «Дневники», по крайней мере до приезда в Израиль Сильвы Залмансон, так и не были переведены на иврит.

В русской эмигрантской прессе, в свою очередь, обличения Э. Кузнецова воспринимались как антирусские выпады.

Нет, националистам он не угодил. Он разделывается с ними походя:

> «Пещерная боязнь чужого и вражда к нему, как к олицетворению непонятного и, следовательно, потенциально-враждебного? — Конечно! *Экстраполяция на чужого всего в себе мерзкого*? — Само собой! Самый доступный способ самоутверждения? — Да» (выделено мною. — Г. С.).

Эдуард Кузнецов, как и Андрей Амальрик и Валентин Мороз, сумел подняться к вершинам философского осмысления происходящего:

> «…Если российский пролетариат венчает, по заверению Ленина, мировую историю, то руки без мозолей и очки под шляпой презираются узаконенно. Но главное — неприятие личности, не умещающейся ни в общежитии, ни даже в алюминиевых чертогах будущего…»

Страшная философская парабола — от Чернышевского до Эдуарда Кузнецова и его друзей по беде, — увы, выверено точна…

…Как и Амальрик, Кузнецов свидетельствует о деидеологизации режима. Он непрерывно возвращается к этой теме, чреватой, может быть, гибельными последствиями и для Востока, и для Запада. Как футуролог он понимает, что Кремлю «одним подновлением старых идолов не обойтись. Нужен взрыв патриотизма, длительный накал страстей…»

Тут все сгодится: и колониальные войны под флагом «борьбы за мир», и внутренняя резня: «…Погромные настроения не локализованы ни пространственно, ни во времени, можно говорить о затухании погромной пандемии и ее вспышках, но не об избавлении от нее».

Он пришел к выводу о полной безыдейности режима, Эдуард Кузнецов, своими тюремными путями. «ЧК теперь далеко не та, что раньше… В кабинете следователя теперь уже не услышишь о высоком счастье быть советским гражданином, о светлом будущем человечества… ныне в следовательском кабинете тебя обрабатывают, как на кухне коммунальной квартиры: «Плетью обуха не перешибешь». «Зачем высоко летать? — живи себе потихоньку…»

Трезвый, измученно-язвительный, он не идеализирует и инакомыслящих. Он замечает, что «сторонники всяческих свобод крайне нетерпимы — особенно в своей среде». Совсем с другой стороны подходит он к безнадежному выводу братьев Стругацких, подсадивших своего героя — инакомыслящего Переца на «тронное место…» Ему противны «познавшие единственную истину…» Он шире и мудрее всеведающих проповедников, которые, как Крепс из максимовских «Семи дней творенья», душевно чистый и неглупый Крепс, клеймят оппозиционеров, не разделяющих их религиозно-мистической веры: «Мы не писали подпольных протестов, не пытались решать больных вопросов в легальных журнальчиках на потребу интеллигентному нашему обывателю, а в Казань все-таки гонят нас. Нас, а не титулованных

либеральных борцов, состоящих на жалованье у государства! А ведь мы лишь несем свет и слово Божье!»

Как известно, писательский талант нередко шире верований, прокламируемых писателем. Вряд ли хотел В. Максимов подчеркнуть стремление своего героя к самоутверждению. А подчеркнул. Не ушел от жизненной правды.

Эдуард Кузнецов ненавидит не фрондеров: он, как Сотников Василя Быкова, познал, что не вправе «требовать от других наравне с собой».

Сотников постиг это в последние мгновения жизни. Что ж, и Эдуард Кузнецов, сидевший в камере смертников с Рыбаком-Ляпченко, прошел через мгновения схожие…

Он ненавидит не фрондеров, а «играющих во фронду».

> «…суть их в выработанном десятилетиями умении чуять ту черту, перейдя которую, плюхаешься в дела (за которые сейчас сажают). Если сегодня смотрят в некотором смысле сквозь пальцы на самиздат, он — самиздатчик, если завтра за самиздат начнут сажать, он переключится на анекдоты, а послезавтра ограничится либеральным кукишем в кармане…»

Начавшие вместе манифестациями на площади Маяковского Эдуард Кузнецов и Владимир Осипов разошлись. Осипов, прокламируя возвращение к «русским истокам», как известно, приемлет любое государство, поскольку власть — от Бога!.. Кузнецов от государства не оставляет камня на камне: «…сама суть (государства. — Г. С.) на крови, лжи и бездушии».

Диктатура — та же мафия, только куда могущественнее. Потому прежним мафиям — каюк. Бабель еще не мог сформулировать, как помним, отчего погиб Фроим Грач, главарь одесских воров. Время не приспело для обобщений глобальных. Эдуард Кузнецов торопливо записывает в лагере, прячась от чужих взглядов, что диктатура «считает организованную преступность своей прерогативой и не терпит конкуренции».

Владимир Осипов апеллирует к национальным корням. Эдуард Кузнецов не видит в них спасения: «Горстка мужественно мыслящих оппозиционеров — явление столь же характерное для России, сколь и чуждое ее национальным корням, — погоды не делает и не сделает, очевидно». «Мы все из Азии — кто вышел, кто остался. Азия — подсознательное… Толпа — всегда Азия».

Они разошлись во всем, два мужественных диссидента и литератора, Владимир Осипов и Эдуард Кузнецов. Кто из них более прав в своих идеалах? В какой мере прав?

Споры продолжаются, споры останутся. У националистов свое

восприятие мира — «пупковое». Глухое к доводам.

Если исторически Россия когда-либо сможет уйти от татаро-монгольского ига, которому конца нет, то, вероятно, только укреплением правосознания, которое перечеркивает фетиши: «первые среди равных», «птица-тройка», мессианство, заманчивое мессианство Достоевского с его апелляцией к народу-богоносцу. Потому, наверное, так и укоренилась сталинская формула, что паразитировала на «вечных ценностях…»

Религиозное покаяние? Каждый вправе верить и не верить!.. Внуки не виноваты в заблуждениях отцов. Можно каяться и не каяться, а вот отделить суд от правителей — непременно. Хватит и того, что существует уголовное и гражданское право. «Телефонное право», т. е. звонки «сверху», — это даже не XVIII век. Пожалуй, XVI, хотя телефона тогда не было. Прибывали самолично и таскали неслухов за бороду.

Думаю, последователи академика Сахарова правы.

И тем не менее, смеет ли кто забыть великую правду Александра Герцена, сказавшего некогда о западниках и славянофилах:

> «…Мы, как Янус или как двуглавый орел, смотрели в разные стороны, в то время как сердце билось одно».

Они были детьми литературы сопротивления, и самиздата, и тамиздата писателей и философов, эти молодые диссиденты, и, можно сказать определенно, переросли своих учителей. И героизмом, и последовательностью, а порой и глубиной и бесстрашием мысли.

Писатели, сформированные, т. е. разобщенные сталинским временем, никогда бы не решились на коллективный жертвенный подвиг «Хроники текущих событий…»

Молодежь — решалась. Отважная Наталья Горбаневская положила ей начало. Весной 1968 г., «Пражской весной», как окрестили это время надежд. Горбаневская организовала издание «Хроники», деятельность ее во многом определила стиль, структуру и принципы «Хроники», как поистине хроникерским стилем обнародовала сама «Хроника» после отъезда Натальи Горбаневской на Запад.

Россия перестала быть безъязыкой. Надолго ли?..

Героизм молодежи, взращенной и литературой, и философией сопротивления, личным подвигом писателей и ученых, прежде всего подвигом академика Андрея Сахарова, оказал и обратное воздействие — на отнюдь не молодых профессионалов, которые, в свою очередь, начали безоглядно смело выступать в защиту этой молодежи. Резче, язвительнее

стала публицистика Л. К. Чуковской, всенародно отхлеставшая Шолохова. Определеннее, четче проглядывала позиция и Сахарова, и Твердохлебова, и Юрия Орлова, и Григория Померанца, блистательного философа-эссеиста.

Глубже, раскрепощеннее стала проза подцензурная, прежде всего проза таких широко известных писателей, как В. Конецкий, А. Битов; да и сама повзрослевшая молодежь, дитя самиздата, удивляет мир новыми произведениями. Увы, тоже написанными кровью, как записки А. Марченко «От Тарусы до Чуны», и многих других — на украинском, литовском, грузинском и прочих языках, не желающих быть вытесненными.

Начались и другие процессы, почти не изученные.

Кроме книг открытого протеста и глубинного и открытого анализа, всегда существовали книги писателей «осторожных». Темы их как бы локальны: разлад в семье, равнодушие к домашним («Обмен» Ю. Трифонова), черствость крестьянских детей, бросивших мать в час смерти (В. Распутин). Писатели просто показывают: вот как бывает…

То, что в «локально-семейной» литературе недописано, читатель додумывает сам: он, советский читатель, прошел школу серьезную…

Впрочем, Ю. Трифонов и сам шагнул навстречу этому осиротевшему, потерявшему многих любимых авторов читателю; решился прямо и смело сказать о том, что, видно, мучило его всю жизнь (повесть «Дом на набережной»). Трифонова обругали; правда, осторожно обругали, бережно, а позднее вдруг стали славить, награждать заграничными командировками, «подымать» в советские классики. Бесстилевая проза Юрия Трифонова, с полунамеками, полураскаянием героев, выверенная, «сбалансированная» цензурными купюрами, неожиданно оказалась полезным громоотводом: пусть уж лучше советский читатель рвет из рук Трифонова, а не Солженицына или, не дай Бог, Зиновьева!

И Юрий Трифонов, и Валентин Распутин выходили большими тиражами. Читатель нарасхват брал и последнюю книгу Ю. Трифонова «Старик», и повести «Прощание с Матерой», «Живи и помни» В. Распутина. Немолодой, умудренный, поздно начавший сибиряк Распутин был в те годы надеждой литературы. От него ждали многого, и он, несомненно, оправдал бы надежды, если бы… Но об этом позднее.

Валентин Распутин — явление в литературе нравственного сопротивления настолько необычное и серьезное, что на нем я обязан остановиться особо.

Валентин Распутин привлек к себе внимание в 1972 году,

когда юбилейные литавры били на всех углах, когда в недрах ЦК партии был задуман далеко идущий план изгнания из страны писателей-инакомыслов…

Не прошло и года, затолкали в самолет Александра Солженицына, вышвырнули за границу Александра Галича, Владимира Максимова и других. Особо ликовали красносотенцы, когда русского писателя удавалось изгнать «по израильской визе»: вот, оказывается, куда его тянет…

Мир заговорил о литературном погроме в СССР.

Как воздух, понадобился «свой» талант, исконно русский, из деревенской глубинки, не чета городским смутьянам и полукровкам, всяким Гроссманам, Войновичам, Бекам, «Солженицерам»…

Валентин Распутин, едва появившись, был подхвачен самыми реакционными, порой открыто сталинистскими органами — журналом «Наш современник» (духовным братом журнала «Октябрь»), издательством «Молодая гвардия», органом ЦК комсомола: дорого яичко к христову дню…

Все повести Валентина Распутина о жизни и смерти. В «Последнем сроке» умирает старуха Анна. К ней прибыли дети — попрощаться. Увидя детей своих, она словно воскресает, даже из дома пытается выйти… Дети чувствуют себя почти обманутыми. У них дела, служба, они все бросили, и на тебе!.. Дочери Люся и Варвара сразу же уезжают, благо подвернулся рейсовый пароход, — старуха в ту ночь и умирает, добитая бездушием собственных детей.

Еще большая трагедия — смерть Настены из повести «Живи и помни». Настена, молодая жена солдата-дезертира, выдала, не желая того, мужа, который прячется неподалеку от деревни. Забеременела от него. Не в силах более обманывать и заметив, что за ней следят, она бросается за борт лодки в Ангару и тонет.

Сам Распутин говорит о том, что повесть написана ради Настены. Вековая тема женской преданности, жертвенности, которая выше и сильнее государственных установок и законов, — именно эта тема вдохновила его.

Советская критика увидела в книге только то, что ей было нужно: разоблачение солдата-дезертира — тему для милитаристского государства важнейшую. Она и внимания не обратила на то, что дезертиром солдат Андрей Гуськов стал благодаря неслыханной жестокости военных властей. Андрей провоевал почти всю войну, был трижды ранен. После последнего, тяжелого ранения едва выжил, просил, умолял отпустить его хоть на недельку домой: не может больше.

С солдатом не посчитались. Тогда отчаянный сибиряк поехал

домой без разрешения. Он бы и вернулся на фронт тут же, если б не знал, что ждет его за отлучку пуля.

Не причины, а следствия стали предметом обсуждения в советской прессе — естественно, повесть, карающая дезертира, была поднята на щит, и почти безвестный автор обрел славу…

Журналы ждали его книг. Официальная критика подбадривала долгожданный «от земли» талант: уж В. Распутин не в пример «инакомыслам», знает, куда ступить и как ступить…

Он написал — «Прощание с Матерой».

«Русская литература возникла по недосмотру начальства», — заметил как-то Салтыков-Щедрин.

Старуху Анну предают ее дети. Старуху Дарью (из повести «Прощание с Матерой») предает государство, еще ранее отнявшее у нее сына.

Дарья, пожалуй, — это та же Анна, но увидевшая больше, мыслящая глубже и беспощаднее. За Дарьей стоит автор, который знает, что, оступись он, пощады ему не будет, как не было пощады солдату Андрею. А что взять с Дарьи, «самой старой из старух», которая и лет своих в точности не знает…

Историзм мышления отсутствует в трудах советских ученых-историков и литературоведов. Исключения редки. Кроме Аркадия Белинкова, еще два-три славных имени: Александр Лебедев («Чаадаев»), Натан Эйдельман («Лунин»)…

Некоронованные короли современной историко-биографической литературы не пришлись, правда, ко двору советскому и, по сходной причине, ко двору антисоветскому: прозрачно сопоставляя век нынешний и век минувший, для одних — глубоко оскорбили век нынешний, для других — век минувший.

Историзм мышления — совсем иной — ожил… в старухе Дарье с острова Матера.

Сюжет книги Валентина Распутина, казалось бы, прост.

Матере, родине Дарьи, предстоит исчезнуть. Новая гидростанция поднимет уровень воды, утонет многое, в том числе и Матера, на которую прибыли рабочие — готовить деревню «под дно». Они начали с кладбища: мысли о том, что рядом живут дети и внуки похороненных, у них и не возникло. Им напомнила об этом старуха Дарья.

«Марш — кому говорят! — приступом шла на мужика Дарья… Могилы зорить… — Дарья взвыла: — А ты их тут хоронил? Отец, мать у тебя тут лежат? Ребяты лежат? Не было у тебя, поганца, отца с матерью. Ты не человек. У какого человека духу хватит?!»

Рабочий ссылается на распоряжение санэпидстанции, это

привело в ярость всех прибежавших на кладбище.

«Какой ишо сам — аспид — стансыи?!

— Че с имя разговаривать — порешить их за это тут же. Место самое подходявое…

— Зачем место поганить? В Ангару их… Ослобонить от них землю. Она спасибо скажет».

В Сибири, в дальних деревнях, случается, убивают вора; кончили бы и рабочих самосудом, да подоспело начальство, объяснило, что на этом месте разольется море… «Туристы и интуристы поедут… А тут плавают ваши кресты…»

«— А вы о нас подумали? — закричала Вера Носарева. — Я счас мамину фотокарточку не земле после этих твоих боровов подобрала. Это как?.. Можно было эту очистку под конец сделать, чтоб нам не видать?»

Вместе с этой подробно выписанной сценой вошла в книгу и зазвучала главная тема книги: в этом огромном социалистическом море исчезло, утонуло человеческое начало. Социализм строился, попирая живых и мертвых.

Эта тема всесторонне исследуется автором. Коснусь аспекта, на Западе не замеченного.

«Где-то на правом берегу строится уж новый поселок для совхоза, в который сводили все ближние и даже не ближние колхозы», — пишет автор. — Хочет в совхоз и старый кузнец Егор. Не берут его туда.

«— Совхоз выделяет квартиры для работников, а ты какой работник, — вразумляет его председатель поселкового совета Воронцов.

— Я всю жизнь колхозу отдал.

— Колхоз — другое дело. Колхоза больше нет».

Около половины областей СССР слили ныне свои колхозы в совхозы: так, по мнению партийных властей, удобней руководить. Совхоз — предприятие государственное. Никакой колхозной демократии, бурных собраний, криков. Дан приказ — и все… Но в совхозе — штатное расписание, зарплата. Он берет не всю деревню, а часть ее. Порой небольшую часть. Скажем, из двух тысяч колхозников — четыреста. Поздоровее которые… А куда же остальные? Ведь им тоже земля дана навечно. Государственным актом.

А куда хотят…

Беспрецедентное в истории обезземеливание крестьян «не заметили» ни советская литература, ни Запад. А с земли согнали миллионы, возможно, десятки миллионов, — впервые об этом удалось сказать Валентину Распутину: «Колхоз — другое дело. Колхоза больше нет…»

Новые совхозные дома построены почему-то на северной стороне сопки, в пяти километрах от будущего берега. Начали переселенцы в подпол картошку ссыпать, а в подполе вода.

«Дак почто так строились-то, — недоумевает Дарья. — Пошто допрежь лопатой в землю не ткнули, че в ей?

— Потому что чужой дядя строил, — отвечает Павел, единственный оставшийся в живых сын ее. — Вот и построили…»

Старики еще не верят, что их вот так, за здорово живешь, выкинут из родных мест. «Может, только пугают», — замечает кто-то из старух.

«— Че нас без пути пужать? — возразила Дарья.

— А чтоб непужаных не было…»

Плачет старый кузнец Егор. Его пытаются утешить. Он только головой машет:

— А как мне не плакать! Как мне не плакать!..

А как воспринимает перемены второе поколение, грамотное, видевшее мир? Для этого поколения Матера, казалось бы, не единственный свет в окошке.

«Приезжая в Матеру, он (Павел) всякий раз поражался тому, с какой готовностью смыкается вслед за ним время: будто никуда он из Матеры не отлучался… Дом у него здесь, а дома, как известно, лучше… Приплыл — и невидимая дверка за спиной захлопывалась… заслоняя и отдаляя все последующие перемены.

А что перемены? Их не изменить и не переменить…»

Здесь, на мой взгляд, и начинается скрытое расхождение писателя Валентина Распутина с писателем Федором Абрамовым, возможно, столь же талантливым и чутким к человеческой боли…

Ужасна действительность, воссозданная в романах и повестях Федора Абрамова. Вологодская деревня голодает, вырождается. Однако и писатель и его герои живут надеждой на перемены.

Не то, как видим, у сибиряка Распутина. «А что перемены? Их не изменить, не переменить. И никуда от них не деться, — обреченно размышляет Павел Пинегин, сын Дарьи. — Ни от него, ни от кого другого это не зависит».

Бывший солдат-фронтовик Павел говорил себе: «Надо — значит, надо…»

Сегодня сибирский крестьянин Павел не может согласиться с этой привычной формулой жизни, с бездумным «надо». «В этом «надо», — продолжает автор, — он (Павел) понимал только одну половину, понимал, что надо переезжать с Матеры, но не понимал, почему надо переезжать в этот поселок… поставленный так не по-людски и несуразно, что только руками развести… Поставили — и хоть лопни!»

Приходят мысли и куда более еретические: а нужна ли была

сама Великая Стройка? Коль несет не только добро; коль так мучит людей…

«Вспоминая, какая будет затоплена земля, самая лучшая, веками ухоженная и удобренная дедами и прадедами и вскормившая не одно поколение, недоверчиво, тревожно замирало сердце: а не слишком ли дорогая цена?..» Тем более, оказалось, дикая и бедная лесная землица не родит хлеба…

Зная, что СССР вот уже столько лет покупает хлеб, где только может, нетрудно понять растерянность Павла. Боится Сибирь голодной участи Вологды…

И вместе с тем Павел… завидует молодежи, которой «и в голову не приходит сомневаться. Как делают — так и надо. Построили поселок тут — тут ему и следует стоять… Все, что ни происходит, — к лучшему».

Философия вольтеровского Панглоса, и в минуту насильственной смерти твердившего: «Все к лучшему в этом лучшем из миров», стала подлинной бедой России. Да и не только России, бедой всего мира, на который могут бросить эту молодежь, отученную от сомнений.

Как относится к молодежи Валентин Распутин? Он презирает паренька, которого записали Никитой, а все, даже мать, называли Петрухой, — за никчемность, Петруха первым сжег свой дом, оставив мать без крова, а потом с радостью пошел в профессиональные поджигатели: много деревень на Ангаре в ту пору надо было сжечь, развеять по ветру.

Автор с откровенной иронией относится к Клавке Стригуновой, которая твердила, что давно надо было утопить Матеру. «И ждала, не могла дождаться часа, чтобы подпалить отцову-дедову избу и получить за нее оставшиеся деньги…»

Но вот явился из города Андрей, сын Павла. Уж и в армии побывал, и на заводе поработал. Статным стал парнем, крепким, уверенным в себе. Герой вполне положительный.

Однако автор не с ним. Сомнения в этом, пожалуй отпадут, если задержаться на одном абзаце, в котором описывается отъезд Андрея. Да не куда-нибудь, а на Великую Стройку. Про эту стройку газеты пишут. Мол, передний край коммунизма. Хочется Андрею на передний край коммунизма. Правда, именно этот «передний край» и утопит Матеру, да что с того…

«Утром, в отъезд, Дарью обидело, что Андрей стал прощаться с ней в избе, не хотел, чтоб она проводила его до лодки… Но сильней и больней этой обиды была другая, которую и назвать нельзя, потому что нет для нее подходящего слова. Ею можно только мучиться, как мучаются тоской или хворью… Она помнила хорошо: со вчера, как приехал, и по сегодня, как

уезжать, Андрей не выходил никуда дальше своего двора. Не прошелся по Матере, не погоревал тайком, что больше ее никогда не увидит, не подвинул душу… ну, есть же все-таки, к чему ее в последний раз на этой земле, где он родился и поднялся, подвинуть, а взял в руки чемоданчик, спустился ближней дорогой к берегу и завел мотор.

Прощай и ты, Андрей. Прощай. Не дай господь, чтобы жизнь твоя показалась тебе легкой».

Оказалось, что и бездумный Петруха, пьянчуга и пустельга, и обстоятельный и идейный Андрей, положительный герой советской прозы, скроены на одну колодку. Нет у них корней. Ничего им не дорого…

Незадолго до своего торопливого отъезда Андрей спрашивает бабку свою: отчего она всех жалеет? «Ты говорила: маленький он человек. Слабый, значит, бессильный или что?»

Не может поверить в это Андрей, выпытывает у бабки, что она там бормочет, и начинается тот философский разговор, который был оборван в русской литературе более чем полвека назад. В какой-то мере с легкой руки М. Горького, еще на заре революций провозгласившего: «…Человек!.. Не жалеть… не унижать его жалостью…», «Правда выше жалости…»

Впервые зазвучала как естественная потребность тема жалости. Крестьянской, христианской жалости.

«А как его, христовенького, не жалеть», — говорит Дарья… «Какой был, такой и есть. Был о двух руках-ногах, боле не приросло. А жисть раскипяти-и-ил… страшно поглядеть, какую он ее раскипятил… Он думает, он хозяин над ей, а он давно-о-о уж не хозяин… Пуп вы щас не надрываете — че говорить! Его-то вы берегете. А что душу свою потратили — вам и дела нету. Ты хошь слыхал, что у его, у человека-то, душа есть?.. Машины на вас работают. Но-но! Давно ж не оне на вас, а вы на их работаете — не вижу я, ли че ли?..

Она, жизнь ваша, ишь какие подати берет: Матеру ей подавай, оголодала она. Однуе бы только Матеру?! Схапает, помырчит-пофырчит и ишо сильней того затребует. Опеть давай. А куда деться: будете давать. Иначе вам пропаловка…

Путаник он несусветный, человек твой. Других путает — ладно, с его спросится. Да ить он и себя до того запутал, не видит, где право, где лево. Как нарочно, все наоборот творит.

А сколь на его всякого направлено — страшно смотреть. И вот он мечется, мечется… А ишо смерть… Как он ее, христовенький, боится! За одно за это его надо пожалеть…»

Вместе с монологом старухи Дарьи, изредка перебиваемым самоуверенными репликами Андрея, входит в книгу еще одна

тема России: отсутствие преемственности, опыта духовной жизни, традиций. Все срезано. Так срезают на покосе траву.

И потому нестерпима горечь Дарьи, остра ее боль:

«И кажется Дарье: нет ничего несправедливей в свете, когда что-то, будь то дерево или человек, доживает до бесполезности, до того, что становится оно в тягость…» К чему искать какую-то высшую правду, если проку от тебя нет сейчас и не будет потом. «Правда в памяти. У кого нет памяти — у того нет жизни».

Валентин Распутин, как видим, разошелся не только с Федором Абрамовым, герои которого жили надеждой на перемены. Но и с другим талантом, рожденным Вологдой, — Василием Беловым. Старики Белова — и Алеша Смолин, и Авинер Козонков — сетуют на людскую неправду. А где она, их собственная правда?..

В отличие от В. Белова В. Распутин и еще несколько писателей помоложе ищут точку опоры в «крестьянской старине»; в ее моральных твердынях… Как обессилевшие пловцы, они пытаются нащупать твердую почву под ногами, — процесс этот ныне столь значителен и противоречив, что, безусловно, требует специального изучения: тропа ведет к духовным сдвигам глубинной России…

Валентин Распутин отыскал свою точку опоры. В старухе Дарье.

Однако вся мудрость Дарьи, весь ее духовный опыт не нужны строителям новой жизни, как не нужен и остров с богатой, плодоносной землей…

Книга сразу выходит за рамки «крестьянской темы» и даже темы России и становится общефилософской, общечеловеческой.

Общечеловеческой правды в советской литературе, как известно не существует. Она обругана там как «абстрактный гуманизм». Царит правда классовая… Сибирская старуха Дарья выражает самые сокровенные мысли Распутина. Архаичный язык Дарьи, как и язык всей повести, также заслуживает особого исследования. Язык как самозащита таланта, а не только как характеристика героев, скажем, крестьянина, заметившего в сердцах библиотекарше, которой Матера не дорога: не на земле работала, а всю жизнь «по читальням мышковала».

Автор, вместе с Дарьей, ищет правды. В чем же она, правда?

А в том, что вся Россия — потоплена: под водой народная память, традиции, стремления, милосердие…

Не щадит автор даже Павла — сына Дарьи, хотя он лучше других.

«После войны за долгие годы он (Павел) так и не пришел в себя, и мало кто из воевавших, казалось ему, пришел…» Все

делают люди, что надо, но «как бы после своей смерти или, напротив, во второй раз, все с натугой, привычностью и терпеливой покорностью».

В последние дни Матеры это проявилось особенно остро:

«Павел со стыдом вспомнил, как он стоял возле догорающей своей избы и все тянул, тянул из себя, искал какое-то сильное надрывное чувство — не пень ведь горит, родная изба — и ничего не мог вытянуть и отыскать, кроме горького и неловкого удивления, что от здесь жил. Вот до чего вытравилась душа».

Ну, а кто же тогда во главе жизни? Кто командует, грозит, топит? Председатель поселкового совета Воронцов. По имени-отчеству его величает только Петруха. Остальные — Воронцов да Воронцов…

Знакома читателю эта фамилия — Воронцов. Писатель Павел Нилин, в своей широкоизвестной повести «Жестокость», дал ее главарю бандитов. Воронцов убивал и правого, и виноватого. Глумился над сибирскими крестьянами, среди которых прятался, донимал их поборами.

И вот снова, двадцать лет спустя, вынырнула в книге сибирского писателя памятная фамилия. Случайно ли?

Случайных фамилий, по моему убеждению, в книге нет. Вместе с Воронцовым прикатил на Матеру начальник, который топит не одну лишь Матеру. Десятки деревень, кладбищ, лучшие поля. Начальник в соломенной шляпе, отродясь не носили их сибирские мужики, и — дважды повторяет автор — «цыганистого вида». Воронцов называет цыганистого «товарищ Жук».

Фамилия Жук России хорошо известна. Ее можно прочитать, в частности, возле стеклянных дверей высотного здания, вознесшегося над Москвой у метро «Сокол». Здесь размещается головной, или центральный институт по проектированию гидроэлектростанций. Институт этот имени Жука.

Покойный профессор Жук — мозг и душа советского гидростроительства. Десятки крупнейших гидростанций спроектированы им и его учениками.

Думаю, ему и предназначен этот прощальный «поклон»… Лично от автора. Здесь В. Распутин окончательно выглянул из-за старушечьей спины и высказался прямо.

Видимо, это также послужило основой для споров московских писателей: каких взглядов придерживается В. Распутин? Не «правый» ли он? Случайно ли его подхватили и восславили самые реакционные издания?.. Может быть, он — неославянофил? Да к тому же из самых крайних, считающих, что Россию затопили пришлые, «цыганистого вида» люди, всякие научные жуки, инородцы… Россия — жертва «цыганистых…»

Спорят московские писатели: правый он! левый!

А как судить, если достоверно известно, от самой бабки Дарьи, что человек — путаник. Не видит, где право, где лево. «Как нарочно, все наоборот творит». Налево пойдет — направо выйдет… Впрочем, нам доподлинно известно от мудреца не менее уважаемого, чем старуха Дарья, о том, что «любое движенье направо начинается с левой ноги…»

Так или иначе, Матеру в повести В. Распутина топят «цыганистый» по фамилии Жук да местная власть — Воронцов… Воронцов привычно куражится над людьми. Только на этот раз — от страха. Утром государственная комиссия приедет — принимать дно будущего моря, а на Матере, оказывается, еще барак со старухами оставлен. Не сожжен. Вечером Воронцов гонит катер за старухой Дарьей и ее товарками.

Катер, во тьме и тумане, проскочил Матеру. Не нашел ее. Воронцов погоняет, как всегда: «Долго еще будем возиться? Вы что — не понимаете или понимаете?

— Не кричи, — оборвал его Галкин (моторист). — Тут тебе не собрание.

И Воронцов, как ни странно, сдержался и умолк, догадавшись, что приказами здесь не поможешь».

А на Матере жизнь кончилась. Тьма тьмущая. Сырой туман… На горькой ноте обрывается книга.

«— Это че — ночь уж? — озираясь, спросила Катерина (мать Петрухи).

— Дак, однако, не день, — отозвалась Дарья. — Дня для нас, однако, боле не будет…

— Где мы есть-то? Живые мы, нет?

— Однако что, неживые…

Старухи закрестились…»

Тут я и должен был бы поставить точку, если бы не еще один персонаж в повести — Хозяин, и если бы слово Хозяин автор не писал с заглавной буквы. Кто от, этот подлинный Хозяин? Уж, конечно, не Воронцов, не «цыганистый»… Кто ж это там воет? Тоскует, прощается?..

Зверь? Голоса утопленников? Дух затопляемой России?

Здесь мы встречаемся с героем, которого нет ни у одного советского писателя. Антропоморфизм, очеловечивание природы — явление в литературе не новое. У героев В. Распутина — почти обыденное. Старуха Дарья очеловечивает все вокруг: деревья, избы, мельницу. Вот пришлые люди подожгли мельницу.

«Пойдем простимся с ей, — говорит Дарья своей товарке. — Там, поди-ка, все чужие. Каково ей середь их — никто добрым словом не помянет… Сколь она, христовенькая, хлебушка нам

перемолола!.. Пускай хошь нас под послед увидит…»

Однако антропоморфизм вскоре обретает в книге новый и высокий смысл.

«А когда настала ночь и уснула Матера, из-под берега на мельничной протоке выскочил маленький, чуть больше кошки, ни на какого другого зверя не похожий зверек — Хозяин острова… Если есть в избах домовые, то на острове должен быть и хозяин. Никто никогда его не видел, не встречал, а он знал всех и знал все, что происходило… На то он и был Хозяин, чтобы все видеть, все знать и ничему не мешать. Только так еще и можно было остаться Хозяином — чтобы никто… о его существовании не подозревал».

Хозяин, оберегая ночами остров, слышит и то, что происходит на земле, и то, что под землей. Вот добегает Хозяин до избы Петрухи.

«Знал Хозяин, что скоро Петруха распорядится своей избой сам. От нее исходил тот особенный, едва уловимый одним Хозяином, износный и горклый запах конечной судьбы, в котором нельзя было ошибиться».

И точно, Петруха зажег избу. Чиркнула спичка, чего еще никто не видел.

Хозяин подбежал к избе, «прижался на мгновенье в последний раз к ее сухому замершему дереву, чтобы показать, что он здесь и будет здесь до конца…» «Хозяин смотрел, и сквозь стены видя то, что творится внутри…»

Значит, не зверь он, Хозяин, а если зверь, то странный. «Он не боялся: ни собаке, ни кошке не дано его почуять».

Решилась Дарья, все высказав нам о роде человеческом, уйти из деревни. Дошла она, правда, лишь до древней лиственницы, «царского лиственя», как окрестили в деревне неистребимое дерево. «Помнила только, что все шла и шла, не опинаясь, откуда брались и силы, и все будто сбоку бежал какой-то маленький, не виданный раньше зверек и пытался заглянуть ей в глаза».

Никто не видел зверька и увидеть не мог, только Дарья удостоилась. Ибо Хозяин признал вроде, что, кроме него, только Дарья все видит и все знает…

Впервые в советской литературе появился этот словно вовсе и не мистический образ (цензура-то в СССР не мистическая!), а по сути — мистический. (Исключение — «Мастер и Маргарита» М. Булгакова, пролежавший под спудом четверть века; исключение это лишь подтверждает правило.) Впервые мистика не дьяволиада, а начало положительное. Хозяин. Образ самой Жизни, Души Земли, который как бы зверьком проскользнул по книге, образ жизни исконно русской, вековечной и вот —

затопляемой…

Хозяин у Валентина Распутина — органичная связь природы одушевленной и неодушевленной, та естественная связь, которая в России уничтожена вульгарным атеизмом и который болезненно ощущает подлинная литература.

Чтоб нарушить «связь времен» — идей, традиций, поколений, вековую преемственность духовной жизни, то есть затопить Матеру-Россию безвозвратно — небытием, историческим беспамятством, — ее топили, и не раз, в крови. Кровью залитую, «пужаную», можно и вовсе лишить корней…

Прав великий Щедрин: «Русская литература возникла по недосмотру начальства…»

Многолетний жертвенный героизм молодежи воздействовал и на профессионалов давно известных, годами писавших в стол и решивших более не откладывать своих публикаций «до лучших времен». Припоздали что-то лучшие времена!

Так, думаю, появилась и одна из самых талантливых книг нашего времени — повесть Георгия Владимова «Верный Руслан», приоткрывшая миру секреты выращивания в государственных овчарнях людей, которых Запад окрестил иронически — хомо советикус.

Так нашли выход и новые книги — старейшего писателя и зэка Юрия Домбровского «Факультет ненужных вещей» и философа Александра Зиновьева «Зияющие высоты» и «Светлое будущее», о которых будут еще спорить и спорить.

Литература нравственного сопротивления, или «нравственного начала», как ее называли в СССР, пробила русло, и, хотя оно будет еще то мелеть, то разливаться весенним паводком, остановить течение невозможно.

* * *

Восточная мудрость свидетельствует: самый опасный дракон — издыхающий. Председатель КГБ Юрий Андропов заверил Леонида Ильича Брежнева, что он покончит с диссидентством окончательно. За десятилетие, оборвавшееся 1985 годом, по политическим статьям бросили в лагеря и тюрьмы около двух с половиной тысяч инакомыслящих. Лишили «воды и огня» (давнее определение Александра Бека) десятки тысяч в инакомыслии подозреваемых. Обжегшись на деле писателей Синявского — Даниэля, известные имена теперь не судили. Их выбрасывали из страны. Без всяких мотивов или, как Александра Галича, — по

«израильскому вызову». А случалось — и «по личной просьбе»…

Как тут работать серьезному писателю? Затаиться? Сменить профессию? Государство, как никогда, шумно славило и награждало мастеров полицейских детективов и цирковых реприз. Братьев Стругацких сменили братья Вайнеры, бывшие милицейские следователи, заполонившие собой и эфир, и экраны. Страна жила семеновскими «Семнадцатью мгновениями весны»…

Литература нравственного начала, не желавшая уходить в подполье, в САМи ТАМиздат, замерла. Попыталась спрятаться в узкопрофессиональные издания или стала вдруг менять свой окрас, принимая порой ирреальные, сюрреалистические формы.

Асы литературной критики, вылетевшие некогда из славного гнезда Твардовского, Игорь Виноградов и Анатолий Бочаров отмечают, что подлинного мастерства в этом странном «социально-ирреальном» жанре достиг прозаик Илья Крупник, известный ранее остросюжетными рассказами. Потому Илью Крупника, непохожего на самого себя, они окрестили «НОВЫМ КРУПНИКОМ». Но и этот горячо приветствуемый критиками Илья Крупник с его повестями 70-х гг. тем не менее вырвался к читателю отдельной книгой лишь в дни перестройки.

Проза «НОВОГО КРУПНИКА» внешне миролюбива, лояльна, как и рисунок на крышке обрисованного им детского секретера: Серый волк, безобидный, как собака. Красная Шапочка здоровается с ним за лапу. А о чем она, эта лояльная проза? В рассказе «Угар» мальчик, задохнувшийся от угара в восемнадцатом веке, вдруг воскресший, ангельская душа, появляется среди современных героев в роли Кандида.

В повести «Жизнь Губана» герои законопослушны, а иные предельно консервативны. «Знаешь, она просто наркоманка, — говорит один из них. — Ей все «прогресс», да «прогресс», да «притеснения»…»

Но все громче слышится вокруг законопослушных непонятное поначалу слово «мутант». Ходят слухи, что все беды России от давно высаженного на землю инопланетного десанта. Десантников можно отличить от земных патриотов по выпуклой верхней губе. Они — губаны. Губанов, естественно, разоблачают… Сбитый с толку, перепуганный горожанин начинает подозревать «губана» в самом себе: кому не хочется воспарить душой да улететь из этого мира?!

Инопланетный Губан — художественная метафора этого знакомого всем психоза массового сознания, ищущего вокруг непохожего на себя «чужака», «пришельца», очередного «козла отпущения».

«Крупник работает все время на грани такого неуловимого

перехода из реальности в ирреальность… что у читателя появляется полная иллюзия, будто он сам живет внутри этой ирреальной реальности», — пишет Виноградов в послесловии к книге «НОВОГО КРУПНИКА».

«Я не сумасшедший, — на всякий случай сообщает автор в заключение. — Это не сон и даже не сказка — это просто такая жизнь».

Самый опасный дракон — издыхающий…

Необходимое дополнение
Припоздавшая книга, которая вовсе не опоздала

Василий Гроссман. жизнь и судьба.

Литературе сопротивления издыхающий дракон нанес урон чудовищный. Казалось, невосполнимый. Оперативная группа КГБ изъяла, в различных городах рукопись романа Василия ГРОССМАНА. Несчастный автор был вызван членом Политбюро ЦК товарищем Сусловым, и тот объявил, что ТАКУЮ КНИГУ можно будет издать лишь через 200 лет. Это было изощренным убийством. Василий Гроссман заболел раком и спустя полгода умер в муках.

«Рукописи не горят», — пророчествовал Булгаков. По счастью, так и случилось… Уничтоженный Государственной безопасностью, роман Василия Гроссмана вышел в свет в Швейцарии в 1980 году, вскоре после первоиздания книги «НА ЛОБНОМ МЕСТЕ» (Лондон, Overseas Publication, 1979).

Рукопись прорвалась из Советского Союза еще в середине семидесятых, спасибо многолетнему другу Гроссмана Семену Липкину, Володе Войновичу и другим, принявшим участие в этой рискованной операции.

Гроссман первым для советского читателя обнажил духовное единство фашизма и коммунизма, что имеет непреходящее и поистине судьбоносное значение для России, особенно ныне, когда иные лидеры открыто провозглашают идеологию «державного» шовинизма, смертельно опасного для многонациональной, истекающей кровью страны.

Своей давней работой в журнале «Грани», никогда, кстати, не сомневавшегося в родственной близости «коричневых» и «красных», я и завершу мое повествование о послевоенной русской литературе нравственного сопротивления, выживавшей без преувеличения НА ЛОБНОМ МЕСТЕ.

Восемь минут свободы

Роман Василия Гроссмана «Жизнь и судьба» был арестован Госбезопасностью СССР почти в тот самый год, когда в журнале «Новый мир» была напечатана повесть Александра Солженицына

«Один день Ивана Денисовича».

Тюремную правду разрешили. Ну, а **всю** тюремную правду, по обе стороны решетки, затолкали в темницу. Почти на двадцать лет.

Ныне Василий Гроссман стал на Западе сенсацией, как ранее — Солженицын. Имена Гроссмана и Солженицына звучат рядом, особенно часто в европейской прессе, принявшей последнюю книгу Гроссмана как крупнейшее событие литературной, и не только литературной, жизни.

Более полугода, к примеру, французский перевод романа находился в списке бестселлеров. Насколько значительным было его влияние на читателя, свидетельствует и такое, несколько неожиданное, заключение одного из известных критиков: «Думая о России, мы говорили: Солженицын! Сейчас мы говорим: Солженицын и Гроссман! Пройдет время, и мы будем говорить: Гроссман и Солженицын…»

Писателей не только сравнивают, но, как видим, и противопоставляют.

Наверное, это не заслуживало бы внимания (история в наших подсказках не нуждается), если бы не одно обстоятельство, по крайней мере, странное: книгу-арестанта, погибшую, казалось, навсегда — были изъяты, как известно, не только все экземпляры рукописи и черновики, но даже копирка, — такую книгу русская эмигрантская пресса постаралась не заметить. «Континент» В. Максимова, напечатав в свое время несколько глав из романа, когда книга, наконец, предстала перед читателем во всей полноте… дал блеклую отписку. Остальные вообще зажмурились, пугаясь противопоставления Солженицына — эмигрантского солнца тех лет, «какому-то» Гроссману. Младенческая «игра в жмурки» длилась целых пять лет, с 1980-го до конца 1984-го, пока внимание русского читателя к книге Василия Гроссмана не привлек иноязычный мир, назвавший роман «Жизнь и судьба» романом века.

Что позволили себе замалчивать, и замалчивать бдительно, поводыри русской эмиграции, называющие себя борцами за свободу России?

Главный герой романа «Жизнь и судьба» — свобода. Свобода, которой в родной стране нет. Никакая цензура не могла бы купировать, «сократить» этого героя, ибо он жив в каждом, без преувеличения, образе, он пульсирует страхом и болью о потерянной свободе, памятным глотком свободы, жаждой воли вольной.

Заглавный герой, или тема свободы, раскрывается со страстью и без умолчаний в предсмертной исповеди, на лагерной

больничной койке, революционера Магара.

«…Мы не понимали свободы. Мы раздавили ее. И Маркс не оценил ее: она основа, смысл, базис под базисом. Без свободы нет пролетарской революции…»

Возможно, это слова человека раздавленного, судьба которого бросила, в его глазах, кровавый отсвет на всю историю. Произнеся их, зэк Магар повесился.

Но вот перед нами свободные люди, высказывающиеся с редкой, давно непривычной для нашей подцензурной литературы откровенностью. Говорят о Чехове, который сказал о России, как никто до него не говорил, даже Толстой. «Он сказал: самое главное то, что люди — это люди, а потом уж они архиереи, русские, лавочники, татары, рабочие… люди равны, потому что они люди»…

«Ведь наша человечность всегда по-сектански непримирима и жестока. От Аввакума до Ленина наша человечность и свобода, — продолжают герои Гроссмана, — партийны, фанатичны, безжалостно приносят человека в жертву абстрактной человечности… Чехов сказал: пусть Бог посторонится, пусть посторонятся так называемые великие прогрессивные идеи, начнем с человека, будем добры, внимательны к человеку, кто бы он ни был… Вот это и называется демократия, пока несостоявшаяся демократия русского народа».

Может быть, именно это, чеховское, «пусть Бог посторонится», несозвучное взглядам русской эмигрантской прессы, и привело ее в некоторую оторопелость. Но не эмигрантское свободомыслие — наша тема.

Безоглядно смелый, рискованный — и по месту, и по времени (война, эвакуация) — разговор этот вызвал у его участника физика Штрума такой прилив духовной энергии, что привел к огромному научному открытию. «…Странная случайность, вдруг подумал он, внезапная мысль пришла к нему, когда ум его был далек от мыслей о науке, когда захватившие его споры о жизни были спорами свободного человека, когда одна лишь горькая свобода определяла его слова и слова его собеседников».

Гроссман описывает известный всему миру сталинградский «дом Павлова» в последние минуты жизни его защитников. Не нравится Павлов (в романе Греков) политработникам. Слухи доходят (под землей, другой связи с осажденным домом нет), что защитники ведут между собой слишком вольнолюбивые беседы, поговаривают о «всеобщей принудиловке», о том, что после войны нужно распустить колхозы и пр. «Для расследования» направляют к ним батальонного комиссара Крымова, известного нам еще по первой части гроссмановской сталинградской эпопеи («За правое

дело», «Новый мир», №№ 7–10, 1952). Между комиссаром и Грековым происходит знаменательный разговор:

«— Давайте, Греков, поговорим всерьез и начистоту. Чего вы хотите?…

— Свободы хочу, за нее и воюю.

— Мы все ее хотим.

— Бросьте, — махнул рукой Греков. — На кой она вам. Вам бы только с немцами справиться».

Ночью Крымова ранило, пуля ожгла голову, и он решил, что это Греков стрелял в него, решившего отстранить Грекова от командования: «Политически горбатых не распрямляют уговорами».

Начинается немецкое наступление, и Греков погибает вместе со всеми защитниками прославленного дома. А не погибни он, расстреляли б его свои, по доносу комиссара.

Не успели расстрелять, так уничтожили документы, представлявшие Грекова к званию Героя Советского Союза посмертно. Многого захотел Греков свободы…

Другой персонаж, подполковник Даренский, видит в калмыцкой степи старика, скачущего на коне. «Даренский следил за стремительной скачкой старика, и в висках не кровь стучала, а одно лишь слово:

— Воля…воля…воля…

И зависть к старому калмыку охватила его».

Но если тоскуют по воле все или почти все герои Василия Гроссмана, если они испытывают, как физик Штрум, прозрение — в редкие драгоценные мгновения свободы, — то что же происходит в стране, ведущей войну под знаменами свободы и демократии? Почему ученые, даже столь известные, как профессор Соколов, работающий со Штрумом, доходят до полного раболепия перед собственным государством, воспринимая «гнев государства, как гнев природы или божества?.. Однажды Штрум прямо спросил его…»

Далее отсутствует несколько страниц. Утеряны, заменены многоточиями. Можно только догадываться, о чем они, эти утерянные страницы. Нет ответа профессора Соколова, отчего он раболепствует перед властью, но сразу же после пробела появляется новый герой, Мадьяров, появляется, как если бы был нам давно знаком. Мадьяров не верит, что маршалы Тухачевский, Блюхер и другие военачальники были врагами народа, и мечтает — ни больше, ни меньше — о свободе печати…

«Спокойная обыденность мадьяровского голоса казалась немыслимой».

Нетрудно понять, почему от образа вольнолюбивого

Мадьярова в романе остались ножки да рожки. Столь «немыслимый» текст не только написать, но и хранить в СССР — опасность смертельная… Во скольких домах, во скольких столах побывали экземпляры рукописи, числившиеся «в бегах»!..

Тем не менее высказаться Мадьярову удалось. В полной мере. Это сделал за него автор. Можно сказать, открытым текстом. В рукописи, предназначенной для московского журнала. Для этого ему пришлось прибегнуть к литературному приему, в высшей степени — для Гроссмана — рискованному.

Действие романа происходит то по одну линию фронта, то по другую. Перед нами концентрационные лагеря — немецкие и советские, окопы и штабы немецкие и советские. ставка Гитлера и ставка Сталина. Поначалу возникает ощущение, что книга написана как бы двухцветной; перемежаются страницы коричневые — о гитлеровцах, и красные — о силах «прогресса и демократии». Но вскоре понимаешь, что ощущение это — ложное. Оптический обман, не более того. На «коричневых» страницах обстоятельно разъясняется все то, что недосказано на страницах «красных». Мотивы поступков. Закономерности явлений, психологических и социальных. Однотипность размышлений по обе стороны фронта поражает.

Немецкий офицер Питер Бах, когда-то ненавидевший Гитлера, подводит итоги своему заблуждению: «…Удивительная вещь, долгие годы я считал, что государство подавляет меня. А теперь я понял, что именно оно выразитель моей души».

Советский ученый Штрум, теоретик ядерной физики, ощущал родное государство как могильную плиту, — «навалится на него, и он хрустнет, пискнет, взвизгнет и исчезнет». Однако после звонка Сталина к Штруму духовная эволюция советского человека зеркально отражает эволюцию новоявленного нациста Питера Баха. «Но ведь звонок Сталина не был случайностью. Ведь Сталин — это государство, а у государства не бывает прихотей и капризов». «Все происходившее невольно стало казаться естественным и законным. Правилом стала жизнь, которой жил Штрум… Исключением стала казаться жизнь, которая была раньше, и Штрум стал отвыкать от нее». Штрум вспоминает рассказ Крымова о «психологической перестройке» следователя военной прокуратуры, который был арестован в 1937 г. и в первую ночь после скорого освобождения произносил свободолюбивые речи, сострадал всем лагерникам, а когда его восстановили в партии, перестал звонить Крымову, попавшему в беду…»

И снова, и снова многоточия вместо целых страниц…

Тем не менее в книге нет темных мест. Нам понятны мотивы,

заставляющие, скажем, ученого Штрума, который гордился своей независимостью, послушно, с рабской готовностью, подписать коллективное письмо о том, что… сталинского террора не было вообще, все подозрения — провокация Запада… Диктатура ломает личность, растирает ее в порошок, остается лишь «темное, тошное чувство покорности».

Путем гитлеровского офицера Питера Баха следует и советский комиссар Гетманов, — автор не утаивает от нас, как нарастал, креп дикий страх в душе бессменного партийного вождя; этим же путем самогипноза следует и старый большевик Крымов, убедивший самого себя в постоянной правоте государства, которое в конце концов с ним и расправляется.

Коричневое и красное в книге совмещаются ошеломляюще. Умница, смельчак майор Ершов, захваченный немцами в плен и ставший любимцем советских военнопленных, отсылается подпольным комитетом коммунистов-военнопленных в лагерь уничтожения, поскольку он, майор Ершов, «из кулацкой семьи». Не побрезговали советские комиссары и генералы использовать в своих целях Освенцим.

Роман Василия Гроссмана многогранен, как сама жизнь. За его героями вся страна. Кромешный ад Сталинграда («Сталинградская опупея», — говорит солдат), эвакуация, пьянство генералитета и черствый солдатский сухарь, тему социального размежевания народа, начатую еще в первой, изданной при Сталине, части, он продолжает неумолимо: «… Буксир потихоньку тянул баржу… Ехавшим на празднование секретарям и членам бюро наскучило стоять на ветру, и они вновь сели в машины. Красноармейцы смотрели на них сквозь стекла, как на тепловодных рыб в аквариуме». Для этих «тепловодных рыб» человеческие жизни — ничто. «Где пьют, там и льют», — как говорит комиссар Гетманов, заранее оправдывая ненужные потери.

Гроссман описывает и нищету военных лет, и сытую жизнь академического института, в котором начинаются генения на теорию Эйнштейна, и ужин Эйхмана — в газовой камере, подготовленной к действию, и лубянские камеры, где сидят и невинные жертвы, и вчерашние доносчики, и снова и снова — ужас истребительной войны, которую столь впечатляюще мог передать лишь человек, мерзший в окопах, глотавший пыль сталинградских руин, из-под которых откапывали горожан (жителей Сталинграда не оповестили о прорыве немцев и неминуемой бомбежке), сам слышавший хриплую брань вечно пьяного генерала Чуйкова, скорого на расправу… И все, о чем говорится в многоплановой сталинградской дилогии Василия

Гроссмана, пронизывает грозовая тема свободы, самая запретная в Советской России тема: не только писать о ней, но и шепнуть ближнему было порой равносильно самоубийству.

Тем не менее Гроссман завершает и предлагает в печать свою книгу, «двуцветность» которой становится условной уже настолько, что, скажем, высказывания советского генерала Неудобнова, работавшего с Берия, и гитлеровского жандарма Хальба из штаба генерала Паулюса воспринимаются как дружеская перекличка единомышленников. «Теперь особенно видна мудрость партии». — Чьи это слова? Товарища Неудобнова? Партайгеноссе Хальба? «Мы без колебаний удаляли из народного тела не только зараженные куски, но и с виду здоровые части, которые в трудных обстоятельствах могли загнить». Сравнения можно продолжать без конца. Одна и та же лексика и в гитлеровском, и в советском стане: «Мудрость партии…», «Партийный товарищ…»

А душа?! Бог мой, как манипулировали словами «душа» и «сердце» по обе стороны фронта!

«…Немецкая душа и есть главная правда, смысл мира». К этому приходит Питер Бах, ставший горячим поклонником Гитлера. Комиссар Гетманов в те же дни и часы подымает тост «за русское сердце» своего командира и «сигнализирует» насчет калмыка Басангова: «Национальный признак, знаешь, большое дело. Определяющее значение будет иметь…».

Вторит ему начальник штаба генерал Неудобнов, старый чекист:

— В наше время большевик, прежде всего — русский патриот.

Полковника Новикова, командира танкового корпуса, слова Неудобнова и Гетманова раздражали: он «выстрадал свое русское чувство в тяжелые дни войны, а Неудобнов, казалось, заимствовал его из какой-то канцелярии, в которую Новиков не был вхож».

Но, как правило, он не перечил, полковник Новиков, когда речь шла о политической благонадежности, «русском сердце», душе. Здесь он скисал, и «деловые качества людей вдруг переставали казаться важными». Василий Гроссман говорит о причине этого с прямотой исчерпывающей: «Народная война, достигнув своего высшего пафоса во время сталинградской обороны, именно в этот сталинградский период дала возможность Сталину открыто декларировать идеологию государственного национализма».

Всесторонне и обстоятельно развивается эта тема, в частности, устами… гитлеровского следователя Лисса. Этот прием позволяет Гроссману оставаться внутренне свободным, свободным предельно…

— Когда мы смотрим в лицо друг другу, — говорит эсэсовец Лисс военнопленному Мостовскому, старому большевику, соратнику Ленина, — мы смотрим не только на ненавистное лицо, мы смотрим в зеркало… Наша победа это ваша победа. Понимаете? А если победите вы, то мы и погибнем, и будем жить в вашей победе.

Вначале слова Лисса казались Мостовскому бредом. «Ошеломляющие, неожиданные, страшные и нелепые слова».

«Но было, — продолжает автор, — нечто еще более гадкое, опасное, чем слова… Было то, что иногда то робко, то зло шевелилось, скреблось в душе и мозгу Мостовского. Это были гадкие и грязные сомнения, которые Мостовский находил не в чужих словах, а в своей душе».

А Лисс продолжает все более убедительно: «…Пропасти нет. Ее выдумали. Мы — форма единой сущности — партийного государства… Национализм — душа эпохи! Социализм в одной стране — высшее выражение национализма». «На земле есть два великих революционера. Сталин и наш вождь. Их воля родила национальный социализм государства».

Эсэсовец Лисс называет Мостовского учителем: «Вы лично знали Ленина. Он создал партию нового типа. Он понял, что только партия и вождь выражают импульс нации, и покончил учредительное собрание… Но Гитлер не только ученик, он гений! Ваше очищение партии в тридцать седьмом году Сталин увидел в нашем очищении от Рема…»

И Лисс завершает: «Учитель… вы всегда будете учить нас и всегда у нас учиться. Будем думать вместе».

При этих словах в душе ленинца Мостовского творится ад. Он ощущает все явственнее, что его давние сомнения в неизменной правоте партии «может быть, не были знаком слабости, бессилия, грязной раздвоенности, усталости, неверия. Может быть, в них-то и есть зерно революционной правды? В них динамит свободы!».

Мостовский понимает: чтобы «оттолкнуть Лисса, его скользкие, липучие пальцы», нужно отказаться от того, чем жил всю жизнь, осудить то, что защищал и оправдывал. «Но нет, нет, еще больше, — мысленно восклицает Мостовский с пугающей его самого страстью. — Не осудить, а всей силой души, всей революционной страстью ненавидеть лагеря, Лубянку, кровавого Ежова, Ягоду, Берия! Но мало, — Сталина, его диктатуру! Но нет, нет, еще больше! Надо осудить Ленина! Край пропасти!».

Можно спорить — выражает ли Лисс взгляды самого Гроссмана? Справедлив ли автор, придумавший страшноватый для советского писателя прием коричневым судить красное? Может быть, Гроссман остался вместе с Мостовским — на краю

пропасти? С Лениным.

Можно спорить, но — не нужно. Это ясно и по книге «Жизнь и судьба», в которой Василий Гроссман не жалует сектантскую — от Аввакума до Ленина человечность, приносящую человека в жертву. Это стало ясно еще в 1946 году, когда появилась его пьеса «Если верить пифагорейцам», в которой говорилось, что народ, любой народ — это квашня. В нем может подняться вверх то доброе, то злобное, отвратительное. На страх врагам. И — на руку пастырям…

А теперь существует также и последняя книга Василия Гроссмана «Все течет…» («Посев», 1970), не оставляющая никаких сомнений насчет того, как писатель относится к идеологическим пастырям, иначе говоря, остался он «на краю пропасти» или нет.

«…Ленин не разрушил, а закрепил связь русского развития с несвободой, с крепостью». «Сталин казнил ближайших друзей и соратников Ленина потому, что они, каждый по-своему, мешали осуществиться тому главному, в чем была сокровенная суть Ленина».

«Синтез несвободы с социализмом» — вот уроки Ленина и ленинизма, усвоенные и Муссолини, и Гитлером.

Василия Гроссмана, как видим, не страшили никакие пропасти, он пытался говорить о жажде свободы еще в сталинские годы, в первой части своей эпопеи («За правое дело»); он знал, что будет наказан за свой «глоток свободы», как был наказан в «Жизни и судьбе» любимый его герой — полковник Новиков, освободитель Сталинграда.

Пожалуй, именно его судьба бросает самый яркий и страшный отсвет на судьбу самого Гроссмана. Но, прежде всего, с каким ощущением живет этот герой, командир танкового корпуса?

«Война выдвинула его на высокую командную должность. Но, оказалось, хозяином он не сделался. По-прежнему он подчинялся силе, которую постоянно чувствовал, но не мог понять.

Два человека, оказавшиеся в его подчинении, не имевшие права командовать, были выразителями этой силы…». Новиков неизменно чувствовал свою «слабость и робость» в разговоре с Гетмановым и Неудобновым, сталинскими соглядатаями, ждущими своего часа. И они дождались…

Командир корпуса ослушался Сталина. И только поэтому выполнил боевую задачу малой кровью, сберег людей и технику. Эта поразительная сцена занимает лишь несколько страниц, становясь ключевой во взрывной гроссмановской теме свободы.

«Сталин волновался. В этот час будущая сила государства сливалась с его волей…

Его соединили с Еременко.

— Ну, что там у тебя, — не здороваясь, спросил Сталин. — Пошли танки?

Еременко, услыша раздраженный голос Сталина, быстро потушил папиросу.

— Нет, товарищ Сталин… Танки в прорыв еще не вошли».

Начинается нервический перезвон командующих:

«— …Немедленно пустить танки! — резко сказал Еременко генералу Толбухину».

Толбухин звонит Новикову в изумлении и страхе:

«— Вы, что, товарищ полковник, шутите? Почему я слышу артиллерийскую стрельбу? Выполняйте приказ!..»

Однако еще не все огневые точки противника подавлены, танкисты неминуемо нарвутся на огонь и смерть, и Новиков не дает приказа о наступлении. Просит поработать артиллеристов. Пушки взревели с новой силой. Танки — стоят.

Восемь минут своей жизни Новиков вел себя, как подсказывали ему его опыт и совесть.

Когда корпус прорвался в тылы противника почти без потерь, «Гетманов обнял Новикова, оглянулся на стоявших рядом командиров, на шоферов, вестовых, радистов, шифровальщиков, всхлипнул, громко, чтобы все слышали, сказал:

— Спасибо тебе, Петр Павлович, русское советское спасибо… низкий тебе поклон…».

А ночью зашел к начальнику штаба Неудобнову, товарищу по партии, и подал рапорт-донос — о том, что «командир корпуса самолично задержал на восемь минут начало решающей операции величайшего значения…».

Победа — победой, но самого победителя срочно отзывают в Москву, и неизвестно, вернется ли он, ослушавшийся Сталина, на свой командирский пост.

Он заплатит за эти минуты свободы, за каждую ее секунду. Как и сам Василий Гроссман, автор романа «Жизнь и судьба», имя которого отныне неразрывно связано с историей России.

notes

Примечания

1

Ефим Эткинд — ученый-литературовед с мировым именем, автор капитального труда «Материя стиха»; в 1970–90 годы профессор Ленинградского, Парижского, Берлинского Университетов

2

«Шаяла-шаяла» затем мысль Василия Белова в поисках первопричин беды русского крестьянства и дотлела-дошаяла: инородцы! От них все!..

3

Определяющим, с годами, стало, увы, совсем иное. Когда выходило в свет в 1979 году «На Лобном месте», не ведал я еще, время не пришло ведать, что В. Солоухин, начав с защиты памятников, с попыток заменить казенное обращение «товарищ» исконно русским «сударь» или демонстрации своего «знаменитого» клдца с «печаткой» из царской монеты с обликом Николая 11, начав с «бунта на коленях», воплотит в своей предсмертной «исповеди» зловещую эволюцию целой плеяды юных искателей истины. «Истинно русских», как они демонстративно, при любом споре, называли себя. «Исповеди»… во славу Гитлера и гитлеризма, которые были, оказывается, естественной «реакцией на разгул еврейской экспансии… последней судорогой человечества, осознавшего, что его пожирают черви», сиречь евреи. «А теперь уже поздно, — с тоской завершил свою исповедь Владимир Солоухин, так и не дождавшийся полного истребления еврейства, — теперь уже — рак крови.»